

*Аркадий*  
**АВЕРЧЕНКО**

*Кубарем  
по заграницам*



## Annotation

«Королем смеха», «Рыцарем улыбки» называли современники Аркадия Аверченко, проза писателя была очень популярна при жизни автора. Несмотря на то что А. Аверченко стоял на антимонархических позициях, считая, что до революции «вся Россия была больна» и Февральскую революцию принял, — Октябрьскую революцию 1917 года считал разрушающей традиции, ведущей к гражданской войне, уничтожению связи времен, отрицающей национальные и патриотические идеи. Но беспощадная правда не останавливает здорового смеха писателя, вовлекающего читателя в действие масок, карнавальных переодеваний. Его герои отказались от народной правды, приняв официальную. В своих сатирических, крайне острых, не лишенных трагизма рассказах писатель предупреждает о нешуточной опасности, к которой ведет затянувшийся маскарад, когда нечистая сила, вызванная на народный праздник, подменяет реальные лица и добрых знакомых из старых сказок.

# Аркадий Аверченко

## Кубарем по заграницам

### Автобиография

Еще за пятнадцать минут до рождения я не знал, что появлюсь на белый свет. Это само по себе пустячное указание я делаю лишь потому, что желаю опередить на четверть часа всех других замечательных людей, жизнь которых с утомительным однообразием описывалась непременно с момента рождения. Ну, вот.

Когда акушерка преподнесла меня отцу, он с видом знатока осмотрел то, что я из себя представлял, и воскликнул:

— Держу пари на золотой, что это мальчишка!

«Старая лисица! — подумал я, внутренне усмехнувшись. — Ты играешь наверняка».

С этого разговора и началось наше знакомство, а потом и дружба.

Из скромности я остерегусь указать на тот факт, что в день моего рождения звонили в колокола и было всеобщее народное ликование. Злые языки связывали это ликование с каким-то большим праздником, совпавшим с днем моего появления на свет, но я до сих пор не понимаю, при чем здесь еще какой-то праздник?

Приглядевшись к окружающему, я решил, что мне нужно первым делом вырасти. Я исполнял это с таким тщанием, что к восьми годам увидел однажды отца берущим меня за руку. Конечно, и до этого отец неоднократно брал меня за указанную конечность, но предыдущие попытки являлись не более как реальными симптомами отеческой ласки. В настоящем же случае он, кроме того, нахлобучил на головы себе и мне по шляпе — и мы вышли на улицу.

— Куда это нас черти несут? — спросил я с прямизной, всегда меня отличавшей.

— Тебе надо учиться.

— Очень нужно! Не хочу учиться.

— Почему?

Чтобы отвязаться, я сказал первое, что пришло в голову:

— Я болен.

— Что у тебя болит?

Я перебрал на память все свои органы и выбрал самый нежный:

— Глаза.

— Гм... Пойдем к доктору.

Когда мы явились к доктору, я наткнулся на него, на его пациента и свалил маленький столик.

— Ты, мальчик, ничего решительно не видишь?

— Ничего, — ответил я, утаив хвост фразы, который докончил в уме: «...хорошего в ученье».

Так я и не занимался науками.

\* \* \*

Легенда о том, что я мальчик больной, хилый, который не может учиться, росла и укреплялась, и больше всего заботился об этом я сам.

Отец мой, будучи по профессии купцом, не обращал на меня никакого внимания, так как по горло был занят хлопотами и планами: каким бы образом поскорее разориться? Это было мечтой его жизни, и нужно отдать ему полную справедливость — добрый старик достиг своих стремлений самым безукоризненным образом. Он это сделал при соучастии целой плеяды воров, которые обворовывали его магазин, покупателей, которые брали исключительно и планомерно в долг, и — пожаров, испепелявших те из отцовских товаров, которые не были растащены ворами и покупателями.

Воры, пожары и покупатели долгое время стояли стеной между мной и отцом, и я так и остался бы неграмотным, если бы старшим сестрам не пришла в голову забавная, сулившая им массу новых ощущений мысль: заняться моим образованием. Очевидно, я представлял из себя лакомый кусочек, так как из-за весьма сомнительного удовольствия осветить мой ленивый мозг светом знания сестры не только спорили, но однажды даже вступили в рукопашную, и результат схватки — вывихнутый палец — нисколько не охладил преподавательского пыла старшей сестры Любы.

Так — на фоне родственной заботливости, любви, пожаров, воров и покупателей — совершался мой рост и развивалось сознательное отношение к окружающему.

\* \* \*

Когда мне исполнилось пятнадцать лет, отец, с сожалением распроставшийся с ворами, покупателями и пожарами, однажды сказал мне:

— Надо тебе служить.

— Да я не умею, — возразил я, по своему обыкновению выбирая такую позицию, которая могла гарантировать мне полный и безмятежный покой.

— Вздор! — возразил отец. — Сережа Зельцер не старше тебя, а он уже служит!

Этот Сережа был самым большим кошмаром моей юности. Чистенький, аккуратный немчик, наш сосед по дому, Сережа с самого раннего возраста ставился мне в пример как образец выдержанности, трудолюбия и аккуратности.

— Посмотри на Сережу, — говорила печально мать. — Мальчик служит, заслуживает любовь начальства, умеет поговорить, в обществе держится свободно, на гитаре играет, поет... А ты?

Обескураженный этими упреками, я немедленно подходил к гитаре, висевшей на стене, дергал струну, начинал визжать пронзительным голосом какую-то неведомую песню, старался «держаться свободнее», шаркая ногами по стенам, но все это было слабо, все было второго сорта. Сережа оставался недосягаем!

— Сережа служит, а ты еще не служишь... — упрекнул меня отец.

— Сережа, может быть, дома лягушек ест, — возразил я, подумав. — Так и мне прикажете?

— Прикажу, если понадобится! — гаркнул отец, стуча кулаком по столу. — Чер-рт возьми! Я сделаю из тебя шелкового!

Как человек со вкусом, отец из всех материй предпочитал шелк, и другой материал для меня казался ему неподходящим.

\* \* \*

Помню первый день моей службы, которую я должен был начать в какой-то сонной транспортной конторе по перевозке кладей.

Я забрался туда чуть ли не в восемь часов утра и застал только одного человека в жилете без пиджака, очень приветливого и скромного.

«Это, наверное, и есть главный агент», — подумал я.

— Здравствуйте! — сказал я, крепко пожимая ему руку. — Как делишки?

— Ничего себе. Садитесь, поболтаем!

Мы дружески закурили папиросы, и я завел дипломатичный разговор о своей будущей карьере, рассказав о себе всю подноготную.

Неожиданно сзади нас раздался резкий голос:

— Ты что же, болван, до сих пор даже пыли не стер?!

Тот, в ком я подозревал главного агента, с криком испуга вскочил и схватился за пыльную тряпку. Начальнический голос вновь пришедшего молодого человека убедил меня, что я имею дело с самим главным агентом.

— Здравствуйте, — сказал я. — Как живете-можете? (Общительность и светскость по Сереже Зельцеру.)

— Ничего, — сказал молодой господин. — Вы наш новый служащий? Ого! Очень рад!

Мы дружески разговорились и даже не заметили, как в контору вошел человек средних лет, схвативший молодого господина за плечо и резко крикнувший во все горло:

— Так-то вы, дьявольский дармоед, заготовляете реестра? Выгоню я вас, если будете лодырничать!

Господин, принятый мною за главного агента, побледнел, опустил печально голову и побрел за свой стол. А главный агент опустился в кресло, откинулся на спинку и стал приватно расспрашивать меня о моих талантах и способностях.

«Дурак я, — думал я про себя. — Как я мог не разобрать раньше, что за птицы мои предыдущие собеседники? Вот этот начальник — так начальник! Сразу уж видно!»

В это время в передней послышалась возня.

— Посмотрите, кто там? — попросил меня главный агент. Я выглянул в переднюю и успокоительно сообщил:

— Какой-то плюгавый старичишка стягивает пальто.

Плюгавый старичишка вошел и закричал:

— Десятый час, а никто из вас ни черта не делает!! Будет ли когда-нибудь этому конец?!

Предыдущий важный начальник подскочил в кресле как мяч, а молодой господин, названный им до того «лодырем», предупредительно сообщил мне на ухо:

— Главный агент притащился.

Так я начал свою службу.

\* \* \*

Прослужил я год, все время самым постыдным образом плетясь в хвосте Сережи Зельцера. Этот юноша получал 25 рублей в месяц, когда я получал 15, а когда и я дослужился до 25 рублей, — ему дали 40. Ненавидел я его, как какого-то отвратительного, вымытого душистым мылом паука...

Шестнадцати лет я расстался со своей сонной транспортной конторой и уехал из Севастополя (забыл сказать — это моя родина) на какие-то каменноугольные рудники. Это место было наименее для меня подходящим, и потому, вероятно, я и очутился там по совету своего опытного в житейских передрыгах отца...

Это был самый грязный и глухой рудник в свете. Между осенью и другими временами года разница заключалась лишь в том, что осенью грязь была там выше колен, а в другое время — ниже.

И все обитатели этого места пили как сапожники, и я пил не хуже других. Население было такое небольшое, что одно лицо имело целую уйму должностей и занятий. Повар Кузьма был в то же время и подрядчиком и попечителем рудничной школы, фельдшер был акушеркой, а когда я впервые пришел к известнейшему в тех краях парикмахеру, жена его просила меня немного обождать, так как супруг ее пошел вставлять кому-то стекла, выбитые шахтерами в прошлую ночь.

Эти шахтеры (углекопы) казались мне тоже престранным народом: будучи, большей частью, беглыми с каторги, паспортов они не имели, и отсутствие этой неперменной принадлежности российского гражданина заливали с горестным видом и отчаянием в душе — целым морем водки.

Вся их жизнь имела такой вид, что рождались они для водки, работали и губили свое здоровье непосильной работой — ради водки и отправлялись на тот свет при ближайшем участии и помощи той же водки.

Однажды ехал я перед Рождеством с рудника в ближайшее село и видел ряд черных тел, лежавших без движения на всем протяжении моего пути; попадались по двое, по трое через каждые двадцать шагов.

— Что это такое? — изумился я...

— А шахтеры, — улыбнулся сочувственно возница. — Горилку куповалы у селе. Для божьего праздничку.

— Ну?

— Тай не донесли. На мисти высмоктали. Ось как!

Так мы и ехали мимо целых залежей мертвецки пьяных людей, которые обладали, очевидно, настолько слабой волей, что не успевали даже добежать до дому, сдаваясь охватившей их глотки палящей жажде там, где эта жажда их застигала. И лежали они в снегу, с черными бессмысленными лицами, и если бы я не знал дороги до села, то нашел бы ее по этим гигантским черным камням, разбросанным гигантским мальчиком-с-пальчик на всем пути.

Народ это был, однако, по большей части крепкий, закаленный, и самые чудовищные эксперименты над своим телом обходились ему сравнительно дешево. Проламывали друг другу головы, уничтожали начисто носы и уши, а один смельчак даже взялся однажды на заманчивое пари (без сомнения — бутылка водки) съесть динамитный патрон. Проделав это, он в течение двух-трех дней, несмотря на сильную рвоту, пользовался самым бережливым и заботливым вниманием со стороны товарищей, которые все боялись, что он взорвется.

По миновании же этого странного карантина — был он жестоко избит.

Служащие конторы отличались от рабочих тем, что меньше дрались и больше пили. Все это были люди, по большей части отвергнутые всем остальным светом за бездарность и неспособность к жизни, и, таким образом, на нашем маленьком, окруженном неизмеримыми степями островке собралась самая чудовищная компания глупых, грязных и бездарных алкоголиков, отбросов и обгрызков брезгливого белого света.

Занесенные сюда гигантской метлой Божьего произволения, все они махнули рукой на внешний мир и стали жить как бог на душу положит. Пили, играли в карты, ругались презрительными отчаянными словами и во хмелю пели что-то настойчивое, тягучее и танцевали угрюмо-сосредоточенно, ломая каблуками полы и извергая из ослабевших уст целые потоки хулы на человечество.

В этом и состояла веселая сторона рудничной жизни. Темные ее стороны заключались в каторжной работе, шагании по глубочайшей грязи из конторы в колонию и обратно, а также в отсиживании в кордегардии по целому ряду диковинных протоколов, составленных пьяным урядником.

\* \* \*

Когда правление рудников было переведено в Харьков, туда же забрали и меня, и я ожил душой и окреп телом...

По целым дням бродил я по городу, сдвинув шляпу набекрень и независимо насвистывая самые залихватские мотивы, подслушанные мною в летних шантанах — месте, которое восхищало меня сначала до глубины души.

Работал я в конторе преотвратительно и до сих пор недоумеваю: за что держали меня там шесть лет, ленивого, смотревшего на работу с отвращением и по каждому поводу вступавшего не только с бухгалтером, но и с директором в длинные, ожесточенные споры и полемику.

Вероятно, потому, что был я превеселым, радостно глядящим на широкий Божий мир человеком, с готовностью откладывая работу для смеха, шуток и ряда замысловатых анекдотов, что освежало окружающих, погрязших в работе, скучных счетах и дразгах.

\* \* \*

Литературная моя деятельность была начата в 1904 [\[1\]](#) году, и была она, как мне казалось, сплошным триумфом. Во-первых, я написал рассказ... Во-вторых, я отнес его в «Южный край». И в-третьих (до сих пор я того мнения, что в рассказе это самое главное), в-третьих, он был напечатан!

Гонорар я за него почему-то не получил, и это тем более несправедливо, что едва он вышел в свет, как подписка и розница газеты сейчас же удвоилась...

Те же самые завистливые, злые языки, которые пытались связать день моего рождения с каким-то еще другим праздником, связали и факт поднятия розницы с началом русско-японской войны.

Ну, да мы-то, читатель, знаем с вами, где истина...

Написав за два года четыре рассказа, я решил, что поработал достаточно на пользу родной литературы, и решил основательно отдохнуть, но подкатился 1905 год и, подхватив меня, закрутил как щепку.

Я стал редактировать журнал «Штык», имевший в Харькове большой успех, и совершенно забросил службу... Лихорадочно писал я, рисовал карикатуры, редактировал и корректировал, и на девятом номере

дорисовался до того, что генерал-губернатор Пешков оштрафовал меня на 500 рублей, мечтая, что немедленно заплачу их из карманных денег.

Я отказался по многим причинам, главные из которых были: отсутствие денег и нежелание потворствовать капризам легкомысленного администратора.

Увидев мою непоколебимость (штраф был без замены тюремным заключением), Пешков спустил цену до 100 рублей.

Я отказался.

Мы торговались, как маклаки, и я являлся к нему чуть не десять раз. Денег ему так и не удалось выжать из меня! Тогда он, обидевшись, сказал:

— Один из нас должен уехать из Харькова!

— Ваше превосходительство! — возразил я. — Давайте предложим харьковцам: кого они выберут?

Так как в городе меня любили и даже до меня доходили смутные слухи о желании граждан увековечить мой образ постановкой памятника, то г. Пешков не захотел рисковать своей популярностью.

И я уехал, успев все-таки до отъезда выпустить три номера журнала «Меч», который был так популярен, что экземпляры его можно найти даже в Публичной библиотеке.

\* \* \*

В Петроград я приехал как раз на Новый год. Опять была иллюминация, улицы были украшены флагами, транспарантами и фонариками. Но я уж ничего не скажу! Помолчу.

И так меня иногда упрекают, что я думаю о своих заслугах больше, чем это требуется обычной скромностью. А я — могу дать честное слово, — увидев всю эту иллюминацию и радость, сделал вид, что совершенно не замечаю невинной хитрости и сентиментальных, простодушных попыток муниципалитета скрасить мой первый приезд в большой незнакомый город... Скромно, инкогнито, сел на извозчика и инкогнито поехал на место своей новой жизни. И вот — начал я ее.

Первые мои шаги были связаны с основанным нами журналом «Сатирикон», и до сих пор я люблю, как собственное дитя, этот прекрасный, веселый журнал (в год 8 руб., на полгода 4 руб.).

Успех его был наполовину моим успехом, и я с гордостью могу сказать теперь, что редкий культурный человек не знает нашего «Сатирикона» (на год 8 руб., на полгода 4 руб.).

В этом месте я подхожу уже к последней, ближайшей эре моей жизни, и я не скажу, но всякий поймет, почему я в этом месте умолкаю.

Из чуткой, нежной, до болезненности нежной скромности я умолкаю.

\* \* \*

Не буду перечислять имена тех лиц, которые в последнее время мною заинтересовались и желали со мной познакомиться. Но если читатель вдумается в истинные причины приезда славянской депутации, испанского инфанта и президента Фальера, то, может быть, моя скромная личность, упорно державшаяся в тени, получит совершенно другое освещение...



# Нечистая сила

## Несколько слов по поводу этого, которое

Иногда усталому, притомившемуся путнику приходится на ночь остановиться в полуразрушенном замке, пользуемся в окрестностях дурной славой.

— Я вам, сударь, не советую искать ночлега в замке, — предостерегает путника встреченный на дороге поселанин. — Там нечистая сила пошаливает.

Но утомился путник, и не до того ему, чтобы разбираться, нечистая или чистая сила пошаливает в замке.

И вот всходит он по гулким каменным ступеням, покрытым щебнем и мягкой пылью... Луна заглядывает в огромные разбитые окна, а под покрытым черной паутиной потолком бесшумные летучие мыши чертят свои причудливые узоры... А внизу мышеписки, стрекотанье, вздохи и треск — не то разошедших половиц, не то неотпетых человеческих костей.

Завернулся усталый путник в свой плащ, лег — и пошло тут такое, от чего волосы наутро делаются белыми, взгляд надолго застывает стеклянным ужасом...

Много всякого выползло, вышагнуло, выпрыгнуло и закружилось около путника в безумном хороводе: незакопанные покойники с веревкой на шее, вурдалаки, нежить разноразнообразная, синие некрещенные младенцы с огромными водяночными головами и тонкими цепкими лапками, похожие на пауков, — шишиги, упыри, чиганашки — все, что неразборчивая и небрезгливая ночь скрывает в своих темных складках.

И кажется путнику, что уж нельзя больше выносить этого ужаса, что еще минутка, еще секундочка одна — и разорвется сердце от бешеных толчков, от спазма леденящего страха... Но чу! Что это? В самый последний, в предсмертный момент — вдруг раздался крик петуха — предвестника зари, света, солнца и радости.

Слабый это крик, еле слышный — и куда что девалось: заметалась, зашелестела вся нечисть, вся нежить, запищала последним писком и скрылась — кто куда.

А свет разгорается все больше и больше, а петух поет все громче и громче...

Здравствуй, милый петух!

Это не тот страшный «красный петух», что прогулялся по России от края до края и спалил все живое, это не изысканный галльский шантеклер, возвещающий зарю только в том случае, если ему будут уплачены проценты по займам и признаны все долги; это и не тот петух, после пения которого ученик трижды отрекся от своего божественного Учителя.

Нет, это наш обыкновенный честный русский петух, который бодро и весело орет, приветствуя зарю и забывая своим простодушным криком осиновый кол в разыгравшуюся в ночи нечистую силу.

Еще клубятся повсюду синие некрещенные младенцы, вурдалаки, упыри и шишиги — но уже раскрыт клюв доброго русского петуха — вот-вот грянет победный крик его...

А что это за нечистая сила, разыгравшаяся на Руси, — тому следуют пункты:

# Наваждение

Вы, которым шестьдесят лет, или даже вы, которым сорок лет, или даже вы, молокососы, которым только двадцать лет, — вы помните, как жила вся необъятная Россия совсем еще недавно?

Ну как же вам не помнить: ведь прежняя жизнь складывалась столетиями, и не скоро ее забудешь!

Каждый день вставало омытое росой солнышко, из труб одноэтажных домиков валил приветливый дымок, с рынка тащились хозяйки, тяжело нагруженные говядиной, рыбой, яйцами, хлебом, овощами и фруктами, — все это за рубль серебра, а если семья большая, примерно из 6 или 7 душ, — то и все полтора рубля оставляла хозяйка на грабительском рынке. Немало бывало и воркотни:

— Проклятые купчишки опять вздули цену на сахарный песок, вместо 13 с половиной дерут по 14 копейчек — мыслимо ли это? А к курице прямо и не приступись: шесть гривен за такую, что и смотреть не на что!

Веселой гурьбой рассыпались по городу школьники, и пока еще были 5 — 10 минут свободных до звонка — с озабоченными лицами производили покупки для своего многосложного обихода: покупали бублик за копейку, маковник за копейку, вареное яйцо за копейку, перо за копейку, — и только трехкопеечная тетрадь надолго расстраивала и расшатывала весь бюджет юного финансиста. Единственное, что служило ему утешением, — это что за те же три копейки тороватым продавцом к тетради прилагалась бесплатно переснимочная картинка; картинка эта очень скоро при помощи сложного химического процесса, в котором участвовала слюна и указательный палец, — занимала почетное место в углу первой страницы Малинина и Буренина.

Из всех кузниц, из всех слесарных мастерских с самого раннего утра несло бодрое постукивание — не диво ли? Кузнецы, слесаря, медники работали! А в другом месте свистящий рубанок плотника ловко закручивал причудливую, вкусно пахнущую сосновую стружку, а в третьем месте замасленный извозчик до седьмого поту торговался с прижимистым седоком из-за медного — о, настоящего медного — пятака:

— Верись совести, сударь мой, — сено-то нониче почем? По сорок копейчек за пуд дерут, оглоеды!

А в четвертом месте каменщики на постройке дома уже успели пошатаваться на обед, и — любо глядеть, как огромная корявая лапа, истово перекрестив лоб, тянет из общей миски ложку каши едва-едва не с полфунта весом.

А в пятом месте «грабители-купчишки», успев сделать неслыханное злодеяние — взвинтить на полкопейки цену за сахарный песок, уже выдули по громадному чайнику кипятку ценой в копейку и уже уселись за вечные шашки со своими «молодцами» или с соседним грабителем-купчишкой.

Из окон белого домика с зеленой крышей несутся волны фортепианных пассажей, причудливо смешиваясь с запахом поджаренного в масле лука и визгом ошпаренной кухаркой собачонки, — и даже полицеймейстер занят делом: приподнявшись с сиденья пролетки и стоя одной ногой на подножке, он распекает околоточного за беспорядок: у самой обочины тротуара лежит труп кошки с оскаленными зубами.

Да что там полицеймейстер? — даже городской сумасшедший, дурачок Трошка, выдумал себе работу: набрал в коробочку щепочек, обгорелых спичек, старых пуговиц и зычно кричит на всю площадь:

— А вот ягода садовая, а вот фрукта! Здравия желаем, ваше превосходительство!

Солнце парит, петухи, окруженные вечно голодным гаремом, чуть не по горло зарылись в пыль в поисках съестного — и только одни лентяи и оболтусы стрижи носятся в знойном воздухе безо всякого

смысла и дела.

А в воскресный день картина была иная — помните?

Нет уж кузнечных и слесарных стуков, над городом нависла прозрачная стеклянная праздничная тишина, и тишину эту только изредка разбивает густой басистый звон колокола соборной церкви; и, пролетев над городом, звон этот долго еще стелется гудящими волнами над прозрачной, как стекло, застывшей в зное прозрачного дня речкой, окаймленной осокой и вербами...

Тихо тут, и даже терпеливый воскресный рыболов, имеющий свои виды на пескаря или ершишку, — и тот не нарушает мертвой торжественной тишины — разве что иногда звучно вздохнет от напряженного ожидания.

А в городе так празднично, что прямо сил нет: у школьников накрахмаленные парусиновые блузы топорщатся, у каменщиков кумачовые праздничные рубахи топорщатся, волосы смочены лучшим лампадным маслом, лица с утра, пока не выпито, деревянно-торжественно-благословенные, и даже праздничный полицеймейстер в парадном праздничном мундире накрахмален вместе с лошадью, кучером и пролеткой.

Сегодня он не ругается — только что у обедни благословенно приложился к кресту и к руке отца протоппа — шутка ли?

А девушка из зеленого домика ради праздника, вместо гамм и упражнений, разрешила себе не только «Молитву Девы», но даже кусочек «Риголетто». А юная сестра ее с томиком Тургенева в руке тихо и чинно шагает в тенистый городской сад, и золотая коса, украшенная пышным лиловым бантом, еще больше золотится и сверкает на летнем воскресном солнце, а лицо — под полями соломенной шляпы — в тени, и такое это милое девичье русское лицо, что хочется нежно прильнуть к нему губами или просто заплакать от тихой сладкой печали и налетевшей откуда-то тоски неизвестного, неведомого происхождения.

В трактире Огурцова душно, накурено, пахнет пролитой на прилавок водкой и прокисшим пивом, но весело необыкновенно!

Гудит машина, и весь рабочий народ, как рой пчел, сгрудился около прилавка и за столиками, уставленными неприхотливой снедью: жареной рыбой, огурцами, битками с луком, яичницей-глазуньей ценой в пятиалтынный, — и целым океаном хлеба: черного, белого, пеклеванного — на что душа потянет.

Тяжелые стаканчики толстого зеленого стекла то и дело опрокидываются в отверстые бородастые, усаые пасти... Пасти крякают, захлопываются, а через секунду огурец звучно хрустит на белых, как кипень, зубах.

Да позвольте! Как же рабочему человеку не выпить? Оно и не рабочему хорошо выпить, а уж рабочему и бог велел.

Благословляю вас, голубчики мои, — пейте! Отдыхайте. Может быть, гармошка есть у кого? А ну, ушкварь, Вася! Расступись шире ты, православный народ! А ну, Спирька Шорник, покажи им где раки зимуют — не жалея подметок — жарь всюю — Фома Кривой за целковый новые подбросит. Эх, люди-братие! Поработали вы за недельку — так теперь-то хоть потряните усталыми плечами так, чтобы чертям было тошно! Эй, заворачивай-разворачивай! Ой, жги-жги-жги, говори!!

Пляшет Спирька, как бес перед заутреней, свирепо терзает двухрядку Вася, так что она только знай поеживается, да хрюкает, да повизгивает, а из собора, отстояв позднюю обедню, важно бредет восвояси купец с золотой медалью на красной ленте у самого горла под рыжей бородой. Не менее важно рядом с ним вышагивает кум-посудник, приглашенный на рюмку смородиновки и на воскресный пирог с рыбой,

визигой, рисом, яйцами — с чертом в ступе...

Праздничные сумерки тихо опустились над притихшим городом...

В садиках под грушей, под липой, под кленом — кое— кто пьет вечерний чай с вишневым, смородиновым или клубничным вареньем; тут же густые сливки, кусок пирога от обеда, пузатый графин наливки и тихий усталый говор... Через забор в другом садике наиболее неугомонные сговариваются насчет стучалки, а поэтический казначейский чиновник сидит на деревянном крылечке и, вперив задумчивые глаза в первые робкие звезды, тихо нащипывает струны гитарные...

Тссс... засыпает городок. Пусть: не будите, завтра ведь рабочий день.

Так вот и жили мы — помните?

Даже вы, двадцатилетние молокососы — нечего там, — должны это помнить...

\* \* \*

И вдруг — трах-тара-рах! Бабах!!!

Что такое? В чем дело? Угодники святые!

Кто это перед нами стоит, избочась и нагло поблескивая налитыми кровью глазами? Неужели ты, Спирька Шорник? Владычица Пресвятая, Казанская Божья Мать!! В чем же дело?

— А у том, собственно, — цедит сквозь зубы пренебрежительный Спирька, — что никакой Владычицы, никакой Казанской и нет, и все это был один обман и народная тьма. А есть Циммервальд, и есть у нас один вождь красного пролетариата, краса и гордость авангарда мировой революции — Лев Давидович Троцкий! Отречемся от старого ми-и-ра...

Вот тебе и пирог с визигой!

Было праздничное богослужение, народ трепетно прикладывался к кресту, а теперь взяли ни с того ни с сего и вздернули пастыря на той самой липе, под которой так хорошо пили чай со сдобными булочками, с малиновым и смородиновым вареньем.

И какое там, к черту, малиновое варенье, когда кислое повидло с тараканами 1500 рубликов фунт стоит.

А Спирька уже не шорник, а председатель совдепа, назначенный самим Совнаркомом, и скоро, поговаривают, будет назначен главкомвоенмором.

Позвольте, при чем тут главкомвоенмор? А где та девушка с золотой косой и томиком Тургенева под мышкой? Помните, та, что шла воскресным утром в тенистый городской сад?

— А! Неужели не слышали? Ее вместе с отцом, председателем Казенной палаты, доставили за контрреволюцию в чрезвычайку, а когда она выразила несогласие с системой допроса избитого отца — ее, как говорит русская пословица: «при попытке бежать застрелили».

— Опомнитесь! Есть ли у вас бог в душе!

— Говорят же вам, что декретом Совнаркома бог отменен за мелкобуржуазность, а вместо него — не хотите ли Карла Либкнехта плюс Розу Люксембург — многие одобряют!

Да, чуть не забыл! Казначейский-то чиновник... Помните, что еще играл по вечерам на гитаре...

— Ну? Ну?!!

— Уже не играет на гитаре. Разбили гитару об голову за отказ выдать ключи от казначейской кассы.

- Кто же это разбил?
- Председатель совнархоза.
- Это что еще за кушанье?!
- Помилуйте! Совет народного хозяйства. Всем продовольствием ведает.
- Да ведь продовольствия нет?!
- Это точно, что нет. А совнархоз есть, это тоже точно.

Дивны дела твои, господи. Тащила хозяйка за рубль серебра с рынка и говядину, и мучицу, и овощь всякую, и фрукту — и не было тогда совнархоза. Волос дыбом, когда подумаешь, как по-свински жили — безо всякого совнархоза, без агитпросвета и политкома обходились, как дикари какие-то... Убоину каждый день лопали, пироги, да поросенка, да курчонка ценой в полтину.

А нынче Спирька — главкомвоенмор, всюду агитпросветы и пролеткульты... У барышни, игравшей по воскресеньям «Молитву Девы», рояль реквизируют, школьники, бездумно переводившие намоченными пальцами переснимочные картинки, передохли от социалистической голодухи, а купца с медалью на красной ленте просто утопили в речке за то, что был «мелкий хозяйчик и саботировал Продком».

Каменщики уже не работают, плотничьи рубанки уже не завивают прихотливых стружек, а кузнецы если и постукивают, так не по наковальням, а по головам несогласного с их платформой буржуазията.

И не стрижи уже весело вьются, носятся над тихим городом... Имя этим новым, весело порхающим по городу птичкам иное — вороны, коршуны-стервятники. Вот уж кто питается — так на совесть!

Вот уж кому обильный Продком устроен!

Суммируя все вышесказанное — что, собственно, случилось?

В лето 1917-е приехали из немецкой земли в запечатанном вагоне некие милостивые государи, захватили дом балерины, перемигнулись, спихнули многоглавого господина, одуревшего от красот Зимнего дворца, спихнули, значит, и, собрав около себя сотню-другую социалистически настроенных каторжников, в один год такой совдеп устроили, что в сто лет не расхлебаешь.

Сидел Спирька Шорник у себя в мастерской, мирно работал, никого не трогал — явились к нему:

- Брось, дурак, работу — мы тебя главкомвоенмором сделаем. Грабь награбленное!
- А ежели бог накажет?
- Эва! Да ведь бога-то нет.
- А начальство?
- Раков в речке кормит.
- Да как же, наша матушка Расея...
- Нету матушки Расеи. Есть батюшка Интернационал.
- Да ну! Комиссия отца Денисия!

— Ну, брат, теперь комиссия без отца Денисия. Аки плод на древе, красуется колеблемый ветром отец Денисий.

Крякнул только Спирька, натянул на лохматую голову шапчонку и, замурлыкав пророческий псалом:

«Эх, яблочко... куда котишься?» — пошел служить в комиссию без отца Денисия.

Покатился.

\* \* \*

Ну что, голубчики русские... Обокрали нас, а! Без отмычек обокрали, без ножа зарезали...

И когда при мне какой-нибудь слащавый многодумец скажет:

— Что ни говорите, а Ленин и Троцкий замечательные люди...

Мне хочется спихнуть его со стула и, дав пинка — ногой в бок, вежливо согласиться с ним:

— А что вы думаете! Действительно, замечательные люди! Такие же, как один из учеников Спасителя мира — тоже был замечательный человек: самого Христа предал.

Так уж если Христа, самого бога, человек предал, то предать глупую, доверчивую Россию куда легче.

\* \* \*

И когда снова Спирька возьмется за свои седла и уздечки, когда снова ароматная сосновая стружка завьется под рубанком плотника, когда купец будет торговать, а не плавать, как тюлень, в проруби, когда тонкие девичьи пальцы коснутся клавиш не подлежащего реквизиции рояля, и хозяйки побредут с рынка, сгибаясь не под тяжестью ненужных кредиток, а под благодетельной тяжестью дешевых мяс, хлебов и овощей, когда неповешенный пастырь благословит с амвона свое трудящееся мирное стадо, когда в воскресном воздухе понесутся волны запахов пирогов с визигой, ароматной вишневки, когда вместо зловещего коршунья и воронья — в синем, теплом воздухе снова закружатся стрижи — я скажу:

— Велик бог земли Русской!.. Мы три года метались в страшном, кошмарном сне, и земной поклон, великое спасибо тем, которые, взяв сонного русака за шиворот, трянули его так, что весь сон как рукой сняло. Трянули так, что, как говорится, «аж черти посыпались».

Голубеет небо, носятся, как угорелые, стрижи, плывет святорусский звон колокола, и прекрасная белокурая девушка — символ новой, но вечно старой России — снова идет с книжкой в уютный тенистый сад, где ласково кивают ей зеленеющие ветви:

— Милости просим: отдохни, девушка! Слава в вышних Богу, на земле мир, в человецех благоволение...

— Отдохни, девушка.

Ах, как мы все устали, и как нам нужно отдохнуть.

И тем нужно отдохнуть, что бежали, преследуемые, и тем, что по канавам валялись расстрелянные, и тем, что гнили по чрезвычайкам, избитые, оплеванные, униженные грязной продажной лапой комиссара.

И этим нужно отдохнуть — вот этим самым комиссарам — всем этим Лениным и Троцким, Зиновьевым, Каменевым, Луначарским, Дыбенкам — имена же их ты, дьяволе, веши — и они поработали усердно и имеют право на сладкий отдых...

И отдых им один, отдых до конца дней их, до тех пор, пока огонек жизни будет теплиться в них: «Отдых на крапиве!..»

## Добрые друзьяза рамсом

Мы, обыкновенные люди, так уж устроены, что не любим ничего абстрактного. Нам подавай конкретное, покажи нам такое, чтобы мы могли не только пощупать собственными руками, а, пожалуй, еще и понюхать, а, пожалуй, еще и лизнуть языком: «Сладко ли, мол? Не кисло ли?»

Вот только тогда мы, действительно, всеми чувствами нашими поймем, «що воно таке».

Например, я: сколько ни читал сухих, очень дельных исторических монографий об Екатерине Второй и Потемкине — все не мог себе живо представить: что это были за люди во плоти и крови?

Сухая передача их дел и подвигов ни капельки не волновала меня и не заставляла работать мое воображение.

И представились они мне ясно, во весь рост, только тогда, когда я прочитал следующие несколько строк, брошенных вскользь русским писателем.

О Потемкине... «Минуту спустя вошел в сопровождении целой свиты величественного роста, довольно плотный человек в гетманском мундире, в желтых сапожках. Волосы на нем были растрепаны, один глаз немножко крив, на лице изображалась надменная величавость, во всех движениях была привычка повелевать». И дальше: «Потемкин молчал и небрежно чистил небольшой щеточкой свои бриллианты, которыми были унизаны его руки».

То же и об Екатерине II: «...Вакула осмелился поднять голову и увидел стоящую перед собой небольшого роста женщину, несколько даже дородную, напудренную, с голубыми глазами и вместе с тем величественно улыбающимся видом... — «Светлейший обещал меня познакомить сегодня с моим народом, которого я еще не видала», — говорила дама с голубыми глазами, рассматривая с любопытством запорожцев». И дальше: «Государыня, которая точно имела самые стройные и прелестные ножки, не могла не улыбнуться, слыша такой комплимент из уст простодушного кузнеца...»

Всего несколько пустяковых штрихов — и обе фигуры стоят передо мной как живые.

\* \* \*

Сейчас — нет спору — в России две самые интересные фигуры — Ленин и Троцкий. И за ними еще две — Горький и Луначарский.

А как мы можем их себе представить конкретно, этих живых людей, которые ходят, говорят, едят и любят?

Не по сухим же советским сводкам, не по очередному же выступлению Троцкого в ЦИКе, не по бескровным же унылым и вялым фельетонам Горького и Луначарского.

Поэтому и отношение у нас к ним такое, как к героям отечественной сказки, происходящей в некотором царстве, в тридевятом государстве, где бесшумно и бесплотно бродят какие-то абстрактные символы.

Нет, ты возьми каркас, скелет их возьми, да обложи его мясом, да перетяни сухожилиями, да обтяни кожей, да наполни живой теплой кровью, да заставь их ходить и говорить — вот я тогда сразу представлю себе, что такое Троцкий и Луначарский.

Да моему сердцу одна пустяковая фраза Ленина, оброненная мимоходом: «Товарищ Марфушка, ты опять к столу теплый монополь-сек подала? Ну что мне с тобой, дурищей, делать?!» — скажет больше, чем

целая его декларация о текущем моменте, произнесенная на съезде перед сотней партийных дураков!..

И поэтому я иногда сам, для собственного удовольствия, представляю — как они там себе живут?

Одно лицо, приехавшее из Совдепии и заслуживающее уважения, рассказывая о тамошнем житье-бытье, бросило вскользь фразу:

— С Горьким у них дружба. Луначарский по вечерам ездит к Горькому в рамс играть. Иногда и Троцкий заезжает. Выпьют, закусят... Жизнь самая обыкновенная.

Стоп! Довольно. Больше ничего не надо.

Схватываю двумя пальцами эту маленькую закорючку хвостика и вытаскиваю на свет божий целую конкретную картину.

\* \* \*

Кабинет Максима Горького. Зимний вечер. По мягкому ковру большими неслышными шагами ходит Горький, и спустившаяся прядь длинных прямых волос в такт шагам прыгает, танцует на квадратном лбу. Руки спрятаны в карманы черной суконной куртки, наглухо застегнутой у ворота, весь вид задумчивый.

На оттоманке в углу уютно устроилась с вязаньем жена его — артистка Андреева, управляющая ныне всеми столичными театрами.

— О чем задумался? — спрашивает Андреева.

— Вообще, так... Сегодня на Моховой видел человека мертвого: не то замерз, не то от голода. И все проходят совершенно равнодушно, а многие, вероятно, думают: завтра свалюсь я — и пройдут другие мимо меня так же равнодушно. Ужас, а?

— Сегодня ждешь кого-нибудь?

— Да, Луначарский звонил, что заедет. Троцкий с заседания обещал завернуть. Кстати, у нас закусить чего-нибудь найдется?

— Телятина есть холодная, куском. Макароны могу велеть сварить с пармезаном. Рыба заливная... Ну, консервы можно открыть. Сыр есть.

— А вино?

— Вино только красное. Портвейну всего три бутылки. Впрочем, водки почти не начатая четверть, та, что на лимонной корке настоял... А! Анатолий Васильевич... Забыли вы нас: три дня и глаз не казали. Нехорошо, нехорошо.

В дверях стоял, сощурив темные близорукие глаза, Луначарский и, облизывая языком ледяную сосульку, повисшую на рыжеватом усе, — усиленно протирал запотевшее в жаркой комнате пенсне.

— Холодище, — пробормотал он хриловатым баритоном. — Я думаю, градусов 20. Мерзнет святая Русь, хе-хе. Ну что ж нынче — сразимся? Только если вы мне вкатите такой же ремиз, как третьего дня, — прямо отказываюсь с вами играть.

— А что же ваша супруга? — любезно спросила Марья Федоровна, складывая рукоделие.

— Да приключение с ней неприятное. Так сказать: приключилось умаленькое инкоммодите! [2] Пошла вчера вечером пешком из театра — прогуляться ей, вишь, захотелось, это при двух-то автомобилях! — в темноте споткнулась на какой-то трупнице, валявшийся на тротуаре, упала и все плечо себе расшибла. Такой синяк, что...



— Какой ужас! Компресс надо.

— Не по Моховой шла? — задумчиво спросил Горький.

— Ну где именье, где Днепр!.. При чем тут Моховая? А Лев Давидыч будет?

— Обещал заехать после заседания. А здорово, знаете, он играет в рамс. Умная башка!

— А жарковато у вас тут! Ф-фу!

— Да... Маруся любит тепло. Это у нее еще из Италии осталось.

— Анатолий Васильевич! Могу сообщить вам новость по вашей части: у нас почти весь сахар кончился.

— Отложил для вас полтора пудика. А мука как, что вчера послал, — хороша?

— О, прелесть. Настоящая крупчатка. Где это вы такую достали?

— А мне знакомые латыши спроворили. Очень полезный народ. Все как из-под земли достают. Например, любите малороссийскую колбасу?..

— Злодей! Он еще спрашивает!

— Слушаюсь! Будет. А вот и наш Леон Дрей. По гудку узнаю его автомобиль.

В кабинет вошел, молодцевато подергивая обтянутыми в коричневый френч плечами, Лев Давидыч Троцкий. На крепких бритых щеках остался еще налет тающего инея, желтые щегольские гетры до колен весело поскрипывали при каждом шаге.

— Драгоценная Мария Федоровна! Ручку. Здорово, панове! А я, простите, задержался — на пожаре был.

— Где пожар?

— На Глазовой. Эти каналы от холода готовы даже дома жечь, чтобы согреться. Я двух все-таки приказал арестовать — типичные поджигатели.

— Ну не будем терять золотого времени, — хлопотливо пробормотал Луначарский, поглядывая на золотые часы. — Кстати, Левушка, об аресте... Помнишь, я тебя просил за того старика профессора, что сдуру голодный бунт на Петроградской стороне устроил? Выпустили вы его?

— Ах, да! К сожалению, поздно ты за него попросил. Звоню я в чрезвычайку на другой день, а его только что израсходовали. Еще тепленький.

— А, черт бы вас разодрал! И куда вы так вечно спешите. Ведь совершенно безобидный старик. Три дочери от голодного тифа скапустились. Он и того... Кому сдавать? Вам, Алексей Максимыч. Так-с. Я не покупаю. Ну зайдём с валетика, что ли. А это как вам понравится? А это!! Хе-хе... Все пять — мои; пишите ремизы.

Вошла горничная.

— Домна спрашивает — телятину подогреть?

— Наоборот, — поднял голову от карт Алексей Максимыч. — Красное вино подогрей, а телятина пусть холодная. С огурчиком.

\* \* \*

— Господа, пожалуйста закусить. Вам телятинки сначала, рыбки или макарон? Рюмочку лимонной! Сам настаивал, хе-хе.

\* \* \*

Так они и живут, эти приятели, так дорого обошедшиеся России.

# Город чудес

*Написано Аркадием Аверченко при любезном содействии его коллеги Герберта Джорджа Уэллса, эсквайра*

Получив соответствующее разрешение, компания американских миллионеров-предпринимателей выпустила на купленный за чертой города участок земли целую тучу архитекторов, инженеров и, главное, специалистов по всем отраслям предполагаемого предприятия — самым мельчайшим.

Весь участок обнесли высочайшим забором, и только на южной стороне ограды были проделаны монументальные ворота с огромной вывеской, на которой горела и сверкала всеми цветами радуги огненная надпись:

«Город Чудес».

А ниже:

«День пребывания в Городе Чудес и осмотра его стоит 5 миллионов руб. Спешите! Лучшая аттракция мира! Важно для русской «взыскующей града» души!!».

Бесперывная адская работа кипела 3 месяца.

Наконец последняя гайка была привинчена, последний гвоздик вбит куда следует — и предприятие было объявлено открытым для широкой публики.

\* \* \*

Беря у входной кассы билеты и платя за них жирную пачку керенок в пятьдесят тысяч, Иван Николаевич Трошкин говорил своему другу Филимону Петровичу Грымзину:

— То есть, знаешь, — если бы не так дорого драли, — ни за что бы не пошел!

— Еще бы, — рассудительно поддакивал Грымзин, — этикие деньжища не жалко и заплатить.

— Чего это они нам покажут?

— Говорят тебе — Город Чудес. Значит, чудеса будут — ясно!

— Пожалуйста сначала в контору, ваше сиятельство, — сказал швейцар, снимая фуражку и изгибаясь в три погибели.

— Слышь ты, — толкнул локтем приятеля Грымзин. — Чудеса, брат, уже начались. «Сиятельством» назвал.

В конторе щеголевато одетый клерк почтительно вручил им какую-то проштемпелеванную бумажку и указал на кассовое окошечко:

— Там получите деньги на расходы!

И когда кассир пододвинул им столбик золотых монет, рублей на двести, на столько же романовских и целую кучу серебряных рублей и мелочи — оба друга только промычали что-то и, боясь громко ступить по вылощенному паркету, направились к выходу.

Вдруг Трошкин застыл перед огромным, висящим на стене отрывным календарем и, не могши вымолвить слова, только головой дернул:

— Смотри!

На календаре было: «1908 год. 18 августа».

— Виноват, — робко обратился к клерку Трошкин. — Какое у нас сегодня число?

— 18 августа.

— А... год?

— Неужели не знаете? 1908-й. Тут же написано.

— Ну-ну, — покрутили головой друзья.

Вышли. Ошарашенные, зашагали по городу.

По улице мчался мальчишка, оглашая воздух неистовыми воплями:

— Ин-те-рресные газеты: «Новое Время», «Русское Слово», «Речь»!! «Биржевка»!! [3]

— Постой, постой! За какое число «Новое Время»?

— Ясно — за сегодняшнее.

— Сколько тебе?

— Две за «Биржевку», пятак за «Новое Время»!

— Ф-фу!! Зайдем-ка в кафе, почитаем. Барышня! Два кофе по-варшавски, полдюжата пирожных. Ну-ка, что они там пишут?.. Гм! Статья Меньшикова [4]:

«Сколько раз мы уже твердили о том, что Финляндия готова предать Россию в первый же удобный момент. Еврейская левая пресса, которая спит и видит — поднять в России революцию...»

— А посмотри хронику.

— Изволь. «Его Величество Государю императору имели высокую честь представляться представители тамбовского дворянства. Выслушав речь предводителя дворянства, Его Величество соизволил ответить: «Рад слышать, что тамбовские дворянские традиции остались неизменны». — «Увольняется в полугодовой отпуск д.с.с. Криворучко». — «Орденом Станислава 3-й ст. награждается старший советник градоначаль...»

— Буренинский фельетон есть?

— Все на своем месте.

— Кого ругает-то?

— Валерия Брюсова.

— А, брат Ваня? Каково! Времена-то какие!..

— Барышня, получите. Сколько? 75 копеек? Дороговато. Хи-хи!

Вышли. На улице их внимание привлекла масса зеленых и розовых билетиков, наклеенных на парадных дверях.

— Чего это, Ваня?

— Квартиры все сдаются. Время осеннее скоро — сам понимаешь!.. А это что за вывеска... Во, брат! «Доминик». Зайдем... А? У буфета по рюмочке... А? С пирожком, а?

У буфетного прилавка толпилось много делового народа.

— Я, — говорил один другому, — могу продать вам вагон сахару по четыре с полтиной за пуд.

— Ваня... Что же это?

— Статисты, нешто не понимаешь. Для нас все эти разговоры. Для нас поставлены. Да-с — не зря деньги содрали. Буфетчик! Пирожки-то свежие?

— Помилуйте! Вам ординарную или двуспальную, за гривенник?

— Ваня! Обедать хочу, шампанского хочу, музыки хочу! Всего хочу. Деньжищ-то у нас уйма. 498 с полтинником осталось. Это из пятисот-то, Ваня. Спервоначалу обедать, потом в театр, потом в шантан.

Вышли. Пошли к «Медведю». Пообедали. Снова вышли.

— Ваничка, голубчик мой!!! Ей-богу, городской стоит. Ваня, пойдём поцелуем. Не могу я видеть равнодушно. Стоит, голубчик, глазками смотрит. Гор-родовой!!

Не спеша приблизился городской.

— Чего орешь зря? В участок захотел?

— Ваня... Слова-то какие: «орешь», «участок»!.. Городской! Я протестую. Почему у вас не старая жизнь? Почему вы новые революционные порядки вводите?

Лицо городского приняло сразу новый, интеллигентно-испуганный вид.

— Что вы, мистер? Этого у нас не может быть. Помилуйте, наша фирма...

— А вон, почему на углу очередь стоит? Разве в хорошее время очередь стояла?

— Это же на Шаляпина, сэр, всегда бывала, сэр.

И тут же вывернулся на проезжавшего извозчика:

— Я т-тебе покажу, дьявол желтоглазый... Не знаешь, какой стороны держаться?! Экие шалманы!..

— Барин, пожалуйста за четвертачок... Куда надо?

— Ваня! Изнемогаю от счастья. Три бутылочки шампанского мы с тобой охолостили, а я изнемогаю не от шампанского, а от радости бытия, Ваничка... Ваня, в театр бы ахнуть!..

С таинственным видом приблизился барышник.

— Билетиков у кассы не достанете. Желаете у меня? Второго ряда, вместо восьми целковых — десять только и возьму. Пожалуйста-с.

В театре Филимон Петрович снова ахнул:

— Ваня! Кто это там с хором на сцене на коленках стоит? Неужто ж Шаляпин?! Ах, голубчик ты мой! Это значит Высочайшее-то присутствие, а? Что делается... Все, как раньше... Ах, молодчины американцы!

И с переполненным сердцем влез Ваня на стул и завопил радостно:

— Товарищи... Нет, извините, к черту товарищей... Граждане!! Жертвую от полноты чувств на американский Красный Крест сто тысяч!!

Подошел капельдинер. Снял Ваню со стула и внушительно шепнул:

— Сэр! Вы, очевидно, не рассчитали. Сто тысяч золотом, — а других денег мы не признаем! — там за оградой будут стоять миллиард вашими... Опомнитесь.

И сел Ваня на стул, и горько заплакал Ваня...

В красивую, полную пышной грезы и блеска, жизнь — ворвалась пошлая, тяжелая проза, и сразу потускнела вся американская позолота, и сделался жалким комедиантом стоящий на коленях актер, так великолепно загримированный Шаляпиным...

# Отрывок будущего романа

(Написано по рецепту «Алой Чумы» [\[5\]](#))

## 1

В тысяча девятьсот таком-то году большевики наконец завоевали всю Россию. Вне их власти остался только Крым, который и висел небольшим привеском на неизмеримом пространстве холодной и голодной Совдепии, как болтается несъедобный золотой брелок на огромном брюхе голодного, отощавшего людоеда.

Что касается окружающих государств, то они выстроили по всей границе высокую крепкую стену, напутали на гребне ее колючей проволоки и вывесили огромные плакаты через каждые пятьсот шагов:

«Вход посторонним строго воспрещается».

Совдепия была предоставлена самой себе.

Ни ввоза, ни вывоза; ни торговли, ни промышленности; ни законов Божеских, ни законов человеческих; ни наук, ни искусств...

Как человеческая голова, которую заботливая рука не стрижет, не бреет и не моет, постепенно зарастает дремучим волосом и наполняется тучей насекомых, так и бывшая Россия как-то заросла дремучими лесами, высокой травой, и в лесах и в траве развелось неисчислимое количество волков и медведей, лосей, зубров, лисиц и оленей...

Иногда стадо диких свиней смело перебегало заброшенный, запорошенный многолетней пылью, заросший маками и кашкой, ржавый рельсовый путь, иногда зоркая рысь, притаившись в мрачной развалине фасада ситценабивной или бумагопрядильной фабрики, часами подстерегала серого зайчишку; орлы вили гнездо в поломанных, лишенных стекол трубах разрушенных обсерваторий... А в стенах бывшего Московского университета свила гнездо страшная шайка разбойников-китайцев, от которых трепетала вся округа.

Население разделялось на три резко обособленных касты или племени: племя совнаркомов, племя исполкомов и племя трудообязанных...

Племя совнаркомов состояло всего из одного человека: неограниченного правителя Совдепии Миши I, сына покойного неограниченного правителя Льва I, из рода Троцких. Монархический принцип вводился постепенно и так незаметно, что никто даже не почухался, когда Льва I похоронили в усыпальнице московских государей.

Племя исполкомов было нечто вроде воевод — оно правило. Каждый исполком состоял из одного человека и отчитывался только перед совнаркомом Мишей I.

Племя трудообязанных работало, сеяло хлеб, охотилось на зубров, шило одежды из звериных шкур и курило вино, за что получало от исполкомов право на жизнь и одну треть сработанного в свою пользу. Другая треть шла исполкому, третья — совнаркому Мише.

Население городов жило в землянках или юртах из оленьих шкур, остальные спали в дуплах вековых деревьев, в пещерах или просто шатались по степи, подстерегая диких кабанов и медведей.

\* \* \*

Стоял тихий погожий вечер лета 1950 года... На опушке огромного леса у развалины корня высокой корявой сосны весело пылал костер, вокруг которого расположились трое: сухая, коричневая сморщенная старуха, завернутая в лохмотья засаленной плюшевой портьеры, и двое мальчишек, задрапированных волчьими шкурами. Каждый из них был вооружен топориком из остро отточенного кремня, насаженного на дубовую палку.

— А где старший брат? — спросила старуха, обгрызая желтыми зубами волчью кость.

— Мы его делегировали на пленарное заседание Совнархоза. Люди нашего племени поймали нескольких эсеров-интернационалистов. Теперь идут дебаты о том — съесть ли их или выменять на некоторых из нашей коммунистической ячейки, попавших в плен к интернационалистам.

— О, наказание! — воскликнула старуха. — И когда эта проклятая война кончится?! Эх, если бы он хоть кусочек этого интернационалиста домой принес.

— Да, дожидайся, — проворчал внук. — Помнишь того англичанина, который семь лун тому назад перелетел к нам через стену на какой-то странной штуке... Поймали его наши и тут же слопали — даже полпальца не принесли... А когда отец с охоты вернется?

— Солнце шести раз не покажется на востоке, как он будет здесь. Исполком дал ему определенный мандат. Что это у тебя в руках?

— А я когда на куропаток силки ставил, нашел в лесу... Что-то вроде ореха, да я никак не мог разгрызть.

— Покажи-ка, — с любопытством попросила старуха. — Да это гайка!!

— Что это значит: гайка?

— Этими штуками когда-то рельсы скреплялись.

— Какие рельсы?

— Железная дорога. Из железа.

— Какое странное слово: железо.

— Да ты ж видел у меня в числе фамильных драгоценностей гвоздь? Знаешь, такой стержень со шляпкой. Это и есть железо.

— Да как же из этого можно целую дорогу сделать? В землю эти гвозди один около другого вколачивались, что ли?

Старуха заметила, что внук слишком далеко хватил, и усмехнулась:

— Ну, брат, это ты, действительно, ахнул. Из железа делались рельсы... Такие длинные-предлинные палки... И по ним быстро бегали железные дома, в десять раз больше нашего.

— Сколько же лошадей нужно было для этого?!

— Зачем лошади? Воды в котел нальют, дровец подбросят, оно и летит — никакой лошади не догнать.

— Кто ж это делал?

— Инженеры.

— Они вкусные?

— Не знаю, не пробовала. Когда я была молодая — за меня один инженер сватался.

— Чего-о?

— Ты этого слова не поймешь. Жениться хотел. Руку мне свою предлагал. Я отказалась.

— Вот дура-то старая. От руки отказалась! Взяла бы и съела. Она нежная.

— Ох, как с вами трудно разговаривать!

И потом мечтательно улыбнулась:

— Он мне записки писал...

— Что это значит: «писал»?

— Брали такую палочку с железной штучкой на конце, обмакивали в черную краску и делали на бумаге знаки.

— Какое смешное слово: бумага.

— Да ты разве не видел? У меня в числе фамильных драгоценностей один трамвайный билет есть. Если поймаешь зайца — покажу.

Наступило молчание. Костер тихо потрескивал, догорая.

Один из внуков потянулся, засмеялся и сказал:

— Вчера новый приезжий, кооптированный от Пролеткульта, чуть не женился на нашей соседке: схватил за волосы и потащил в лес.

— Что ж ее прежний жених?

— Он вынес резолюцию протеста, осуждающую это самочинное выступление без мандата от исполкома.

— А формула перехода к очередным делам?

— Обыкновенная: зарезал приезжего топориком, а невесту привязал к дереву и содрал скальп.

— Какая прелесть! Совсем роман!

— Чего-о-о-о?..

Но старуха молчала, задумавшись о прошлом...

Все было безмолвно, только слышался далекий олений рев в чаще да порсканье охотившейся за совой рыси на опушке.



# Международный ревизор

*Начало комедии*

Действие происходит в Москве в кремлевских палатах.

*Троцкий.* Я пригласил вас, господа, чтобы сообщить вам пренеприятное известие: к нам едет международная комиссия!

*Луначарский.* Как комиссия?!

*Петерс.* Как комиссия?!

*Ленин.* Вот не было заботы, так подай!..

*Троцкий.* По своей части я кое-какие распоряжения сделал — советую и вам. Особенно вам, Петерс! Комиссия, конечно, захочет осмотреть чрезвычайки — так уж сделайте так, чтобы все было прилично. А то у вас на заключенных посмотреть страшно: худые, голодные, в синяках и кровоподтеках.

*Петерс.* Кровоподтеки белилами замазать можно.

*Троцкий.* Ну, да уж я не знаю, что там полагается. Можно бы также всех заключенных одеть в боярские костюмы и чтобы они, как придет их осматривать комиссия, проплясали бы перед комиссией русскую. Хотя... как мы их заставим?..

*Петерс.* Это можно. Я им надену сапоги с гвоздями внутри. Уж будьте покойны: на месте не устоят, тут тебе и русскую, и французскую, и испанскую всякую отпляшут.

*Троцкий.* Потом у вас там эти разные аппараты, которые вы... этого... употребляете при допросах. Оно, конечно, может, так по-вашему, по-ученому, и надо, а все же, если комиссия увидит все эти ваши зажималки для пальцев, прессы да резины — ан и нехорошо. Впечатление может получиться не того...

*Петерс.* А мы на дверях этой комнаты напишем «гимнастический кабинет». Кстати же, англичане любят спорт.

*Троцкий.* Вам виднее; только смотрите, чтобы англичане не стали сдуру на себе пробовать этой гимнастики... Вам также, товарищ Луначарский... Советую обратить внимание на учебные заведения. Очень уж мало в них учебного. Намедни захожу, а ученицы на коленях у учеников сидят и кокаин нюхают. Может быть, оно так для усвоения научных предметов и надо, да французы из комиссии ведь народ легкомысленный, примут ваше учебное заведение за что-либо другое и начнут между партами канкан плясать...

*Луначарский.* Да ведь сами же вы говорили, чтобы в школах была полная свобода. Впрочем, однако, насколько я знаю, и раньше, при полицейско-бюрократическом режиме, ученики и ученицы в наказание бывали на коленях.

*Троцкий.* Так ведь то на собственных, а не на чужих. И по вашей части, товарищ комендант города, тоже попросил бы... Вы позволяете жителям ходить по городу почти без всего: эта дрянная публика наденет только сверх рубахи рваный пиджачишко, а внизу ничего нету!

*Комендант.* Слушаю-с... Мы таких на время приезда комиссии выберем всех из города да на общественные работы и погоним.

*Троцкий.* А ежели комиссия будет вообще останавливать на улицах прохожих да спрашивать: «Довольны ли жизнью?» — то чтоб говорили: «Всем довольны, господа сэры или там мусью». А который будет недоволен, мы ему после такое неудовольствие пропишем!.. Впрочем, это уж по вашей части,

Христиан Иванович.

*Петерс.* Будьте покойны!.. Мы его, недовольного-то, сразу же в гимнастический кабинет. Тама останется доволен!..

*Троцкий.* Вообще я бы отобрал из жителей человек сто тех, которые посытее да повеселее, подкормил бы их еще до приезда комиссии да и выпустил бы на улицу: пусть все время по пути следования комиссии на глаза подвертываются. Да развесить им на шеи медальон с портретом Карла Маркса! Пусть видят иностранцы, какие мы есть социалисты. А который каналья сбросит с шеи портрет, я ему такую пеньковую цацу навешу... Впрочем, это по вашей части, Христиан Иванович.

*Петерс.* Будьте благонадежны.

*Троцкий.* Да вот еще что: тут за последнее время вы, товарищ Луначарский, наставили памятников — как, бывало, раньше Держиморда фонари ставил — кому нужно, кому и не нужно. Тут тебе и Урицкому, и Стеньке Разину, и Робеспьеру, и Нахамкису, и Емельяну Пугачеву. Наши-то «товарищи» ничего — слопают... А перед иностранцами как-то неловко. Снять бы их, что ли! И что это, ей-богу, за скверный город! Только поставь где-нибудь один памятник — сейчас же целую сотню всякой дряни нанесут и наставят.

*Луначарский.* А как же быть с вашим памятником?

*Троцкий.* Ну, мой можно оставить. Только временно надпись на нем переделайте. Напишите: Гарибальди, что ли.

*Луначарский.* Да ведь Гарибальди с большой бородой!

*Троцкий.* Ну, времени столько прошло, что мог успеть и побриться. Кажется, теперь все. Фф-фу!.. Ну, вот комедия и кончена!..

*Луначарский.* Вы думаете — кончена? Я думаю, она только после приезда международной комиссии и начнется!..

## Моя старая шкатулка

У меня есть старая шкатулка палисандрового дерева, выложенная по крышке инкрустацией, — совсем такая, какую возил с собой Павел Иванович Чичиков.

Я свою тоже теперь вожу за собой.

С сентября позапрошлого года.

А раньше она стояла в углу кабинета моей петербургской квартиры и служила хранилищем трофеев побед моей горничной надо мной.

Дело в том, что у меня с моей горничной шла глухая, тайная, незаметная, но свирепая, неумолимая борьба. Всякий из нас терпел свои поражения и одерживал победы, но на ее долю приходилось побед больше, чем поражений...

Каждый день утром, сидя за письменным столом, я просматривал корреспонденцию и прочитанное, ненужное бросал на пол; просматривал поданные счета и, отметив в записной книжке итоги на предмет уплаты, счета бросал на пол, вынимал содержимое боковых карманов, отбирал ненужное — бросал на пол. И уходил из дому.

А потом являлась горничная, тщательно подметала пол, а все брошенное не менее тщательно собирала и аккуратной пачкой засовывала между подсвечником и часами около чернильницы на письменном столе.

Приходил я. Замечал засунутую пачку; бросал на пол.

Приходила она. Собирала с пола. Засовывала между подсвечниками и часами.

Приходил я. И, признав себя побежденным, совал всю пачку в старую шкатулку палисандрового дерева с инкрустацией.

Замечательнее всего, что у нас с горничной никогда не было разговора об этом. Ведь смертельно враждующие армии не ведут между собой переговоров. Не правда ли?

\* \* \*

Мой отъезд из Петербурга был вынужденно срочным, лихорадочно поспешным. Уезжая, я совал в большой чемодан первое, что подворачивалось под руку...

Так и увез с собой палисандровую шкатулку.

А сегодня — открыл ее и стал перебирать старое, пожелтевшее, основательно забытое.

В этой шкатулке нет ни золотых локонов, ни медальонов с портретом любимой, ни засохших и рассыпающихся при первом прикосновении цветов.

Выбираю из беспорядочной, перемешавшейся от дорожной тряски груды первое попавшееся:

Ресторан «Вена». Счет. Итог — 270 рублей.

Что такое?!

А-а... Помню! Праздновал в большом кабинете свои именины, 26 января. Гостей 24 персоны.

А ну, посмотрим:

«Закуска» холодная, водки различные	42 р.
« — // —» горячая 4 сортов	36 р.
Ужин из 3-х блюд со сладким на 24 перс.	30 р.
Вино стол. и десер. 12 б.	21 р.
Кофе и ликеры	38 р.
Шампанское франц. 7 б.	56 р.
« — // —» Абрау 5 б.	20 р.
Фрукты	23 р.
Еще шампанское 2 б. Асти	7 р.
	<b>Итого 270 р.</b>

Помню я эти именины... Хозяин «Вены» — незабвенный покойник Иван Сергеич Соколов — постарался: украсил мое место цветами и за свой счет, в виде подарка, отпечатал юмористическое меню на 24 персоны.

Вот оно: огромное красное «26 января», а под ним:

«Закуски острые, сатириконские; водка горькая, как цензура; борщок авансовый; осетрина по-русски без опечаток; утка — не газетная; трубочки с кремом à la годовой подписчик».

Бедный остряк, Иван Сергеич... И косточки твои, вероятно, уже рассыпались.

Бросаю на пол и счет и меню — пойдика подбери снова это все, моя петербургская горничная!..  
Далеко ты.

Беру следующую бумажку:

«Дорогой Аркадий! Погода хорошая. Бери на Конюшенной таксомотор: поедем покатаемся на Стрелку. Можно и к Фелисьену».

Н-да-с. Катались раньше мы. Пили кровушку.

На пол бумажку! Следующая:

«Зачем презираете скромную Финляндию? Райвола и мой замок [6] по вас соскучились. Приехали бы и Радакова [7] привезли. Ах, какой у него чудесный рисунок — «Песня голода» [8]. Ждем. Ваш Леонид Андреев ».

Благоговейно откладывая в сторону. Рука, набросавшая эти торопливые строки, уже не будет скользить пером по бумаге.

Спи крепко и спокойно, любимый писатель и человек.

А это что?

«Аркадий, выкупай заложников...

...Сидим у Давыдки, в безумной оргии прокутили 7 р. 20 коп., а нет ни соверена. Твои заложники жизни П. Маныч, Сергей Соломин [9] и др.».

Сергей Соломин умер давно. Петр Маныч, говорят, расстрелян, да и «др.», я думаю, едва ли уцелели...

На пол, на пол!..

«Солнышко мое! Тысячу раз целую и нежно обним...»

Гм!.. Нет, это не то. А вот!!

«Аркадий! Управляющий конторой мне передал, что ты распорядился повысить цену на «Сатирикон» с 12 к. до 15 к. Не делай этого безумства, не роняй тираж. Ты знаешь, что значит для читателя 3 копейки. Твой Ре-Ми».

Призадумался я... Ре-Ми где-то за границей, а я в Севастополе, а петербургский читатель, рассчитывавший в 3-х копейках, купил, вероятно, недавно на последние полторы тысячи полфунта плохо выпеченного хлеба, съел и тихо отправился туда, где и Иван Сергеич Соколов, и Леонид Андреев, и Гейне, и Шекспир.

Мимо, мимо.

Это еще что такое?

«Г. Аверченко! У меня почти все комнаты пустуют. Не направите ли ко мне хорошего жильца? С почтением ваша бывшая квартирная хозяйка И. М.».

Этот жакет и сейчас у меня. Еще на прошлой неделе портной за перемену истершейся шелковой подкладки на коленкоровую взял 17 000 рублей.

Телеграммы:

«Дорогой дружище. Это лето я свободен. Если будет месяца 2 времени — поедем север Африки, проберемся Египет, если месяц — успеем Венеция или Нормандия».

Да. Ездили. Весь мир был наш.

«Магазин Вейс. Счет. 2 пары ботинок на пуговицах, с замшевым верхом — 36 р., одна пара туфель открыт, фрачн. — 16 руб.».

Ожесточенно комкаю. Бросаю.

А вот и еще записочка. Какая милая записочка, жизнерадостная: «Петроград. 1 марта.

Итак, друг Аркадий — свершилось! Россия свободна!! Пал мрачный гнет, и новая заря свободы и светозарного счастья для всех грядет уже! Боже, какая прекрасная жизнь впереди. Задыхаюсь от счастья!! Вот теперь мы покажем, кто мы такие. Твой Володя».

Да... показали.

Опускаю усталую голову на еще неразобранную грудку, и — нет слез, нет мыслей, нет желаний — все осталось позади и тысячью насмешливых глаз глядит на нас, бедных.

## История — одна из тысячи

К петербургскому гражданину свободной Советской России явился человек из комиссариата и сказал:

— Вы — Григорий Недорезов?

— Я — Григорий Недорезов.

— Вы назначены быть на митинге завтра около цирка Модерн.

— В качестве чего?

— Что значит в качестве чего? В качестве публики.

— Слушаю-с. А когда аплодировать?

— Там впереди будет такой чернявенький, в прыщах, — как захлопает, так вы все за ним. Только всего и дела. И с тем счастливо оставаться.

— Как? Как вы сказали?!

— Я говорю — «счастливо оставаться». Хе-хе.

— Хе-хе.

Оба рассмеялись друг другу в лицо скрежещущим, лязгающим смехом и, отскочив друг от друга, разошлись.

\* \* \*

Чтоб не пропустить телеграфических знаков чернявенького с прыщами — Григорий Недорезов пробрался в самые первые ряды в двух шагах от оратора и погрузился с головой в волшебный мир сладких звуков ораторского голоса.

— Товарищи! — ревел оратор, почти переламываясь пополам. — Завоеванной нами свободе грозит опасность! С одной стороны, на нас наступают польские империалисты, с другой — южная крымская белогвардейщина. Только последним гигантским усилием мы можем спасти нашу дорогую матушку-свободу, а для этого — все на красный фронт!! Правильно я говорю?

Слушатели вздохнули, переступили с ноги на ногу и кротко промолчали.

— Правильно я говорю?!

Вздых и молчание.

— Чего же вы молчите? Может, я неправильно говорю, так вы скажите... Ну? Что же? Правильно я говорю?

Пытливый взор оратора померк, нахмурился и уперся прямо в грудь Григория Недорезова, в ту грудь, откуда, по предположению оратора, должен быть исторгнут могучий вопль:

— Пр-равильно!

— Ну, что же?.. Вы вот там... товарищ в женской безрукавке и одном башмаке! Чего же вы молчите? Я спрашиваю: правильно или неправильно?

Григорий Недорезов тоскливо вздохнул и потупился.

— Вы что? Может быть, вы глухонемой?

— Нет, я ничего... Спасибо.

— Так чего же вы молчите и только рот открываете и захлопываете, как рыба, вынутая из воды?.. Вот вы нам и скажите: правильно я говорил или неправильно?

Григорий Недорезов был молчалив, как его старый башмак. Даже, пожалуй, еще молчаливее; башмак хоть разевал рот и настойчиво просил каши, сверкая белыми деревянными зубами, а рот Недорезова Григория был закрыт, как чемодан, от которого потеряли ключ.

Оратор сокрушенно покачал головой и вздохнул:

— Ну, что ж... Товарищ Упокойников! Отведите этого, который молчит, я с ним после поговорю.

— Пожалуйте!

— Куда вы меня ведете?

— Там вас какая-то барышня спрашивает. Очень хорошенькая. Ждет на углу. Пойдешь ты или приклада между лопаток захотел, сволочь!

Как и предполагал Недорезов, изящное галантное сообщение о ждущей его хорошенькой барышне оказалось сильно преувеличенным или преуменьшенным — как угодно: это было не на углу, а в совершенно закрытом помещении, и не барышня его ждала, а ему пришлось подождать.

Вместо барышни через полчаса пришел давешний оратор, сел верхом на стул, покачался перед стоящим с понуренной головой Недорезовым и сказал потягиваясь:

— Ну-с... значит, там, на людях, вы со мной разговаривать не хотели. Посмотрим теперь... Правильно я говорил или неправильно?..

Башмак, разевая рот до ушей, вопил на весь крещеный мир, требуя законной порции каши... Владелец его, наоборот, молчал как убитый.

— Так-с, — вздохнул бывший оратор. — Очень хорошо. Товарищ Гробов! Отведите этого молчаливого товарища в тюрьму. А если будет попытка к побегу — стреляйте.

— Даю вам честное слово, — торопливо заговорил Недорезов, — что попытки к побегу не будет! Ей-богу, честное слово!..

— Ну да... Вы можете и не бежать, а им вдруг покажется, что вы побежали. Народ у нас все усталый, заматавшийся: где ж тут тихий шаг от рыси отличишь.

Недорезов вдруг решительно тряхнул тем местом, где у него должны были бы находиться кудри, если бы не — и так далее.

— Хорошо! — воскликнул он. — Раз все равно пропадать — я скажу, почему я молчал!! Извольте! Я молчал потому, что не знал, что ответить: «правильно» или «неправильно».

— Да что ж, у вас нет головы на плечах, что ли?

— Э, господин-товарищ! Нет дождя перед дождем, нет денег перед деньгами, есть голова перед тем, как ее не будет. Были у меня два брата: Сережа Недорезов и Алеша Недорезов; и за пять минут до того, как они потеряли голову, они ее имели, казалось, приделанную к плечам наглухо...

— Ну-с?

— Начну с Сережи. Парень был голова — министр! Огонь! Орел! Все понимал, что к чему. Думал он, думал да приходит к одному такому... главному — вроде вас... И говорит: неправильно все это у вас!

Обещали хлеб народу — все с голоду пухнут; обещали мир — с одного фронта на другой, как соленых зайцев, гоняете; обещали свободу — а для того, чтобы ребенка похоронить или с одной квартиры на другую переехать, — десять разрешений и мандатов требуется!.. Неправильно! Нехорошо!» Пожевал губами нарком, выслушал все до конца и спрашивает:

— Значит, неправильно?

— Очень даже неправильно.

— Хорошо. Отведите его туда-растуда, и при попытке бежать — распорядитесь.

— Да я, — говорит, — не буду бежать!

— Все равно распорядиться нужно.

Повели его и распорядились. Узнали мы с Алешей, поплакали, потом Алеша и говорит: «Я, говорит, буду теперь совсем иначе с ними разговаривать... Я уж знаю как!»... Пошел к наркому и говорит: «Ах, говорит, до чего у нас все хорошо, до чего все правильно! Обещали, скажем, хлеб — сделайте ваше такое одолжение — есть и хлеб, и жиры, и азотистые — хоть залейся. Мир народу обещали — извольте! Царит мир, тишь, гладь да Божья благодать... Свободу сулили? Боже ты мой! Это ли не свобода! Только теперь солнышко и увидели, только теперь свежего воздуха и глотнули. Очень все правильно сделано!»

Пожевал нарком губами.

— Правильно, значит?

— Оч-чень правильно.

— Ну-с, отведите его куда следует, а при попытке бежать — распорядитесь.

— За что же, помилуйте?

— За то самое. За издевательство и насмешку. Потому — то, что вы говорили, можно только в издевку сказать! Товарищ Скелетов! Распорядитесь.

Распорядились.

Так теперь посудите вы сами, товарищ оратор, как и что мне вам было ответить?! Ответить — «правильно!», скажут: распорядись, Скелетов! Ответить — «неправильно» — все равно: Скелетов, распорядись! Так уж лучше я молчать буду!

Бывший оратор сокрушенно покачал головой.

— Да, и молчать нехорошо. Молчание на категорически поставленный вопрос суть саботаж, бойкот правительства, наказуемый по нашим законам тюрьмой, а при попытке бежать... Одним словом, товарищ Гробов, распорядитесь.

\* \* \*

Редкие прохожие видели на пустынной мостовой Недорезова Григория, который, несмотря на честное слово и настойчивые свои заверения, очевидно, все-таки пытался бежать...

Он лежал на мостовой, с поджатыми ногами, и казалось, что он, действительно, пытается убежать.

И казалось тоже, что у него два отверстых рта на обоих полюсах застывшего тела: один рот — полный белых деревянных зубов — на башмаке... Этот рот вопил, он был разинут в бешеном требовании каши, обращенном к пыльному небу.

Другой рот — обыкновенный человеческий, без передних, вышибленных прикладом зубов — был



тоже открыт, но молчал. Молчал.

До Страшного Суда.

## Слабая голова

Позвонили мне по телефону.

— Кто говорит? — спросил я.

— Из дома умалишенных.

— Ага. Здравствуйте. Я ведь ничего, я только так. Хи-хи. Ну, как поживают больные?

— Насчет одного из них мы и звоним. Вы знавали Павла Гречухина?

— Ну как же! Приятели были. Да ведь он, бедняга, в 1915 году с ума сошел...

— Поздравляем вас! Только что совершенно выздоровел. Просится, чтобы вы его забрали отсюда.

— Павлушу-то? Да с удовольствием!

Заехал я за ним, привез к себе.

\* \* \*

— Ф-фу! — сказал он, опускаясь в кресло. — Будто я снова на свет божий народился. Ведь, ты знаешь, я за это время совершенно был отрезан от мира. Рассказывай мне все! Ну как Вильгельм?

— Ничего себе, спасибо.

— Ты мне прежде всего скажи вот что: кто кого победил — Германия Россию или Россия Германию?

— Союзники победили Германию.

— Слава богу! Значит, Россия — победительница?

— Нет, побежденная.

— Фу ты, дьявол, ничего не пойму. А как же союзники допустили?

— Видишь ли, это очень сложно. Ты на свежую голову не поймешь. Спрашивай о другом.

— Как поживает Распутин?

— Ничего себе, спасибо, убит.

— Сейчас в России монархия?

— А черт его знает. Четвертый год выясняем.

— Однако, образ правления...

— Образа нет. Безобразие.

— Так-с. Печально. Спички есть? Смерть курить хочется.

— Нету спичек, не курю.

— Позови горничную.

— Маша-а-а!

— Вот что, Машенька, или как вас там... Вот вам три копейки, купите мне сразу три коробки спичек.

— Хи-хи...

— Чего вы смеетесь? Слушай, чего она смеется?

— А видишь ли... У нас сейчас три коробки спичек дорожке стоят.

— Намного?

— Нет, на пустяки. На пятьсот рублей.

— Только-то? Гм! Чего ж оно так?

— Да, понимаешь, за последнее время много поджогов было. Пожары все. Спрос большой. Вот и вздорожали.

— Так-с. Эва, как ботиночки мои разлезлись... Слушай, ты мне не одолжишь ли рублей пятьсот?

— На что тебе?

— Да немного экипироваться хотел: пальтецо справлю, пару костюмчиков, ботиночки, кое-что из бельяца.

— Нет, таких денег у меня нет.

— Неужели пяти катеринок не найдется?

— Теперь этого мало. Два миллиона надо.

Павлуша странно поглядел на меня и замолчал.

— Чего ты вдруг умолк?

— Да так, знаешь. Ну дай мне хоть сто рублишек. Поеду в Питер — там у меня родные.

— Они уже умерли.

— Как? Все?

— Конечно, все. Зря, брат, там в живых никто не останется.

— Ну я все-таки поеду. Хоть наследство получу.

— Оно уже получено. Теперь все наследство получает коммуна.

Взор его сделался странным. Каким-то чужим. Он посмотрел в потолок и тихо запел:

— Тра-та-та, тра-та-та,  
Вышла кошка за кота.

Мне почему-то сделалось жутко. Чтобы отвлечь его мысли, я сообщил новость:

— А знаешь, твой кузен Володя служит в подрайонном исполкоме Совдепа.

Павлуша внимательно поглядел на меня и вежливо ответил:

— Ду-ю спик англиш? Гай-ду-ду. Кис ми квик [\[10\]](#). Слушай... Ну, я в Москву поеду...

— Да не попадешь ты туда, чужак!

— Почему, сэр?

— Дойдешь ты до Михайловки, за Михайловкой большевики.

— Кто-о?

— Это тебе долго объяснять. Проехал ты, скажем, большевиков — начинается страна махновцев; проехал, если тебя не убьют, махновцев — начинается страна петлюровцев. Предположим, проехал ты и их... Только что въехал в самую Совдепию — возьмут тебя и поставят к стенке.

— Ну что ж, что поставят. А я постою и уйду.

— Да, уйдешь, как же. Они в тебя стрелять будут.

— За что?

— За то, что ты белогвардеец.

— Да я не военный.

— Это, видишь ли, тебе долго объяснять. Конечно, если ты достанешь мандат харьковского реввоенсовета или хоть совнархоза...

Павлуша схватился за голову, встал с кресла и стал танцевать на ковре, припевая:

Чикалу, ликалу  
Не бывать мне на балу!  
Чика-чика-чикалочки —  
Едет черт на палочке...

— Знаешь что, Павлуша, — предложил я, — поедem прокатимся. Заедem по дороге в сумасшедший дом. Я там давеча портсигар забыл.

Он поглядел на меня лукавым взглядом помешанного.

— Ты ж не куришь?

— А я в портсигаре деньги ношу.

— Пожалуй, поедem, — согласился Павлуша, хитро улыбаясь. — Если ты устал, я тебя там оставлю, отдохнешь. Два-три месяца, и, глядишь, все будет хорошо.

Поехали.

Он думал, что везет меня, а я был уверен, что везу его.

Когда вошли в вестибюль, Павлуша отскочил от меня и, спрятавшись за колонну, закричал:

— Берите вот этого! Он с ума сошел.

Ко мне подошел главный доктор.

— Зачем вы его опять привезли? Ведь он выздоровел.

Я махнул рукой.

— Опять готов!

Павлуша вышел из-за колонны, расшаркался перед доктором и вежливо сказал:

— Простите, сэр, что я до сих пор не удосужился поджечь ваш прелестный дом. Но спички стоят так дорого, что лучше уж я стану к стеночке.

\* \* \*

Взяли Павлушу. Повели.

Слава богу: хоть одного человека я устроил как следует.

## Разговор за столом

Когда соберутся вместе за самоваром или за бутылкой вина несколько русских людей, живущих по воле судьбы и большевиков — в Феодосии, Ялте или Севастополе, — я заранее с математической точностью знаю, с чего начнется их разговор.

Чем кончится разговор, конечно, никогда нельзя предугадать, но *начинается* он всегда с поразительной точностью одинаково.

\* \* \*

Вот пятеро — три дамы и двое мужчин — уселись за стол вокруг шумящего самовара; хозяйка вручила каждому по чашке чаю, пододвинула печенье, варенье, кекс, конфеты.

Минута молчания. Переглянулись.

— Ну-с, — начал разговор мужчина, тот, что помоложе. — Когда же мы будем в Петербурге?

— Да-а-а, — неопределенно тянут все три дамы. — Интересно, когда мы туда попадем?

— Теперь уж скоро, — хмуря многозначительно седые брови, говорит старичок. — Мелитополь взят. (А раньше он говорил Курск, а раньше — Харьков.)

Первая стадия разговора кончена.

Вторая:

— Я получила сведения, что моя квартира в Петербурге совершенно разграблена.

— Мне писали, что моя квартира в Москве сохранилась. Какой-то комиссар живет.

— А я не имею никаких сведений о своей квартире.

— У меня там сестра живет. Не знаю — жива ли?

— У меня отец и тетка. Не знаю — живы ли?

— Там голод.

— Там страшный голод.

— Там умирают с голоду.

— Совершенно умирают. Почти все.

Вторая стадия разговора окончена.

Третья:

— Говорят, муж Анны Спиридоновны поступил в Москве на службу к большевикам.

— Вот негодяй!

— Форменный. Вешать таких людей мало.

\* \* \*

И вдруг одна из дам неожиданным энергичным броском руля сразу повернула неуклюжий широкобокий корабль вялого разговора из узкого шаблонного канала, где корабль то и дело стучался боками о края канала, — сразу повернула и вывела этот корабль в широкое море необозримых

отвлеченных предположений.

Именно она сказала:

— А что бы вы, mesdames, сделали с Троцким, если бы этот ужасный негодяй попал в ваши руки?

— Ах, ах, — сказала с бешеной ненавистью вторая дама, то, что называется — роскошная блондинка, и даже сверкнула большими серыми глазами. — Я не знаю даже, что бы я с ним сделала! Я... я даже руки бы ему не подала.

— Тоже... — кисло улыбнулась худощавая. — Придумали наказание. Нет, попадись мне в руки Троцкий, я уж знаю, что бы я сделала с ним.

— А что именно?

— Я? Я бы выстрелила в него!!!

— Ну, это тоже ему не страшно, — скривилась, подумавши, третья дама, та самая, которая перевела разговор в другой галс. — Нет, попадись мне в руки Троцкий, я бы уж знаю, что бы я сделала! Узнал бы он, почем фунт гребешков, узнал бы, как губить бедную Россию!..

— Ну, а что? Что бы вы ему сделали?

И сказала третья дама свистящим шепотом, как гусенок, которому птичница наступила на лапу.

— Я бы купила булавок... много, много... ну, тысячу, что ли. И каждую минутку втыкала бы в него булабочку, булабочку, булабочку... Сидела бы и втыкала.

— Только и всего?

— Ну, а потом отрезала бы голову и выбросила свиньям!

— Только и всего?

Бедная фантазией худощавая обвела сердитым взглядом насмешливые лица и отрывисто закончила:

— А после этого воткнула бы в него еще тысячу булавок!!

Мужчина помоложе снисходительно засмеялся:

— Эх вы. Милые вы дамы, очаровательные, но фантазии у вас ни на копейку. Эко придумали: утыкать человека булавками, отрезать голову, выстрелить в него... Нет, господа, нет! Он столько сделал зла, что и расплата с ним должна быть королевская!..

— Например?! — в один голос воскликнули все три дамы.

— А вот... Только разрешите для настроения уменьшить свет. Слушайте меня в полутьме. Вот так... То, что я буду говорить, очень страшно. Итак: по приказу Троцкого, как вам известно, расстреливаются тысячи людей — совершенно безвинных — по обвинению в контрреволюционности. И вот! Если бы ко мне в руки попался Троцкий — я его не убивал бы. А взял бы последнего расстрелянного из этих тысяч, взял бы еще теплый труп этого убитого Троцким человека и крепко привязал бы его к Троцкому — грудь с грудью, лицо с лицом. И я бы кормил и поил Троцкого, чтобы он жил, но труп убитого им человека не отвязывал бы от него. И вот — постепенно убитый Троцким начинает гнить на Троцком... Троцкий каждую минуту, каждую секунду видит синее разложившееся лицо с оскаленными зубами, голова у Троцкого кружится от нестерпимого трупного запаха, и когда он почувствует около своей груди что-то живое, когда клубок трупных червей завороч...

Раздается дикий пронзительный крик блондинки:

— Не могу!! Довольно!.. Дайте свет... Мне страшно!!

Дали свет. Автор последнего хитроумного проекта сидел, положив голову на руки, и угрюмо молчал.

И заговорил старичок... Мягким, кротким голосом заговорил:

— Позвольте и мне сказать кой-что по этому вопросу. Видите ли... Я бы не резал и не бил бы Троцкого, не привязывал бы к нему упокойников, — я бы пальцем его не тронул, а я бы применил к нему штуку, самую справедливую...

Старичок облизнул губы и заговорил еще мягче, еще задушевнее:

— Я посадил бы его в комнату вместе с обыкновенным убийцей, повинившимся ну... в пяти душах, что ли. И я досыта кормил бы их. Хорошо кормил бы. На закусочку королевскую селедочку в уксусе, икорку паюсную, огурчики солененькие... На обед селяночку жидкую с соленой рыбкой, гуляш венгерский с красным перчиком, с перчиком! и пудинг — сладкий-пресладкий. А чтобы они не боялись есть эти солененькие и сладенькие вещицы — я бы около них поставил по огромному стеклянному кувшину с хорошим русским квасом, знаете, этакий московский хлебный темненький квасок со льдом и с желтой пеной наверху, как, бывало, в московской «Праге» подавали. Острый, шипучий, приятный — в нос шибает... Вот кушали бы они, родименькие, кушали... И когда, накушавшись, потянулся бы простой убийца за кваском, я остановил бы его руку и сказал:

— Послушай, раб Божий, убийца... а заслужил ли ты своими деяниями сие питие усладительное. Вот давай мы это по-Божьему рассудим. Секретарь! А ну-ка читай поименно всех убиенных сим рабом Божиим!

И стал бы читать секретарь:

— Убиты сим убийцей: Марья, Николай...

И после каждого имени выплескивал бы я в парашу по глотку этого кваску холодненького. И сказал бы дальше секретарь мой:

— Петр, Семен, Поликарп... Все!

И выплеснул бы я пять глотков по числу убиенных сим человеком, и остальной квас — три четверти кувшина — вручил бы убийце:

— На, сын мой! Вот твой остаток. Увлажняй свое пересохшее горло хоть до вечера.

И потянулся бы Троцкий к своему кувшину.

— Нет, постой, сын мой, — сказал бы я. — То, что в остатке будет, то и выпьешь ты, тем и увлажнишься. Читай, секретарь, имена убиенных сим — а я по глоточку отливать буду. Читай, не торопись, каждое имечко — через минуточку, хе-хе...

И читал бы он и читал — о, велик список убиенных сим Троцким! — а я бы медленно, по глоточку, выплескивал этот душистый холодненький квасок в парашу, в парашу, в парашу.

А Троцкий сидел бы и смотрел да лизал бы языком свои проклятые пересохшие губы, те губы, которые в свое время шевелились, называя имена приговоренных к мукам и умерщвлению.

Кончился бы квасок — я бы еще чего принес: пивца холодненького, альбо сельтерской воды этакий сифонище притащил. Назовет секретарь имечко, а я сифончик давану, оттуда струйка — порск! Назовет, а я — порск! А другой убийца сидит рядом, душистый квасок попивает, а у Троцкого и горло, и пищевод, как кора сухая, покоробившаяся, а желудок, как высохший пузырь, стянулся — да нет ему водички — ибо текут, текут имена — десятки, сотни, тысячи имен убиенных — и так до скончания века его...

— Это страшно... — прошептала блондинка, проведя языком по запекшимся губам, и поспешно

проглотила чашку полуостывшего чаю.

\* \* \*

А на диване, в глубине столовой, сидел никем не замеченный доселе офицер, только что вернувшийся с фронта, сидел, закинув голову на спинку дивана, и молчал.

Когда же старичок окончил свой тихий елейный задушевный рассказ — встал с места офицер и вошел в светлый круг, образуемый настольной лампой.

— А-а, — сказала худощавая дама, — а мы и не знали, что вы тут. Ну, теперь ваша очередь. Что бы вы с ним сделали, с Троцким? Воображаю, какой ужас вы придумаете!..

Резко освещенный лампой офицер неопределенно усмехнулся.

— Видите ли, господа... Если бы вместо этого стола было изрытое окопами поле и вместо этой бутылки рома были бы неприятельские укрепления, а там, где стоит кекс, — наша батарея, спрятанная за эту вазу с вареньем, изображающую наши окопы, — то тогда вы бы ясно представили, что бы я делал: я бы сначала обстрелял Троцкого, укрывающегося в этом укреплении, а потом, после артиллерийской подготовки, бросился бы со своими солдатами вперед и энергичным штыковым ударом...

— Да вы не то говорите! Я спрашиваю, что бы вы сделали, если бы Троцкий попался вам в руки?

— Боюсь, что в бою, в этой суматохе я пристрелил бы его, как бешеную собаку.

— Ну, да — мы это понимаем; а если бы он без боя очутился в ваших руках?

Глаза офицера сверкнули и засветились, как две свечи.

— Так я бы его тогда, подлеца, в суд!..

— Как в суд? В какой суд?

— А как же?.. Ежели он виновен — надо его в суд! Пусть судят.

Молчание сгустилось, нависло, нагромоздилось над присутствующими, как насыщенная электричеством густая туча.

И только через минуту пышная блондинка пролепетала растерянно:

— Какое странное время: у штатских такая масса воинственной кровожадности, а военные рассуждают, как штатские!



# Петербургский бред

Это я не выдумал.

Это мне рассказал один приезжий из Петербурга.

И произошло это в Петербурге же, в странном, фантастическом, ни на что не похожем городе...

Только в этом призрачном городе тумана, больной грезы и расшатанных нервов могла родиться нижеследующая маленькая бредовая история.

\* \* \*

Ежедневный большой прием у большевистского вельможи — Анатолия Луначарского.

Время уже подползло к концу приема, когда наступают сумерки, и у вельможи от целой тучи всяких просьб, претензий, приветствий и разного другого коммунистического дрязга опухает голова, в висках стучат молоточки, в глазах плывут красные кружки, и смотрит вельможа на последних просителей остолбенелыми, оловянными, плохо видящими и соображающими очами, по десяти раз переспрашивая и потирая ладонью натруженную голову.

Уже представилась вторая подсекция красной башкирской коммунистической ячейки, уже, стуча сапогами и переругиваясь, вышли из кабинета представители морпродкома Центробалта.

— Ф-фу, кажется, все, — выпустил, как паровоз, струю воздуха смертельно утомленный Луначарский.

И вдруг в этот момент в сумеречном свете около кафельной печи завозились две серые фигуры и двинулись разом на Луначарского.

— Кто вы такие? — испуганно спросил Луначарский. — Что нужно, товарищи?

— Так что, мы насчет березовых дров, — ответили серые фигуры. — Это дело нужно разобрать, товарищ.

— Какие дрова? Что такое?..

— Березовые, понятное дело. Бумага на реквизицию выдана Всеотопом — нам, а они свезли самую лучшую березу, а нам говорят — вам осталась сосна. Нешто этой сыростью протопишь?..

— Кто свез лучшую березу?

— Как кто? Трепетун.

— Да вы-то кто такой?

— Я от Перпетуна.

— А этот товарищ кто?

— Говорю же вам: Трепетун. Мы вот и пришли, чтобы вы нас, как говорится, разобрали.

Луначарский потер рукой пылающую голову и несмело повторил:

— Расскажите еще. Яснее.

— Да что ж тут рассказывать: раз Всеотоп выдал реквизиционную квитанцию Перпетуну, так при чем тут Трепетун будет захватывать лучшую березу? Нешто это дело? Не Трепетуний это поступок.

Луначарский уже было открыл рот, чтобы спросить, кто такие эти таинственные Перпетун и Трепетун,

но тут же спохватился, что неудобно ему, председателю Пролеткульта, показывать такое невежество...

Он только неуверенно спросил:

— Да как же так Трепетун мог захватить?

— А вот вы спросите! Перпетун уже и место приготовил для склада, и сторожей нашел, а Трепетун — на тебе! Из-под самого носа! Да я вам так скажу, товарищ, что у Трепетуна и склада нет, все одно на улице будет лежать, товарищи разворуют.

— Нет, ты, брат, извини, — хрипло прогудел защитник интересов Трепетуна, — Перпетун-то по бумажке получает, а Трепетун еще летось обращался к Всеотопу, и ему лично без бумажки ответили, что береза ему в первую голову.

— Ловкий какой! А Перпетуну, значит, сосна?

— А по-твоему, кто ж — Трепетун должен сосной топиться?

— Идол ты, да ведь Перпетун по квитанции!

— А Трепетун без квитанции, зато раньше!

И, снова схватившись за пылающую, раскаленную голову, выбежал бедный Луначарский в канцелярию.

— Товарищи! Не знаете, что такое Перпетун и Трепетун?!!

— А кто его знает. По-моему, так: Трепетун — это трус, который, так сказать, трепещет...

— Так-с! А кто же в таком случае Перпетун?

— Может быть — перпетуум? Вроде перпетуум-мобиле — вечное такое движение.

Вернулся Луначарский снова в кабинет в полном изнеможении.

— Так как же нам быть, товарищ Луначарский?

— Кому — вам?

— Да вот — Перпетуну и Трепетуну?..

— Позвольте, а вы какое имеете к ним отношение?

— А мы делегированы.

— Ке-ем?!

— Перпетуном же и Трепетуном.

— Ну, так вот что я вам скажу, — простонал Луначарский, хватаясь за пульсирующие виски. — Пока они сами не придут — ничего я разбирать не буду!!

— Кто чтоб пришел?!

— Да вот эти... Перпетун и Трепетун.

— Шутите, товарищ. Как им, хе-хе, — с места сдвинуться.

— Кому-у?!

— Да опять же Перпетуну и Трепетуну.

— Провалитесь вы, анафемы! Да кто они, наконец, такие, эти проклятые Трепетун и Перпетун: скаковые лошади, башкирские начальники или пишущие машины?!

И тут обе серые фигуры впервые чрезвычайно удивились:

— Неужто не знаете, товарищ? Я от Первого Петроградского университета, а он от Третьего Петроградского районного. Это ж наше сокращенное имя: Перпетун и Трепетун.

# Миша Троцкий

Как известно, у большевистского вождя Льва Троцкого — есть сын, мальчик лет 10–12.

Не знаю, может быть, у него еще есть дети — за истекший год я не читал «Готского альманаха», — но о существовании этого сына, мальчика лет 10–12, я знаю доподлинно: позапрошлым летом в Москве он вместе с отцом принимал парад красных войск.

Не знаю, как зовут сына Троцкого, но мне кажется — Миша. Это имя как-то идет сюда.

И когда он вырастет и сделается инженером, на медной дверной доске будет очень солидно написано:

«Михаил Львович Бронштейн, гражданский инженер».

Но мне нет дела до того времени, когда Миша сделается большим. Большие — народ не очень-то приятный. Это видно хотя бы по Мишиному папе.

Меня всегда интересовал и интересует маленький народ, все эти славные, коротко остриженные, лопухие, драчливые Миши, Гриши, Ваньки и Васьки.

И вот когда я начинаю вдумываться в Мишину жизнь — в жизнь этого симпатичного, ни в чем не повинного мальчугана, — мне делается нестерпимо жаль его...

За какие, собственно, грехи попал мальчишка в эту заваруху?

Не спорю, — может быть, жизнь этого мальчика обставлена с большою роскошью, — может быть, даже с большею, чем позволяет цивильный лист: может быть, у него есть и гувернер — француз, и немка, и англичанка, и игрушки, изображающие движущиеся паровозы на рельсах, огромные заводные пароходы, из труб которых идет настоящий дым, — это все не то!

Я все-таки думаю, что у мальчика нет настоящего детства.

Все детство держится на традициях, на уютном, как ритмичный шелест волны, быте. Ребенок без традиций, без освященного временем быта — прекрасный материал для колонии малолетних преступников в настоящем и для каторжной тюрьмы в будущем.

Для ребенка вся красота жизни в том, что вот, дескать, когда Рождество, то подавайте мне елку, без елки мне жизнь не в жизнь; ежели Пасха — ты пошли прислугу освятить кулич, разбуди меня ночью да дай разговеться; а ежели яйца не крашенные, так я и есть их не буду — мне тогда и праздник не в праздник. И я должен для моего детского удовольствия всю Страстную есть постное и ходить в затрепанном затрапезном костюмчике, а как только наступит это великолепное Воскресение, ты обряди меня во все новое, все чистое, все сверкающее да пошли с прислужкой под качели! Вот что-с!

Да что там — качели! Я утверждаю, что для ребенка праздник может быть совсем погублен даже тем, что на глазированной шапке кулича нет посередине традиционного розана или сливочное масло поставлено на праздничный стол не в форме кудрявого барашка, к чему мальчишка так привык.

Я не знаю, какие праздничные обычаи в доме Троцких — русские или еврейские, — но если даже еврейские, и еврейская пасха имеет целый ряд обольстительно-приятных для детского глаза подробностей.

Увы, я думаю, что Миша Троцкий — живет без всяких традиций, чем так крепко детство, — без русских и без еврейских. Я думаю, папа его совсем запутался в Интернационале — до русских ли тут, до еврейских ли обычаев, — когда целые дни приходится толковать с создателями новой России — с

латышами, китайцами, немцами, башкирами, — это тебе не красное яичко, не розан в центре высокого, обаятельно пахнущего сдобой кулича.

\* \* \*

Что Миша читает?

Совершенно не могу себе этого представить. Мальчик без Майн Рида — это цветок без запаха.

А Миша Майн Рида не читает.

Может быть, когда-нибудь ему и попались случайно в руки «Тропинка войны» или «Охотники за черепами», и, может быть, на некоторое время околдовало Мишу приволье и красота ароматных американских степей. Может быть, чудесной музыкой заиграли в его ушах такие заманчивые своей звучностью и поэзией слова:

«Сьерра-Невада, Эль-Пасо, Дель-Норте!..»

Но, прочтя эту книжку, принялся бродить притихший зачарованный Миша по огромным пустым комнатам папиного дворца, забрался в папин кабинет и, свернувшись незаметно клубочком на дальнем диване, услышал от представляющихся папе коммунистов и латышей совсем другие слова, почувал совсем другие образы:

— С тех пор, как, — серым однотонным голосом бубнит коммунист, — с тех пор, как мы ввели уезземелькомы, они стали в резкую оппозицию губпродкомам. Комбеды приняли их сторону, но уездревкомы приняли свои меры...

Потом подходит к столу латыш.

— Ну что, Лацис? Всех допросили...

— 28 человек. Из них 19 уже расстрелял, остальных после передопроса.

Лежит Миша, притихнув на диване, и меркнут в мозгу его образы, созданные капитаном Майн Ридом.

Какая там героическая борьба индейцев с белыми, вождя Дакоты с охотниками Рюбе и Гареем, какое там оскальпирование, когда вот стоит человек и, рассеянно вертя в руках пресс-папье, говорит, что он сегодня убил 19 живых людей.

А на красивые, звучные слова — Эль-Пасо, Дель-Норте, Сьерра-Невада, Кордильеры — наваливаются другие слова — тяжелые, дикие, похожие на тарабарский язык свирепых сиуксов: Губпродком, Центробалт, Уезземельком.

Поднимается с дивана Миша и, как испуганный мышонок, старается проскользнуть незаметно в детскую.

Но папа замечает его.

— А, Миша! Что ж ты не здороваешься с дядей Лацисом. Дай дяде ручку.

Эта операция не особенно привлекает Мишу, но он робко протягивает худенькую лапку, и она без остатка тонет в огромной, мясистой, жесткой «рабочей» лапе дяди Лациса.

— Ну иди, Миша, не мешай нам. Скажите, а с теми тремя, арестованными позавчера, вы кончили или...

Но Миша уже не слышит. Опустив голову, он идет в детскую с полураздавленной рукой и вконец расплюснутым сердцем.

\* \* \*

В конце концов, если у меня и есть на кого слабая надежда — так это на Мишину мать.

Авось, она не выдаст Мишу, и одним своим прикосновением ласковой руки к горячей голове расправит измятые полуборванные лепестки детского сердца.

За обедом спросит:

— Чего ты такой скучный, Миша? Чего ты ничего не кушаешь?

— Мне скучно, мама.

В разговор ввязывается папа:

— Его уже нужно в училище отдать, так ему тогда не будет скучно. Хочешь, я тебя отдам в Первую Коммунистическую Нормальную Школу, а?

И вдруг коммунистическая мать вспыхивает и взлетает, как ракета.

— Ты! Ты! — кричит она, сжигая сверкающими глазами коммунистического папу. — Ты мне эти штуки с моим ребенком брось! Я знаю ваши «Нормальные» школы для мальчиков и девочек!! Ты там можешь себе проводить какую хочешь политику, но в семью этой дряни не вноси. Чтобы я послала своего сына на разврат? Лева, слышишь? Об этом больше нет разговора!

— Ну хорошо, ну ладно. Раскудаhtалась. Миша! Ну, если тебе скучно, поедем опять принимать парад красных войск — хочешь?

— Что ты со своими паршивыми парадами к ребенку пристал? Он же один, ему же нужны товарищи, а ты ему своими парадами-марадами голову морочишь!

— Ему нужны товарищи! Так чего же ты молчишь? Хочешь, я к нему пришлю поиграть сына Лациса — Карлушу?

— Лева! Я же тебе в тысячный раз повторяю: оставляй свою политику на пороге нашего дома! Чтобы я позволила моему сыну играть с этим латышонком, с сыном палача, который...

— Со-ня!!! Или ты замолчишь, или я уйду из-за стола! Что это за разговоры такие?

За столом — тяжелое, душное молчание.

Миша сидит, положив на тарелку вилку и ножик, не притронувшись к цыпленку, и смотрит невидящими глазами в стену.

— Что ты? — озабоченно спрашивает отец. — О чем задумался?

— Папа, ты знаешь, что такое Эль-Пасо и Дель-Норте?

— М... М... Не знаю. Я думаю, это сокращенное название какой-нибудь организации.

— А знаешь ты, что такое «Охотники за черепами»?

Лицо папы сначала бледнеет, потом краснеет:

— Послушай, ты! Дрянь-мальчишка... Если ты еще раз позволишь себе сказать что-либо подобное, я не посмотрю на тебя, что ты большой, — выдеру как сидорову козу! Понял?

Нет, Миша не понял.

На совести Мишиного папы тысячи пудов преступлений.

Но это его преступление — гибель Мишиной души — неуследимое, неуловимое, как пушинка, — и, однако, оно в моих глазах столь же подлое, отвратительное, как и прочие его убийства.

# Перед лицом смерти

*Кусочек материала к истории русской революции*

Сколь различна психология и быт русского и французского человека.

Французская революция оставила нам такой примечательный факт:

Добрые, революционно настроенные парижане поймали как-то на улице аббата Мори. Понятно, сейчас же сделали из веревки петлю и потащили аббата к фонарю.

— Что это вы хотите делать, добрые граждане? — с весьма понятным любопытством осведомился Мори.

— Вздернем тебя вместо фонаря на фонарный столб.

— Что ж вы думаете — вам от этого светлее станет? — саркастически спросил остроумный аббат.

Толпа, окружавшая аббата, состояла из чистокровных французов, да еще парижан к тому же.

Ответ аббата привел всех в такой буйный восторг, что тут же единогласно ему было вотировано сохранение жизни.

Это французское.

А вот русское [\[11\]](#).

\* \* \*

В харьковской чрезвычайке, где неистовствовал «товарищ» Саенко, расстрелы производились каждый день.

Делом этим, большею частью, занимался сам Саенко...

Накокаинившись и пропьянствовав целый день, он к вечеру являлся в помещение, где содержались арестованные, со списком в руках и, став посредине, вызывал назначенных на сегодня к расстрелу.

И все, чьи фамилии он называл, покорно вздыхая, вставали с ящиков, служивших им нарами, и отходили в сторону.

Понятно, что никто не молил, не просил — все прекрасно знали, что легче тронуть заштукатуренный камень капитальной стены, чем сердце Саенко.

И вот однажды, за два дня до прихода в Харьков добровольцев, явился, по обыкновению, Саенко со своим списком за очередными жертвами.

— Акименко!

— Здесь.

— Отходи в сторону.

— Васюков!

— Тут.

— Отходи.

— Позвольте мне сказать...

— Ну вот еще чудак... Разговаривает. Что за народ, ей-богу. Возиться мне с тобой еще. Сказано отходи



— и отходи. Стань в сторонку. Кормовой!

— Здесь.

— Отходи. Молчанов!

— Да здесь я.

— Вижу я. Отойди. Никольский! — Молчание. — Никольский!!

Молчание. Помолчали все: и ставшие к стенке, и сидящие на нарах, и сам Саенко.

А Никольский в это время, сидя как раз напротив Саенко, занимался тем, что, положив одну разутую ногу в опорку на другую, тщательно вертел в пальцах папиросу-самокрутку.

— Никольский!!!

И как раз в этот момент налитые кровью глаза Саенко уставились в упор на Никольского.

Никольский не спеша провел влажным языком по краю папиросной бумажки, оторвал узкую ленточку излишка, сплюнул, так как крошка табаку попала ему на язык, и только тогда отвечал вяло, с ленцой, с развальцем:

— Что это вы, товарищ Саенко, по два раза людей хотите расстреливать? Неудобно, знаете.

— А что?

— Да ведь вы Никольского вчера расстреляли!

— Разве?!

И все опять помолчали: и отведенные в сторону, и сидящие на нарах.

— А ну вас тут, — досадливо проворчал Саенко, вычеркивая из списка фамилию. — Запутаетесь с вами.

— То-то и оно, — с легкой насмешкой сказал Никольский, подмигивая товарищам, — внимательней надо быть.

— Вот поговори еще у меня. Пастухов!

— Иду!

А через два дня пришли добровольцы и выпустили Никольского.

\* \* \*

Не знаю, как на чей вкус...

Может быть, некоторым понравился аббат Мори, а мне больше нравится наш русский Никольский.

У аббата-то, может быть, когда он говорил свою остроумную фразу, нижняя челюсть на секунду дрогнула и отвисла, а дрогнул челюсть у Никольского, когда он, глядя Саенко в глаза, дал свою ленивую реплику, — где бы он сейчас был?

# Разрыв с друзьями

*Посвящается В. С. фон Гюнтер*

## I

Вы — грязны, оборваны; на вас неумело заплатанное, дурно пахнущее платье; давно небритая щетина на лице, пыльные всклокоченные волосы, траур на ногтях, выпученные на коленках брюки и гнусного вида стоптанные опорки на ногах.

Представьте это себе.

Вы — опустившийся, подлый, пропитанный дешевой сивухой ночлежный человечешко, — и вдруг в одном из гнилых, пахнущих воровством переулков вы встретили своего бывшего, прежнего друга — представьте себе это!!

Он одет в черное, прекрасно сшитое пальто, на руках свежие замшевые перчатки, на голове изящная фетровая шляпа, из-под атласного лацкана пальто виден чудесно завязанный галстук, приятно выделяющийся синим пятном на белоснежном белье; только что выбритые щеки еще не успели покрыться синевой, на них еще остался еле уловимый след дорогой пудры, а ноги обуты в изящные лаковые ботинки с замшевым верхом; а пахнет от вашего прежнего старого друга герленовскими Rue de la Paix...

Он добр; он радушен; он не замечает вашей гнусности, оскудения и грязи...

Радостно протягивает к вам руки и приветливо восклицает:

— Ба! Приятная встреча! Ну, пойдём. И-и, нет, нет, — и не думай отказываться! Пойдем со мной в ресторанчик — тут есть такой с кабинетами — закусим, выпьем, старину вспомним. Ну же, друг, не ломайся.

И вот мы с ним в теплом чистом кабинете ресторана: на столе — свежая икра, этакие серые влажные зерна, — до того крупные, что их пересчитать можно, и к икре поджаренные гренки; и ветчина — розовая, тонкая, прозрачная, как кожа ребенка; и желтый балык, нарезанный так, что похож на бабочку, раскинувшую крылья, — упругий, с хрящиком, осетровый балык; и бутылка «Кордон Вер» кажет свое зеленое горло из серебряного ведра со льдом.

А друг ваш небрежно роняет благоговейно внимающему лакею:

— Ну, дайте там чего-нибудь горяченького: на первое ушицы можно, если стерлядка подвернется, а на второе... Ну, чего бы? Котлетку можно Мари-Луиз и спаржи, что ли?..

И тут же, отпустив слугу, радушно поворачивается к вам и говорит красивым вежливым языком, без брани и зашрения, к чему вы так привыкли в вашей alma mater — ночлежке:

— Ну-с, так вот, значит, как. Рад тебя видеть, очень рад. А я, брат, только что из-за границы... Прожил два месяца в Виареджио, проскучал недельку в Милане, преотчаянно влюбился в одну американку в Остенде — и, чтобы излечиться от страсти, махнул обратно в нашу милую Россию... Ну, что здесь? Встречаешь кого-нибудь из старых приятелей? Я слышал, князь Сергей женился и уехал в свое подмосковное? А наш милейший Боб? По-прежнему занимается коллекционерством фарфора? А его рара, как и раньше, проедает третье баронское наследство на ужинах у Куба? Говорят, его лошадь победила на дерби? Что ты сидишь такой... скучный, а? Да развеселись же, голубчик; та parole [\[12\]](#), ты раньше был жививальней.

Ma parole?! Князь Сергей?.. Виареджио? А вот мне вчера Сенька Обормот чуть голову не проломил денатуратной бутылкой — это тебе не Виареджио!..

И вы сидите против него — грязный, небритый, весь окутанный еще неостывшими ночлежными заботами, — и этот голос из другого, чудесного, недоступного для вас, ушедшего от вас мира доводит вас до того — представьте себе это, — что вы вот-вот сейчас броситесь на него, вцепитесь в горло и с ненавистью начнете рвать сверкающее белье на беззаботной холеной груди...

## //

Впрочем — это все присказка.

А сказка — тяжелая, мрачная, угрюмая — впереди. Идя в ногу с общей жизнью, я чувствую себя грязным, небритым, опустившимся человеком; впрочем, такова сейчас вся Россия.

Но в левом углу на деревянной полке расставлена у меня пестрая компания старых друзей, которых я так любил раньше, без которых дня не мог прожить и от которых я сейчас шарахаюсь, как от чумы.

Потому что удовольствие от встречи с любым из них — на час, а расстройства на целый день.

Я не могу! Я отравлен! Я не виноват, хотя друзья мои остались те же — ни одна буквочка в них не изменилась, а вот я другой; я — бывший человек из ночлежки Аристиды Кувалды [\[13\]](#).

Я — грубое, мрачное, опустившееся на дно существо, а они все такие чистенькие, корректные, напечатанные на прекрасной белой бумаге и облаченные в изящные золоченые коленкоровые переплеты.

Ну, хорошо; ну, ладно; ну, вот я беру с полки одну книгу, разворачиваю ее, читаю.

Могу я так сосредоточиться, как раньше?

О чем написано в этой книге? Почему эти голоса звучат, как доносящиеся из другого, будто навсегда погребенного мира?

Ну, вот я читаю, по прежнему времени, самые невинные строки:

«Она опустила голову низко, низко и, машинально катая тонкими пальцами хлебные шарики, прошептала: если ты хочешь доказательств — я брошу для тебя детей и разведусь с мужем...»

Ну, вот — я читаю это. И вы думаете, моя мысль следует за разворачивающейся драмой любящей женской души?

Как бы не так! Черта с два!

Главная мысль у меня такая: катает хлебные шарики... Ишь ты! А хлеб-то, небось, не по карточкам. В очереди не стояла, дрянь этакая, так можно катать, не жалеючи хлеба.

«Чтоб потом я же оказался палачом, разлучником с твоими детьми?!» — крикнул он, стукнув по столу так, что тарелка с маслом задрезжала...»

Стучи, стучи! Небось, если бы, как теперь, масло стоило пять тысяч фунтик, — не постучал бы... А интересно, где они его доставали? Наверное, в молочной покупали. Посмотри-ка ты на них: сливочное масло лопают, да еще и ссорятся, а?

Бросаю эту книгу, раскрываю другую:

«...Прошло уже несколько лет, но перед его глазами все время как живая стояла эта страшная картина: раненый человек полулежит на земле и между его пальцами струится кровь из раны на груди. Лицо его постепенно бледнеет, глаза затуманиваются какой-то пленкой...»

Подумаешь, важность! Да я в позапрошлом году видел, как в Москве латыши расстреляли на улице днем в Каретном ряду восемь человек, — и то ничего. Вели их, вели, потом перекинулись словом, остановили и давай в упор расстреливать. Так уж тут, при таком оптовом зрелище, нешто разглядишь, у кого «глаза затуманились какой-то пленкой» и кто «постепенно бледнел...».

Ухлопали всех, да и пошли дальше.

И сразу после этого московского зрелища делаются неинтересными все кисло-сладкие подробности об одном раненом, который, как потом оказалось, и не умер-то вовсе.

Бросаю эту книгу, беру третью:

«...Так ты меня жди в Крыму, — сказал он, нежно целуя ее. — Когда соскучишься, пришли ко мне в Питер срочную, и я через двое суток уже в твоих объятиях».

ТЬфу! Даже читать противно: «срочная из Крыма в Питер», «через двое суток»!

А срочную через двадцать дней не хочешь получить?

А полтора месяца не хочешь ехать?

А из вагона тебя батько Махно не вышвырнет, как котенка? А Петлюра деньги и чемодан у тебя не отнимет?

Все ложь, ложь и ложь.

Все — расстройство моей души!

Все — напоминание о том, когда мы еще не были «бывшими людьми».

Простите вы меня, но не могу я читать на пятидесяти страницах о «Смерти Ивана Ильича».

Я теперь привык так: матрос Ковальчук нажал курок; раздался сухой звук выстрела... Иван Ильич взмахнул руками и брякнулся оземь. «Следующий!» — привычным тоном воскликнул Ковальчук.

Вот и все, что можно сказать об Иване Ильиче.

\* \* \*

Прощайте, мои книги, прощайте, мои верные друзья... Сжечь бы вас, каналов, следовало за то, что вы так можете человека расстроить.

Если на ваших страницах босяк выпивает бутылку водки (стоит теперь 10 000 рублей), если извозчик за четвертак везет через весь город и, получив гривенник прибавки, называет седока вашим сиятельством, если скромный ужин студента состоит «из куска ростбифа и бутылки дешевого красного вина», если шикарная кокотка за ночь любви получает 50 рублей, если ваши герои могут переноситься в двое суток из Петербурга в Крым, если вы можете на ста страницах размазывать, как умирает Черт Иванович, если «к подъезду графа мягко подкатил пятитысячный лимузин» — если все это, — то нам с вами не по дороге: катите себе дальше на «пятитысячном лимузине» или сядьте «на шикарном лихаче за трешницу», а мы скромно усядемся на имперiale конки за пятьсот целковых.

Прощайте! Поцелуйте от меня студента, убого поужинавшего ростбифом и бутылкой дешевого вина...

Ну, с Богом. Трогай, пятисотрублевая конка!

## Античные раскопки

Когда шестилетний Котя приходит ко мне — первое для него удовольствие рыться в нижнем левом ящике моего письменного стола, где напихана всякая ненужная дрянь; а для меня первое удовольствие следить за ним, изучать совершенно дикариные вкусы и стремления.

Наперед никогда нельзя сказать, что понравится Коте: он пренебрежительно отбросит прехорошенькую бронзовую собачку на задних лапках и судорожно ухватится за кусок закоптелого сургуча или за поломанный ободок пенсне... Суконная обтиралка для перьев в форме разноцветной бабочки оставляет его совершенно равнодушным, а пустой пузырек из-под нашатырного спирта приводит в состояние длительного немого восторга.

Сначала я думал, что для Коти самое важное, издает ли предмет какой-либо запах, потому что и сургуч, и пузырек благоухали довольно сильно.

Но Котя сразу разбил это предположение, отложив бережно для себя металлический колпачок от карандаша и забравовав прехорошенький пакетик саше для белья.

Однако обо всяком подвернувшемся предмете он очень толково расспросит и внимательно выслушает:

— Дядя, а это что?

— Обтиралка для перьев.

— Для каких перьев?

— Для стальных. Которыми пишут.

— Пишут?

— Да.

— А ты умеешь писать?

— Да, ничего себе. Умею.

— А ну-ка, напиши.

Пишу ему на клочке бумаги: «Котья прекомичный пузырь».

— Да, умеешь. Верно. А это что?

— Ножик для разрезания книг.

Молча берет со стола книгу в переплете и, вооружившись костяным ножом, пытается разрезать книгу поперек.

После нескольких напрасных усилий вздыхает:

— Наверное, врешь.

— Ах, вру? Тогда между нами все кончено. Уходи от меня.

— Ну не врешь, не врешь. Пусть я вру — хорошо? Не гони меня, я тебе ручку поцелую.

— Лучше щечку.

Мир скрепляется небрежным, вялым поцелуем, и опять:

— Дядя, а это что?

В руках у него монетница белого металла с пружинками — для серебряных гривенников, пятиалтынных и двугривенных.

— Слушай, что это такое?

— Монетница.

Нюхает. Подавил пальцем пружинки, потом подул в них.

— Слушай, оно не свистит.

— Зачем же ему свистеть? Эта штука, брат, для денег. Вот видишь, сюда денежка засовывается. — Долго смотрит, прикладывая глазом.

— Она же четырехугольная!

— Кто?

— Да эти вот, которые... деньги.

Сует руку в боковой карманчик блузы и вынимает спичечную коробку — место хранения всех его капиталов.

Недоверчиво косясь на меня глазом (не вздумаю ли я, дескать, похитить что-либо из его денежных запасов), вынимает измятый, старый пятиалтынный.

— Видишь — вот. Как же положить?

— Чудак ты! Сюда кладут металлические деньги. Твердые. Вроде как эта часовая цепочка.

— Железные?

— Да, одним словом, металлические. Круглые.

— Круглые? Врешь ты... Нет, нет, не врешь... Я больше не буду! Хочешь, ручку поцелую? Слушай, а слушай...

— Ну?

— Ты показал бы мне такую... железную. Я никогда не видел...

— Нет у меня.

— Что ты говоришь? Значит, ты бедный?

— Все мы, брат, бедные.

— Дядя, чего ты сделался такой? Я ведь не сказал, что ты врешь. Хочешь, поцелую ручку?

— Отстань ты со своей ручкой!

Снова роется Котя в разной рухляди и — только в действительной жизни бывают такие совпадения — вдруг вытаскивает на свет божий настоящий серебряный рубль, неведомо как и когда затесавшийся среди двух половинок старого разорванного бумажника.

— А это что?

— Вот же они и есть — видишь? Те деньги, о которых я давеча говорил.

— Какие смешные. Совсем как круглые. Сколько тут?

— Рубль, братуха.

Денежный счет он знает. Из своей спичечной коробки вытаскивает грязный, склеенный в двух местах, рубль, долго сравнивает.

Из последующего разговора выясняется, до чего дьявольски практичен этот мальчишка.

— Слушай, он же тяжелый.

— Ну так что?

— Как же их на базар брали?

— Так и брали.

— Значит, в мешке тащили?

— Зачем же в мешке?

— Ну, если покупали мясо, картошку, капусту, яблоки... разные там яйца...

— Да мешок-то зачем?

— Пять-то тысяч штук отнести на базар надо или нет? Мать каждый день дает пять тысяч!

— Э-э... голубчик, — смеясь, прижимаю я его к груди. — Вот ты о чем! Тогда и парочки таких рублей было предовольно!

Смотрит он на меня молча, но я ясно вижу — на влажных губах его дрожит, вот-вот соскочит невысказанная любимая скептическая фраза: «Врешь ты, брат!..»

Но так и не слетает с уст эта фраза: Котька очень дорожит дружбой со мной.

Только вид у него делается холодно-вежливый: видишь, мол, в какое положение ты меня ставишь, — и врешь, а усумниться нельзя.

## Возвращение

«...Тарас тут же, при самом въезде в Сечь, встретил множество знакомых лиц... Только и слышались приветствия: «А, это ты, Печерица!» — «Здравствуй, Козолуп!» — «Откуда Бог несет тебя, Тарас?» — «Ты как сюда зашел, Долото?» — «Здорово, Кидряга!» — «Здорово, Густый!» — «Думал ли я видеть тебя, Ремень?»» [\[14\]](#)

И витязи, собравшиеся со всего разгульного мира великой России, целовались взаимно, и тут понеслись вопросы: «А что Касьян? Что Бородавка? Что Колопер? Что Пидсышок?»

И слышал только в ответ Тарас Бульба, что Бородавка повешен в Толопане, что с Колопера содрали кожу под Кизикирменом, что Пидсышкова голова посолена в бочке и отправлена в Царьград...»

\* \* \*

Чует, чует наше общее огромное русское сердце, что совсем уж скоро побегут красные разбойники, что падет скоро Москва и сдастся Петроград...

Без толку, зря, как попугаи, к месту и не к месту, к слову и не к слову твердили в свое время болтуны и краснобаи — все сплошные керенские, черновы и гоцлиберданы: «Приближается конец! Бьет двенадцатый час». Им ли, выращенным в затхлом табачном воздухе швейцарских кофеен и пивных, было дано учуять двенадцатый час нашей родины? Без толку, как попугаи, картавили они: «Бьет двенадцатый час! Бьет двенадцатый час!» И вовсе не бил он... Это шел пятый, шестой, седьмой час...

А вот теперь мы все, все наше русское огромное сердце, почуяли этот час ликвидации и расчета, и скоро, скоро грянет грозное, как звон тысячи колоколов, как рев тысячи пушек: «Бьет двенадцатый час! К расчету!»

\* \* \*

С грохотом, стоном и визгом понесется с теплого юга на холодный север огромная железная птица, дымящая и пытящая с натуги, понесется, как бешеная, на север — вопреки инстинкту других птиц, которые на зиму глядя тянутся не с юга на север, а с севера на юг. И будет чрево той птицы, этой первой ласточки, которая сделает весну, набито битком разным русским людом, взор которого, как магнитная стрелка, обратится к северу, а на лице напишется одна мысль, звучащая в такт лязгу колес: «Что там? Что там? Что там?»...

Там у них все! Жены, оторвавшиеся от мужей, мужья от жен, дети от родителей, там десятки лет свивавшиеся гнезда, там друзья, привязанности, дела и воспоминанья — там все, что было так прочно налажено, так крепко сшито — и о чем целые годы никто не имел ни слуху, ни духу:

«Что там, что там, что там?»...

Вы, южане, сидящие тут на своих прочных, насиженных местах, — поймете ли вы ни с чем не сравнимое, небывалое еще во всемирной истории ощущение петербуржца, когда он впервые за полтора-два года спрыгивает с подножки вагона на перрон Николаевского вокзала, быстрыми шагами оставляя далеко позади себя носильщика, промчится к выходу на площадь, украшенную слоновым монументом Александра III [\[15\]](#), выбежит на ступеньки вокзала и... поползет вверх бровь его:

— Где же памятник?!! Его нет! То, что казалось нам привычным, несокрушимым, что ставилось на сотни лет, — исчезло!



Ах, друзья! Знаете ли вы ощущение человека, который столкнулся лицом к лицу с близким другом — и видит он с ужасом, что у этого друга нет носа. Провалился нос.

Вот какое ощущение будет у петербуржца, когда он увидит, что исчез огромный, неуклюжий, осмеянный в свое время, облитый ядом очередной неглубокой петербургской иронии, — но бесконечно дорогой и любимый наш памятник, как немой символ тяжелой длани царя — «Миротворца», как неотделимая часть нашего прекрасного, колдовского, волшебного Петербурга!..

Нет памятников. Провалился нос на лице.

И вдруг тут же на площади встретит он пробегающего знакомого, чудом из чудес выжившего, не протянувшего скелетообразных ног в этом аду.

И пойдут тут поцелуи и взаимные приветствия: «А что Парфентьев? Что Николай Иванович? А где Полосухин? А что поделявает Горбачев?»

И услышит он в ответ, как в свое время Тарас Бульба, — что расстрелян Полосухин за саботаж, что замучили в чрезвычайке Парфентьева, что умер от голода на широком красавце Невском сиромаха Николай Иванович, что и Лизочка Караваева повесилась от мук невыносимого «организованного» голода, и Маруси Грибановой нет, и Катерины Ивановны, и Димочки Овсякова — все, все «сошли под вечны своды».

Вздыхнет только приезжий петербуржец, свесит голову и тихо побредет по Невскому...

Батюшки мои! Да разве же это Невский?! Где его великолепные человеческие волны?! Где его могучий шум, шум океанского прибоя, чудная для моего уха музыка рева автомобильных гудков, трамвайных звонков, воплей газетчиков, — вся та сложная симфония, которая слагается из людской молви, конского топа, торгашеского вопля и железного лязга трамвайных рельс?

Где его пышные стены, сверху донизу усеянные, униженные сплошь так, что и для визитной карточки нет места, — обвешанные вывесками, плакатами, витринами, всем этим птичьим гамом пестрой шумной рекламы — лучшей свидетельницы бодрой, нормальной, веселой, деловой, хлопотливой, суетливой, энергичной жизни столицы?

Молчит немая улица, угрюмо принахмурились обнаженные, будто раздетые, лишенные своей пышной одежды — вывесок — дома.

И только внизу, у самой панели, как ажурные кружева из-под юбки развратницы, как дессу кафешантанной блудницы, — виднеется грязно-белая пена большевистских декретов, постановлений, воззваний и заклинаний обожравшейся, издыхающей гадины.

Ужасная улица — этот былой красавец Невский; тысячи пороков, грязи и преступлений написаны на гордом прежде челе его.

Но идет все дальше, все дальше петербуржец — и вот уже его улица, вот уже его дом, уже виднеются окна его квартиры, где любовно и хлопотливо вил он семейное гнездо свое, где любил, боролся, падал и снова поднимался...

«Что там, что там, что там?»...

Цела ли обстановка? Осталось ли там хоть что-нибудь? И чудится ему отбитая штукатурка, разобранный паркет, которым вместо дров топили печи, ободранные обои, разбитые грязные стекла и сорванные с петель двери...

Дворник встречает его в воротах — тот же дворник — эти-то уцелеют при всяких режимах и переворотах!

Но что это? Чудо из чудес! Сдергивает поспешно с головы шапочку этот всероссийский привратник, и

в глазах его уже не наглость зарвавшегося дешевого хама, а настоящая русская, сияющая добродушной радостью, ласка и приветливость.

— Да неужто ж барин? Вот-то радость какая, Господи! Заждались мы вас! Шутка ли — больше двух лет!..

— А что... моя... квартира?.. — с тайным трепетом спросит петербуржец, обнимая, как родного, как кровного брата, сияющего дворника.

— Цела-с, пожалуйста. Комиссар тут жил — тем только и сохранили! Пианино, правду говоря, маленько «Яблочком» расшатали да абажур в гостиной разбили... Позавчера только и бежал комиссар... Жидка Варвара на расправу!.. Вот-с ключик.

Сладостное, чудесное ощущение!

Моя старая квартира! Мои картины, мои ковры, мои книги, на страницах которых, может быть, остались следы неуклюжих жирных пальцев, но тем дороже вы мне, мои книги, потому что этим самым вместо одной — две повести расскажете вы мне, когда голубоватым светом засветится родная лампа, когда приветливо затрещат дрова в камине, и я, придвинув к огню мягкое старое кресло, начну вас перелистывать, прихлебывая из стакана доброе старое бордо, чудом уцелевшее под откидным сиденьем оттоманки.

И когда в эти тихие сумерки зазвонит вдруг телефон на письменном столе и голос друга прозвучит издали: «Я взял тебе билет в Мариинку, сегодня премьера», когда, переодевшись в вечерний костюм, выйдет петербуржец из дому и окунется в эту милую петербургскую туманную, слякотную полумглу, в которой так призрачно, еле намеченно светят матовые шары фонарей, когда окунется он в этот суетливый гомон огромной столицы, — схватится он за голову и подумает громко:

«Сон то был или явь? Дьявольское наваждение, бесовское действо или... на всю будущую жизнь глубокое, грозное, печальное *memento mori*...»

# Дюжина ножей в спину революции

## Предисловие

Может быть, прочтя заглавие этой книги, какой-нибудь сердобольный читатель, не разобрав дела, сразу и раскудахчется, как курица:

— Ах, ах! Какой бессердечный, жестоковыйный молодой человек — этот Аркадий Аверченко!! Взял да и воткнул в спину революции ножик, да и не один, а целых двенадцать!

Поступок — что и говорить — жестокий, но давайте любовно и вдумчиво разберемся в нем.

Прежде всего спросим себя, положи руку на сердце:

— Да есть ли у нас сейчас революция?..

Разве та гниль, глупость, дрянь, копоть и мрак, что происходит сейчас, — разве это революция?

Революция — сверкающая прекрасная молния, революция — божественно красивое лицо, озаренное гневом рока, революция — ослепительно яркая ракета, взлетевшая радугой среди сырого мрака!..

Похоже на эти сверкающие образы то, что сейчас происходит?..

Скажу в защиту революции более того — рождение революции прекрасно, как появление на свет ребенка, его первая бессмысленная улыбка, его первые невнятные слова, трогательно умильные, когда они произносятся с трудом лепечущим, неуверенным в себе розовым язычком...

Но когда ребенку уже четвертый год, а он торчит в той же колыбельке, когда он четвертый год сосет свою всунутую с самого начала в рот ножку, превратившуюся уже в лапу довольно порядочного размера, когда он четвертый год лепечет те же невнятные, невразумительные слова, вроде: «совнархоз», «уезземельком», «совбур» и «реввоенком» — так это уже не умильный, ласкающий глаз младенец, а, простите меня, довольно порядочный детина, впавший в тихий идиотизм.

Очень часто, впрочем, этот тихий идиотизм переходит в буйный, и тогда с детиной никакого сладу нет!

Не смешно, а трогательно, когда крохотный младенец протягивает к огню розовые пальчики, похожие на бутылочки, и лепечет непослушным языком:

— Жижя, жижя!.. Дядя, дай жижю...

Но когда в темном переулке встречается лохматый парень с лицом убийцы и, протягивая корявую лапу, бормочет: «А ну, дай, дядя, жижи, прикурить сигарки или скидывай пальто», — простите меня, но умиляться при виде этого младенца я не могу!

Не будем обманывать и себя и других: революция уже кончилась, и кончилась она давно!

Начало ее — светлое, очищающее пламя, середина — зловонный дым и копоть, конец — холодные обгорелые головешки.

Разве мы сейчас не бродим среди давно потухших головешек — без крова и пищи, с глухой досадой и пустотой в душе.

Нужна была России революция?

Конечно, нужна.

Что такое революция? Это — переворот и избавление.

Но когда избавитель перевернуть — перевернул, избавить — избавил, а потом и сам так плотно уселся на ваш загорбок, что снова и еще хуже задыхаетесь вы в предсмертной тоске и судороге голода и собачьего существования, когда и конца-краю не видно этому сиденью на вашем загорбке, то тогда черт с ним и с избавителем этим! Я сам, да, думаю, и вы тоже, если вы не дураки, — готовы ему не только дюжину, а даже целый гросс «ножей в спину».

Правда, сейчас еще есть много людей, которые, подобно плохо выученным попугаям, бормочут только одну фразу:

— Товарищи, защищайте революцию!

Позвольте, да вы ведь сами раньше говорили, что революция — это молния, это гром стихийного божьего гнева... Как же можно защищать молнию?

Представьте себе человека, который стоял бы посреди омраченного громовыми тучами поля и, растопырив руки, вопил бы:

— Товарищи! Защищайте молнию! Не допускайте, чтобы молния погасла от рук буржуев и контрреволюционеров!!

Вот что говорит мой брат по перу, знаменитый русский поэт и гражданин К. Бальмонт, мужественно боровшийся в прежнее время, как и я, против уродливостей минувшего царизма.

Вот его буквальное слово о сущности революции и защите ее:

«Революция хороша, когда она сбрасывает гнет. Но не революциями, а эволюцией жив мир. Стройность, порядок — вот что нужно нам, как дыхание, как пища. Внутренняя и внешняя дисциплина и сознание, что единственное понятие, которое сейчас нужно защищать всеми силами, это понятие Родины, которая выше всяких личностей и классов и всяких отдельных задач, — понятие настолько высокое и всеобъемлющее, что в нем тонет все, и нет разнствующих в нем, а только сочувствующие и слитно работающие — купец и крестьянин, рабочий и поэт, солдат и генерал».

«Когда революция переходит в сатанинский вихрь разрушения — тогда правда становится безгласной или превращается в ложь. Толпами овладевает стихийное безумие, подражательное сумасшествие, все слова утрачивают свое содержание и свою убедительность. Если такая беда овладевает народом, он неизбежно возвращается к притче о бесах, вошедших в стадо свиней»...

«Революция есть гроза. Гроза кончается быстро и освежает воздух, и ярче тогда жизнь, красивее цветут цветы. Но жизни нет там, где грозы происходят непрерывно. А кто умышленно хочет длить грозу, тот явный враг строительства и благой жизни. И выражение «защищать революцию», должен сказать, мне кажется бессмысленным и жалким. Настоящая гроза не нуждается в защите и подпорках. Уж какая же это гроза, если ее, как старушку, нужно закутывать в ватное одеяло».

Вот как говорит К. Бальмонт... И в одном только он ошибается — сравнивая нашу «выросшую из пеленок» революцию с беспомощной старушкой, которую нужно кутать в ватное одеяло.

Не старушка это — хорошо бы, коли старушка, — а полупьяный детина с большой дороги, и не вы его будете кутать, а он сам себя закутает вашим же, сташенным с ваших плеч, пальто.

Да еще и ножиком ткнет в бок.

Так такого-то грабителя и разорителя беречь? Защищать?

Да ему не дюжину ножей в спину, а сотню — в дикобраза его превратить, чтобы этот пьяный, ленивый сутенер, вцепившийся в наш загорбок, не мешал нам строить Новую Великую Свободную Россию!

Правильно я говорю, друзья-читатели? А?

И если каждый из вас не бестолковый дурак или не мошенник, которому выгодна вся эта разруха, вся эта «защита революции», то всяк из вас отдельно и все вместе должны мне грянуть в ответ:

— Правильно!!!

## Фокус великого кино

Отдохнем от жизни.

Помечтаем. Хотите?

Садитесь, пожалуйста, в это мягкое кожаное кресло, в котором тонешь чуть не с головой. Я подброшу в камин угля, а вы закурите эту сигару. Недурной «Боливар», не правда ли? Я люблю, когда в полумраке кабинета, как тигровый глаз, светится огонек сигары. Ну, наполним еще раз наши рюмки темно-золотистым хересом — на бутылочке-то пыли сколькоросло — вековая пыль, благородная, — а теперь слушайте...

\* \* \*

Однажды в кинематографе я видел удивительную картину. Море. Берег. Высокая этакая отвесная скала, саженей в десять. Вдруг у скалы закипела вода, вынырнула человеческая голова, и вот человек, как гигантский, оттолкнувшийся от земли мяч, взлетел на десять саженей кверху, стал на площадку скалы — совершенно сухой — и сотворил крестное знамение так: сначала пальцы его коснулись левого плеча, потом правого, потом груди и, наконец, лба.

Он быстро оделся и пошел прочь от моря, задом наперед, пятась, как рак. Взмахнул рукой, и окурочок папиросы, валявшийся на дороге, подскочил и влез ему в пальцы. Человек стал курить, втягивая в себя дым, рождающийся в воздухе. По мере курения, папироса делалась все больше и больше и, наконец, стала совсем свежей, только что закуреной. Человек приложил к ней спичку, вскочившую ему в руку с земли, вынул коробку спичек, чиркнул загоревшуюся спичку о коробочку, отчего спичка погасла, вложил спичку в коробочку; папиросу, торчащую во рту, сунул обратно в портсигар, нагнулся — и плевок с земли вскочил ему прямо в рот. И пошел он дальше также задом наперед, пятась, как рак. Дома сел перед пустой тарелкой и стаканом, вылил изо рта в стакан несколько глотков красного вина и принялся вилок таскать изо рта куски цыпленка, кладя их обратно на тарелку, где они под ножом срастались в одно целое. Когда цыпленок вышел целиком из его горла, подошел лакей и, взяв тарелку, понес этого цыпленка на кухню — жарить... Повар положил его на сковородку, потом снял сырого, утыкал перьями, поводил ножом по его горлу, отчего цыпленок ожил и потом весело побежал по двору.

\* \* \*

Не правда ли, вам понятно, в чем тут дело: это обыкновенная фильма, изображающая обыкновенные человеческие поступки, но пущенные в обратную сторону.

Ах, если бы наша жизнь была похожа на послушную кинематографическую ленту!..

Повернул ручку назад — и пошло-поехало...

Передо мной — бумага, покрытая ровными строками этого фельетона. Вдруг — перо пошло в обратную сторону, будто соскабливая написанное, и когда передо мной — чистая бумага, я беру шляпу, палку и, пятась, выхожу на улицу...

Шуршит лента, разматываясь в обратную сторону.

Вот сентябрь позапрошлого года. Я сажусь в вагон, поезд дает задний ход и мчится в Петербург.

В Петербурге чудеса: с Невского уходят, забирая свои товары, селедочницы, огуречницы, яблочницы и невоюющие солдаты, торгующие папиросами... Большевистские декреты, как шелуха, облетают со стен, и

снова стены домов чисты и нарядны. Вот во весь опор примчался на автомобиле задним ходом Александр Федорович Керенский. Вернулся?!

Крути, Митька, живей!

Въехал он в Зимний дворец, а там, глядишь, все новое и новое мелькание ленты: Ленин и Троцкий с компанией вышли, пяясь, из особняка Кшесинской, поехали задом наперед на вокзал, сели в распломбированный вагон, тут же его запломбировали — и укатила вся компания задним ходом в Германию.

А вот совсем приятное зрелище: Керенский задом наперед вылетает из Зимнего дворца — давно пора, — вскакивает на стол и напыщенно говорит рабочим: «Товарищи! Если я вас покину — вы можете убить меня своими руками! До самой смерти я с вами».

Соврал, каналья. Как иногда полезно пустить ленту в обратную сторону!

Быстро промелькнула февральская революция. Забавно видеть, как пулеметные пули вылетали из тел лежащих людей, как влетали они обратно в дуло пулеметов, как вскакивали мертвые и бежали задом наперед, размахивая руками.

Крути, Митька, крути!

Вылетел из царского дворца Распутин и покатил к себе в Тюмень. Лента-то ведь обратная.

Жизнь все дешевле и дешевле... На рынках масса хлеба, мяса и всякого съестного дрязгу.

А вот и ужасная война тает, как кусок снега на раскаленной плите; мертвые встают из земли и мирно уносятся на носилках обратно в свои части. Мобилизация быстро превращается в демобилизацию, и вот уже Вильгельм Гогенцоллерн стоит на балконе перед своим народом, но его ужасные слова, слова паука-кровопийцы об объявлении войны, не вылетают из уст, а, наоборот, глотает он их, ловя губами в воздухе. Ах, чтоб ты ими подавился!..

Митька, крути, крути, голубчик!

Быстро мелькают поочередно четвертая Дума, третья, вторая, первая, и вот уже на экране четко вырисовываются жуткие подробности октябрьских погромов.

Но, однако, тут это не страшно. Громилы выдергивают свои ножи из груди убитых, те шевелятся, встают и убегают, летающий в воздухе пух аккуратно сам слетается в еврейские перины, и все принимает прежний вид.

А что это за ликующая толпа, что за тысячи шапок, летящих кверху, что это за счастливые лица, по которым текут слезы умиления?!

Почему незнакомые люди целуются, черт возьми!

Ах, это Манифест 17 октября, данный Николаем II свободной России...

Да ведь это, кажется, был самый счастливый момент во всей нашей жизни!

Митька! Замри!! Останови, черт, ленту, не крути дальше! Руки поломаю!..

Пусть замрет. Пусть застынет.

— Газетчик! Сколько за газету? Пятачок?

— Извозчик! Полтинник на Конюшенную, к «Медведю». Пошел живей, гривенник прибавлю. Здравствуйте! Дайте обед, рюмку коньяку и бутылку шампанского. Ну как не выпить на радостях... С Манифестом вас! Сколько с меня за все? Четырнадцать с полтиной? А почему это у вас шампанское десять

целковых за бутылку, когда в «Вене» — восемь? Разве можно так бессовестно грабить публику?

Митька, не крути дальше! Замри. Хотя бы потому остановись, что мы себя видим на пятнадцать лет моложе, почти юношами. Ах, сколько было надежд, и как мы любили, и как нас любили.

Отчего же вы не пьете ваш херес! Камин погас, и я не вижу в серой мгле — почему так странно трясутся ваши плечи: смеетесь вы или плачете?



## Поэма о голодном человеке

Сейчас в первый раз я горько пожалел, почему мама в свое время не отдала меня в композиторы.

То, о чем я хочу сейчас написать, ужасно трудно выразить в словах... Так и подмывает сесть за рояль, с треском опустить руки на клавиши — и все, все как есть, перелить в причудливую вереницу звуков, грозных, тоскующих, жалобных, тихо-стонущих и бурно-проклинаящих.

Но немые и бессильны мои негибкие пальцы, но долго еще будет молчать хладнокровный, неразбуженный рояль, и закрыт для меня пышный вход в красочный мир звуков...

И приходится писать мне элегии и ноктюрны привычной рукой — не на пяти, а на одной линейке, — быстро и привычно вытягивая строку за строкой, перелистывая страницу за страницей. О, богатые возможности, дивные достижения таятся в слове, но не тогда, когда душа морщится от реального прозаического трезвого слова, — когда душа требует звука, бурного, бешеного движения обезумевшей руки по клавишам...

Вот моя симфония — слабая, бледная в слове...

\* \* \*

Когда тусклые серо-розовые сумерки спустятся над слабым, голодным, устало смежившим свои померкшие, свои сверкающие прежде очи Петербургом, когда одичавшее население расползется по угрюмым берлогам коротать еще одну из тысячи и одной голодной ночи, когда все стихнет, кроме комиссарских автомобилей, бодро шныряющих, проворно, как острое шило, вонзающихся в темные безглазые русла улиц, — тогда в одной из квартир Литейного проспекта собираются несколько серых бесшумных фигур и, пожав друг другу дрожащие руки, усаживаются вокруг стола пустого, освещенного гнусным воровским светом сального огарка.

Некоторое время молчат, задыхающиеся, усталые от целого ряда гигантских усилий: надо было подняться по лестнице на второй этаж, пожать друг другу руки и придвинуть к столу стул — это такой нестерпимый труд!..

Из разбитого окна дует... но заткнуть зияющее отверстие подушкой уж никто не может — предыдущая физическая работа истощила организм на целый час.

Можно только сидеть вокруг стола, оплывшей свечи и журчать тихим, тихим шепотом...

Переглянулись.

— Начнем, что ли? Сегодня чья очередь?

— Моя.

— Ничего подобного. Ваша позавчера была. Еще вы рассказывали о макаронах с рубленой говядиной.

— О макаронах Илья Петрович рассказывал. Мой доклад был о панированной телячьей котлете с цветной капустой. В пятницу.

— Тогда ваша очередь. Начинайте. Внимание, господа!

Серая фигура наклонилась над столом еще ниже, отчего черная огромная тень на стене переломилась и заколебалась. Язык быстро, привычно пробежал по запекшимся губам, и тихий хриплый голос нарушил могильное молчание комнаты.

— Пять лет тому назад — как сейчас помню — заказал я у «Альбера» навагу фрит и бифштекс по-гамбургски. Наваги было 4 штуки — крупная, зажаренная в сухариках, на масле, господа! Понимаете, на сливочном масле, господа. На масле! С одной стороны лежал пышный ворох поджаренной на фритюре петрушки, с другой — половина лимона. Знаете, этакий лимон ярко-желтого цвета и в разрезе посветлее, кисленький такой разрез... Только взять его в руку и подавить над рыбиной... Но я делал так: сначала брал вилку, кусочек хлебца (был черный, был белый, честное слово) и ловко отделял мясистые бока наваги от косточки...

— У наваги только одна косточка, посредине, треугольная, — перебил, еле дыша, сосед.

— Тсс! Не мешайте. Ну, ну?

— Отделив куски наваги, причем, знаете ли, кожица была поджарена, хрустящая такая и вся в сухарях... в сухарях, — я наливал рюмку водки и только тогда выдавливал тонкую струю лимонного сока на кусок рыбы... И я сверху прикладывал немного петрушки — о, для аромата только, исключительно для аромата, — выпивал рюмку и сразу кусок этой рыбки — гам! А булка-то, знаете, мягкая, французская такая, и ешь ее, ешь, пышную, с этой рыбкой. А четвертую рыбку я даже не доел, хе-хе!

— Не доели?!!

— Не смотрите на меня так, господа. Ведь впереди был бифштекс по-гамбургски — не забывайте этого. Знаете, что такое — по-гамбургски?

— Это не яичница ли сверху положена?

— Именно!! Из одного яйца. Просто так, для вкуса. Бифштекс был рыхлый, сочный, но вместе с тем упругий и с одного боку побольше поджаренный, а с другого — поменьше. Помните, конечно, как пахло жареное мясо, вырезка — помните? А подливки было много, очень много, густая такая, и я любил, отломив корочку белого хлебца, обмакнуть ее в подливочку и с кусочком нежного мяса — гам!

— Неужели жареного картофеля не было? — простонал кто-то, схватясь за голову, на дальнем конце стола.

— В том-то и дело, что был! Но мы, конечно, еще не дошли до картофеля. Был также настроганный хрен, были капорцы — остренькие, остренькие, а с другого конца чуть не половину соусника занимал нарезанный такими ромбиками жареный картофель. И черт его знает, почему он так пропитывается этой говяжьей подливкой. С одного бока кусочки пропитаны, а с другого совершенно сухие и даже похрустывают на зубах. Отрежешь, бывало, кусочек мяса, обмакнешь хлеб в подливку, да зацепив все это вилкой, вкупе с кусочком яичницы, картошечкой и кружочком малосоленного огурца...

Сосед издал полузаглушенный рев, вскочил, схватил рассказчика за шиворот и, тряся его слабыми руками, закричал:

— Пива! Неужели ты не запивал этого бифштекса с картофелем крепким пенным пивом!

Вскочил в экстазе и рассказчик.

— Обязательно! Большая тяжелая кружка пива, белая пена наверху, такая густая, что на усах остается. Проглотишь кусочек бифштекса с картофелем да потом как вопьешься в кружку...

Кто-то в углу тихо заплакал:

— Не пивом! не пивом нужно было запивать, а красным винцом, подогретым! Было там такое бургундское, по три с половиной бутылка... Нальешь в стопочку, поглядишь на свет — рубин, совершенный рубин...

Бешеный удар кулаком прервал сразу весь этот плывший над столом сладострастный шепот.

— Господа! Во что мы превратились — позор! Как мы низко пали! Вы! Разве вы мужчины? Вы сладострастные старики Карамазовы! Источая слюну, вы смакуете целыми ночами то, что у вас отняла кучка убийц и мерзавцев! У нас отнято то, на что самый последний человек имеет право — право еды, право набить желудок пищей по своему неприхотливому выбору — почему же вы терпите? Вы имеете в день хвост ржавой селедки и 2 лота хлеба, похожего на грязь, — вас таких много, сотни тысяч! Идите же все, все идите на улицу, высыпайте голодными отчаянными толпами, ползите, как миллионы саранчи, которая поезд останавливает своим количеством, идите, навалитесь на эту кучку творцов голода и смерти, перегрызите им горло, затопчите их в землю, и у вас будет хлеб, мясо и жареный картофель!!

— Да! Поджаренный в масле! Пахнущий! Ура! Пойдем! Затопчем! Перегрызем горло! Нас много! Ха-ха-ха! Я поймаю Троцкого, повалю его на землю и проткну пальцем глаз! Я буду моими истоптанными каблуками ходить по его лицу! Ножичком отрежу ему ухо и засуну ему в рот — пусть ест!!

— Бежим же, господа. Все на улицу, все голодные!

При свете подлого сального огарка глаза в черных впадинах сверкали, как уголья... Раздался стук отодвигаемых стульев и топот ног по комнате.

И все побежали... Бежали они очень долго и пробежали очень много: самый быстрый и сильный добежал до передней, другие свалились — кто на пороге гостиной, кто у стола столовой.

Десятки верст пробежали они своими окостеневшими, негнущимися ногами... Лежали, обессиленные, с полузакрытыми глазами, кто в передней, кто в столовой — они сделали, что могли, они ведь хотели.

Но гигантское усилие истощилось, и тут же все погасли, как растащенный по поленьям сырой костер.

А рассказчик, лежа около соседа, подполз к его уху и шепнул:

— А знаешь, если бы Троцкий дал мне кусочек жареного поросенка с кашей — такой, знаешь, маленький кусочек, — я бы не отрезывал Троцкому уха, не топтал бы его ногами! Я бы простил ему...

— Нет, — шепнул сосед, — не поросенок, а знаешь что?.. Кусочек пулярки, такой, чтобы белое мясо легко отделялось от нежной косточки... И к ней вареный рис с белым кисленьким соусом...

Другие лежащие, услышав шепот этот, поднимали жадные головы и постепенно сползались в кучу, как змеи от звуков тростниковой дудки...

Жадно слушали.

\* \* \*

Тысяча первая голодная ночь уходила... Ковыляя, шествовало на смену тысяча первое голодное утро.

## Трава, примятая сапогом

— Как ты думаешь, сколько мне лет? — спросила небольшая девочка, перепрыгивая с одной ноги на другую, потряхивая темными кудрями и поглядывая на меня сбоку большим серым глазом...

— Тебе-то? А так я думаю, что тебе лет пятьдесят.

— Нет, серьезно. Ну пожалуйста, скажи.

— Тебе-то? Лет восемь, что ли?

— Что ты! Гораздо больше: восемь с половиной.

— Ну?! Порядочно. Как говорится: старость не радость. Небось и женишка уже припасла?

— Куда там! (Глубокая поперечная морщина сразу выползла откуда-то на ее безмятежный лоб.) Разве теперь можно обзаводиться семьей? Все так дорого.

— Господи, боже ты мой, какие солидные разговоры пошли!.. Как здоровье твоей многоуважаемой куклы?

— Покашливает. Я вчера с ней долго сидела у реки. Кстати, хочешь, на речку пойдем, посидим. Там хорошо: птички поют. Я вчера очень комичную козявку поймала.

— Поцелуй ее от меня в лапку. Но как же мы пойдем на реку: ведь в той стороне, за рекой, стреляют.

— Неужели ты боишься? Вот еще глупый. Ведь снаряды не долетают сюда, это ведь далеко. А я тебе зато расскажу стих. Пойдем?

— Ну раз стих — это дело десятое. Тогда не лень и пойти.

По дороге, ведя меня за руку, она сообщила:

— Знаешь, меня ночью комар как укусит, за ногу.

— Слушаю-с. Если я его встречу, я ему дам по морде.

— Знаешь, ты ужасно комичный.

— Еще бы. На том стоим.

На берегу реки мы преугодно уселись на камушке под развесистым деревцем. Она прижалась к моему плечу, прислушалась к отдаленным выстрелам, и снова та же морщинка озабоченности и вопроса, как гнусный червяк, вползла на чистый лоб.

Она потерлась порозовевшей от ходьбы щечкой о шершавую материю моего пиджака и, глядя остановившимися глазами на невозмутимую гладь реки, спросила:

— Скажи, неужели Ватикан никак не реагирует на эксцессы большевиков?..

Я испуганно отодвинулся от нее и поглядел на этот розовый ротик с будто чуть-чуть припухшей верхней губкой, посмотрел на этот ротик, откуда только что спокойно вылетела эта чудовищная по своей деловитости фраза, и переспросил:

— Чего, чего?

Она повторила.

Я тихо обнял ее за плечи, поцеловал в голову и прошептал на ухо:

— Не надо, голубчик, об этом говорить, хорошо? Скажи лучше стихи, что обещала.

— Ах, стихи! Я и забыла. О Максе:

Максик вечно ноет,  
Максик рук не моет,  
У грязнухи Макса  
Руки, точно вакса.  
Волосы, как швабра,  
Чешет их не храбро...

Правда, комичные стишки? Я их в старом «Задушевном Слове» прочитала.

— Здорово сработано. Ты их маме-то читала?

— Ну, знаешь, маме не до того. Прихварывает все.

— Что ж с ней такое?

— Малокровие. Ты знаешь, она целый год при большевиках в Петербурге прожила. Вот и получила. Жиров не было, потом эти... азотистые вещества тоже в организм не... этого... не входили. Ну, одним словом, коммунистический рай.

— Бедный ты ребенок, — уныло прошептал я, приглаживая ей волосы.

— Еще бы же не бедный. Когда бежали из Петербурга, я в вагоне кроватку куклиную потеряла, да медведь пиццать перестал. Не знаешь, отчего это он мог перестать пиццать?

— Очевидно, азотистых веществ ему не хватило. Или просто саботаж.

— Ну ты прямо-таки прекомичный! На мою резиновую собачку похож. А ты можешь нижней губой до носа достать?

— Где там! всю жизнь мечтал об этом — не удастся.

— А знаешь, у меня одна знакомая девочка достает; очень комично.

С противоположного берега дунуло ветерком, и стрельба сразу сделалась слышной.

— Вишь ты, как пулеметы работают, — сказал я, прислушиваясь.

— Что ты, братец, какой же это пулемет? Пулемет чаще тарыхтит. Знаешь, совсем как швейная машина щелкает. А это просто пачками стреляют. Вишь ты: очередями жарят.

Ба-бах!

— Ого, — вздрогнул я, — шрапнелью ахнули.

Ее серый лукавый глаз глянул на меня с откровенным сожалением:

— Знаешь, если ты не понимаешь — так уж молчи. Какая же это шрапнель? Обыкновенную трехдвоймовку со шрапнелью спутал. Ты знаешь, между прочим, шрапнель, когда летит, так как-то особенно шуршит. А бризантный снаряд воет, как собака. Очень комичный.

— Послушай, клоп, — воскликнул я, с суеверным страхом оглядывая ее розовые пухлые щечки, вздернутый носик и крохотные ручонки, которыми она в этот момент заботливо подтягивала спустившиеся к башмачкам носочки. — Откуда ты все это знаешь?!

— Вот комичный вопрос, ей-богу! Поживи с мое — не то еще узнаешь.

А когда мы возвращались домой, она, забыв уже о «реагировании Ватикана» и «бризантных снарядах», щебетала, как воробей, задрвав кверху задорный носик:

— Ты знаешь, какого мне достань котеночка? Чтоб у него был розовенький носик и черные глазки. Я

ему голубенькую ленточку с малюсеньким таким золотым бубенчиком привяжу, у меня есть. Я люблю маленьких котенков. Что же я, дура! Я и забыла, что мой бубенчик был с маминым золотом в сейфе, и коммунисты его по мандату комфина реквизировали!

\* \* \*

По зеленой молодой травке ходят хамы в огромных тяжелых сапожищах, подбитых гвоздями.

Пройдут по ней, примнут ее.

Прошли — полежал, полежал примятой, полураздавленный стебелек, пригрел его луч солнца, и опять он приподнялся и под теплым дыханием дружеского ветерка шелестит о своем, о малом, о вечном.

# Чертово колесо

/

— Усаживайся, не бойся. Тут очень весело.

— Чем же весело?

— Ощущение веселое.

— Да чем же веселое?

— А вот как закрутится колесо, да как дернет тебя с колеса, да как швырнет о барьер, так глаза в лоб выскочут! Очень смешно.

Это — разговор на «чертовом колесе»...

Несколько лет тому назад компания ловких предпринимателей устроила в Петербурге «Луна-Парк».

Я любил хаживать туда по причине несколько пикантной; в «Луна-Парке» я находил для своей коллекции дураков такие чудесные махровые экземпляры и в таком изобилии, как нигде в другом месте.

Вообще, «Луна-Парк» — это рай для дураков: все сделано для того, чтобы дураку было весело...

Подойдет он к выпуклому зеркалу, увидит трехаршинные ноги, будто выходящие прямо из груди, увидит вытянутое в аршин лицо — и засмеется дурак, как ребенок; сядет в «веселую бочку», да как столкнут его вниз, да как почнет бочка стучаться боками о вертикально воткнутые по дороге бревна, да как станет дурака трясти, как дробинку в детской погремушке, круша ребра и ушибая ноги, — тут-то и поймет дурак, что есть еще беззаботное веселье на свете; и к «веселой кухне» подойдет дурак, и тут он увидит, что это настоящая его, дуракова, тихая пристань. Впрочем, она не особенно тихая, эта пристань. Потому что «веселая кухня» заключалась в том, что на расстоянии нескольких аршин от барьера на полках были расставлены бракованные тарелки, блюда, бутылки и стаканы, в которые дурак имеет право метать деревянными шарами, купив это завидное право и привилегию за рубль серебра. И прибыли-то дураку никакой не было — ни приза за разбитие тарелок ему не давали, ни одобрения зрителей он не получал, потому что расколоть блюдо на трехаршинном расстоянии было легче легкого, — а вот поди ж ты — излюбленное это было дурацкое удовольствие — сокрушать десятки тарелок и бутылок... А из «веселой кухни», разгорячив свою пылкую кровь, — направлялся дурак для охлаждения прямехонько в «таинственный замок»... Это было помещение, входя в которое вы должны были приготовиться ко всему: бредете ли вы по абсолютно темным узким коридорам, а вам тут и привидения, натертые фосфором, являются, и задушает вас невидимая рука, и скатываетесь вы по какой-то трубе вниз на какие-то мягкие мешки, а главное, когда вы, радостный, выходите наконец в залитый светом воздушный мостик, открытый глазам толпящейся внизу публики, — снизу дунет на вас таким ураганным ветром, что, если вы мужчина, пальто ваше взвивается выше к голове, как два крыла, шляпа бешено взлетает кверху, а если вы дама, то вся гривуазно настроенная публика ознакомится не только с цветом ваших подвязок, но и со многим другим, чему место не в политическом фельетоне, а на самой лучшей, крепкой, круто замешенной эротической странице специалиста по этим делам, Михайлы Арцыбашева [\[16\]](#).

Вот что такое «Луна-Парк» — рай для дураков, ад для среднего, случайно забредшего туда человека и — широкое необозримое поле научных наблюдений для вдумчивого человека, изучающего русского дурака в его нормальной, привычной и самой удобной обстановке.

## II

Приглядываюсь я к русской революции, приглядываюсь и — ой, как много разительно схожего в ней с «Луна-Парком» — даже жутко от целого ряда поразительно точных аналогий...

Все новое, революционное, по-большевистски радикальное строительство жизни, все разрушение старого, якобы отжившего, — ведь это же «веселая кухня»! Вот тебе на полках расставлен старый суд, старые финансы, церковь, искусство, пресса, театр, народное просвещение — какая пышная выставка!

И вот подходит к барьеру дурак, выбирает из корзины в левую руку побольше деревянных шаров, берет в правую один шар, вот размахнулся — трах! Вдребезги правосудие. Трах! — в кусочки финансы.

Бац! — и уже нет искусства, и только остается на месте какой-то жалкий покосившийся пролеткультский огрызок.

А дурак уже разгорячился, уже пришел в азарт — благо шаров в руках много — и вот летит с полки разбитая церковь, трещит народное просвещение, гудит и стонет торговля. Любо дураку, а кругом собрались, столпились посторонние зрители — французы, англичане, немцы — и только, знай, посмеиваются над веселым дураком, а немец еще и подзуживает:

— Ай, ловкий! Ну, и голова же! А ну, шваркни еще по университету. А долбани-ка в промышленность!..

Горяч русский дурак — ох, как горяч... Что толку с того, что потом, когда очухается он от веселого азарта, долго и тупо будет плакать свинцовыми слезами и над разбитой церковью, и над сокрушенными вдребезги финансами, и над мертвой уже наукой, зато теперь все смотрят на дурака! Зато теперь он — центр веселого внимания, этот самый дурак, которого прежде и не замечал никто.

## III

А кто это там поехал вниз в «веселой бочке», стучаясь боками о сотни торчащих тумб, теряя шляпу, круша ребра и ломая коленные чашечки? Ба! Это русский человек с семьей путешествует в наше веселое революционное время из Чернигова в Воронеж. Бац о тумбу — из вагона ребенок вылетел, бац о другую — самого петлюровцы выбросили, трах о третью — махновцы чемодан отняли.

А кто стоит перед кривым зеркалом и корчится не то от смеха, не то от слез, сам себя не узнавая... А это, видите, доверчивый человек подошел к непримиримой чужепартийной газете, и она его «отразила».

А этот «таинственный замок» — где вас ведут по темным, как ночь, извилинам, где пугают вас, толкают, калечат и кажут вам разных, леденящих душу своим видом, чудовищ — не черзвычайка ли это — самое яркое порождение Третьего Интернационала — потому что все интернационально сгруппировались там: и латыши, и русские, и евреи, и китайцы — палачи всех стран, соединяйтесь!..

## IV

Но самое замечательное, самое одуряюще схожее — это «чертово колесо»!

Вот вам февральская революция — начало ее, когда колесо еще не закрутилось... Посредине его, в самом центре, стоит самый замечательный «дурак» современности — Александр Керенский, и кричит он зычным митинговым голосом:

— Пожалуйте, товарищи! Делайте игру. Сейчас закрутим. Милюков! [\[17\]](#) Садись, не бойся. Тут весело.



— Чем же весело?

— Ощущение веселое...

— А вот как закрутит, да как начнет всех швырять к барьеру... Впрочем, ты садись в самый центр, около меня, — тогда удержишься... И ты, Гучков [18], садись — не бойся... Славно закрутим... Ну... все сели? Давай ход! Поехала!

Поехала.

Несколько оборотов «чертова колеса» — и вот уже ползет, с выпученными глазами, тщетно стараясь удержаться за соседа, — Павел Милюков.

Взззз! — свистит раскрученное колесо, быстро скользит по отполированной предыдущими «опытами» поверхности Милюков — трах — и больно стучается о барьер бедняга, вышвырнутый из центра непреодолимой центробежной силой.

А вот и Гучков пополз вслед за ним, уцепясь за рукав Скобелева [19] ... Отталкивает его Скобелев, но — поздно... Утеряна мертвая точка, и оба разлетаются, как пушинки от урагана.

— А! — радостно кричит Церетели [20], уцепясь за ногу Керенского. — Держись крепче, как я. — Самые левые и самые правые летят, а мы — центр — удэримся...

Куда там! Уже оторвался и скользит Церетели, за ним Чхеидзе [21] — эх их куда выкинуло — к самому барьеру, «на сей погибельный Кавказ порасшвыривало».

Радостно посмеивается Керенский, бешено вертеться в самом центре, — кажется, и конца не будет этому сладостному ощущению... Любо молодому главковерху. Но вот у ног его закрутился бесформенный комок из трех голов и шести ног, называемый в просторечии — Гоцлибердан [22], — уцепился комок за Керенского, обвился вокруг его ноги, жалобно закричал главковерх, сдвинулся на вершок влево — но... для «чертова колеса» достаточно и этого!..

Заскрипела полированная поверхность, и летит начальник, или, по-нынешнему, «комиссар чертова колеса», вверх тормашками, не только к барьеру, а даже за барьер беднягу выкинуло, и грянулся он где-то не то в Лондоне, не то в Париже.

Расшвыряло, всех расшвыряло по барьеру «чертова колеса», и постепенно замедляется его ход, и почти останавливается оно, а тут уже — глядь! — налезла на полированный круг новая веселая компания: Троцкий, Ленин, Нахамкис [23], Луначарский, и кричит новый «комиссар чертова колеса» — Троцкий:

— К нам, товарищи! Ближе! Те дураки не удержались, но мы-то удержимся! Ходу! Крути, валяй! Поехала!!

— Взззз!..

А мы сейчас стоим кругом и смотрим: кто первый поползет окорачь по гладкой полированной поверхности, где не за что уцепиться, не на чем удержаться, и кого на какой барьер вышвырнет.

— Ах, поймать бы!

## Черты из жизни рабочего Пантелея Грымзина

Ровно десять лет тому назад рабочий Пантелей Грымзин получил от своего подлого, гнусного хозяина-кровопийцы поденную плату за 9 часов работы — всего два с половиной!!!

«Ну, что я с этой дрянью сделаю?.. — горько подумал Пантелей, разглядывая на ладони два серебряных рубля и полтину медью... — И жрать хочется, и выпить охота, и подметки к сапогам нужно подбросить, старые — одна, вишь, дыра... Эх ты, жизнь наша распрокаторжная!!!»

Зашел к знакомому сапожнику: тот содрал полтора рубля за пару подметок.

— Есть ли на тебе крест-то? — саркастически осведомился Пантелей.

Крест, к удивлению ограбленного Пантелея, оказался на своем месте, под блузой, на волосатой груди сапожника.

«Ну вот остался у меня рупь целковый, — со вздохом подумал Пантелей. — А что на него сделаешь? Эх!..»

Пошел и купил на целковый этот полфунта ветчины, коробочку шпрот, булку французскую, полбутылки водки, бутылку пива и десяток папирос — так разошелся, что от всех капиталов только четыре копейки и осталось.

И когда уселся бедняга Пантелей за свой убогий ужин, так ему тяжело сделалось, так обидно, что чуть не заплакал.

— За что же, за что?.. — шептали его дрожащие губы. — Почему богачи и эксплуататоры пьют шампанское, ликеры, едят рябчиков и ананасы, а я, кроме простой очищенной, да консервов, да ветчины — света божьего не вижу... О, если бы только мы, рабочий класс, завоевали себе свободу!.. То-то бы мы пожили по-человечески!

\* \* \*

Однажды весной 1920 года рабочий Пантелей Грымзин получил свою поденную плату за вторник: всего 2700 рублей.

«Что ж я с ними сделаю, — горько подумал Пантелей, шевеля на ладони разноцветные бумажки. — И подметки к сапогам нужно подбросить, и жрать, и выпить чего-нибудь — смерть хочется!»

Зашел Пантелей к сапожнику, сторговался за две тысячи триста и вышел на улицу с четырьмя сиротливыми сторублевками.

Купил фунт полубелого хлеба, бутылку сидра, осталось 14 целковых... Приценился к десятку папирос, плюнул и отошел.

Дома нарезал хлеба, откупорил сидро, уселся за стол ужинать... и так горько ему сделалось, что чуть не заплакал.

— Почему же, — шептали его дрожащие губы, — почему богачам все, а нам ничего... Почему богач ест нежную розовую ветчину, объедается шпротами и белыми булками, заливает себе горло настоящей водкой, пенистым пивом, курит папиросы, а я, как пес какой, должен жевать черствый хлеб и тянуть тошнотворное пойло на сахарине!.. Почему одним все, другим — ничего?..

\* \* \*

Эх, Пантелей, Пантелей... Здорового ты дурака свалял, братец ты мой!

# Новая русская сказка

*(Вместо предисловия)*

Матери!

Вот уже несколько лет вы бессознательно обманываете ваших детей, рассказывая им старый ложный вариант сказки о Красной Шапочке и Сером Волке.

Пора, наконец, открыть вам глаза на истинное положение вещей, пора пролить свет истины на клеветническое измышление о бедном добродушном Сером Волке!..

Вот как было дело:

## ***Сказка о Красной Шапочке, об одном заграничном мальчике и о Сером Волке***

У одного отца было три сына: до первых двух нам нет дела, а младший был дурак.

Состояние его умственных способностей видно из того, что когда у него родилась и подросла дочь — он подарил ей красную шапочку.

Почему именно красную?

Именно потому, что дурак красному рад.

\* \* \*

И вот однажды зовет дуракова жена дочку и говорит ей:

— Нечего зря баклуши бить! Отнеси бабушке горшочек маслица, лепешечку да штоф вина: может, старуха наклюкается, протянет ноги, а мы тогда все ее животишки и достатки заберем.

— Я, конечно, пойду, — отвечает Красная Шапочка. — Но только, чтобы идти не больше восьмичасового рабочего дня. А насчет бабушки — это мысль.

Перемигнулись; хихикнула Красная Шапочка и, напялив свой дурацкий головной убор, пошла к бабушке.

Идти пришлось лесом. Идет, «Интернационал» напевает, красную гвоздику рвет. Вдруг из-за куста выходит некий таинственный мальчик и говорит:

— Позвольте представиться: заграничный мальчик Лев Троцкий. Чего несете? О-о, да тут прекрасные вещи! Дай-ка, я их тово... Да ты не плачь — я ведь тебе стаканчик-другой поднесу.

— А что же я бабушке-то скажу?

— Скажи — Серый русский Волк слопал. Вали, как на мертвого.

Пришла, пошатываясь, к бабушке Красная Шапочка. Старуха к ней:

— Принесла?

— Да, как же! Держи карман шире. Разве этот грабитель, Серый Волк, пропустит — все слопал!

Только облизнулась бедная старуха.

А в это время, как известно, жил-был у бабушки Серенький Козлик. Вздумалось козлику в лес погуляти.

— Отпусти ты его, буржуй, — советует Красная Шапочка. — Пусть идет в лес. Довольно ему, саботажнику, дома лодырничать. Как говорится: все на фронт.

Отпустила бабушка Серенького Козлика в сопровождении Красной Шапочки, а той только того и нужно. Едва вошли в лес — из-за куста давешний мальчик:

— А что, товарищ, не слопать ли нам козла?

— А что я бабушке скажу?

Подмигнул мальчик, хихикнул.

— А Серый русский Волк на что? Вали на него — вывезет. Кстати, старуха-то сама фартовая? Клев есть?

— Да ежели потрясти — есть чего. Только на мокрое дело я не пойду. Чтобы без убийства.

— А Серый Волк на что? Свалим на эту скотину. Айда!

Пошли и «пришили» старушку.

Зажили в старухином доме припеваючи. Мальчик на старухиной кровати развалился, целый день валяется, а Красная Шапочка по хозяйству хлопочет, сундуки взламывает.

\* \* \*

А в это время по всему лесу пошел нехороший и для добродушного Серого Волка позорный слух: что будто бы он не только людей провизии и продуктов лишает, не только буржуазного козленка зарезал, но и самое бабушку прикончил.

Обидно стало Серому. Пойду, думает, к старухе, лично все выясню.

Приходит — те-те-те! Полуштоф пустой на столе стоит, на стене козлиная шкура, а Красная Шапочка уже в бабушкиных нарядах щеголяет.

— Ловко сработано, — с горечью подумал Серый Волк.

Подошел к Троцкому, подсел на краешек кровати и спрашивает:

— Отчего у тебя такой язык длинный?

— Чтобы на митингах орать.

— Отчего у тебя такой носик большой?

— При чем тут национальность?

— Отчего у тебя большие ручки?

— Чтобы лучше сейфы вскрывать! Знаешь наш лозунг: грабь награбленное!

— Отчего у тебя такие ножки большие?

— Идиотский вопрос! А чем же я буду, когда засыплюсь, в Швейцарию убежать?!

— Ну, нет, брат, — вскричал Волк и в тот же миг — гам! — и съел заграничного мальчика, сбил лапой с головы глупой девчонки красную шапочку, и, вообще, навел Серый такой порядок, что снова в лесу стало жить хорошо и привольно.

Кстати, в прежнюю старую сказку, в самый конец, впутался какой-то охотник.

В новой сказке — к черту охотника.

Много вас тут, охотников, найдется к самому концу приходить...

## Короли у себя дома

Все почему-то думают, что коронованные особы — это какие-то небожители, у которых на голове алмазная корона, во лбу звезда, а на плечах горностаевая мантия, хвост которой волочится сажени на три сзади.

Ничего подобного. Я хорошо знаю, что в своей частной, интимной жизни коронованные особы живут так же обывательски просто, как и мы, грешные.

Например, взять Ленина и Троцкого.

На официальных приемах и парадах они — одно, а в своей домашней обстановке — совсем другое. Никаких громов, никаких перунов.

Ну, скажем, вот:

\* \* \*

Серенькое московское утро. Кремль. Грановитая палата.

За чаем мирно сидят Ленин и Троцкий.

Троцкий, затянутый с утра в щеголеватый френч, обутый в лакированные сапоги со шпорами, с сигарой, вставленной в длинный янтарный мундштук, — олицетворяет собой главное, сильное, мужское начало в этом удивительном супружеском союзе. Ленин — madame, представитель подчиняющегося, более слабого, женского начала.

И он одет соответственно: затрепанный халатик, на шее нечто вроде платка, потому что в Грановитой палате всегда несколько сыровато, на ногах красные шерстяные чулки от ревматизма и мягкие ковриковые туфли.

Троцкий, посасывая мундштук, совсем, с головой, ушел в газетный лист; Ленин перетирает полотенцем стаканы.

Молчание. Только самовар напевает свою однообразную вековую песенку.

— Налей еще, — говорит Троцкий, не отрывая глаз от газеты.

— Тебе покрепче или послабее?

Молчание.

— Да брось ты свою газету! Вечно уткнет нос так, что его десять раз нужно спрашивать.

— Ах, оставь ты меня в покое, матушка! Не до тебя тут.

— Ага! Теперь уже не до меня! А когда сманивал меня из-за границы в Россию, тогда было до меня!.. Все вы, мужчины, одинаковы.

— Поехала!

Троцкий вскакивает, нервно ходит по палате, потом останавливается. Сердито:

— Кременчуг взят. На Киев идут. Понимаешь?

— Что ты говоришь! А как же наши доблестные красные полки, авангард мировой революции?..

— Доблестные? Да моя бы воля, так я бы эту сволочь...

— Левушка... Что за слово...

— Э, не до слов теперь, матушка. Кстати, ты транспорт-то со снарядами послала в Курск?

— Откуда же я их возьму, когда тот завод не работает, этот бастует... Рожу я тебе их, что ли? Ты вот о чем подумай!

— Да? Я должен думать?! Обо всем, да? Муж и войей, и страну организуй, и то и се, а жена только по диванам валяется да глупейшего Карла Маркса читает? Эти романчики пора уже оставить...

— Что ты мне своей организацией глаза колешь?! — вспыхнул Ленин, нервно отбрасывая мокрое полотенце. — Нечего сказать — организовал страну: по улицам пройти нельзя: или рабочий мертвый лежит, или лошадь дохлая валяется.

— А чего ж они, подлецы, не убирают... Я ведь распорядился. Господи! Простой чистоты соблюсти не могут.

— Ах, да разве только это? Ведь нам теперь и глаз к соседям не покажи — засмеют. Устроили страну, нечего сказать; на рынке ни к чему приступить нет — курица 8000 рублей, крупа — 3000, масло... э, да и что там говорить!! Ходишь на рынок, только расстраиваешься.

— Ну что ж... разве я тебе в деньгах отказывал? Не хватает — можно подпечатать. Ты скажи там, в экспедиции заготовления...

— Э, да разве только это. А венгерская социальная революция... Курам на смех! Твой же этот самый придворный поэт во всю глотку кричал:

Мы на горе всем буржуям,  
Мировой пожар раздуем...

— Раздули пожар... тоже! Хвалилась синица море зажечь. Ну, с твоей ли головой такой страной управлять, скажи, пожалуйста?!

— Замолчишь ли ты, проклятая баба! — гаркнул Троцкий, стукнув кулаком по столу. — Не хочешь, не нравится — скатертью дорога!

— Скатертью? — вскричал Ленин и подбоченился. — Это куда же скатертью? Куда я теперь поеду, когда благодаря твоей дурацкой войне мы со всех сторон окружены? Завлек, поиграл, поиграл, а теперь вышвыриваешь, как старый башмак? Знала бы, лучше пошла бы за Луначарского.

Бешеный огонь ревности сверкнул в глазах Троцкого.

— Не смей и имени этого соглашателя произносить!! Слышишь? Я знаю, ты ему глазки строишь, и он у тебя до третьего часу ночи просиживает; имей в виду: застану — искалечу. Это что еще? Слезы? Черт знает что! Каждый день скандал — чаю не дадут дома спокойно выпить! Ну довольно! Если меня спросят — скажи, я поехал принимать парад доблестной Красной армии. А то если этих мерзавцев не подтягивать... Поняла? Положи мне папирос в портсигар да платок сунь в карман чистый! Что у нас сегодня на обед?

Вот как просто живут коронованные особы. Горностаи да порфиры — это на людях, а у себя в семье, когда муж до слез обидит, можно и в затрапезный шейный платок высморкаться.



## Усадьба и городская квартира

Когда я начинаю думать о старой, канувшей в вечность, России, то меня больше всего умиляет одна вещь: до чего это была богатая, изобильная, роскошная страна, если последних три года повального, всеобщего, равного, тайного и явного грабежа — все-таки не могут истощить всех накопленных старой Россией богатств.

Только теперь начинаешь удивляться и разводиться руками:

— Да, что ж это за хозяин такой был, у которого даже после смерти его — сколько ни тащат, все растащить не могут...

Большевики считали все это «награбленным» и даже клич такой во главу угла поставили:

— Грабь награбленное.

Ой, не награбленное это было. Потому что все, что награблено, никогда впрок не идет: тут же на месте пропивается, проигрывается в карты, раздаривается дамам сердца грабителей — «марухам» и «шмарам».

А старая Россия не грабила; она накапливала.

Закрою я глаза — и чудится мне старая Россия большой помещицкой усадьбой...

Вот миновал мой возок каменные, прочно сложенные, почерневшие от столетий, ворота, и уже несут меня кони по длинной без конца-края липовой аллее, ведущей к фасаду русского, русского, русского — такого русского, близкого сердцу дома с белыми колоннами и старым-престарым фронтоном.

Солнце пробивается сквозь листву лип, и золотые пятна бегают по дорожке и колеблются, как живые...

А на террасе уже стоит вальяжный, улыбающийся хозяин и радостно приветствует меня.

Объятия, троекратные поцелуи, по русскому обычаю, и первый вопрос:

— Обедали?

И праздный вопрос, потому что мой ответ все равно не нужен хозяину: пусть сытый гость лопнет по всем швам, но обедом он будет накормлен...

Те же золотые пятна бегают уже по белоснежной скатерти, зажигаются рубинами на домашней наливке, вспыхивают изумрудами на смородиновке, настоящей на молодых остропахнувших листьях, и уже дымится перед гостем и хозяином наваристый борщ и пыжится пухлая, как пуховая перина, кулебяка...

— А вы пока маринованных грибков — домашние! И вот рыбки этой — из собственного пруда... А квасом — прямо говорю — могу похвастаться; в нос так и шибает — сама жена у меня по этому делу ходок...

Тихо прячется за березовую рощу красное утомленное солнце. Смягченная далью, грустно и красиво доносится еле слышная песня косарей.

— Эй, — кричит кому-то вниз разошедшийся хозяин. — По случаю приезда дорогого гостя — выдать косарям по две чарки водки! А вы, голубчик, не устали ли? Может, отдохнуть хотите? Пойдемте, покажу вашу комнату...

В моей комнате уже зажжена лампа... Усталые ноги мягко ступают по толстым половикам, а взор так и тянется к свежим холодноватым простыням раскрытой постели...

— Вот вам спички, вот свеча, вот графин грушевого квасу — вдруг да пить ночью захотите. Да вы, может быть, съели бы чего-нибудь на ночь? Перепелочки есть, осетрина холодная... Нет? Ну, Господь с вами. Спите себе.

Я один... Подхожу к этажерке, что важно выпятилась в углу сотней прочных кожаных книжных переплетов, начинаю перебирать книги: Гоголь, Достоевский, Толстой, Успенский...

Почитаю...

Ах, как хорошо в русской России почитать русскому человеку русского писателя, ах, как хорошо знать, что ты под гостеприимным кровом русского приветливого хлебосола, что, когда ты погасишь лампу, в окно к тебе будут заглядывать бледные русские звезды, а за окном тихо и ласково будут перешептываться о твоих делах на своем непонятном языке скромные, застенчивые русские березки и елочки...

Все задремывает... И разнокалиберная шумливая птица в птичнике, и толстая, неповоротливая, обильно кормленная и поенная скотина в хлеву, и золотой хлеб в закромах, и свертки плотного домотканого полотна в темных, окованных железом укладках, и старые седые бутылки в дедовском погребе — все спит — плотное, солидное, накопленное не в год и не на год, а так, что еще и внукам останется...

С расчетом жили люди, замахиваясь в своих делах и планах на десятки лет, жили плотно, часто лениво, иногда скучно, но всегда сытно, но всегда нося в себе эволюционные семена более горячего, более живого и бойкого будущего...

Все стояло на своем месте, и во всем был так необходимый простому русскому сердцу уют.

\* \* \*

А теперь новая русская «власть» живет не в дедовской помещичьей усадьбе, а в городе: съехали жильцы с квартиры, так вот теперь эти новые и взяли покинутую квартиру, значит.

Ясно, что, когда с квартиры съезжают, она какой вид имеет: голые стены, с оторванными кое-где обоями, с ярко-желтыми прямоугольниками в тех местах, где стоял комод или шкаф... В выбитое окно тянет сырым ветерком, на полу обрывки веревок, окурки, какие-то рваные бумажки, два-три аптечных пузырька с выцветшим рецептом, в углу поломанный, продавленный стул, брошенный за ненадобностью.

Переехала сюда «новая власть»... Нет у нее ни мебели, ни ковров, ни портретов предков...

Переехали — даже комнат не подмели...

На окнах появились десятки опорожненных бутылок, огрызков засохшей колбасы, в угол поставили утащенный откуда-то роскошный шелковый диван с ободранным боком и около него примостили опрокинутый пивной бочонок, в виде ночного столика.

На стене на огромных крюках — ружья, в углу обрывок израсходованной пулеметной ленты и старые полуистлевшие обмотки.

Сор на полу так и не подметают, и нога все время наталкивается то на пустую консервную коробку, то на расплюснутую голову селедки...

Приходит новый хозяин. В мокрой, пахнущей кислым шинели, отяжелевший от спирта-сырца, валится прямо на диван.

А в бывшем кабинете помещаются угрюмые латыши, а в бывшей детской, где еще валяется забытый игрушечный зайчонок с оторванными лапами, спят вонючие китайцы и «красные башкиры»...

Никто из живущих в этой квартире не интересуется ею, и никто не собирается устроиться в ней по-человечески.

Никому и в голову не придет вставить разбитые стекла, вымести сор, разостлать белые с синей каймой половички, развесить любимые портреты, застлать кровать чистой простыней.

Зачем? День прошел, и слава Интернационалу. День да ночь — сутки прочь.

Никто не верит в возможность устроиться в новой квартире хоть года на три...

Стоит ли? А вдруг придет хозяин и даст по шеям.

Так и живут. Зайдет этакий в квартиру, наследит сапогами, плюнет, бросит окурок, размажет для собственного развлечения на стене клопа и пойдет по своим делам: расстреливать контрреволюционера и пить спирт-сырец.

Неприятно живет, по-собачьему.

Таков новый хозяин новой России.

# Хлебушко

У главного подъезда монументального здания было большое скопление карет и автомобилей.

Мордастый швейцар то и дело покрикивал на нерасторопных кучеров и тут же низкими поклонами приветствовал господ во фраках и шитых золотом мундирах, солидно выходящих из экипажей и автомобилей.

Худая деревенская баба в штопанных лаптях и белом платке, низко надвинутом на загорелый лоб, робко подошла к швейцару.

Переложила из одной руки в другую узелок и поклонилась в пояс...

— Тебе чего, убогая?

— Скажи-ка мне, кормилец, что это за господа такие?

— Междусоюзная конференция дружественных держав по вопросам мировой политики!

— Вишь ты, — вздохнула баба в стоптанных лапотках. — Сподобилась видеть.

— А ты кто будешь? — небрежно спросил швейцар.

— Россия я, благодетель, Россеюшка. Мне бы тут за колонкой постоять да хоть одним глазком поглядеть: какие-таки бывают конференции. Может, и на меня, сироту, кто-нибудь глазком зыркнет да обратит свое такое внимание.

Швейцар подумал и, хотя был иностранец, но тут же сказал целую строку из Некрасова:

— «Наш не любит оборванной черни»... А впрочем, стой — мне что.

По лестнице всходили разные: и толстые, и тонкие, и оципанные, во фраках, и дородные, в сверкающих золотом сюртуках с орденами и лентами.

Деревенская баба всем низко кланялась и смотрела на всех с робким испугом и тоской ожидания в слезящихся глазах.

Одному — расшитому золотом с ног до головы и обвешанному целой тучей орденов — она поклонилась ниже других.

— Вишь ты, — тихо заметила она швейцару. — Это, верно, самый главный!

— Какое! — пренебрежительно махнул рукой швейцар. — Внимания не стоит. Румын.

— А какой важный. Помню, было время, когда у меня под окошком на скрипочке пиликал, а теперь — ишь ты! И где это он так в орденах вывалялся?..

И снова на лице ее застыло вековечное выражение тоски и терпеливого ожидания... Даже зависти не было в этом робком сердце.

\* \* \*

Английский дипломат встал из-за зеленого стола, чтобы размяться, подошел к своему коллеге-французу и спросил его:

— Вы не знаете, что это там за оборванная баба около швейцара в вестибюле стоит?

— Разве не узнали? Россия это.

— Ох, уж эти мне бедные родственники! И чего ходит, спрашивается? Сказано ведь: будет время — разберем и ее дело. Стоит с узелком в руке и всем кланяется... По-моему, это шокинг.

— Да... Воображаю, что у нее там в узле... Наверное, полкаравая деревенского хлеба, и больше ничего.

— Как вы говорите?.. хлеб?

— Да. А что ж еще?

— Вы... уверены, что там у нее хлеб?

— Я думаю.

— Гм... да. А впрочем, надо бы с ней поговорить, расспросить ее. Все-таки мы должны быть деликатными. Она нам в войну здорово помогла. Я — сейчас!

И англичанин поспешно зашагал к выходу.

\* \* \*

Вернулся через пять минут, оживленный:

— Итак... На чем мы остановились?

— Коллега, у вас на подбородке крошки...

— Гм... Откуда бы это? А вот мы их платочком.

\* \* \*

Увязывая свой похудевший узелок, баба тут же быстро и благодарно крестилась и шептала швейцару.

— Ну, слава богу... Сам-то обещал спомочь. Теперь, поди, недолго и ждать.

И побрела восвояси, сгорбившись и тяжело ступая усталыми ногами в стоптанных лапотках.

# Эволюция русской книги

## **Этап первый (1916 год)**

— Ну, у вас на этой неделе не густо: всего три новых книги вышло. Отложите мне «Шиповник» и «Землю». Кстати, есть у вас «Любовь в природе» Бельше? Чье издание? Сытина? Нет, я бы хотел саблинское. Потом, нет ли «Дети греха» Катюль Мендеса? Только, ради бога, не «Сфинкса» — у них перевод довольно неряшлив. А это что? Недурное издание. Конечно, Голике и Вильборг? Ну нашли тоже, что роскошно издавать: «Евгений Онегин» — всякий все равно наизусть знает. А чьи иллюстрации? Самокиш-Судковской? Сладковаты. И потом формат слишком широкий: лежа читать неудобно!..

## **Этап второй (1920 год)**

— Барышня! Я записал по каталогу вашей библиотеки 72 названия — и ни одного нет. Что ж мне делать?

— Выберите что-нибудь из той пачки на столе. Это те книги, что остались.

— Гм! Вот три-четыре более или менее подходящие: «Описание древних памятников Олонецкой губернии», «А вот и она — вновь живая струна», «Макарка Душегуб» и «Собрание речей Дизраэли (лорда Биконсфилда)»...

— Ну вот и берите любую.

— Слушайте... А «Памятники Олонецкой губернии» — интересная?

— Интересная, интересная. Не задерживайте очереди.

## **Этап третий**

— Слышали новость?!!

— Ну, ну?

— Ивиковы у себя под комодом старую книгу нашли! Еще с 1917 года завалилась! Везет же людям. У них по этому поводу вечеринка.

— А как называется книга?

— Что значит как: книга! 480 страниц! К ним уже записались в очередь Пустошкины, Бильдяевы, Россомахины и Партачевы.

— Побегу и я.

— Не опоздайте. Ивиковы, кажется, собираются разорвать книгу на 10 тоненьких книжечек по 48 страниц и продать.

— Как же это так: без начала, без конца?

— Подумаешь — китайские церемонии.

## **Этап четвертый**

Публикация:

«Известный чтец наизусть стихов Пушкина ходит по приглашению на семейные вечера — читает всю «Полтаву» и всего «Евгения Онегина». Цены по соглашению. Он же дирижирует танцами и дает напрокат мороженицу».

Разговор на вечере:

— Слушайте! Откуда вы так хорошо знаете стихи Пушкина?

— Выучил наизусть.

— Да кто ж вас выучил: сам Пушкин, что ли?

— Зачем Пушкин. Он мертвый. А я, когда еще книжки были, так по книжке вызубрил.

— А у него почерк хороший?

— При чем тут почерк? Книга напечатана.

— Виноват, это как же?

— А вот делали так: отливали из свинца буквочки, ставили одну около другой, мазнут сверху черной краской, приложат к белой бумаге да как даванут — оно и отпечатается.

— Прямо чудеса какие-то! Не угодно ли присесть! Папиросочку! Оля, Петя, Гуля — идите послушайте, мусье Гортанников рассказывает, какие штуки выделывал в свое время Пушкин! Мороженицу тоже лично от него получили?

## ***Этап пятый***

— Послушайте! Хоть вы и хозяин только мелочной лавочки, но, может быть, вы поймете вопль души старого русского интеллигента и снизойдете.

— А в чем дело?

— Слушайте... Ведь вам ваша вывеска на ночь, когда вы запираете лавку, не нужна? Дайте мне ее почитать на сон грядущий — не могу заснуть без чтения. А текст там очень любопытный — и мыло, и свечи, и сметана — обо всяком таком описано. Прочту — верну.

— Да... все вы так говорите, что вернете. А намедни один тоже так-то вот — взял почитать доску от ящика с бисквитами Жоржа Бормана, да и зачитал. А там и картиночка, и буквы разные... У меня тоже, знаете ли, сын растет!..

## ***Этап шестой***

— Откуда бредете, Иван Николаевич?

— А за городом был, прогуливался. На виселицы любовался, поставлены у заставы.

— Тоже нашли удовольствие: на виселицы смотреть!

— Нет, не скажите. Я, собственно, больше для чтения: одна виселица на букву «Г» похожа, другая — на «И» — почитал и пошел. Все-таки чтение — пища для ума.

# Русский в Европах

Летом 1921 года, когда все «это» уже кончилось, в курзале одного заграничного курорта собралась за послеобеденным кофе самая разношерстная компания: были тут и греки, и французы, и немцы, были и венгерцы, и англичане, один даже китаец был...

Разговор шел благодушный, послеобеденный.

— Вы, кажется, англичанин? — спросил француз высокого бритого господина. — Обожаю я вашу нацию: самый дельный вы, умный народ в свете.

— После вас, — с чисто галльской любезностью поклонился англичанин. — Французы в минувшую войну делали чудеса... В груди француза сердце льва.

— Вы, японцы, — говорил немец, попыхивая сигарой, — изумляли и продолжаете изумлять нас, европейцев. Благодаря вам слово «Азия» перестало быть символом дикости, некультурности...

— Недаром нас называют «немцами Дальнего Востока», — скромно улыбнувшись, ответил японец, и немец вспыхнул от удовольствия, как пук соломы.

В другом углу грек тужился, тужился и наконец сказал:

— Замечательный вы народ, венгерцы!

— Чем? — искренно удивился венгерец.

— Ну как же... Венгерку хорошо танцуете. А однажды я купил себе суконную венгерку, расшитую разными такими штуками. Хорошо носилась! Вино опять же; нарезать венгерским — самое святое дело.

— И вы, греки, хорошие.

— Да что вы говорите?! Чем?

— Ну... вообще. Приятный такой народ. Классический. Маслины вот тоже. Периклы всякие.

А сбоку у стола сидел один молчаливый бородатый человек и, опустив буйную голову на ладони рук, сосредоточенно печально молчал.

Любезный француз давно уже поглядывал на него. Наконец, не выдержал, дотронулся до его широкого плеча:

— Вы, вероятно, мсье, турок? По-моему, одна из лучших наций в мире!

— Нет, не турок.

— А кто же, осмелюсь спросить?

— Да так, вообще, приезжий. Да вам, собственно, зачем?

— Чрезвычайно интересно узнать.

— Русский я!!

Когда в тихий дремлющий летний день вдруг откуда-то сорвется и налетит порыв ветра, как испуганно и озабоченно закачаются, зашелестят верхушки деревьев, как беспокойно завозятся и защебечут примолкшие от зноя птицы, какой тревожной рябью вдруг подернется зеркально-уснувший пруд!

Вот так же закачались и озабоченно, удивленно защебетали венгерские, французские, японские головы; так же доселе гладкие зеркально-спокойные лица подернулись рябью тысячи самых различных взаимно борющихся между собою ощущений.



— Русский? Да что вы говорите? Настоящий?

— Детки! Альфред, Мадлена! Вы хотели видеть настоящего русского — смотрите скорее! Вот он, видите, сидит.

— Бедняга!

— Бедняга-то бедняга, да я давеча, когда расплачивался, бумажник два раза вынимал. Переложить в карманы брюк, что ли?

— Смотрите, вон русский сидит.

— Где, где?! Слушайте, а он бомбу в нас не бросит?

— Может, он голодный, господа, а вы на него вызверились. Как вы думаете, удобно ему предложить денег?

— Немца бы от него подальше убрать. А то немцы больно уж ему насолили... как бы он его не тово!

Француз сочувственно, но с легким оттенком страха жал ему руку, японец ласково с тайным соболезнованием в узких глазках гладил его по плечу, кое-кто предлагал сигару, кое-кто плотней застегнулся. Заботливая мать, захватив за руки плачущего Альфреда и Мадлену, пыхтя, как буксирный пароход, утащила их домой.

— Очень вас большевики мучили? — спросил добрый японец.

— Скажите, а правда, что в Москве собак и крыс ели?

— Объясните, почему русский народ свергнул Николая и выбрал Ленина и Троцкого? Разве они были лучше?

— А что такое взятка? Напиток такой или танец?

— Правда ли, что у вас сейфы вскрывали? Или, я думаю, это одна из тысячи небылиц, распространенных врагами России... А правда, что, если русскому рабочему запеть «Интернационал», он сейчас же начинает вешать на фонаре прохожего человека в крахмальной рубашке и очках?

— А правда, что некоторые русские покупали фунт сахара за пятьдесят рублей, а продавали за тысячу?

— Скажите, совнарком и совнархоз опасные болезни? Правда ли, что разбойнику Разину поставили на главной площади памятник?

— А вот, я слышал, что буржуазные классы имеют тайную ужасную привычку, поймав рабочего, прокусывать ему артерию и пить теплую кровь, пока...

— Горит!! — крикнул вдруг русский, шваркнув полупудовым кулаком по столу.

— Что горит? Где? Боже мой... А мы-то сидим...

— Душа у меня горит! Вина!! Эй, кельнер, камерьере, шестерка — как тебя там?! Волоки вина побольше! Всех угощаю!! Поймете ли вы тоску души моей?! Сумеете ли заглянуть в бездну хаотической первозданной души славянской. Всем давай бокалы. Эх-ма! «Умру, похоро-о-нят, как не жил на свете»...

Сгущались темно-синие сумерки.

Русский, страшный, растрепанный, держа в одной руке бутылку «Поммери-сек», а кулаком другой руки грозя заграничному небу, говорил:

— Сочувствуете, говорите? А мне чихать на ваше такое заграничное сочувствие!! Вы думаете, вы мне все, все, сколько вас есть, мало крови стоили, мало моей жизни отняли? Ты, немецкая морда, ты мне кого из Циммервальда прислал? Разве так воюют? А ты, лягушатник, там... «Мон ами, да мон ами, бон да бон»,

а сам взял да большевикам Крым и Одессу отдал. Разве это боновое дело? Разве это фратерните? [24] Разве я могу забыть? А тебе разве я забуду, как ты своих носатых китайских чертей прислал — наш Кремль поганить, нашу дор... доррогую Россию губить, а? А венгерец... тоже и ты хорош: тебе бы мышеловками торговать да венгерку плясать, а ты в социалистические революции полез. Бела Кунов, черт их подери, на престолы сажать... а? Ох, горько мне с вами, ох, тошнехонько... Пить со мной мое вино вы можете сколько угодно, но понять мою душеньку?! Горит внутри, братцы! Закопал я свою молодость, свою радость в землю сырую... «Умру-у, похоронят, как не-е жил на свете!»

И долго еще в опустевшем курзале, когда все постепенно, на цыпочках, разошлись, долго еще разносились стоны и рыдания полупьяного одинокого человека, непонятого, униженного в своем настоящем трезвом виде и еще более непонятого в пьяном... И долго лежал он так, неразгаданная мятущаяся душа, лежал, положив голову на ослабевшие руки, пока не подошел метрдотель:

— Господин... Тут счет.

— Что? Пожалуйста! Русский человек за всех должен платить! Получите сполна.

## Осколки разбитого вдребезги

Оба они сходятся у ротонды севастопольского Приморского бульвара, перед закатом, когда все так неожиданно меняет краски: море из зеркально-голубого переходит в резко-синее, с подчеркнутым под верхней срезанной половинкой солнца горизонтом; солнце из ослепительно-оранжевого превращается в огромный полукруг, нестерпимо красного цвета; а спокойное голубое небо, весь день томно дрожавшее от ласк пылкого зноя, к концу дня тоже вспыхивает и загорается ярким предвечерним румянцем, — одним словом, когда вся природа перед отходом ко сну с неожиданной энергией вспыхивает новыми красками и хочет поразить пышностью, тогда сходятся они у ротонды, садятся они на скамеечку под нависшими ветвями маслины и начинают говорить...

У одного красивый старческий профиль чрезвычайно правильного рисунка, маленькая белая, очень чистенькая бородка и черные, еще живые глаза. Он петербуржец, бывший сенатор, на всех торжествах появляется в шитом золотом мундире и белых панталонах; был богат, щедр, со связями. Теперь на артиллерийском складе поденно разгружает и сортирует снаряды.

Другой — маленький рыжий старичок, с бесцветным петербургским личиком и медлительными движениями человека, привыкшего повелевать. Он был директором огромного металлургического завода, считавшегося первым на Выборгской стороне. Теперь он — приказчик комиссионного магазина и в последнее время приобрел даже некоторую опытность в оценке поношенных дамских капотов и плюшевых детских медведей, приносимых на комиссию.

Сойдясь и усевшись друг против друга, они долго молчат, будто раскачиваясь; да и в самом деле раскачивают головами, как два белых медведя во время жары в бассейне Зоологического сада.

Наконец, первым раскачивается сенатор:

— Резкие краски, — говорит он, указывая на горизонт. — Нехорошо.

— Аляповато, — укоризненно соглашается приказчик комиссионного магазина. — Все краски на палитре не смешаны, все краски грубо подчеркнуты.

— А помните наши петербургские закаты...

— Ну!!

— Небо — розовое с пепельным, вода — кусок розового зеркала, все деревья — темные силуэты, как вырезанные. Темный рисунок Казанского собора на жемчужном фоне...

— И не говорите! Не говорите! А когда зажгут фонари Троицкого моста...

— А кусочек канала, где Спас на Крови...

— А тяжелая арка в конце Морской, где часы...

— Не говорите!

— Ну скажите: что мы им сделали? Кому мы мешали?

— Не говорите!

\* \* \*

Оба старика поникают головами... Потом один из них снова распускает белые паруса сладких воспоминаний и несется в быстрой чудесной лодке, убаюкиваемый — все назад, назад, назад...

— Помните постановку «Аиды» в Музыкальной драме?

— Да уж Лапицкий [25] был — ловкая шельма! Умел сделать. Бал у Лариных, например, в «Онегине», а?

— А второй акт «Кармен»?

— А оркестр в Мариинке? [26] Помните, как вступят скрипки да застонут виолончели — Господи, думаешь: где же это я — на земле или на небе?

— Ах, Направник, Направник!.. [27]

Сенаторская голова, седая голова с профилем римского патриция, никнет...

Рядом два восточных человека, в изумительно выутюженных белых костюмах и безукоризненных воротничках, тоже перебрасываются тихими фразами:

— С утра только я и успел взять из таможни 7 ящичков лимонов и 12 — спичек. Понимаешь?

— А Амбарцун?

— Амбарцуна мануфактурой завалили.

— А Вилли Ферреро в Дворянском собрании?! Это Божье чудо, это будто Христос в детстве вторично спустился на землю!.. Половина публики тихо рыдала...

— А что с какао?

— Амбарцуна какаоом завалили.

— Чего я никогда уже, вероятно, не услышу — это игры Гофмана... [28]

— А помните, как Никиш... [29]

Из ресторана ветерок доносит дразнящий запах жареного мяса.

— Вчера с меня за отбивную котлету спросили 8 тысяч...

— А помните «Медведя»?

— Да. У стойки. Правда, рюмка лимонной водки стоила полтинник, но за этот же полтинник приветливые буфетчики буквально навязывали вам закуску: свежую икру, заливную утку, соус кумберленд, салат оливье, сыр из дичи.

— А могли закусить и горяченьким: котлетками из рябчика, сосисочками в томате, грибочками в сметане... Да!!! Слушайте — а расстегаи?!

— Ах, Судаков, Судаков!..

— Мне больше всего нравилось, что любой капитал давал тебе возможность войти в соответствующее место: есть у тебя 50 рублей — пойдешь к Кюба, выпей рюмочку мартеля, проглоти десяток устриц, запей бутылочкой шабли, заешь котлеткой даньон, запей бутылочкой поммери, заешь гурьевской кашей, запей кофе с джинджером... Имеешь 10 целковых — иди в «Вену» или в «Малый Ярославец». Обед из пяти блюд с цыпленком в меню — целковый, лучшее шампанское 8 целковых, водка с закуской 2 целковых... А есть у тебя всего полтинник — иди к Федорову или к Соловьеву: на полтинник и закусишь, и водки выпьешь, и пивцом зальешь...

— Эх, Федоров, Федоров!.. Кому это мешало?..

— А летом в «Буфф» поедешь: музыка гремит, на сцене Тамара «Боккаччо» изображает... Помните? Как это она: «Так надо холить по-о-чку»... Ах, Зуппе! [30] Ах, Оффенбах!..

Восточные люди наговорились о своих делах, прислушиваются к разговору сенатора и директора завода. Слушают, слушают — и полное непонимание на их лицах, украшенных солидными носами... На каком языке разговор?..

— А «Маскотта»? «Сядем в почтовую карету, скорей»... А джонсовская «Гейша»?.. [31] «Глупо, наивно попала в сети я»...

— Ну!.. А «Луна-Парк»!

— А Айседора! [32]

— А премьеры в Трицком или в Литейном!!

— А пуант с Фелисьеном и ужинами под румын, у воды!..

— А аттракционы в Вилла Роде?..

— А откровения психографолога Моргенштерна! Хе-хе...

— А разве лезло утром кофе в горло без «Петербургской газеты»?! [33]

— Да! С романом Бреши [34] внизу! Как это он: «Виконт надел галифе, засунул в карман парабеллум, затаился «Боливаром», вскочил на гунтера, дал шенкеля и поскакал к авантюристу Петко Мирковичу!» Слова-то все какие подобраны, хе-хе...

— А «Сатирикон» [35] по субботам! С утра торопишь Агафью, чтобы сбегала за угол за журналом...

— А премьеры андреевских пьес... Какое волнующее чувство.

— А когда художественники приезжали...

И снова склоненные головы, и снова щемящий душу рефрен:

— Чем им мешало все это...

Подходит билетер с книжечкой билетов и девица с огромным денежным ящиком.

— Возьмите билеты, господа...

— Мы... это... нам не надо. Почем билеты?

— По пятьсот...

— Только за то, чтобы посидеть на бульваре?! Пятьсот?..

— Помилуйте, у нас музыка...

— Пойдем, Алексей Валерьяныч...

Понурившись, уходят.

У выхода приостанавливаются.

— А наш Летний сад, помните? Эти дряхлые статуи, скамеечки... Музыка тоже играла...

— А «Канавка у Дворца» [36]. «Уж полночь, а Германна все нет»! Какие голоса были!.. Ах, Лиза, Лиза.....

— За что они Россию так?..

# Кипящий котел

## Введение Зачем я выпускаю «Кипящий котел»?

Человеческая память — очень странная машина, почти всегда действующая с перебоями...

Один юмористический философ разрешился такой нелестной для человеческой памяти сентенцией:

— Никогда не следует (говорил он) доверять человеческой памяти... Память моя сохранила одно очень яркое воспоминание: однажды в детстве я, гуляя, свалился в глубокую яму. Я это твердо помню. Но как я из этой ямы выбрался — решительно не помню... Так что, если доверяться только одной памяти — я должен был бы до сих пор сидеть в этой яме...

Нас было несколько сот тысяч человек, которые сидели в огромной яме, но с нами случилось не совсем так, как с моим философом: мы очень хорошо помним, как мы попали в яму и как из нее выбрались, но период нашего сидения (знаменитый, потрясающий период!) начал постепенно изглаживаться из нашей памяти, и — еще год-полтора — вся эта эпопея «сидения» станет бледным серым расплывчатым пятном без красок, фактов и очертаний.

Я хочу этой книгой закрепить период нашего годового кипения в раскаленном котле, в этой горячей яме, дно которой жгло пятки, — одним словом, я хочу, чтобы все уплывающее из нашей памяти расположилось ясными, прямыми, правдивыми строками на более прочной, чем мозг человеческий, бумаге.

Мой кипящий котел — это Крым эпохи «врангелевского сидения».

Что это за удивительный, за умильный период: в одном котле кипели и щуки, и караси, и букашки, и таракашки, и «едоки первой категории» — и все это, кипя, ухитрялось пожирать друг друга: мелких букашек поедали караси, карасей — щуки, щук — едоки первой категории, а кипящий распад «едоков» снова поедался букашками, червячками и таракашками.

Пройдет два-три года — и до дырок будет русский человек протирать лоб, вспоминая:

— А сколько это я платил в Крыму за бутылку лимонаду? Не то 15 целковых, не то полторы тысячи? Помню, дом на Нахимовском я купил до войны за 30 тысяч... Но почему я потом за гроб для отца заплатил 800 тысяч? Как случилось, что я, имея на пальце бриллиантовое кольцо, ночевал на скамейке Приморского бульвара? Почему селедки мне заворачивали в энциклопедический словарь? А кто были наши рабочие? Большевики? Меньшевики? Как они понимали рабочий вопрос? Почему они, живя во сто раз лучше других, бастовали?

И не будет ответа! Все чудесное, курьезное, все героическое, все ироническое стерлось, как карандашная надпись резинкой...

Книгой «Кипящий котел» я все это хочу закрепить. Может быть, мои очерки иногда гиперболичны, иногда неуместно веселы, но в основе их всегда лежит факт, истина пронизывает каждую строчку своим светлым лучом — и это моя скромная заслуга перед историей.

Наши будущие дети! В заброшенной отцовской библиотеке вы найдете эту пыльную с пожелтевшими краями книгу, развернете ее — и глазенки ваши от изумления выкатятся из орбит сантиметра на два: бред сумасшедшего графомана?!

Нет, дорогие детишки! Это все правда, и мы, герои, полубоги, гомеровские отпрыски, пережили

дикий «Кипящий котел» на своих многострадальных боках!..

# I. Оскудение и упадок

## *Старый Сакс и Вертгейм*

Настроение плохое, с утра серый упорный дождь, и все окружающее тоже приняло серую окраску.

Сел за письменный стол с очень определенным тайным решением: свирепо ругаться.

Довольно добродушия! Решил называть все вещи их собственными именами, ставить точки над «і», ломиться в открытую дверь, плакать по волосам, снявши голову, смотреть в зубы дареному коню, кусать свои локти, развалиться не в своих санях и, вообще, гнаться за двумя зайцами — может быть, поймаю обоих и тут же зарежу, каналий, и того, и другого.

\* \* \*

Сидел недавно в театре на концерте знаменитого артиста. Гляжу — на нем старый, порыжевший фрак.

Сначала сжалось мое сердце, а потом посветлел я: будто на карточку любимой женщины в ворохе старой дряни наткнулся.

Здравствуй, старый петербургский фрак. Я знаю, тебя шил тот же чудесный петербургский маэстро Анри с Большой Морской, что шил и мне. Хорошо шивали деды в старину.

Этому фраку лет семь, и порыжел он, и побелел по швам, а все сидит так, что загляденье.

И туфли лакированные узнал я — вейсовские.

Держитесь еще, голубчики?

Видали вы виды... Сверкали вы по залитой ослепительным светом эстраде Дворянского Собрания, сверкали на эстраде Малого зала консерватории, а иногда осторожно ступали, боясь поскользнуться, на ослепительном паркете Царскосельского, Красносельского, Мраморного — много тогда было дворцов, теперь, пожалуй, половину я и перезабыл...

А нынче вы не сверкаете больше, лакированные туфли. Вы потускнели, приобрели благородный налет старины, и долго еще не заменит вас ваш хозяин другими, хотя и получает он за выход целую уйму денег: десять тысяч.

Не заменит потому, что получает он десять тысяч, а фрак и ботинки стоят двадцать, а когда он сдерет за выход двадцать тысяч — ваши новые заместители, многоуважаемый фрак и ботинки, будут стоить сорок тысяч.

Махнет рукой ваш хозяин и скажет:

— Нет, не догнать.

И будете вы все тускнеть и тускнеть, все более покрываться налетом старины, переезжая из Севастополя в Симферополь, из Симферополя в Карасубазар, из Карасубазара в какой-нибудь Армянск — ведь пить-есть надо даже гениальному человеку!

Так призадумался я, сидя в театре, потом очнулся, обвел глазами ряды, и показалось мне, что рядом со мной, и впереди и сзади, сидят два совершенно различных сорта фарфоровых статуэток...

Одни — старые, потертые, в обветшавших, но изящных, художественно помятых, мягких шляпах и в старинных, лопнувших даже кое-где, ботинках — от Вейса, Королькевича, Петерсона... Статуэтки, нечто



вроде старого Сакса или Императорского фарфорового завода, за которые любители прекрасной старины платят огромные деньги.

И другие статуэтки — новые, сверкающие, в пальто с иголки, в дурно сшитых многотысячных лакированных ботинках с иголки, чисто выбритые, иногда завитые.

Это — ярко раскрашенное аляповатое фарфоровое изделие от берлинского Вертгейма, выпущенное в свет в тысяче штампованных одинаковых экземпляров. Это — новые миллионеры.

Первые статуэтки элегически грустны, как, вообще, грустно все, на чем налет благородной старины, вторые — тошнотворно самодовольны.

У вторых вместо мозга в голове слежавшаяся грязь, и этой грязью они лениво думают, что наша теперешняя жизнь самая правильная и что другой и быть не может.

Да знаете ли вы, тысяча чертей и одна ведьма вам в зубы, что вы оскверняете своими свинячьими мордами это место, где творит сейчас великий артист вечную красоту!..

Как вы сюда попали? Вон отсюда!

Идите в кафе, на пристани, в мануфактурные магазины — пухните там вдвое от ваших дешевых миллионов, но не лезьте так нагло в храмы, не сморкайтесь в кулак, когда служат литургию Красоте!

\* \* \*

Весь старый Сакс — профессора, инженеры, писатели, адвокаты, доктора и артисты — уже давно не делают себе маникюра. И, однако, как изящны линии их нервных белых рук, как красиво розовеют их выпуклые, блестящие без маникюра ногти...

Недавно я зашел в парикмахерскую... Около маникюрши маячила очередь, всё народ дюжий, с корявыми кривыми лапами, а она в это время отделявала пятерню какому-то бывшему подвальному мальчику — шершавую красную пятерню, — начищая плоские рубчатые ногти с яростью, с какой сапожный чистильщик наводит глянец на выдавшие виды сапоги кругосветного путешественника.

И подумал тут я:

«Дурак ты, дурак, бывший подвальный мальчик... Если бы твоя рука по-прежнему оставалась красной рабочей рукой — я, если хочешь, поцеловал бы ее благоговейно, потому что на ней написано святое слово «труд»... Но что ты теперь будешь делать этой отлакированной лапой? Подписывать куртажную расписку на сто пудов масла по пяти тысяч за пуд или неуклюже облапишь хрупкий фужер, наполненный заграничным шампанским, завершая в кабаке выгодную сделку на партию кофе из гималайского жита?..

Хороший маникюр тебе сделали...

А ведь, судя по некоторым признакам, ой, как редко ты бываешь в бане, бывший подвальный мальчик.

Надо бы чаще...

Кстати, я тебя видел в магазине Альшванга — ты покупал за три тысячи французские духи, с хитростью дикаря стремясь заглушить ароматом Убигана природный, столь выдающий тебя запах.

И обливаешься ты этими духами так щедро, что впору бы тебе и водой так обливаться.

А джентльмен — тебе, вероятно, незнакомо это слово, подвальный мальчик? А джентльмен в потертом пиджаке уже 4 года как не душит духами — и все же от платья его идет тонкий, еле уловимый запах «Шипра» Коти — такого «Шипра» для вас теперь и не выделывают, — и этот еле уловимый старый,

бывший запах грустен и прекрасен, как аромат увядшего, сплющенного в любимой книге цветка.

Ну что ж... Теперь вы в силе, вертгеймовское исчадие...

Что ж... Лезьте вперед, расталкивайте нас, занимайте первые места — это вам не поможет, — так жить, как мы жили, вы все равно не умеете.

Может быть, многим из нас место не в теперешней толчее, а где-нибудь на полузабытой пыльной полке антиквара, но лучше забытая полка в углу, в полумгле, робко пронизанной светом синей лампадки перед потемневшим образом, чем бойкий каторжный майдан...»

Бал у графини Х...

...Графиня вошла в бальную залу — и ропот восхищения пробежал среди блестящих гостей...

Она была одета в платье из серебристого фая, отделанного валансьенскими кружевами и лионским бархатом... На мраморной шее сверкало и переливалось роскошное бриллиантовое кольцо, в ушах мерцали теплым светом две розовые жемчужины, царственная головка венчалась многотысячным парадом из перьев райской птицы.

Два молодых человека в черных фраках с огромными вырезами белых шелковых жилетов, стоя у колонны, тихо беседовали о графине:

— Вероятно, она дьявольски богата?

— О да. Отец дает за ней пятьсот тысяч. Кроме того, у нее тряпок — шелковых платьев, белья самого тонкого, батистового, похожего на паутинку (мне, как другу семьи, показывали), — всего этого тряпья наберется тысяч на 50. Три сундука и шкаф битком набиты...

— Parbleu! [37] — вскричал молодой щеголь, небрежно вынимая из кармана плоские золотые часы с жемчужной монограммой: — Я, вероятно, еще успею пригласить ее на вальс!

И было время: оркестр, невидимо скрытый на хорах, заиграл в этот момент упоительный вальс — и благоухающие пары закружились...

\* \* \*

Так романисты писали раньше.

\* \* \*

А вот так романисты должны писать теперь.

\* \* \*

...Графиня вошла в бальный сарай — и ропот восхищения пробежал среди блестящих гостей...

На графине было платье из роскошного зеленого ситца, отделанное настоящими костяными пуговицами... На алебастровой шее сверкало и переливалось роскошное кольцо из кусочков каменного угля, в крохотные ушки были продеты две изящных, еще не использованных, спички, а царственная головка венчалась пером настоящей многотысячной домашней курицы.

Два молодых человека в изящных фраках, сшитых из мучных мешков, тихо беседовали о графине:

— Да! Отец дает за ней 18 миллионов деньгами, 2 пары шерстяных чулок и флакон из-под французских духов!

— Ничего подобного, — вмешался третий, одетый в кретоновый смокинг из обивки кресла, лорнируя графиню в осколок пивной бутылки, вделанный в щипцы для завивки. — Отец дает за графиней гораздо больше 18 миллионов!!

— Именно?

— Он дает за ней корову с теленком и двух уток.

— Parbleu! — вскричал молодой щеголь в рединготе из четырех склеенных номеров вчерашней газеты. — Я, вероятно, еще успею пригласить ее на вальс!..

Он вынул из кармана будильник на дверной цепочке, бросил на него косой взгляд и помчался к графине.

И было время: граммофон хрипло заревел упоительный вальс, танцующие сняли ботинки, чтобы зря не трепать подметок, — и пары, шлепая изящными пятками, закружились...

## ***Страна без мошенников***

Три человека собрались на пустынном каменистом берегу моря, под тенью, отбрасываемой огромной скалой; три человека удостоверились — не подслушивают ли их, и тогда старший из них начал:

— Именем мошенничества и преступления — я открываю заседание! Мы все трое, бывшие завсегдатаи тюрьмы и украшения каторги, собрались здесь затем, чтобы с сего числа учредить преступное сообщество для совершения краж, грабежей и вообще всяких мошенничеств. Но... — насмешливо усмехнулся председатель, — может быть, за то время, что мы не виделись, вы уже раскаялись и хотите начать честную жизнь?

— Что ты! — укоризненно вскричали двое, бросая на председателя обиженные взгляды. — Мошенниками мы были, мошенниками, надеюсь, и умрем!

— Приятно видеть таких стойких негодяев, — одобрительно сказал председатель.

— Да! И в особенности под руководством такого мерзавца, как ты.

— Господа, господа! Мы здесь собрались не для того, чтобы расшаркиваться друг перед другом и отвешивать поклоны и комплименты. К делу! Что вы можете мне предложить?

Тогда встал самый младший мошенник и, цинично ухмыляясь, сказал:

— Я знаю, что теперь сливочное масло на базаре нарасхват. Давайте подделывать сливочное масло!

— А из чего его делать?

— Из маргарина, желтой краски, свечного сала...

Председатель усмехнулся:

— А известно ли моему уважаемому товарищу, что сейчас свечное сало и краска — дороже сливочного масла?

— В таком случае, простите. Я провалился. Тогда говори ты.

Встал второй:

— Я знаю, господа, что в одном торговом предприятии, в конторе, в несгораемом шкафу всегда лежит несколько миллионов!

— А как мы вскроем несгораемый шкаф?

— Как обыкновенно: баллон с кислотой, электричество, ацетилен, автоматические сверла...

— Где же мы их достанем?

— Раньше всегда покупали в Лондоне.

— Ну подумай ты сам; сколько будет стоить — поехать одному из нас в Лондон, купить всю эту штуку на валюту, погрузиться, заплатить фрахт, выгрузить на месте, доставить на извозчике... Я уверен, это влетит фунтов в 80, т. е. миллионов в восемь! А если в шкафу всего пять миллионов? Если три? Да если даже и десять — я не согласен работать из 20 процентов. Тогда уж прямо отдать свой оборотный капитал под первую закладную.

— Мне интересно, что же в таком случае предложит председатель — так жестоко бракующий наши предложения?

— А вот что! Я предлагаю подделывать пятисотрублевки. Во-первых, они одноцветные, голубые, во-вторых, рисунок не сложный, в-третьих...

— А что для этого нужно?

— Медная доска для гравировки, кислота, краска, бумага, пресс для печатания.

— Сколько же мы в месяц напечатаем таких фальшивок?

— Тысяч десять штук!

Средний мошенник взял карандаш и погрузился в вычисления...

— Сейчас вам скажу, во что обойдется одна штука.

— Ну что же?

— Н-да-с... Дело любопытное, но едва ли выгодное. Одна пятисотрублевка будет нам стоить 720 рублей!

— Черт возьми! А как же правительство печатает?

— Как, как?! У них бумага и краска еще старого запаса.

Долго сидели молча, угрюмые, раздавленные суровой действительностью.

— Ну и страна! — крикнул председатель. — За какое мошенничество ни возьмись — все невыгодно!

— А что, если, — робко начал самый младший мошенник, — что, если на те деньги, которые у нас есть, — купить две-три кипы мануфактуры, да сложить ее в укромное местечко, да, выждав недели три, продать.

— Что ж из этого получится?

— Большие деньги наживем.

— Постой, какое же это мошенничество?

— Никакого. Зато выгодно.

— Постой! Да ведь мы мошенники! Ведь нам как-то неприлично такими делами заниматься!

— Почему?

— Ну вот предположим, полиция узнает о нашей мануфактуре — что она нам сделает?

— Ничего.

— Вот видишь... Как-то неудобно. Я не привык такими темными делами заниматься.

— Но ведь не виноваты же мы, что это выгоднее, чем фальсификация продуктов, фальшивые бумажки и взлом касс!

— Бож-же! — вскричал председатель, хватаясь за голову. — До какого мы дошли падения, до какого унижения! С души воротит, тошнит, а придется заняться этой гадостью!

И они встали, пошли в город. Занялись.

\* \* \*

Вот почему теперь так мало мошенников и так много спекулянтов...

## ***Русская сказка***

Отец прижал голову крохотного сына к груди и начал сказку:

— В одном лесу жил мальчик и жила Баба-Яга Костяная Нога... Впрочем, ну ее, эту Бабу-Ягу, правда?

— Ну ее, — охотно согласился ребенок.

— Вот какую сказку я лучше расскажу: жили да были дед и баба, у них была курочка-ряба... Хотя скучно это! Пусть она провалится, эта курочка!

— И дед с бабой пусть провалятся! — сверкая глазами, согласился мальчик, обуреваемый столь свойственным детям инстинктом разрушения...

— Верно. Пусть они лопнут — и дед, и баба. А вот эта — так замечательная сказка: у отца было три сына, старший умный был детина, средний был и так и сяк...

— Пусть они тоже лопнут... — внес категорическое предложение малютка, улыбаясь с веселой свирепостью.

— И верно, сын мой. Туда им и дорога. Это все, конечно, чепуха, труха. Хорошая сказка рассказывается после соответствующего разбега. А так как я уже достаточно разбежался, то... слушай!

\* \* \*

...Жил-был твой папа, и у папы была твоя мама, и была она потому, что тогда не было сыпного тифа. И жили твои папа с мамой в квартирке из шести комнат, и даже для сына была отдельная комнатка, где стояла его колыбелька. Теперь мы с тобой и дядей Сашей живем в одной комнате, а тогда у меня было шесть.

— У кого реквизировал?

— Держи карман шире! Тогда не было реквизиций! Кто какую квартиру хотел, такую и снимал. Хоть бы двадцать комнат! И вот однажды приезжаю я...

— С фронта?

— С которого? Никакойших тогда фронтов не было!

— А что ж мужчины делали, если нет фронта! Спекулировали, небось?

— Тогда не спекулировали.

— А что же? Баклуши били?

— Дядя Саша, например, был адвокатом. Петр Семеныч писал портреты и продавал их, дядя Котя

имел магазин игрушек...

— Чтой-то — игрушки?

— Как бы тебе объяснить... Ну, например, видел ты живую лошадь? Так игрушка — маленькая лошадь, неживая; человечки были — тоже неживые, но сделанные, как живые. Пищали. Даванешь живот, а оно и запищит.

— А для чего?

— Давали детям, и они играли.

— Музыка?

— Чего музыка?

— Да вот, играли.

— Нет, ты не понимаешь. Играть — это значит, скажем, взять неживого человечка и посадить верхом на неживую лошадку.

— И что ж получится?

— Вот он и сидит верхом.

— Зачем?

— Чтоб тебе было весело.

— А кто ж в это время играет?

— Фу, ты! Нельзя же быть таким серьезным. Однако — вернемся. Вот, значит, мы так и жили...

— А что ты делал?

— Я был директором одной фабрики духов.

— Чтой-то?

— Духи? Бутылочка такая. Откроешь пробочку, капнешь на костюм, а оно хорошо и пахнет.

— А зачем?

— Да так. Зря. Раньше много чего зря делалось. У меня, например, был человек, который стоял у дверей, и если кто-нибудь приходил ко мне, он шел впереди него и говорил, кто пришел.

— Да зачем тебе? Ты бы и сам через минутку увидел бы.

— Так было принято. Много чего зря делали. Мы с мамой, например, раз в месяц бал закатывали.

— Во что закатывали?

— Ни во что. Возьмем и закатим бал. Приглашали музыку, оркестр целый... Сад увешивали цветными фонариками и под музыку танцевали...

— Чтой-то?

— Танцевать? А вот мужчина брал даму одной рукой за ее руку, другой за это место, где у тебя задняя пуговица курточки, и начинали оба топтать ногами и скакать.

— Зачем?

— Зря. Совершенно зря. Пользы от этого не замечалось никакой. После танцев был для всех ужин.

— Небось, дорого с них сдирал за ужин?

— Кто?!

— Ты.

— Помилосердствуй! Кто ж с гостей за ужин получает? Это бесплатно. Я их угощал. Повар готовил ужин, шампанское, фрукты, мороженое.

— Сколько ж тебе это стоило? Небось — за... этого... закатывал в копеечку?

— Ну как тебе сказать... Помнишь, мы сегодня после обеда пили с тобой этакую чуть-чуть газированную теплую дрянь на сахарине? Ситро, что ли? Ну вот сколько мы заплатили за бутылочку, помнишь?

— Полторы тысячи.

— Правильно. Так раньше — бал с музыкой, фонариками и ужином стоил половину такой бутылки.

— Значит, я сегодня целый бал выпил?

— Представь себе! И не лопнул.

— Вот это сказка! У маленького мальчика бал в животе. Хе-хе-хе!

— Да уж. Это тебе не Баба-Яга, чтоб ей провалиться!

— Хе-хе! Не у отца три сына, чтобы им лопнуть.

— Да... И главное, не Красная Шапочка, будь она проклята отныне и до века!

## II. Обнищание культуры

### Володька

Завтракая у одного приятеля, я обратил внимание на мальчишку лет одиннадцати, прислонившегося у притоки с самым беззаботным видом и следившего за нашей беседой не только оживленными глазами, но и обоими на диво оттопыренными ушами.

— Что это за фрукт? — осведомился я.

— Это? Это мой камердинер, секретарь, конфиденд и наперсник. Имя ему — Володька. Ты чего тут торчишь?

— Да я уже все поделал.

— Ну черт с тобой. Стой себе. Да, так на чем я остановился?

— Вы остановились на том, что между здешним курсом валюты и константинопольским — ощутительная разница, — подсказал Володька, почесывая одной босой ногой другую.

— Послушай! Когда ты перестанешь ввязываться в чужие разговоры?!

Володька вздернул кверху и без того вздернутый, усыпанный крупными веснушками нос и мечтательно отвечал:

— Каркнул ворон — «Никогда!»

— Ого! — рассмеялся я. — Мы даже Эдгара По знаем... А ну, дальше.

Володька задумчиво взглянул на меня и продолжал:

Адский дух или тварь земная, —  
произнес я, замирая, —  
Ты — пророк. И раз уж  
Дьявол или вихрей буйный спор  
Занесли тебя, крылатый,  
В дом мой,  
Ужасом объятый,  
В этот дом, куда проклятый  
Рок обрушил свой топор,  
Говори: пройдет ли рана,  
Что нанес его топор?  
Каркнул Ворон «Never more» [38].

— Оч-чень хорошо, — подзадорил я. — А дальше?

— Дальше? — удивился Володька. — Да дальше ничего нет.

— Как нет? А это:

«Если так, то вон, Нечистый!  
В царство ночи вновь умчись ты!»

— Это вы мне говорите? — деловито спросил Володька. — Чтоб я ушел?

— Зачем тебе. Это дальше По говорил Ворону.



— Дальше ничего нет, — упрямо повторил Володька.

— Он у меня и историю знает, — сказал со своеобразной гордостью приятель. — Ахни-ка, Володька!

Володька был мальчик покладистый. Не заставляя себя упрашивать, он поднял кверху носишко и сказал:

— ...Способствовал тому, что мало-помалу она стала ученицей Монтезкье, Вольтера и энциклопедистов. Рождение великого князя Павла Петровича имело большое значение для всего двора...

— Постой, постой?! Почему ты с середины начинаешь? Что значит «способствовал»? Кто способствовал?

— Я не знаю кто. Там выше ничего нет.

— Какой странный мальчик, — удивился я. — Еще какие-нибудь науки знаешь?

— Знаю. Гипертрофия правого желудочка развивается при ненормально повышенных сопротивлениях в малом кругу кровообращения: при эмфиземе, при сморщивающих плеврите и пневмонии, при ателектазе, при кифосколиозе...

— Черт знает что такое! — даже закачался я на стуле, ошеломленный.

— Н-да-с, — усмехнулся мой приятель, — но эта материя суховатая. Ахни, Володька, что-нибудь из Шелли.

— Это которое на обороте «Восточные облака»?

— Во-во.

И Володька начал, ритмично покачиваясь:

Нам были так сладко желанны они,  
Мы ждали еще, о, еще упоенья  
В минувшие дни.  
Нам грустно, нам больно, когда вспоминаем  
Минувшие дни.  
И как мы над трупом ребенка рыдаем,  
И муке сказать не умеем: «Усни»,  
Так в скорбную мы красоту обращаем —  
Минувшие дни.

Я не мог выдержать больше. Я вскочил.

— Черт вас подери — почему вы меня дурачите этим вундеркиндом. В чем дело — объясните просто и честно?!

— В чем дело? — хладнокровно усмехнулся приятель. — Дело в той рыбке, в той скумбрии, от которой вы оставили хвост и голову. Не правда ли, вкусная рыбка? А дело простое. Оберточной бумаги сейчас нет, и рыбник скупает у букиниста старые книги, учебники — издания иногда огромной ценности. И букинист отдает, потому что на завертку платят дороже. И каждый день Володька приносит мне рыбу или в обрывке Шелли, или в «Истории Государства Российского», или в листке атласа клинических методов исследования. А память у него здоровая... Так и пополняет Володька свои скудные познания. Володька! Что сегодня было?

— Но Кочубей богат и горд  
Не златом, данью крымских орд,  
Не родовыми хуторами.

Прекрасной дочерью своей  
Гордится старый Кочубей!..  
И то сказать...

Дальше оторвано.

— Так-с. Это, значит, Пушкин пошел в оборот. — У меня больно-пребольно сжалось сердце, а приятель, беззаботно хохоча, хлопал Володьку по плечу и говорил:

— А знаешь, Володиссимус, скумбрия в «Докторе Паскале» Золя была гораздо нежнее, чем в пушкинской «Полтаве»!

— То не в Золя была, — деловито возразил Володька. — То была скумбрия в этом, где артерия сосудистого сплетения мозга отходит вслед за предыдущей. Самая замечательная рыба попалась!

\* \* \*

Никто тогда этому не удивился: ни приятель мой, ни я, ни Володька...

Может быть, удивлен будет читатель? Его дело.

## ***Косьма Медичис***

Бродя по Большой Морской, остановился я у витрины маленького «художественно-комиссионного» магазина и, взглядевшись в выставленные на витрине вещи, сразу же обнаружил в этих ищущих своего покупателя сокровищах разительное сходство с сокровищами в знаменитой гостиной Плюшкина.

Я даже не погрешу против правды, если просто выпишу это место из «Мертвых душ»:

— «...Стоял сломанный стул и рядом с ним часы с остановившимся маятником, к которому паук уже приладил паутину. Тут же лежала куча исписанных мелко бумажек, накрытых мраморным позеленевшим прессом с яичком наверху, какая-то старинная книга в кожаном переплете, лимон, весь высохший, ростом не более лесного ореха (тут, на витрине, было полдюжины таких лимонов в банке из-под варенья), отломленная ручка кресел, кусочек сургуча, кусочек тряпки, два пера, запачканные чернилами, зубочистка, совершенно пожелтевшая, — а из всей этой кучи заметно высовывался отломленный кусок деревянной лопаты и старая подошва сапога».

Это, если вы помните, было у Плюшкина. Буквально то же самое красовалось на витрине, но с прибавкой небольшого крайне яркого плаката, стоявшего на самом выгодном месте, посредине...

Плакатик изображал разноцветного господина, держащего в одной руке сверкающую резиновую калошу, а пальцем другой указывающего на клеймо фирмы на подошве: «Проводник».

Меня очень рассмешила эта ироническая улыбка нашего быта: резиновых калош нельзя достать ни за какие деньги, а хозяин магазина упорно продолжает их рекламировать.

Так как хозяин стоял тут же, у дверей своей сокровищницы, я спросил его:

— Зачем вы рекламируете калоши «Проводник»?

— Где? — удивился он. — Это? Помилуйте! Да это картина. Мы это продаем.

— Как продаете? Да кому ж это нужно...

— Покупают. Повесишь в комнате на стенке, очень даже украшает. Видите, какие краски!

В торгашеском азарте он снял с витрины господина, указующего перстом на сверкающую калошу, и

преподнес это произведение к самому моему носу.

— Вот она, картинка-то. Купите, господин.

Я вспомнил свою петербургскую квартиру, украшенную Репиным, Добужинским, Билибиным, Ре-Ми, Александром Бенуа [\[39\]](#), — и рассмеялся.

— А в самом деле, не купить ли?

Раз наступает такая дикариная жизнь, что скоро будем ходить голыми, то для украшения наших вигвамов хорош будет и юркий господин, сующий под нос обаятельно сверкающую калошу.

В этот момент к нам приблизился незнакомец в темно-зеленом пиджачке в обтяжку и соломенной шляпе-канотье...

Он на секунду застыл в немом восхищении перед господином с калошей, снял шляпу, самоуверенно обмахнулся ею и спросил:

— Что ж вы мне прошлый раз, когда я покупал картины, не показывали этой штуки? Занятно!

— Купите! Замечательная вещь, — захопотал хозяин, почуяв настоящего покупателя. — Настоящая олеография! Это не то что масляные краски... Те — пожухнут и почернеют... А это — тряпкой с мылом мойте — сам черт не возьмет!

— Цена? — уронил покровитель искусств, прищурившись с видом покойного Третьякова, покупающего уника для своей галереи...

— Четыре тысячи.

— Ого. И трех предовольно будет. Достаточно, что вы прошлый раз содрали с меня за женскую головку «Дюбек лимонный» — шесть тысяч.

— Та же больше. И потом на картоне наклеена — возьмите это во внимание!

— Ну, заверните. А фигур нет?

— То есть скульптуры? Очень есть одна стоящая вещь: Диана с луком.

— Садит, что ли?

— Чего?

— Лук-то.

— Никак нет. Стреляет. Замечательный предмет (хозяин сделал ударение на первом слове) — настоящий, неподдельный гипс! Вещь — алебастровая!!

Когда меценат, закупив часть живописных и скульптурных сокровищ, довольный собой, удалился, я сделал серьезное лицо и спросил:

— Скажите, фамилия этого нового покровителя искусств — не Косьма Медичис?

— Никак нет, совсем напротив: Степан Картохин. Оне тут у портного в мастерах служат и огромные деньги нынче вырабатывают: до восьмисот тысяч в месяце! Известно, девать некуда — вот оне в валюту все перегоняют — вещи покупают. И опять же, искусство любят.

И почувствовал я, что все мы, прежние, до ужаса устарели со всеми нашими Сомовыми, Добужинскими, Репиными, Обри Бердслеями, Ропсами, Билибинами и Александрями Бенуа [\[40\]](#).

Шире дорогу! Новый Любим Торцов идет!

Бумажки бьют из его карманов двумя фонтанами, и в одной руке у него сверкает всеми цветами

радуги «Дюбек лимонный», в другой — «Покупайте калоши «Проводник»!

— Ars longa, vita brevis! [\[41\]](#)

## **Разговоры в гостиной**

### **XX век. Годы 1910–1913**

— Не знаю, куда в этом году поехать за границу... Все так надоело, так опостылело... Не ехать же в эту олеографическую постылую Швейцарию, с ее коровами, молочным шоколадом, альпенштоками и пастушьими рожками.

— А на Ривьеру?

— Тоже нашли место! Это проклятое, вечно синее небо, это анафемское вечно лазурное море, эти экзотические пальмы, эта назойливая красота раскрашенной открытки!.. И в Германию я не поеду. Эта сытость животного, эта дешевка мне претит! Махнуть в Норвегию, что ли, для оригинальности? Или в Голландию...

— ...Вчера я перечитывала «Портрет Дориана Грея»... Какая утонченность, какая рафинированность. Вообще, если меня в последнее время что и занимает, так это — английская литература последних лет, весь ее комплекс...

— ...А я вам говорю, что ставить в Мариинке «Электру» — это безумие! Половина певцов посрывает себе голоса!..

— Читали?

— Да, да! Это какой-то ужас. Весь Петербург дрогнул, как один человек, когда прочитал о горе бедной Айседоры Дункан. Надо быть матерью...

— ...Понимаете, между акмеизмом и импрессионизмом та разница, что акмеизм как течение...

— Позвольте, позвольте! А Игорь Северянин?..

— ...Расскажу, чтобы дамы не услышали. После Донона поехали мы в «Аквашку», были: князь Дуду, Ирма, Вовочка и я. Ну, понятно, заморозили полдюжинки...

— ...А я вам говорю, что Мережковский такой же богоискатель, как Розанов — богоборец!

— ...В последнем номере «Сатирикона»...

— ...Будьте любезны передать ром.

— ...Вы спрашиваете, отчего вся Россия с ума сошла? От Вилли Ферреро!

— Господа, кто вызывал таксомоторы? Два приехало.

— Прямо не знаю, куда бы мне и дернуть летом... Венеция надоела, Египет опостылел... Поехать, разве, на Карпаты для шутки?..

### **XIII век. Год 1920**

— Кушайте колбасу, граф!

— Merci. Почем покупали?

— 120.

— Ого! Это, значит, такой кусочек рублей 7 стоит...

— ...Я вам советую поехать в Сербию, хотя там неудобно и грязновато, но русских принимают довольно сносно. Даже в гостиницы пускают...

— Что вы говорите?!

— ...В кают-компании все стояли, прильнув друг к другу, сплошной массой, но я придумал штуку: привязал себя ремнями от чемодана к бушприту и так довольно сносно провел ночь. Благо тепло!

— Что это не видно моего кузена Гриши?

— Разве не знаете? На прошлой неделе от сыпняка кончился.

— Ах, вот что! То-то я смотрю... А булки почему покупали?

— ...Представьте себе, купила я две свечи, а одна из них без фитиля.

— Что же вы?

— А я растопила стеарин в стакане, потом взяла шнурок от корсета и стала обмакивать в стакан: обмакну и вытащу. Стеарин застывает быстро. Так и получилось несколько маленьких свечечек.

— ...Нет, простите! На чемодане спать удобно, только нужно знать — как. Другой осел будет пытаться спать на закрытом чемодане. А нужно так: все вещи из чемодана вынуть и завернуть в простыню; раскрытый чемодан положить крышками вверх, а сбоку, как продолжение, вынутые вещи; получается площадь в два аршина длины и в аршин ширины; впадина на ребре чемодана затыкается носками...

— Баронесса, по вас что-то ползет...

— Ах, это я с князем Сержем на грузовике каталась. Наверное, от него.

— ...Лучшая мазь от этих гадов — тинктура сабадилли. Мне жених подарил на именины целый флакон.

— Дуся! Дайте подушиться!

— ...Из Харькова мы ехали 28 дней. Я — с эшелонем солдат. Сначала питались орехами, у меня было 2 фунта, а потом на станции Роскошной я выменяла у жены стрелочника свою кофточку на курицу. Солдаты сварили из нее суп в цветочном горшке, и мы ели. Я ела двойной ложечкой, для заварки чаю. Неудобно только, что вся жидкость в дырочки протекала прямо на платье. Ну, я потом платье в станционной бочке выстирала.

— ...Не знаю, куда мне и поехать: англичане не пускают русских в Англию, французы не пускают в Париж, немцы...

— Что это за масло у вас такое странное? Я уже второй бутерброд ем, ем и не могу разобрать...

— Это не масло. Мазь от экземы для Шурочки. Вот дура тетка! Неужели она на стол поставила? Ну ничего, тут еще немного осталось — хватит.

— Вы читали «Портрет Дориана Грея»?

— Не читал. А вы читали приказ о выселении всех, кто живет тут меньше двух лет?

— ...Помню я, в толстовской «Смерти Ивана Ильича»...

— Скажите, он тоже от сыпного?

— А однажды я два дня спал на пишущей машине...

— Какой системы?..

— Если спирт и с бензином — это ничего, он годится... Надо только положить туда корицы, перечной мяты и лимонной корки. Наполовину отбивает запах.

— Не знаю, куда и поехать: туда не пускают, сюда не пускают...

## ***Век — черт его знает какой... Год 1923***

— ...Собираюсь в Константинополь.

— Как же вы поедете, если пароходов нет?!

— А мы с Иваном Сергеичем собираемся вплавь. Пузыри подвяжем, пробки. Удочки берем с собой, рыбку по дороге будем ловить... Пропитаемся. Мы высчитывали — не больше трех недель плавания.

— Скажите, граф, вы читали «Письма Чехова»?

— Простите, я только по-печатному. Писанное от руки плохо разбираю.

— Слушайте, а как вы думаете, если мы поплывем с Иван Сергеичем на Батум — там англичане по шее не дадут?

— Дадут. Они же запретили русским показываться в Англии.

— ...Понимаете: купила я свечу, а она вдруг оказывается с фитилем! Чуть я себе зуб не сломала!..

— Вы читали, баронесса, «Портрет Дориана Грея»?

— Чаво?

— Читали Оскара Уайльда?

— Мы неграмотные.

— ...И поймал он, можете представить, на себе насекомую. С кулак величиной и весом в полтора фунта.

— Что же он?

— Естественно, зарезал, ощипал и в борщ. Наваристая, каналья.

— ...Сплю я, сплю, вдруг слышу, что-то меня кусает... высекаю я огонь и что же! — оказывается, Иван Николаич за ногу. Уже чуть не пол-икры отъел! Убил я его, повернулся на другой бок, снова заснул.

### III. Денежная гипертрофия

#### *Крах семьи Дромадеровых*

Существует такой афоризм:

«Семья — это государство в миниатюре».

И никогда этот афоризм не был так понятен и уместен, как в 1919 году.

\* \* \*

В семье Дромадеровых сегодня торжественный день: после долгих совещаний с женой и домочадцами глава семьи решил выпустить собственную монетную единицу.

Долго толковал он с женой о монетном обращении, об эмиссионном праве, о золотом запасе, и, наконец, все эти государственные вопросы пришли к благополучному разрешению.

Тезисы финансовой стороны дела были выработаны такие:

I. Семья Дромадеровых для внешних сношений с другими семьями и учреждениями выпускает собственную монетную единицу.

II. Ввиду отсутствия металлов монетная единица будет бумажная.

Примечание: при изготовлении монеты надлежит принять все меры к тому, чтобы затруднить подделку монеты.

III. Для того, чтобы избежать перенасыщения рынка кредитными билетами семьи Дромадеровых, вводится эмиссионное право.

IV. О золотом запасе. Выпущенные кредитные билеты семьи Дромадеровых обеспечиваются всем достоянием госуд... т. е. семьи Дромадеровых, имеющей в своих кладовых два золотых массивных браслета, брошь, четыре кольца и двое золотых часов с золотой же массивной цепью.

V. Министром финансов назначается жена Дромадерова; ей же предоставляется право разрешения эмиссий.

\* \* \*

Монетный двор был устроен на столе, в кабинете главы семьи.

Материалом для изготовления кредиток послужили три сотни когда-то заказанных и испорченных визитных карточек, на которых по недосмотру типографщика было напечатано:

«Николай Тетрович Дромадеров».

Сын Володька оттискивал на оборотной стороне карточек гуттаперчевые цифры «3 р.», «5 р.», «10 р.», отец ставил сбоку подпись, а гимназистка Леночка внизу приписывала:

— «Обеспечивается всем достоянием семьи Др.»

— «За подделку кредитных билетов виновные преследуются по закону».

— Морду буду бить, — свирепо пояснял отец семейства эту юридическую предпосылку. — Лучше бы ему, подлецу, и на свет не родиться. Ну-с, эмиссионное право на 2 тыщонки выполнили. Соня! Прячь в

комод деньги и остаток материалов.

— Папочка, — попросил Володька. — Можно мне выпустить свои полтинничные боны? Так, рублей на пятьдесят?

— Еще чего! — рявкнул отец. — Я тебе покажу заводить государство в государстве!! Не смей.

— Ну, слава богу, — вздохнула жена Соня. — Наконец-то у нас есть человеческие деньги. Коля, я возьму 29 рублей, схожу на рынок. А то у нас на кухне совсем сырья нет.

— Сырья одного мало, — возразил Дромадеров. — Его еще обработать надо. Потребуется топливо и рабочие руки.

— Так я возьму еще сто рублей. Куплю дров и найму кухарку.

— Только скорей, а то население голодает.

\* \* \*

На бирже новая монетная единица была встречена очень благожелательно.

В зеленой лавке «дромадерки» сразу были приняты без споров сто за сто, а мясник даже предпочитал их керенкам, на которых были очень сомнительные водяные знаки.

— Верные деньги, — говорил он. — Это не то что советская дрянь, обеспеченная, как говорится, блохой на аркане. Опять же скворцовки я приму, и воропьяновки я приму, потому — и Скворцов господин, и Воропьянов господин — очень даже солидные финансовые заборщики. Их даже в казначействе принимают. А волосаток мне и даром не надо, потому что — это уж все знают — господин Волосатов сущий жулик и свое эмиссионное право превысил раз в десять! А золотого запаса у него разве только коронка на зубе.

На денежном рынке дромадерки заняли прочное положение: при котировке за них давали даже скворцовки с некоторым лажем, а волосатовки предлагали триста за сто дромадерок — и то не брали!

Жена Соня расширяла два раза эмиссионное право, рынок искал дромадерок, как араб ищет воду в знойной пустыне, сам Дромадеров стал уже искоса с вожделием поглядывать на международный рынок, допытываясь у всех встречаемых — почем вексельный курс на Лондон и Париж, — как вдруг...

Но тут мы должны предоставить слово самому Дромадерову... Только он своим энергичным стилем может изобразить весь тот ужас, всю ту катастрофу, которая постигла так хорошо налаженный монетно-финансовый аппарат:

— Сначала обратил я внимание, что у подлеца Володьки появились цветные карандаши, конфеты и даже серебряные часы-браслет... «Где взял, каналья?» — «Карандаши, говорит, товарищ подарил и конфеты тоже, а часы-браслет нашел»... Ну, нашел и нашел; ну, подарили и подарили... Ничего я себе такого не думал... Вдруг, слышу, говорят, Володька на бильярде сто рублей проиграл... «Где деньги взял?» — «Часы, говорит, продал». — «Врешь! Они у тебя на руке!» — «Это я, говорит, другие нашел»... Подозрительно, а? Стал я приглядываться к дромадеркам, которые мне изредка в руки попадали, — глядь, а на двух вместо «Тетрович» — «Петрович» напечатано.

Я к Володьке... «Ты анафема? Признавайся!!» В слезы. Покраснел как рак... «Я, говорит, папочка, только расширил эмиссионное право»... Ну, показал я ему это расширение права... До сих пор рука опухшая!..

— Чем же это все кончилось? — спрашивал сочувственный слушатель.



— Крахом! — отвечал несчастный отец, проливая слезы. — Кончилось тем, что теперь волосатовки идут выше: за одну волосатовку четыре дромадерки... Каково? Все финансовое хозяйство разрушил, подлый мальчишка!

## ***Записки дикаря***

Не так давно управляющий конторой той газеты, где я иногда писал фельетоны, отвел меня в сторону и сунул мне в руку целую пачку разноцветных бумажек разного фасона и формата.

— Что это? — слегка удивился я.

— Это вам.

— Зачем?!

— За то, что вы у нас пишете.

— Да что же я с этим буду делать?

— Берите. Такой у нас порядок.

— Какие смешные бумажки...

Чтобы не обижать симпатичного управляющего конторой, я сделал вид, что пачка этих странных обрезков раскрашенной бумаги очень меня обрадовала, отошел в сторону и стал рассматривать бумажку за бумажкой.

Были очень потрепанные, склеенные, но были и новенькие, от которых еще вкусно пахло типографской краской...

Одни кусочки чрезвычайно напоминали мне ярлычки на спичечной коробке, другие — наклейку на лимонадной бутылке, третьи — наклейку на нарзановой бутылке — даже орел был нарисован, — четвертые — очень походили на крап игральных карт.

Были и просто спокойные серые бумажки...

А одна бумажка, размером побольше других, даже понравилась мне: очень красиво на ней была изображена яркая — желтая с черным — георгиевская лента.

— Послушайте, — робко сказал я, приблизившись к управляющему, — нельзя ли мне обменять этот ярлычок от спичечной коробки на большую штучку с желтой ленточкой.

— Можно, — усмехнулся управляющий. — Только я у вас возьму за одну с ленточкой — 25 ярлычков.

«Ловкий какой, — подумал я, отходя. — 25 ярлычков! Штуки три я бы еще дал, а 25... Ищи других дураков!»

Я отобрал самые красивые кусочки с картинками и ярлыки — и сунул все это в карман, а узенькие маленькие ленточки были некрасивые — я их выбросил: улучил минуту, когда управляющий не смотрел на меня, и бросил в угол.

А то заметит еще, обидится...

**\* \* \***

Пришел я домой, вынул пачку подаренных мне бумажек и положил их в ящик письменного стола — в этом ящике у меня всякий дрязг валяется: кусочки обгорелого сургуча, приглашения на свадьбу с золотым обрезом и пуговицы от давно уже погибших брюк.

А вчера слышу, маленький сынишка соседки так раскапризничался, что сил нет — работать мешает.

Взял я часть полученной мною пачки, пошел к нему, стал его утешать:

— Погляди-ка, какая цаца: если не будешь плакать, я тебе подарю.

Подошла мать, посмотрела на нас, сказала небрежно:

— Вы ему этих засаленных бумажек не давайте — еще заразится, не дай Бог... Дайте ему лучше эту, с черно-желтой ленточкой.

— Пожалуйста. На тебе, Петя... Видишь, какая хорошая ленточка. И вот тебе еще две серенькие бумажечки с красными дядями. Видишь, какие хорошенькие мордочки в кружочке.

Заинтересованное дитя сразу затихло.

Вообще, детей можно купить всяким пустяком. Нужно только знать, как к ним подойти...

\* \* \*

Вчера писал для одного знакомого рекомендательное письмо...

Он сидел тут же, ждал.

В перо попала волосинка и повезла, замазывая все закругления букв.

Я выругался, поискал глазами клочок бумажки, чтобы очистить перо, не нашел, выдвинул ящик стола, взял один ярлычок и стал обтирать перо.

И тут я с удивлением заметил, что на лице моего знакомого отразился ужас.

— Что вы делаете?! — крикнул он.

— Разве не видите? Обтираю.

— Чем? Да ведь это керенка!!

— Ну? Я не знал, что оно так называется.

— Да ведь это деньги!!!

— Что вы говорите? — ахнул я, искренно огорченный. — Неужели на эту бумажку можно купить костюм?

— Ну, положим, для костюма нужно таких штук пятьсот, шестьсот.

— Вот видите! Где же мне столько набрать... А башмаки можно купить?

— Штук двести нужно.

— То-то и оно. А у меня их и пятидесяти штук не наберется. Тут, впрочем, еще есть такие, с красными портретиками...

— Это украинки!..

— Что вы говорите! А эти вот, розово-лиловенькие, пестренькие...

— Ну да! Крымские двадцатипятирублевки. Только это фальшивые.

— Плохо сделана, что ли?

— М... м... да, если хотите. Ее у вас не примут.

— Выбросить, что ли?

— Придержите пока. Может быть, какой-нибудь дурак возьмет.  
— А я давеча мальчишке дал поиграть такими вот. Одна была с ленточкой. Черная с желтым.  
— И глупо сделали. Ведь вы на эти бумажечки можете чего-нибудь купить.  
— А чего?  
— Ну, я уж не знаю. Пойдите на базар и купите.  
«Врет, поди», — недоверчиво подумал я.  
Но — решил попробовать.

\* \* \*

Как смешно!

Оказывается, действительно, за эти обрезочки кое-что дают.

Я пошел на базар, положил на прилавок одного ларька всю пачку и спросил:

— Что дадите за это?

Оказывается, дали:

1. Целого гуся.
2. Два десятка яиц.
3. Фунт масла.

Подумайте только: целый фунт масла!

А и бумажек-то этих было не больше четверти фунта.

Я схватил все завернутое мне — гуся, яйца и масло — и поспешно ушел, почти убежал, боясь, чтобы торговец не раздумал.

Вдруг да вернет.

Гусь оказался очень милым, сочным, да и из яиц добрая половина была свежая, съедобная.

Эге-ге...

Начинаю понимать смысл жизни...

Давно собирался покушать жареного поросенка. Завтра же пойду к управляющему конторой, попрошу: не даст ли он мне еще с полфунтика бумажек.

Узнал я также, что напрасно выбросил тогда узкие длинные ленточки: за четыре таких ленточки дают коробку спичек.

Это говорят:

— Купон.

А черт же его знал!

Купон — не купон.

По виду некрасивый.

## ***Леденящая душу история***

Эту историю рассказал мне один очень симпатичный человек.

— Видите, — сказал он мне, показывая в театре на сидящего в ложе полного блондина. — Видите этого господина? Инженер Пятеркин. Замечательно светлая личность! Я очень хотел поступить к нему на службу и, представьте себе, — никак, ну, никак — не могу!

— Что ж... не хочет он, что ли? — спросил я вяло, без любопытства, как спрашивают обыкновенно, предчувствуя впереди скучный безыntересный рассказ.

— Он-то не хочет? Да он спит и видит, чтобы меня к себе залучить!

— Значит, вы не хотите?

— Хочу! С руками и ногами готов пойти!

— Понимаю! Значит, дело у вас еще не открылось?

— На полном ходу дело!

— Догадался: вакансий нет?

— Есть! Как раз для меня!

— Жалование маленькое, что ли?

— Еще вчера он предлагал мне 20 тысяч в месяц!

— Да провалитесь вы! В чем же дело?! Он хочет, вы хотите, дело интересное, жалованье большое, а поступить не можете!

И тут, отведя меня в уголок за дверь, он рассказал мне одну из самых диких историй наших диких дней.

\* \* \*

...Этот Пятеркин обо мне очень много наслышан. Как-то встречает меня:

— Поступайте ко мне на службу!

— К вам-то? Да с удовольствием. А какое жалование?

— Три тысячи в месяц.

— Пожалуй, подходит. Закончу дела на своей теперешней службе и через две недели к вам.

Закончил я дела, собрался к инженеру Пятеркину, узнала жена, одобрила. Потом спрашивает:

— А какое жалование?

— Три тысячи.

— С ума ты сошел? Не хватит!

— Постой... А я уже две недели тому назад покончил с ним.

— То было две недели тому назад, а то теперь! Тогда масло стоило 30 рублей фунт, а теперь 45, тогда ботинки стоили тысячу рублей, а теперь полторы. И все так... Пойди, измени условия!

Прихожу: рассказываю. Инженер Пятеркин, как я уже изволил вам докладывать, — светлая личность! Да, говорит, вы правы... За эти две недели жизнь поднялась в полтора раза. Хорошо. Будете вы у меня получать четыре с половиной тысячи!

Радостный, побежал я к жене. До того бежал, что вспотел, пронизало меня ветром, пришел домой и

слег. Инфлюэнца.

Две недели провалялся. Встал, собираюсь к инженеру Пятеркину.

А жена опять:

— Постой! Как же ты будешь получать четыре с половиной тысячи, когда жизнь опять вздорожала на 35 процентов. Масло, что стоило 2 недели тому назад 45, — теперь 60, ботинки вместо полторы — две тысячи!

Пошел я к этой светлой личности — Пятеркину, рассказал.

С одного слова все понял человек!

— Верно, — говорит. — Ежели, — говорит, — по маслу равняться — цена вам шесть тысяч. Только подождите две недельки. Пока вы болели, я на ваше место взял на месяц временного человека. Дослужит он и уйдет. А вы на его место.

Подождал я две недели, собираюсь идти к Пятеркину.

Жена опять:

— А какое жалование?

— Шесть тысяч.

— Что ты, милый! Как же можно на шесть тысяч прожить, когда масло уже 120, ботинки — четыре тысячи...

Прихожу к этой буквально замечательной личности — Пятеркину, рассказываю...

— Верно, — говорит. — Если уж начали мы по маслу равняться и по ботинкам, так и будем продолжать. Значит, полагается вам 9 тысяч. Контракт на 3 года, как у нас установлено...

Тут меня и осенило.

— Позвольте! — говорю. — Ежели за это время каждый месяц цены на все увеличиваются вдвое, то как же я могу застыть на одном и том же жалованье? Ведь этак я месяца через три умру с голода.

До чего это была светлая личность — сказать даже не могу.

— Верно, — кричит, — совершенно бесспорно! Тогда мы, если вы хотите, сделаем расчет прогрессивный. Два месяца тому назад сколько стоило масло?

— 30 рублей.

— Месяц тому назад?

— 60.

— Теперь?

— Значит, 120.

— Ботинки?

— То же самое: тысяча — две тысячи — четыре тысячи...

— Так, — говорит, — теперь, когда мы математически установили вздорожание жизни в месяц ровно вдвое... (ох, и математик же был, шельма! Светлая голова! Недаром — инженер!)... то теперь мы, говорит, равнясь по маслу и ботинкам, исчислим математически и увеличение вашего жалования... Этот месяц вы получите 9 тысяч, второй — 18, третий — 36, четвертый — 72, пятый — 134, шестой — 288, седьмой — 576, восьмой... ну, будем для ровного счета считать — миллион в месяц. На девятый месяц — 2 миллиона,

десятый — четыре, одиннадцатый — 8, двенадцатый — 16 миллионов...

Он погрузился в вычисления, потом оторвался, покрутил головой:

— Гм... да! Выходит, что к концу второго года вы получите ежемесячно 64 миллиарда, а к середине третьего года свыше четырех биллионов в месяц.

— Многовато, — задумчиво сказал я.

— Да, дело, пожалуй, этого не выдержит.

— И возиться с ними, с такой уймой деньжищ, тоже, знаете, затруднительно. Ведь эти четыре биллиона домой привезти — обоз нанимать придется!

— И верно! А сколько миллиардов один обоз будет стоить? Да помещение для хранения нужно... Сухое, железобетонное! Да страховка от пожара, да сторожа, да счетчики...

Говорю ж вам — светлая был голова инженер Пятеркин — все высчитал, даже сторожей не забыл!

Сидим мы, молчим оба — грустные-прегрустные.

— Что ж теперь делать? — спрашиваю. — Может, плюнуть пока на эти расчеты и поступить к вам тысяч на десять!.. А там видно будет.

— А контракт на 3 года? Ведь по уставу нашего общества мы без контракта не можем.

Вздыхнул я. Ушел.

И так вот до сих пор хожу я к нему. Поговорим, поговорим и разойдемся.

И мне хочется служить, и ему страх как хочется, чтобы я поступил. И прошло уже с тех пор три недели. И масло уже 180, ботинки вчера жене купил — 7000, значит, наш расчет по маслу был верен, а поступить все не могу!..

Сойдемся оба и чуть не плачем.

\* \* \*

Голова рассказчика уныло свисла на грудь.

— А я, собственно, не понимаю, — заметил я, — почему вам было не подписать контракт на эти 4 биллиона? Получали бы вы 4 биллиончика в месяц, а ботинки стоили бы тогда биллиончика три...

— Мы-то оба понимаем, но главное — перевозка! Да наем сухого железобетонного сарая, да сторожа, да счетчики, да кассиры... Инженер Пятеркин — светлейшая голова — он уже все высчитал!

Да... Страшные, леденящие кровь драмы совершаются около нас каждый день, а мы проходим себе мимо, как дураки, и ничего не замечаем...

## IV. Спекуляция

### Борцы

На первом организационном собрании «Общества русских граждан, организовавшихся для борьбы со спекуляцией» («Обспек») инициатор организации Голендухин говорил:

— Господа! Не только административными мерами нужно бороться со спекуляцией! На помощь власти должны прийти сами граждане, должна прийти общественность! Посмотрите на Англию (и все посмотрели на Англию) — там однажды торговцы повысили цену на масло — всего два пиастра на фунт — и что же! Вся Англия встала на ноги, как один человек, — масло совершенно перестали покупать, всеобщее возмущение достигло такой степени, что...

— Простите... — поправил Охлопьев, — но в Англии пиастров нет. Там — пенни.

— Это все равно. Я сказал для примера. Обратите внимание на Германию (и все обратили внимание на Германию) — там на рынке фунт радия стоит...

— Я вас перебую, — сказал Охлопьев, — но радий на фунты не продается...

— Я хотел сказать — на пиастры...

— Пиастры — не мера веса...

— Все равно! Я хочу сказать: если мы сейчас повернемся в сторону России (и все сразу повернулись в сторону России), то... Что мы видим?!

— Ничего хорошего, — вздохнул Бабкин.

— Именно, вы это замечательно сказали: ничего хорошего. У нас царит самая безудержная спекуляция, и нет ей ни меры, ни предела!.. И все молчат, будто воды в рот набрали! Почему мы молчим! Будем бороться, будем кричать, разоблачать, бойкотировать!!

— Чего там разоблачать, — проворчал скептик Турпачев. — Сами хороши.

— Что вы хотите этим сказать?

— Я хочу сказать о нашем же сочлене Гадюкине.

— Да, господа! Это наша язва, и мы ее должны вырвать с корнем. Я, господа, получил сведения, что наш сочлен Гадюкин, командированный нами за покупкой бумаги для воззваний, узнал, что на трех складах, которые он до того обошел, бумага стоила по 55 тысяч, а на четвертом складе с него спросили 41 тысячу... И он купил на этом складе 50 пудов и продал сейчас же в один из первых трех складов по 47 тысяч.

— Вот-те и поборолся со спекуляцией, — вздохнул Охлопьев.

— Ловко, — крикнул кто-то с некоторой даже как будто завистью.

— Именно что не ловко, раз попался.

— Внимание, господа! — продолжал Голендухин. — Я предлагаю пригвоздить поступок Гадюкина к позорным столбцам какой-нибудь видной влиятельной газеты, а самого его в нашей среде предать... этому самому...

— Чему?

- Ну, этому... Как его... остро... остра...
- Остракизму? — подсказал Охлопьев.
- Во-во! Самому острому кизму.
- Чему?
- Кизму. И самому острейшему.
- Позвольте: что такое кизм?
- Я хотел сказать — изгнание! Долой спекулянтов!

Встал Охлопьев.

— Господа! Конечно, мы должны бичевать спекулянтов, откуда бы они ни появлялись... Но вместе с тем мы должны и отдавать дань уважения тем коммерсантам, которые среди этого повального грабежа и разгильдяйства сохранили «душу живу». Я предлагаю послать приветствие оптовому торговцу Чунину, который, получив из заграницы большую партию сгущенного молока, продает его по 1100 р., в то время когда другие оптовики продают по 1500, и это при том условии, что сгущенное молоко еще подымется в цене!!

- А где он живет? — задумчиво спросил Бабкин.
- А вам зачем?
- Да так, зашел бы... поблагодарить. Отдать ему дань восхищения...
- Он живет: Соборная, 53, но дело не в этом...

Встал с места Турпачев.

- Предлагаю перерыв или вообще даже... Закрыть собрание...
  - Почему?
  - Да жарко... И вообще... Закрыть лучше. До завтра.
  - Да! — сказали Грибов, Абрамович и Назанский. — Мы присоединяемся. Закрыть.
- Большинством голосов постановили: закрыть.

\* \* \*

У ворот дома Соборная, 53 столкнулись трое: Абрамович, Бабкин и Грибов.

- Вы чего тут?!
- А вы?
- Да хочу зайти просто... От имени общества принести благодарность Чунину, этому благородному пионеру, который на фоне всеобщего грабежа, сияя ярким светом...
- Бросьте. Все равно опоздали!
- Как... опоздал?
- Свинья этот Голендухин. А еще председатель! Инициатор...
- Неужели все скупил?
- До последней баночки. А? По 1100... А я-то и пообедать не успел, и извозчика гнал.



— Возмутительно!! В эти дни, когда общественность должна бороться... Где он сейчас?

— Только что за угол завернул. Еще догоните.

Из ворот вышел Турпачев.

— Господа! Я предлагаю не оставлять безнаказанным этого возмутительного проступка представителя общественности, в то время, когда наша Родина корчится в муках, когда уже брезжит слабый свет новой прекрасной России...

— Слушайте, Турпачев... А он по 1300 не уступил бы?

— Какое! Я по 1400 предлагал — смеется! Если мы, господа, обернем свои взоры к Англии...

Но никто уже не оборачивал своих взоров к Англии.

Стояли убитые.

Торговый дом «Петя Козырьков»

Мы уже стали забывать о тех трудностях, с которыми сопряжено добывание денег «до послезавтра».

В свое время — до революции, которая поставила все вверх ногами, — это было самое трудное, требующее большой сноровки искусство.

Подходил один знакомый к другому и, краснея и запинаясь, и желая провалиться сквозь землю, тихим, умирающим голосом спрашивал:

— Не можете ли вы одолжить мне пятьдесят рублей на две недели?

— Знаете что? — находчиво возражал капиталист. — Я лучше одолжу вам два рубля на пятьдесят недель.

Иногда ловили на ошеломляющей неожиданности:

— Послушай, — запыхавшись, подлетал один к другому, — нет ли у тебя двугривенного с дырочкой?

— Н-нет... — растерянно бормотал спрашиваемый. — В... вот — без дырочки есть.

— Ну черт с тобой, все равно, давай без дырочки! — И, выхватив у сбитого с толку простака серебряный двугривенный, исчезал с ним.

Были случаи и явно безнадежные:

— Что это у вас?.. Новая сторублевка? Вы знаете, моя жена еще таких не видела. Дайте, снесу покажу ей... Да вы не бойтесь — верну. Дня через три-четыре встретимся, и верну.

А вот случай, чрезвычайно умильный по своей беспочвенности:

— Что это вы все в землю смотрите?

— А? Полтинник ищут.

— Обронили, что ли?

— Я? Нет. Но я думаю, может, кто другой обронил.

Ах, с каким трудом раньше давали займы. По свидетельству старинных летописцев (да позволено нам будет выразиться по-церковнославянски), это было «дело великого поту»...

Должник приступал к этой несложной операции, будто к операции собственного аппендицита, дрожа, заикаясь и спотыкаясь, заимодавец — с наглостью и развязностью необычайной, неслыханной — третировал несчастного en capaille [\[42\]](#), задавая ему ряд глупых вопросов и одаривая его попутно ни к

черту негодными советами:

— А? Что? Да! Взаимы просите. Вы что же думаете, что у меня денежный завод, что ли? Нужно жить экономнее, молодой человек, сообразуясь с вашими средствами! Если бы я еще сам печатал деньги — тогда другое дело!.. А то ведь я их не печатаю, не правда ли? Чего вы там бормочете? А? Что? Ничего не понимаю!

Фу, какое было гадкое чувство!

\* \* \*

А теперь у нас, в России, настал подлинный золотой век:

— А, что? Просите 7 тысяч? Да какой же это счет — 7 тысяч? Не буду же я ради вас менять в лавочке десяти тысячную?! Или берите целиком десяти тысячную, или подите к черту.

— Очень вам благодарен... Поверьте, что я на будущей неделе... сейчас же...

— Ладно, ладно, не отнимайте времени пустяками...

— Ей-богу, я как только получу от папы деньги...

— Да отстанете вы от меня или нет?.. Действительно, нашел о какой дряни разговаривать...

— Поверьте, что я никогда не забуду вашей... вашего...

— А, чтоб ты провалился! Не перестанешь приставать — выхвачу обратно бумажку и порву на кусочки!

— Однако... Такое одолжение... Так выручили...

Сразу видно, что это старозаветный, допотопный должник.

Новый возьмет и даже не почешется.

А если вся требуемая сумма — тысяча или две — так он это сделает мимоходом, будто, летя по своим делам, на чужой сапог сплюнул.

— Сколько стоят папиросы? Две тысячи? Сеня! Заплати, у меня нет мелких. Как-нибудь сочтемся, а не сочтемся — так тоже неважно!

И Сеня платит, и Сеня смеется, расправив рот, не менее весело, чем жизнерадостный курильщик.

\* \* \*

Позвольте рассказать об операции, которую любой из читателей может проделать в любой день недели и которая тем не менее несет благосостояние на всю остальную жизнь...

Один ушибленный жизнью молодой человек, по имени Петя Козырьков, не имея ни гроша в кармане, лежал в своей убогой комнате на кровати и слушал через перегородку, как его честила квартирная хозяйка:

— И черт его знает, что это за человек? Другие, как люди: спекулируют, хлопочут, торгуют, миллионы в месяц зарабатывают, а этот!.. И знакомства есть всякие, и все... а черт его знает, какой неудалый! Слушайте, вы! Еще месяц я вас держу и кормлю, потому я вашу покойную маму знала, а через месяц со всеми бебехами вон к чертям свинячим! Вот мое такое благородное, честное слово...

А надо сказать, Петя не зря лежал: он дни и ночи обдумывал один проект.

Теперь же, услышав ультиматум, дарующий ему совершенно точно один месяц обеспеченной пищей

и кровом жизни, Петя взвился на дыбы, как молодой конь, и, неся в уме уже выкристаллизованное решение, помчался на Нахимовский проспект.

Известно, что Нахимовский проспект — это все равно что Невский проспект: нет такого человека, который два-три раза в день не прошелся бы по нему.

И вот на этом свойстве Нахимовского построил Петя свою грандиозную задачу: стал у окна гастрономического магазина Ичаджика и Кефели, небрежно опершись о медный прут у витрины, и стал ждать...

Ровно через три минуты прошел первый знакомый...

— Афанасий Иванович! Сколько лет, сколько зим... Голубчик! У меня к вам просьба: дайте десять тысяч. Не захватил с собой бумажника, а нужно свечей купить.

— Да сделайте ваше такое одолжение... Пожалуйста. Что подельваете?..

— Так, кой-чего. Спасибо. Встречу, отдам.

— Ну какие глупости. Будьте здоровы. Почин, говорят, дороже денег.

Через полчаса у Пети было уже 70 тысяч, а через четыре часа 600.

Это была, правда, скучная работа, но Петя для развлечения варьировал ее детали: то ему нужно было купить не свечей, а винограду для именинницы, то «ему предлагали приобрести очень миленькое колечко за триста тысяч» и не хватало десяти.

Короче говоря, к шести часам вечера Петя встретил и задержал на минутку сто знакомых, что составляло по самой простой арифметике — миллион!

Пересчитал Петя добычу, сладко и облегченно вздохнул и помчался в кафе.

Уверенно подошел к одному занятому столику.

— Сгущенное молоко есть?

— Сколько надо?

— А почему?

— Оптом две тысячи.

— Пятьсот коробок.

— Ладно. Завтра утром на склад.

Свез Петя пятьсот коробок домой, сунул их под кровать, лег на кровать — и начался для него месяц самой сладкой жизни: дни и ночи лежал он на кровати, этот умный Петя, и чувствовал он, что в это самое время под ним совершается таинственный и чудный процесс постепенного, но верного обогащения его сгущенным швейцарским молоком, — не исследованный еще новыми экономистами процесс набухания и развития.

И ровно через месяц слез Петя с кровати, пошел в кафе и, усевшись за столик, громогласно сказал:

— Есть пятьсот банок сгущенного молока. Продаю. — Налетели, как саранча.

— Почему?

— А сколько дадите?

— По четыре!

— По шесть дайте.

— По пять!!

— Сделано.

Получил Петя два с половиной миллиона, расплатился с добросердечной хозяйкой, пошел на Нахимовский, стал на то же место и принялся ловить своих заимодавцев:

— Афанасий Иванович! Сколько лет, сколько зим. Что это я вас не видел давно? Там за мной должок... Вот, получите.

— Ну что за глупости. Стоит ли беспокоиться. Я, признаться, и забыл. Спасибо. Ну, что поделываете?

— Так, кой-чего. Александр Абрамович! Одну минутку. Здравствуйте... Там за мной должок.

— Ну, какой вздор. Спасибо. Что это за деньги, хе-хе. Одни слезы.

— Ну все-таки!

До вечера простоял у магазина Ичаджика и Кефели честный Петя, а на другой день купил на оставшийся миллион спичек и папирос, сунул их под кровать, сам лег на кровать, и так далее...

Если вы, читатель, ходите по Нахимовскому, а живя в Севастополе вы не можете избежать этого, вы должны заметить большой магазин, заваленный товарами, а над огромным окном — золоченая вывеска:

«Торговый дом «Петр Козырьков». Мануфактура и табачные изделия. Опт.»

## ***Прогнившие насквозь***

Зал ресторана. Пустынно. Только за одним из столиков сидят муж и жена, за другим столиком, поодаль от мужа и жены, — элегантный молодой господин.

У стены уныло, как осенняя муха, дремлет лакей.

Вот и вся рельефная карта, вот и вся диспозиция той местности, где должна произойти битва житейская.

Начинается тем, что муж бросает целый дождь сердитых взглядов то на жену, то на молодого человека.

Взгляды делаются все ревнивей, все яростнее.

Наконец, муж не выдерживает, вскакивает, надевает нервно перчатки и, скрестив руки, подходит к элегантному господину:

— Милостивый государь!!

— Милостивый государь? — хладнокровно приподымает одну бровь молодой господин.

— Я заметил, что вы смотрели на мою жену!

— Согласитесь сами, что я не могу вывинтить свои глаза и спрятать в карман. Надо же их куда-нибудь девать.

— Да! Но вы смотрите на нее особенным взглядом.

— Почем вы знаете — может быть, у меня все взгляды особенные.

— Вы на нее смотрели любовным взглядом!!

— Вы должны гордиться, что ваша жена может внушить такое серьезное чувство.

— Ах, так вы же еще и издеваетесь? В таком случае — вот вам!

Муж стаскивает перчатку и бешено бросает ее в лицо молодому господину.

— Что это значит?

— Я бросил вам перчатку! Вызываю вас к барьеру!

— О, сделайте одолжение! Я подымаю брошенную вами перчатку и принимаю ее.

— То есть как принимаете? Вы должны мне ее вернуть!

— Ничего подобного! Дуэльный кодекс Дурасова [43] гласит...

— Плевать я хотел на дурасовский кодекс, когда мои перчатки стоят 28 тысяч!!

— Вот эти вот перчатки?! Полноте!

— Вы считаете меня лжецом?

— Я вас не считаю лжецом, но вас просто ограбили. Содрали с вас. Я вам дюжину пар таких перчаток могу достать за 200 тысяч.

— Ей-богу? А гросс [44] можете?

— Пожалуйста! Какие номера?

— Я вам сейчас запишу. Одну минутку.

Оба начинают записывать в записные книжки.

Жена, наблюдавшая с волнением начало этой сцены, вдруг начинает рыдать.

— Что такое, — оборачивается муж. — В чем дело? Постой, мы сейчас кончим.

— Ты сейчас кончишь?! О слизняк, для которого дюжина перчаток дороже чести жены. Я долго колебалась и сомневалась в твоём ничтожестве... Но теперь — увы! Сомнения нет. Ни одной минуты я не могу быть под одной крышей с такой торгово-промышленной слякотью, с такой куртажной мразью! Я ухожу от тебя.

— Опомнись, Катя, милая...

— Прочь с моего пути! Давай мне миллион, и я ухожу от тебя навсегда!

— Какой миллион! За что?

— Нужно же мне жить чем-нибудь?

— Прости, но я взял за тобой в приданое всего 12 тысяч...

— Да! Восемь лет тому назад! Когда наш золотой десятирублевик стоил 10 рублей. (Обращаясь к молодому человеку.) Эй, вы! Сколько бы теперь это стоило? Те 12 тысяч! Ну, скорее!

Молодой человек с готовностью выхватывает записную книжку.

— Сию минуту-с! Высчитаю.

Муж и жена усаживаются за разные столики, с нетерпением ждут конца вычисления.

— Ну что же вы? (нервничает жена).

— Скоро?

— Вот! По золотому курсу, это 183 миллиона 752 тысячи.

Жена энергично:

— Видишь, грабитель? Отдавай мне мои 183 миллиона!

— Постой... Ведь мы же их проживали вместе. Знаешь что? Возьми семьсот тысяч?

— Миллион!

Муж, вынимая из кармана деньги:

— Эх! Всюду убытки.

Жена идет к выходу, потом возвращается.

— Да! Я позабыла: давай еще шестьсот тысяч.

— За что?

— Как за что? Ведь я от тебя завтра утром переезжаю!

— Ну, так что?

— Значит, освобождаю свою комнату. Ты ее сейчас же сдашь — я тебя знаю — и сдерешь за нее тысячу в месяц! Вот и давай мне за первый год половину.

Муж, хватаясь за голову:

— А я тебя так любил... Человек, счет!

Официант подбегает с бумажкой в руке.

— Что-о? — кричит муж, просматривая счет. — За бутылку этого гнусного вина вы дерете 15 тысяч?!

— Помилуйте, господин... Себе в покупке стоит 12 тысяч.

— Вот эта дрянь? Да я вам по девяти с половиной сколько угодно достану!

— Годится! Два ящика можете? Франко [\[45\]](#) ресторан?

Оба садятся за столик, записывают сделку. В это время оставленный всеми молодой господин бочком подбирается к даме, шепчет что-то...

— Франко ваша квартира? — улыбаясь, спрашивает дама.

— Франко любая моя комната.

Оба смеются, он берет ее под руку. Уходят.

Муж, аккуратно записав в книжку новую сделку, поднимает голову:

— Человек! А где же жена?

— Она ушла с тем молодым человеком.

— О, Боже! — со стоном вскрикивает муж, опуская голову на руки. — Какой ужас!

Тихо рыдает.

Растроганный лакей, склонившись над ним, ласково гладит его по плечу:

— Вы очень страдаете, господин?

— Еще бы! Гросс перчаток, дюжина по двести, — и я не успел записать его адреса!

## V. Демократия

### *Драма на море*

Матросы одного океанского судна поймали акулу...

Вытащили ее крюком на палубу и распластали.

— А интересно, братцы, что у нее в желудке, — сказал судовой врач.

Бравый матрос одним ударом ножа вспорол акулий желудок, бесстрашно сунул туда руку и вытащил... человеческий череп и записную книжку в прочном коленкоровом переплете, только чуть-чуть разъеденную едким желудочным соком.

— Глянь, ребята, — сказал юнга. — Обезьяничий череп.

— Ничего подобного, — возразил доктор. — Судя по форме — это череп первобытного дикаря. Первая ступень развития.

— Не думаю, чтоб «первая ступень», — засмеялся младший офицер. — Не думаю, чтобы первобытный дикарь, ибо при черепе есть записная книжка. Несомненно, обладатель черепа и книжки — одно и то же лицо. А ну, поглядим... Ба! написано по-русски. Значит, компатриот! Угораздило беднягу. Послушайте-ка!

\* \* \*

«Сия записная книжка принадлежит члену «Профсогреба» Веденею Дрыкину.

*Воскресение.* Ужас, ужас и еще раз ужас. Наша старая рыбацья шхуна «Амфитрита» пошла ко дну ко всем чертям. Спасся только начальник и мы, шестеро... Плыдем в лодке — куда неведомо! Хорошо еще, что начальник захватил компас и карту... Говорит, что берег в 80 милях и если хорошо грести, то в шесть дней догребем до берега. Навались, ребята!

*Понедельник.* Гребем. Подсчитывали рационы. Если по два сухаря и куску солонины в день, то на 5–6 дней хватит. Гребем день и ночь.

*Вторник.* Гребли, гребли, вдруг встает товарищ Алеша Гайкин, и говорит этот Алеша Гайкин:

— А что, говорит, товарищи, — ведь тяжелая штука эта гребля.

— Очень, говорим, тяжелая.

— Это, говорит, труд, а всякий труд должен быть организован! Поэтому, говорит, предлагаю немедленно основать профессиональный союз гребцов для защиты наших пролетарских гребцовских интересов!

Начальнику это не особо чтобы понравилось:

— Что вы, — говорит, — ребята! Какие там союзы? Гребите себе, и конец! Доберемся до берега — тогда что хотите делайте.

— Нет, — говорит Алеша, — это ты врешь! Тогда уже поздно будет, на берегу-то. Мы должны организовать сейчас. Выбирай, товарищи, председателя!

Вот оно, что значит: сознательный! Сразу сказал — что к чему! Мозговитая башка.

Побросали мы весла — стали выбирать. Ну, понятное дело — Алешу и выбрали.

— В таком разе, — кричит Алеша (радостный такой), — раз вы меня выбрали, то требую восьмичасового рабочего дня, и никаких гвоздей!

А начальник — смех на него смотреть — прямо что только не плачет:

— Да с ума вы, говорит, походили! Где же это, кричит, видано, чтобы публика чуть ко дну не идет, а сама восьмичасового дня требует?! Да я сам, своими руками, буду хоть 15 часов грести... Одумайтесь, ребята.

— Думали, — говорит Алеша, — достаточно... И раз у нас проснулось классовое самосознание, то никаких ваших разговоров не должно быть. Правильно, товарищи? Голосуйте вставанием...

Проголосовали вставанием — чуть лодку не опрокинули.

А меня секретарем выбрали. Вот-то здорово! И сам не ожидал.

*Среда.* Решили грести так: четыре часа до обеда, четыре — после обеда. А так как обед был не особо чтобы какой, то Алеша потребовал увеличения пайка под угрозой забастовки.

Прямо плакал наш буржуй-начальник:

— Для вас же, чертей, берегу рационы... Ведь с голодудохнете.

— Это, — говорит Алеша, — все трэфовый разговор... А раз, что пролетариат работает — он должен и сносно питаться. Иначе минимум производительности!

*Четверг.* Вынул нынче Алеша из кармана книжечку-календарчик, глянул в него да как крикнет — таково радостно:

— Братцы-товарищи! А ведь нынче престольный праздник! Никто не имеет такого права, чтобы заставить нас у праздник работать. Бросай весла!

Ай и голова же! Прямо сил нет.

*Пятница.* Нынче у нас первый день забастовки. Вся штука вышла из-за того, что Алеша предъявил начальнику от имени профсоюза требование о больничной кассе и обеспечении на случай потери трудоспособности.

Получили отказ — забастовали.

Алеша называет это: «конфликт с предпринимателем».

Вот мозух! Где-нибудь в Англии или еще где — министром был бы, а у нас так, зря околачивается.

*Суббота.* Забастовка протекает — нормально.

До берега 68 миль.

Рационы — только на завтра. Если потом начальник перестанет кормить — поломаем весла.

Алеша так это и называет: «Порча орудий производства».

Появились акулы.

Этой сволочи еще чего надо?

*Воскресенье.* Рационы прикончили. Надо же питаться трудящему человеку.

Акулы прямо с ума спятили. Шныряют около лодки день и ночь — никакого им 8-часового рабочего дня нет!



Алеша чивой-то притих, а море, наоборот, разыгрывается. С запада желтая туча ползет, стерва, прямо как живая...

Акулы прямо чуть не через борт прыгают... Алеша даже одну кулаком по морде хватил.

*Воскресенье (вечер).* Буря. Алеша чего-то плачет.

— Простите, говорит, братцы, меня окаянного... Через меня все подох.....

До чего сволочевый вал — чуть лодку не перевернул! Акулы.....

Братцы, что ж это так.....

\* \* \*

От последней буквы записи тянулся длинный нервный карандашный хвост — будто кто-то помешал секретарю профсоюза дописать слово.

Дальше шли чистые листки.

\* \* \*

— Какая странная история, — прошептал доктор, швыряя череп через борт. — И ужаснее всего, что никто от этого не выиграл!..

Офицер возразил:

— Как никто? А акулы?

## ***Дневник одного портного***

Мне нужно было заказать себе костюм. Я пришел к портному и спросил:

— Вы портной?

— Видите ли, — отвечал он. — Короче говоря, я действительный член профессионального союза «Игла».

— Костюм мне сшить можете?

— М-м-м... Пожалуй. Только ведь это очень трудная штука — сшить костюм. Вы не думайте, что это так себе, пустяк.

— Я знаю. Если бы это было «так себе», я сшил бы сам. Сколько возьмете с моим матерьялом?

— Триста тысяч.

— Виноват, я даю и подкладку.

— А то как же. И пуговицы за ваш счет, и нитки. А иначе, согласитесь сами... Давайте задаток. Сто.

Я дал задаток и выжидательно остановился перед ним.

— Чего ж вы стоите? Ступайте домой. Как-нибудь на днях заверните.

— Виноват... А мерку?

— Можно и мерку. Впрочем, это не важно — рост у нас один. На какой-нибудь вершок вы выше и худее.

\* \* \*

Вернувшись домой, я спросил у соседа:

— Сколько зарабатывает теперь ремесленник или рабочий?

— А черт его знает. Тысяч триста, я думаю.

— Не может быть! С меня сейчас за шитье одного костюма взяли триста тысяч!!

— А может быть, он будет шить ваш костюм целый месяц.

— Как месяц?! Раньше в два дня шили!

— Кто?!

— Портные.

— А теперь кто шьет?

— Действительный член профессионального союза «Игла».

— Ну вот видите.

— А может, и этот, тово... В два дня... А?

— Тогда нужно предположить, что за 24 рабочих дня в месяц он зарабатывает три миллиона шестьсот тысяч.

— Это неслыханно!!

— Вот видите.

\* \* \*

Через неделю я пошел к портному на примерку. Он сказал:

— Не готово к примерке.

Я беспомощно обвел глазами комнату, и вдруг мой взгляд упал на тоненькую тетрадку, валявшуюся на краю огромного стола. На обложке было написано:

«Дневник действ. члена проф. союза «Игла» Еремея Обкарналова»...

— Хоть стакан воды дайте, — кротко попросил я. Он пошел за водой, а я украл тетрадку, сунул ее в карман и тихо вышел.

Дома прочитал. Выписываю без сокращений и изменений.

\* \* \*

2-го числа. Принимал сегодня заказ. Пока снимал мерку, торговался с заказчиком, глядишь — и день прошел.

3-го числа. Рассматривал материю. Какой хороший материал носят проклятые капиталисты, а? Пока пил чай, обедал, то, се — ан уж и вечер. Прямо ничего не успеваешь делать. Засяду с завтрашнего дня!..

4-го числа. Праздник. Не работал. Отдыхал.

5-го числа. Ходил за нитками и пуговицами. Прихожу к магазину, а он закрыт. Вот черти — все бы им

обедать. Вернулся домой, пил чай, пошел опять, а магазин совсем и закрылся. До чего народ дармоед пошел. Когда они и торгуют — не понимаю.

6-го числа. Воскресенье. Отдыхал.

7-го числа. Хоть голова и трещит, но работа — первое дело. Кроил штаны. Выкроил одну штанину — так разломило спину, что разогнуться не могу. Когда же, наконец, эта наглая эксплуатация нашего каторжного труда прекратится?

8-го числа. Престольный праздник. Слава богу, хоть денечек отдохнем.

9-го числа. Опять ходил за пуговицами. Три магазина обошел, пока нашел, что нужно. Так и проваландался. А здорово, черти, делают шашлык в погребке «Майская роза»! Только куда я задевал пуговицы? Неужто в «Майской розе» оставил? Пойтить, узнать.

10-го числа. Ну да — там. Как это я, ей-богу...

11-го числа. Штаны почти совсем выкроил. Разломило спину. Пьют, пьют нашу кровь, и когда это кончится — неизвестно.

12-го числа. Скроить жилетку, что ли?

13-го числа. Воскресенье. Разгибал спину.

14-го числа. Кроил жилетку. Ножницы совсем тупые. Снести поточить, что ли ча?

15-го числа. И где это я мог забыть? Неужто опять в «Майской розе»?

16-го числа. Так и есть.

17-го числа. Табельный день.

18-го числа. Собрание профессионального союза «Игла». Когда же это я за пиджак примусь?

19-го числа. Очень большой праздник.

20-го числа. Воскресенье.

21-го числа. Заказчик ругался, как какая-то собака. Побыл бы в моей шкуре! В биоскопе — картина «Зачем ты, безумная, губишь того, кто увлекся тобой». Пойтить после работы, что ли...

22-го числа. Принимал заказ от какого-то Аверченки. Очень подозрительная личность. Чуть ли не собирався торговаться. Наглеет публика, сил нет. «Мерку, говорит, сними». Смех один. Будто с покойника.

25-го...

24-го...

25-го...

26-го...

Кройка брюк, полпиджака, «Майская роза», пуговицы в лавке, в биоскопе «И сердцем, как куклой, играя, вы сердце, как куклу, разбили». Прямо чуть не плакал.

На этом дневник обрывался.

\* \* \*

Было время, когда рабочие и ремесленники с оружием боролись за введение 8-часового рабочего дня.

Я думаю, если бы мы, буржуи, ввели теперь для рабочих и ремесленников восьмичасовой рабочий день, они оказали бы нам вооруженное сопротивление.

## **Аристократ Сысой Закорюкин**

Так как не сегодня-завтра это придет, то не будем, подобно страусу, зарывать голову в песок...

Давайте взглянем этому страшному «ЗАВТРА» прямо в его смеющуюся, строящую гримасы — харю.

\* \* \*

У сапожника Сысои Закорюкина («Мужская и дамская обувь, заказы и починка») сегодня бал...

Особняк его залит огнями, из окон на улицу доносятся звуки струнного оркестра, а мордастый швейцар вальяжно прохаживается у подъезда, щеголяя красной с желтым ливреей (родовые цвета Сысои Закорюкина) и помахивая на потеху собравшимся мальчишкам увесистой булавой.

Наверху же, у входа в зал, как это и полагается, — хозяин и хозяйка дома, Сысой и Анисья, — встречают именитых гостей.

Увидев приближающегося гостя, Сысой привычным элегантным жестом вытирает руку о шевиотовые штаны и подает ребром, лихо рубанув ею воздух.

— Проходите, проходите, — приветливо говорит он. — Нечего тут топтаться.

Анисья стирает концом шейного платка пот с пылающего лба и сияюще подмигивает гостям:

— Мой-то, а? Каки кренделя выкомаривает! А?

Гости все прибывают и прибывают — один гость именитее другого: портной Птахин, слесарь Огуречный, владелец лимонадной будки Гундосов, яичная торговка Голендуха Паскудина — не та, что умерла Макридой-миллионершей, а ее сестра, Голендуха, еще один портной — Обкарналов — все самая изысканная финансовая аристократия.

Среди гостей носятся даже слухи, что обещал прибыть портовый грузчик Вавило Рыклов — аристократ из аристократов, денди из дендев.

Его историографы и мемуаристы утверждали даже, что он в «двадцать одно» не моргнув глазом ставит на карту по полтораста, двести тысяч и выпивает в день по 3 бутылки мартелевского коньяку.

Наконец, все гости съехались.

Оркестр грянул «Алеша, ша», и пары закружились.

Хозяйка дома сидела у стены с солидным владельцем лимонадной будки и вела солидный, но увлекательный разговор.

— Набавил я на стакан воды двести — и что же вы думаете? — пьют, черти. Никто даже слово не скажет. Сосет, анафема, по два, по три стакана. Прямо ты его хоть с кашей ешь!

В голосе Гундосова слышалось почтительное удивление.

— Народ, действительно, — покачала солидно головой хозяйка. — Прямо будем говорить — озверел! Приходит заказчик: «Сколько за сапоги?» — «Четыреста тысяч!» — «За пару?» Мой-то прищурился да как ляпнет: «Где там за пару! За штуку. Пара — восемьсот». И ведь заказывают!

— Дела! Музыку откуда достали?

— Один тут профессор консерватории обтяпал! Головастый, а иногда по роялю жарнет так, что чертям тошно.

— Известно, с голоду чего не сделаешь. У меня вот тоже бывший атташе посольства заказы принимает — прямо на улице подобрал я его — так ведь до чего лих с заказчиком говорить — прямо уму непостижимо! Такого ему Оскара Уайльда вотрет...

— Стаканчик мороженого!

— И очень даже. Здорово закручено. Сами крутили?

— Зачем сами. У нас тут бывший профессор химии принанят для этого дела. Рикиминдовали, что будто по какому-то анабиозу собаку съел. Вот мы его для мороженого и приспособили. Нехай себе крутит. Вообще, знаете, теперь вся энтилигенция на службе у капитала. Хотели мы даже концертик нынче соорудить, Собинова с Аверченкой договаривали, да ломучие они какие-то, Бог с ними. Пойдите вы, говорят, к этому самому... и слово то забыла, нехорошее слово. Одначе танцами дирижирует у нас балетмейстер киевского Оперного театра, а стол украшал художничек тут один — он еще в 16 году от Академии поездку в Италию получил. Известно, жрать всякому хотца...

\* \* \*

Под утро бал у Сыся Загорюкина («Мужская и дамская обувь, заказы и починка») — кончился.

Усталая, но довольная разъезжалась по домам новая аристократия.

И у подъезда долго еще можно было слышать зычные выкрики швейцара — бывшего оперного баса, творца партии Мефистофеля в «Фаусте»:

— Кучер, барон Менгден! Давай карету Гундосина.

— Шофер Голендухи Паскудиной, князь Белопольский! Заводи мотор!

— Куда запропастился, черт его дери, граф Гронский?!

И из предутренней мглы слышался сонный голос:

— Граф Гронский поехал в чайную, а потом лошадей поить!..

\* \* \*

Раньше на старом добром стяге было написано:

«Сим победиши!» [\[46\]](#)

Теперь, вместо Сима, пришла пора другого Ноева сына... [\[47\]](#)

На русском стяге красуется по новому правописанию:

«Хам победиши!»

## VI. Бесквартирье

### *Ищут комнату*

По всему угрюмому зимнему побережью звенит один и тот же надрывный крик:

— Дайте комнату!

Но нет комнаты...

«И висела ночь без исхода»...

На последней странице газеты в правой ее стороне толпой собираются бледные призраки безысходно ищущих, и еле-еле слышишь в сутолоке жизни их бескрасочный шелест:

— Дайте же комнату...

Впрочем, не все публикации вялы и бескрасочны... В последнее время жизнь научила ищущих придавать своим стонам яркую, пышную, красочную оболочку:

«3000 руб. тому, кто укажет комнату, безразлично где».

«Дайте комнату! Буду отапливать своими дровами всю квартиру».

«За комнату буду готовить и себе и хозяевам обед из своего провианта, а также научу любой музыке».

Есть и сложные объявления:

«Ищу комнату. Если с отдельным ходом — отдам хозяйке свои новые лаковые открытые туфли и японские ширмы. Если же отдельный ход и центр города — прибавлю еще перламутровый бинокль и право брать продукты в кооперативе «Одно удовольствие». Тут же продается беличья шубка, крытая рипсом».

А вот расчет на психологию:

«Указавшему комнату уплачу 1000 руб. франками».

Человек, так сказать: «Берет на валюту».

А вот публикация, прямо умилительная своей наивностью, беспочвенностью и полной бесцельностью:

«Ищу комнату для одинокой. С предложениями (!?) обращаться на имя М. С.».

Разве во время воя тропической бури можно услышать жужжание комара?

Таких же результатов достиг бы лондонский Дрюри-Ленский театр [\[48\]](#), если бы анонс о своем спектакле вывесил на верхушке пальмы в центре африканской пустыни Калахари.

Бедная наивная «одинокая».

Тогда уж понятнее эти две строки:

«Если вы порядочные люди, дайте комнату одинокому!»

Тут хоть вопль слышится, какой-то шум производит человек: авось кто-нибудь и преклонит свое ухо.

\* \* \*

Один мой приятель, человек очень серьезный, не мальчишка, не вертопрах, — вертелся, вертелся без квартиры, мучился, мучился, изучал, изучал быт и психологию газетных публикаций о комнатах, да, вдумавшись хорошенько во все это дело, — и бухнул в газете объявление:

*«Согласен жениться на хозяйской дочери за комнату. Возраст безразличен, цена безразлична, все безразлично, кроме комнаты! Адресуйте предложения руки и сердца и комнаты — туда-то!»*

Большого ума человек был мой приятель: в тот же день к нему явился пожилой господин.

— Я по поводу своей дочери.

— И комнаты, конечно? — осторожно добавил мой приятель.

— Ну, само собой разумеется. Одно без другого не будет.

— А-а. Очень приятно. Хорошенькая?

— Ничего себе, росту небольшого, но зубки...

— К черту зубки! Я о комнате спрашиваю: комната хорошенькая?

— Ничего себе. А дочь, можете представить, такая способная: кончила за четыре класса...

— Светлая?..

— М... м... Как вам сказать? скорее, каштановая.

— Обои, что ли?

— Нет, одна. У меня единственная.

— Обои, вы говорите, каштановые или что?!

— Волосы.

— Чьи?!

— Дочкины.

— А чтоб вас! Я вас о серьезном спрашиваю, а вы мне о пустяках.

— Ах, вы о комнате? Да ничего... светловатая. Она у меня все перебирала, не хотела выходить, вот и доперебиралась! Досиделась до того, что рада и втемную...

— Как втемную? Чего втемную! Вы же говорите: светловатая.

— Я говорю о замужестве. Засиживаться долго нельзя.

— Что? Ну, до часу-то можно. Пока горит электричество?

— При чем тут электричество?

— Если гости придут.

— Моя дочь не такая.

Мой приятель задумчиво пожевал губами и спросил:

— Теплая?

— То есть температура? Нормальная, что вы! 36,5.

— Ах ты, Господи! Да на дочке вашей я все равно женюсь; чего вы мне ее расхваливаете. Вы лучше о комнате расскажите.

— Виноват, я все-таки хотел бы, чтоб все вышло вроде как по любви... Все-таки я отец.

— А я квартирант. Это почище будет! Кстати, самовар будете давать?

— Полный гарнитур! Рубашек кружевных 6, панталон...

— Бросьте, папаша! Пойдем лучше, посмотрим...

— Она еще не одета.

— Комнату, папаша, комнату!

\* \* \*

Комната оказалась премиленькой, чего нельзя было сказать о невесте, но приятель мой чувствовал себя на седьмом небе:

— Ведь я три месяца спал на трех мыльных ящиках да неделю под прилавком обувного магазина! Наконец, нашел тихую пристань!

Но... Когда молодые вернулись из церкви и уселись за брачный стол вкупе с полдюжиной родственников — молодая жена нежно поцеловала мужа где-то между ухом и затылком и сказала:

— Ну, Гришенька, справим мы медовый месяц — нам на это и неделки довольно — да и отправимся на поиски...

— Чего?

— Квартиры. Не можем же мы вдвоем, да еще с прислугой, жить в одной комнате!..

\* \* \*

Прокурор плакал навзрыд и заявил, что он не обвинять, а защищать будет убийцу.

Присяжные собрали в его пользу тысячу рублей, а окружной суд вынес приговор: «Признать убийство совершенным в целях самозащиты и умоисступления. Подсудимого оправдать».

— А с тюрьмой как же? — огорченно спросил оправданный Гриша.

— Вы свободны. Больше в тюрьму не вернетесь.

— Жаль. Может бы, в сумасшедший дом посадили?

— Нельзя. Вы нормальны.

— Ну, в контрразведку.

— Вы свободны!!!

— Значит, опять на мыльные ящики? Ну, и суд у нас в России!

## ***Сентиментальный роман***

Один Молодой Человек влюбился в одну девушку. Он встретился с нею у одних знакомых, познакомился и — влюбился.

Дело известное.

А девушка тоже в него влюбилась.

Такие совпадения иногда случаются.

Они пошли в кинематограф, потом в оперу. И влюблялись друг в друга все больше и больше по мере



посещения кинематографа, оперы, цирка и театра миниатюр.

Молодому Человеку пришла в голову оригинальная мысль: объясниться с девушкой и предложить ей руку и сердце.

Этот Молодой Человек был проворный малый и знал, что первое дело при предложении руки и сердца — стать на колени. Тогда уж никакая девушка не отвертится.

Но где проделать этот гимнастический акт?

В опере? В цирке? В театре миниатюр светло илюдно. Всюду такие сборы, что яблоку упасть некуда, не то что Молодому Человеку — на колени.

В кинематографе? Там, наоборот, темно, но и это плохо. Девушка может подумать, что он уронил шапку и ползает в темноте на коленях, отыскивая ее. В таких делах минутное недоразумение — и все погубило.

Мелькала у Молодого Человека мысль пригласить девушку к себе, но она была застенчива и никогда бы не пошла на эту авантюру.

И вдруг Молодого Человека осенило: «Пойду к ней!»

— Можно вас навестить, Марья Петровна? — однажды осведомился он сладким голосом.

— Мм... пожалуйста. Но у меня тесно.

Молодой Человек парировал это соображение оригинальной мыслью.

— В тесноте, да не в обиде.

— Ну что ж... приходите.

— Ей-богу, приду! Посидим, помечтаем. Вы мне поиграете.

— На чем?!

— Разве у вас нет инструмента?

— Есть. Для открывания сардинок.

— Да, — печально согласился Молодой Человек. — На этом не сыграешь. Ну все равно приду.

\* \* \*

Молодой Человек надавил пальцем пустой кружочек, оставшийся от бывшего звонка, стукнул ногой в дверь и кашлянул — одним словом, проделал все, что делают люди в наш век пара и электричества, чтобы им открыли дверь.

— Что вам угодно? — спросил его сонным голосом неизвестный господин.

— Дома Марья Петровна?

— Которая? Их в квартире четыре штуки.

— В комнате номер три.

— В комнате номер три их две.

— Мне ту, что рыженькая. В сером пальто ходит.

— Дома. А вы чего ходите в такое время, когда люди спят?

— Помилуйте, — изумился Молодой Человек, — всего 7 часов вечера.

— Ничего не доказывает. У нас три очереди на сон. Всегда кто-нибудь да спит. Идите уж.

Столь приветливо приглашенный Молодой Человек вошел в указанную комнату — и остолбенел: глазам его представилось очень большое общество из мужчин и дам, а в углу, на чемоданчике, — мечта его юных дней.

— Что это? — робко спросил он, переступая через человека, лежащего посередине пола на шубе и укрытого шубою же. — У вас суарэ? [49] Вы, может быть, именинница? Недобрая! Неужели скрыли?

— Какое там суаре! Это жильцы.

— А где же ваша комната?

— Вот она.

— А они чего тут?

— Они тут живут.

— В вашей комнате?

— Трудно и разобрать — кто в чьей: они ли в моей, я ли — в их. Садитесь на пол.

Молодой Человек опустился на пол и ревниво спросил:

— Где же вы спите?

— На этих чемоданах.

— Но... тут же мужчины?

— Они отворачиваются.

— Марья Петровна! Я хотел с вами серьезно поговорить...

— Что слышно на фронте, Молодой Человек? — спросил господин, выглядывая из-под шубы.

— Не знаю. Я вот хотел поговорить с Марией Петровной по одному интересному вопросу.

— Послушаем! — откликнулся старик, набивавший папиросы. — Люблю интересные вопросы.

— Но это... дело интимное! — в отчаянии воскликнул Молодой Человек (не могу же я перед таким обществом бухнуть перед ней на колени!).

— Что ж, что интимное. Мы тут все свои. Только... виноват! Вы своей левой ногой залезли в мою площадь пола. Если бы вы у меня были в гостях — другое дело.

— Послушайте... Марья Петровна, — шепнул ей на ухо Молодой Человек, подбирая ноги. — Я должен вам...

— В обществе шептаться неприлично, — угрюмо сказала старая дева, поджимая губы.

Из угла какой-то остряк сказал:

— Отчего говорят: «не при лично»? Будто переть нужно поручать своему знакомому.

— Марья Петровна! — воскликнул Молодой Человек, горя, как факел, в неутолимой любовной лихорадке... — Марья Петровна! Хотя я сам происхожу из небогатой семьи...

— А ваша семья имеет отдельную комнату? — с любопытством спросил старик.

Молодой Человек вскочил на ноги... Пробежал по комнате, лавируя между всеми жильцами, перескочил через лежащего на полу и, придав себе таким образом разгон, бухнулся на колени.

— Марья Петровна, — скороговоркой сказал он. — Я вас люблю надеюсь что и вы тоже прошу вашей

руки о не отказывайте молю осчастливьте а то я покончу с собой!

Старик и господин под шубой завопили:

— Несогласны, несогласны! Знаем мы эти штучки!!

— Позвольте!.. — с достоинством сказал Молодой Человек, поднимаясь с колен. — Что значит «эти штучки»?

— Насквозь вижу вас! Просто вы хотите этим способом втиснуться в комнату седьмым! Дудки-с! Нет моего согласия на этот брак!

— Господа! — моляще сказала Марья Петровна, соскальзывая с чемодана и простирая руки к жильцам. — Мы тут в уголку будем жить потихонечку... Я его за этим чемоданом положу — его никто и не увидит. О, добрые люди! Дайте согласие на этот брак!

— К черту! — ревел жилец из-под шубы. — Он уже и сейчас въехал ногами в плацдарм Степана Ивановича! А тогда, за чемоданом, он будет въезжать головой в мое расположение. Нет нашего благословения!

— Однако, — возразил удивленный Молодой Человек. — С чего вы взяли, что я буду жить здесь? У меня есть своя комната, и я заберу от вас даже Марью Петровну.

Дикий вопль радости исторгся из всех грудей.

— Милый, чудный Молодой Человек! Желаем вам счастья! Господа, благословим же их скорее, пока они не раздумали! Дайте я вас поцелую, шельмец! Ах, какая чудная пара! Знаете, вы бы сегодня и свадьбу справили, а? Чего там!

Энтузиазм был неопиcуемый: старик совал в рот Молодому Человеку только что набитую папиросу. Старая дева порывисто дергала его за руку с явным намерением изобразить этим поступком рукопожатие, человек на полу под шубой ласково трепал Молодого Человека по лодыжке, а в углу у чемоданов невесты двое жильцов, рыча и фыркая, как рассерженные пантеры, планировали по-новому свои угоды, примыкавшие к участку Марьи Петровны.

А когда счастливый, пьяный от радости Молодой Человек спускался с лестницы, его догнал старик, набивщик папирос.

— Слушайте, — задыхаясь, шепнул он. — Обратили внимание на другую девушку? Она хоть и немолодая, но замечательная — ручаюсь вам. Человек изумительного сердца! Нет ли у вас для нее какого-нибудь подходящего приятеля?.. Она сделает счастье любому человеку, да и мы бы заодно избавились от этой старой ведьмы, прах ее побери!

# Дети

## Введение

Для выпуска настоящего сборника у меня имелись два веских основания:

1. Я люблю детей.
2. Дети любят меня.

Лицам, мало знакомым с моей биографией, я должен признаться, что когда-то сам был ребенком, и так как память об этом розовом периоде моей жизни до сих пор живо сохранилась в моем мозгу, то мои рассказы «О детях», таким образом, приобретают пленительный профессиональный отпечаток откровений специалиста по детскому вопросу.

Все должно быть логично: Вересаев был врачом; он написал «Записки врача»; Куприн был военным; он написал «Поединок». Я был ребенком; пишу о детях. Впечатления специалиста — всегда ценный вклад в данный вопрос.

Помню, с каким удовольствием прочел я недавно «Записки палача» Шарля Сансона [\[50\]](#), отрубившего голову Людовику Шестнадцатому, — знаменитого Сансона, представителя ряда поколений, целой династии Сансонов — палачей, в течение двух веков прилежно рубивших парижанам головы.

Хорошо пишут специалисты!

\* \* \*

У детей я имею шумный успех, потому что раскусил один нехитрый фокус: никогда не показывайте, что вы умнее ребенка; почувствовав ваше превосходство, он, конечно, будет уважать вас за глубину мысли, но сам сейчас же молниеносно уйдет в себя, спрячется, как улитка в раковину.

У меня прием обратный: с детьми я прикидываюсь невероятно наивным, даже жалким человечешкой, который нуждается в покровительстве и защите. Может быть, в глубине души малыш даже будет немного презирать меня. Пусть. Зато он чувствует свое превосходство, милостиво берет меня под свою защиту, и душа его раскрывается передо мной, как чашечка цветка перед лучом солнца.

Ох, как много надул я этим приемом маленького доверчивого народа, и сколько я знаю о нем такого, чего умные, покровительственно хлопающие малыша по плечу, — не знают.

Некоторые из моих бывших маленьких друзей уже выросли. Вот-то, наверное, ругнут меня, когда узнают, как ловко обошел я их.

Простите меня, голубчики. Я это делал на пользу великой чудесной русской литературы.

Это я делал, чтобы внести свою скромную пчелиную лепту в ее необъятную сокровищницу.

А впрочем, можете и сердиться, мои бывшие маленькие друзья. Так как вы теперь уже огромные — то мне все равно.

# Руководство к рождению детей

Знаменитый Клемансо [51] сделал следующее официальное заявление в парламенте:

«В мирный договор не включено для Франции обязательство иметь как можно больше детей, а между тем оно должно бы стоять там на первом месте.

Если Франция откажется от многочадия, то напрасно вы будете включать в договор самые мудрые параграфы, напрасно будете отнимать все пушки у Германии — Франция все-таки погибнет, потому что не будет больше французов».

— Итак — факт налицо, у французов, именно у *французов*, — нет детей.

Справедлива, значит, пословица, что сапожник всегда ходит без сапог.

Как же устранить это ужасное зло — бездетность, — зло, грозящее гибелью, вымиранием целой нации?

Хотя я и занимаю в журнальном мире место премьера, однако — делать нечего — вопрос слишком серьезен, — взял я скромную репортерскую записную книжку, остро отточенный карандаш и отправился как самый простой репортер кое-кого проинтервьюировать.

## ***I. У Ивана Капитоныча Трепакина***

— Да! Да! — сказал мне при первом моем вопросе почтенный негодник. — Читал я тоже, читал и ужасался!

— Скажите, какие бы вы предложили меры для устранения этого зла?

— Да ведь вы знаете, что такое француз? Это ж прямо-таки удивительный человек. Ему бы все только — тру-ля-ля! Как только вечер, он сейчас же надевает цилиндр и бежит в Елисейские поля плясать с гризетками канкан. А я бы так сделал: Елисейские поля — закрыть! Карусельную площадь — закрыть! Не время теперь на каруселях раскатываться. И Гранд-Опера закрыл бы. Сиди дома с женой — вот тебе и вся Опера. И чтобы в 9 часов вечера на улицах всякое движение прекратить. Как вышел на улицу — сейчас же полисмен за шиворот — цап! «Куда? Пошел домой!» Ведь я, голубчик мой, француза во как знаю; отнимите у него тру-ля-ля, отнимите Карусельную площадь, канканы-шантаны — да ведь он вернейшим мужем сделается! Ведь у него тогда, батенька, другого и дела не будет, как дома около жены сидеть да деток рожать. Он-то, — француз, — тогда на Мопассана и смотреть не захочет. Так и запишите.

Так и записываю.

## ***II. Сосед по скамейке на бульваре***

Я спросил:

— Чем занимаетесь?

— Так, кое-что покупаю, продаю.

— А раньше?

— Правду вам сказать — дело прошлое — при жандармской охранке в провокаторах служил.

— Гм... да. Но все-таки вы, может быть, скажете — каким бы способом увеличить во Франции деторождение?

— Каким способом? Ясный способ.

— Именно?

— Скажем, живет в предместье Сент-Оноре молодой человек Жан. И в том же предместье проживает также девица Луиза. Что же делаю я? Иду к этой самой Луизе и говорю: «Ах, мадмуазель Луиза... Вы ранили стрелой Амура сердце одного моего друга». Вы же сами понимаете, что за любопытная публика — девушки. Сейчас же: «Ах, ах, кто такой?» — «А вот этот самый Жан, живущий в предместье Сент-Оноре». И вот уже затравка сделана. Тут я иду к Жану и говорю ему: «Бонжур, мон ами Жан». — «Бонжур», — отвечает Жан. Подмигну я ему этак, ткну пальцем в бок — французы это любят — и скажу: «Бонжур-то бонжур, а зачем вы сердце одной барышни разбили — вот вы мне на какой вопрос ответьте?!» Сейчас же — где, да что, да познакомьте, ну, там и пошло!

— Виноват, — это вы говорите о браке, а меня интересует вопрос о детях. Вон мне один сведущий человек рассказывал, что, как только вечер, — француз надевает цилиндр и бежит в Елисейские поля плясать канкан.

Собеседник торжествующе рассмеялся.

— Побежит? У меня не побежит. Пусть-ка попробует. Я его тут же на улице у самого дома встречу: «Куда, мон ами Жан?» — «Иду с кокотками канкан плясать». — «Ага! А я к вам иду посидеть. Ну, да вы отправляйтесь, а я уж посижу с вашей женой, чтоб ей скучно не было. Ах, какой вы, мон шер, счастливый человек, что у вас такая жена! Что за грудь, что за плечи. А ножки! Воображаю также, как она целуется!» Так ведь он после этих моих слов, как соленый заяц, обратно домой побежит!! И уж можете себе представить, что не он в Елисейских полях, а я у него через год на крестинах канкан плясать буду!

### ***III. У почтового чиновника Почечуева***

Когда я пришел к нему и задал ему первый вопрос — он долго не мог понять, чего я от него хочу.

Поняв наконец, просиял.

— Что сделать, чтобы у французов были дети? Очень просто! нужно ввести покровительственную, мажоритарную систему!..

— То есть?

— А вот так: скажем, у человека один ребенок. Дается ему на рукав пиджака одна нашивка, вроде, знаете, как у солдата, получившего на войне одно ранение. И по этой нашивке — ему всюду делается скидка 10 %. Пришел в лавку — вещь, стоящая 10 франков, отдается за 9, пришел в театр, сел в трамвай — со всего делается скидка 10 %. Два ребенка — две нашивки — уже 20 % скидки, три ребенка — три нашивки, и так далее. А если ты такой умный, что имеешь 10 ребят, — пожалуйста! Все тебе бесплатно: ешь — не хочу, пей — не хочу! Гуляй по театрам — не хочу! Квартира даром, стол даром...

— Ну, а представьте себе такой случай, что у человека 12 человек детей. Что ж, по-вашему, государство еще ему должно доплачивать за все 20 %?

— Н... ну, нет — это зачем же. Медаль просто можно выдать какую-нибудь.

— А бездетные, а холостые, значит, никакими льготами не пользуются?

— Им? Льготы? я бы с этими подлецами без всякой пощады!! Вошел в трамвай господин с нашивками — выкидайся человек без нашивок со своего места! Пришел господин с нашивками в какое-нибудь учреждение просить службы — сейчас служащего человека без нашивок к черту, а на его место — пожалуйста! Вот бы что я провел сейчас же! Я бы им дыхнуть не дал!

Маленькая девочка вбежала в комнату и сказала:

— Папа, Гриша лез на стол. А Маня дернула его за ногу, он и упал прямо Бобику на голову, а Котька, не разобрав в чем дело, стал бить меня и Лиличку. А мы даже ничего и не делали, мы нянчили Мусю...

— А чего же смотрят старшие? Где Володя? Где Коля?

— Коля с Володей в кинематограф ушли, а Соня книжку читает.

— Кто это такие? — удивленно спросил я, — этот вот Коля, Володя, Соня?

— Мои все. Десяток сорванцов. Подумайте, будь я во Франции... Всё бы получал бесплатно.

## ***IV. Разговор с маленькой девочкой***

Спускаясь с лестницы, я встретил маленькую девочку, очевидно, тоже представительницу рода Почечуевых.

— Слушай, детка, — спросил я, — у французов нет детей, как нам сделать, чтобы у них были детки?

Положив палец на нижнюю губу, она призадумалась.

— А у них папы и мамы есть?

— Да, пожалуй, это бы еще можно было найти.

— Ну вот. Так тогда же легко!

— Именно?

— Вот ты видишь, как это делается. Давай сядем тут на ступенечку.

— Сядем. Ну?

— Сначала папа должен хвататься за голову и кричать: «Еще один? Этому конца не будет!» Потом приходит такая женщина с таким мешочком, потом тех детей, которые уже есть, посылают к тете, а потом так и появляется новое дите. Лежит красненькое и кричит, как шумашедшее.

Опубликовываю это мнение, хотя и не особенно ценное, но все-таки высказанное лицом, имеющим отношение к больному вопросу.

## ***V. Разговор с самим собой***

Напоследок меня заинтересовало мое собственное мнение: что я скажу по данному вопросу?.. Все-таки человек, в своей жизни кое-что видевший, наблюдавший и даже испытывший.

— Что вы скажете, Аркадий Тимофеевич, по этому вопросу? — спросил я, уютно усаживаясь в кресло.

— Что я скажу? скажу одно: все спасение Франции в подъеме патриотизма. Нет больших патриотов, чем французы, и патриотизм — их прибежище и сила.

Предположите вы такой разговор на балу:

— Мадам, позвольте представиться: Шарль Дюран. Можно вас пригласить на вальс?

— Нет, спасибо, я уже домой собираюсь.

— Домой? Так рано? Что же, вас дети ждут?

— Нет, у меня детей нет. Муж дома.

— Нет детей? А муж есть?

— Есть.

— Гм... Странно. Разрешите мне что-то шепнуть вам на ушко. (*Шепчет.*)

— Вы с ума сошли, милостивый государь! Как вы смеете?!

— Мадам! Но ведь Клемансо категорически заявил...

— Да, но при чем я тут?..

— Мадам! Вы француженка! Неужели вы допустите, чтобы через 20 лет эти грязные каналы боши [\[52\]](#) снова ворвались в нашу прекрасную Францию и... чтобы... мы не смогли отразить их достаточными силами!..

— А вдруг... его убьют?..

— Мадам! Смерть за родину — прекрасная смерть. Мать должна гордиться таким сыном!

— Но ведь меня муж ждет...

— Мадам! Пусть тысяча мужей ждет вас — Франция ждать не может. Швейцар! Манто этой дамы...

— Послушайте, но ведь уже поздно...

— Мадам! Лучше поздно, чем никогда. Извозчик! Кэб, фиакр, черт тебя подери, — скорее...

— Господи... Но ведь, я боюсь, вы меня перестанете уважать...

— Мадам! Что я?! Сейчас нация, вся Франция любит вас и уважает вас... Ну, возись там с кнутом, каналья!.. Пошел!..

Да. Великое, огромное, чудесное чувство — патриотизм!



# Под столом

## *Пасхальный рассказ*

Дети, в общем, выше и чище нас. Крохотная история с еще более крохотным Димкой наглядно, я надеюсь, подтвердит это.

Какая нелегкая понесла этого мальчишку под пасхальный стол — неизвестно, но факт остается фактом: в то время, как взрослые бестолково и безалаберно усаживались за обильно уставленный пасхальными яствами и питиями стол, Димка, искусно лавируя между целым лесом огромных для его роста колоннообразных ног, взял да нырнул под стол, вместе с верблюдом, половинкой деревянного яйца и замусленным краем сдобной бабы...

Разложив свои припасы, приладил сбоку угрюмого необщительного верблюда и погрузился в наблюдения...

Под столом — хорошо. Прохладно. От свежеевымытого пола, еще не зашарканного ногами, веет приятной влагой.

А ног сколько! Димка начал считать, досчитал до пяти и сбился. Нелегкая задача!

Теткины ноги сразу заметны: они в огромных мягких ковровых туфлях — от ревматизма, что ли. Димка поцарапал ногтем крошечного пальчика ковровый цветок на туфле... Нога шевельнулась, Димка испуганно отдернул палец.

Лениво погрыз край потеплевшей от руки сдобной бабы, дал подкрепиться и верблуду, и вдруг — внимание его приковали очень странные эволюции лаковой мужской туфли с белым замшевым верхом.

Нога, обутая в эту элегантную штуку, сначала стояла спокойно, потом вдруг дрогнула и поползла вперед, изредка настороженно поднимая носок, как змея, которая поднимает голову и озирается, ища, в которой стороне добыча...

Димка поглядел налево и сразу увидел, что целью этих змеиных эволюций были две маленьких ножки, очень красиво обутые в туфельки темно-небесного цвета с серебром.

Скрещенные ножки спокойно вытянулись и, ничего не подозревая, мирно постукивали каблучками... Край темной юбки поднялся, обнаружив восхитительную полную подъемистую ножку в темно-голубом чулке, а у самого круглого колена нескромно виднелся кончик пышной подвязки — черной с золотом.

Но все эти замечательные — с точки зрения другого, понимающего человека — вещи совершенно не интересовали бесхитростного Димку.

Наоборот, взгляд его был всецело прикован к таинственным и полным жути зигзагам туфли с замшевым верхом.

Это животное, скрипя и извиваясь, поползло, наконец, до кончика голубой ножки, клюнуло носом и испуганно отодвинулось в сторону с явным страхом: не дадут ли за это по шее?

Голубая ножка, почувствовав прикосновение, нервно, сердито затрепетала и чуть-чуть отодвинулась назад.

Развязный ботинок повел нахально носом и снова решительно пополз вперед.

Димка отнюдь не считал себя цензором нравов, но ему просто, безотносительно, нравилась голубая

туфелька, так прекрасно вышитая серебром; любясь туфелькой, он не мог допустить, чтоб ее запачкали или ободрали шитье.

Поэтому Димка пустил в ход такую стратегию: подсунул, вместо голубенькой ножки, морду своего верблюда и энергично толкнул ею предприимчивый ботинок.

Надо было видеть разнuzданную радость этого беспринципного щеголя! Он заерзал, заюлил около безропотного верблюда, как коршун над падалью. Он кликнул на помощь своего коллегу, спокойно дремавшего под стулом, и они оба стали так жать и тискать невозмутимое животное, что будь на его месте — полненькая голубая ножка — несдобровать бы ей.

Опасаясь за целостность своего верного друга, Димка выдернул его из цепких объятий и отложил подальше, а так как верблюжья шея оказалась все-таки помятой — пришлось, в виде возмездия, плюнуть на носок предприимчивого ботинка.

Этот развратный щеголь еще поюлил немного и уполз, наконец, восвояси, несолоно хлебавши.

С левой стороны кто-то подсунул руку под скатерть и тайком выплеснул рюмку на пол.

Димка лег на живот, подполз к лужице и попробовал: сладковато, но и крепко достаточно. Дал попробовать верблюду. Объяснил ему на ухо:

— Уже там напились, наверху. Уж вниз выливают — понял?

Действительно, наверху все уже приходило к концу. Стулья задвигались, и под столом немного посветлело. Сначала уплыли неуклюжие коровьи ноги тетки, потом дрогнули и стали на каблучки голубые ножки. За голубыми ножками дернулись, будто соединенные невидимой веревкой, лакированные туфли, а там застучали, загомосились американские, желтые — всякие.

Димка доел совсем размокшую сдобу, попил еще из лужицы и принялся укачивать верблюда, прислушиваясь к разговорам.

— Если устали, — слышал он голос матери, — так прилягте тут на диване — никто беспокоить не будет. Мы переходим в гостиную.

— Да как-то... этого. Неловко.

— Чего там неловко — ловко.

— Ей-богу, как-то не тово...

— Чего там — не того. Дело праздничное.

— Я говорил — не надо было мешать мадеру с пивом...

— Пустое. Поспите, и ничего. Я вам сейчас с Глашей подушку пришлю.

Топот многочисленных ног затих. Потом послышалось цоканье быстрых каблучков и разговор:

— Вот вам подушка, барыня прислала.

— Ну, давай ее сюда.

— Так вот же она. Я положила.

— Нет, ты подойди сюда. К дивану.

— Зачем же к дивану?

— Я хочу христ... сс... соваться!

— Уже христосовались. Так нахристосовались, что стоять не можете.

Неописуемое удивление послышалось в убежденном голосе гостя:

— Я? Не могу стоять? Чтобы у тебя отец на том свете так не стоял, как... Ну, вот смот... три!..

— Пустите, что вы делаете?! Войдут!

Судя по тону Глаши, она была недовольна тем, что происходило. Димке пришло в голову, что самое лучшее — пугнуть хорошенько предприимчивого гостя.

Он схватил верблюда и брякнул его об пол.

— Видите?! — взвизгнула Глаша и умчалась, как вихрь.

Укладываясь, гость ворчал:

— Ай, и дура же! Все женщины, по-моему, дуры. Такую дрянь всюду развели... Напудрит нос и думает, что она королева неаполитанская... Ей-богу, право!.. Взять бы хлыст хороший да так попудрить... Трясогузки!

Димке сделалось страшно; уже стало темнеть, а тут кто-то бормочет под нос непонятное... Лучше уж уйти.

Не успел он подумать этого, как гость, пошатываясь, подошел к столу и сказал, будто советуясь сам с собой:

— Нешто коньячку бутылочку спулить в карман? И коробка сардин целая. Я думаю, это дурачье и не заметит.

Что-то коснулось его ноги. Он выронил сардины, испуганно отскочил к дивану и, повалившись на него, с ужасом увидел, что из-под стола что-то ползет. Разглядев, успокоился:

— Тю! Мальчик. Откуда ты, мальчик?

— С-под стола.

— А чего ты там не видел?

— Так, сидел. Отдыхал.

И тут же, вспомнив правила общежития и праздничные традиции, Дима вежливо заметил:

— Христос воскрес.

— Еще чего! Шел бы спать лучше.

Заметив, что его приветствие не имело никакого успеха, Дима, для смягчения, пустил в ход нейтральную фразу, слышанную еще утром:

— Я с мужчинами не христосуюсь.

— Ах, как ты их этим огорчил! Сейчас пойдут и утопятся.

Разговор явно не налаживался:

— Где были у заутрени? — уныло спросил Дима.

— А тебе какое дело?

Самое лучшее для Димы было уйти в детскую, но... между столовой и детской были две неосвещенных комнаты, где всякая нечисть могла схватить за руку. Приходилось оставаться около этого тяжелого человека и поневоле поддерживать с ним разговор:

— А у нас пасхи сегодня хорошие.

— И нацепи их себе на нос.

— Я не боюсь пойти через комнаты, только там темно.

— А я тоже вот одному мальчишке взял да и голову отрезал.

— Он был плохой? — холодея от ужаса, спросил Димка.

— Такая же дрянь, как и ты, — прошипел гость, с вожделением оглядывая облюбованную на столе бутылку.

Где-то вдали послышался голос мамы.

— Да... такой же был, как и ты... Хорошенький такой, прямо дуся, такая, право, малая козявочка...

Голос мамы удалился и затих.

— Такая козявка, что я бы ее каблуком — хрясь!.. В лепешку дрянь такую. Пошел вон! Иди! Или тут из тебя и дух вон!

Дима проглотил слезы и опять кротко спросил, озираясь на темную дверь:

— А у вас пасхи хорошенькие?

— Чихать мне на пасхи, — я мальчишек ем, таких, как ты. Дай-ка свою лапу, я отгрызу...

И вдруг — голос мамы, совсем близко:

— А куда это мамин сын задевался?

— Мама!! — взвизгнул Димка и зарылся в шуршащую юбку.

— А мы тут с вашим сынком разговорились. Очаровательный мальчик! такой бойкенький.

— Он вам не мешал спать? Разрешите, я только уберу все со стола, а там спите сколько хотите.

— Да зачем же убирать?..

— А к вечеру опять накроем.

Гость уныло опустился на диван и вздохнул, шепнув самому себе под нос:

— Будь ты проклят, анафемский мальчишка! Из-под самого носа увел бутылку.

# Три желудя

## I

Нет ничего бескорыстнее детской дружбы... Если проследить начало ее, ее истоки, то в большинстве случаев наткнешься на самую внешнюю, до смешного пустую причину ее возникновения: или родители ваши были «знакомы домами» и таскали вас, маленьких, друг к другу в гости, или нежная дружба между двумя крохотными человечками возникла просто потому, что жили они на одной улице или учились оба в одной школе, сидели на одной скамейке — и первый же разделенный братски пополам и съеденный кусок колбасы с хлебом посеял в юных сердцах семена самой нежнейшей дружбы.

Фундаментом нашей дружбы — Мотька, Шаша и я — послужили все три обстоятельства: мы жили на одной улице, родители наши были «знакомы домами» (или, как говорят на юге, — знакомы домамы; и все трое вкусили горькие корни учения в начальной школе Марьи Антоновны, сидя рядом на длинной скамейке, как желуды на одной дубовой ветке.

У философов и у детей есть одна благородная черта — они не придают значения никаким различиям между людьми — ни социальным, ни умственным, ни внешним. У моего отца была галантерейная лавка (аристократия), Шашин отец работал в порту (плебс, разночинство), а Мотькина мать просто существовала на проценты с грошового капитала (рантье, буржуазия). Умственно Шаша стоял гораздо выше нас с Мотькой, а физически Мотька почитался среди нас — веснушчатых и худосочных — красавцем. Ничему этому мы не придавали значения... Братски воровали незрелые арбузы на баштанах, братски их пожирали и братски же катались потом по земле от нестерпимой желудочной боли.

Купались втроем, избивали мальчишек с соседней улицы втроем, и нас били тоже всех трех — единосущно и нераздельно.

Если в одном из трех наших семейств пеклись пироги — ели все трое, потому что каждый из нас почитал святой обязанностью, с опасностью для собственного фасада и тыла, воровать горячие пироги для всей компании.

У Шашина отца — рыжебородого пьяницы — была прескверная манера лупить своего отпрыска, где бы он его ни настигал, так как около него всегда маячили и мы, то этот прямолинейный демократ бил и нас на совершенно равных основаниях.

Нам и в голову не приходило роптать на это, и отводили мы душу только тогда, когда Шашин отец брел обедать, проходя под железнодорожным мостом, а мы трое стояли на мосту и, свесив головы вниз, заунывно тянули:

Рыжий красный  
Человек опасный...  
Я на солнышке лежал...  
Кверху бороду держал...

— Сволочи! — грозил снизу кулаком Шашин отец.

— А ну иди сюда, иди, — грозно говорил Мотька. — Сколько вас нужно на одну руку?

И если рыжий гигант взбирался по левой стороне насыпи, мы, как воробьи, вспархивали и мчались на правую сторону — и наоборот. Что там говорить — дело было беспрюирышное.

Так счастливо и безмятежно жили мы, росли и развивались до шестнадцати лет.

А в шестнадцать лет, дружно взявшись за руки, подошли мы к краю воронки, называемой жизнью, опасливо заглянули туда, как щепки попали в водоворот, и водоворот закружил нас.

Шаша поступил наборщиком в типографию «Электрическое усердие», Мотю мать отправила в Харьков в какую-то хлебную контору, а я остался непристроенным, хотя отец и мечтал «определить меня на умственные занятия», — что это за штука, я и до сих пор не знаю. Признаться, от этого сильно пахло писцом в мещанской управе, но, к моему счастью, не оказывалось вакансии в означенном мрачном и скучном учреждении...

С Шашей мы встречались ежедневно, а где был Мотька и что с ним — об этом ходили только туманные слухи, сущность которых сводилась к тому, что он «удачно определился на занятия» и что сделался он таким франтом, что не подступись.

Мотька постепенно сделался объектом нашей товарищеской гордости и лишенных зависти мечтаний возвыситься со временем до него, Мотьки.

И вдруг получилось сведение, что Мотька должен прибыть в начале апреля из Харькова «в отпуск с сохранением содержания». На последнее усиленно напирала Мотькина мать, и в этом сохранении видела бедная женщина самый пышный лавр в победном венке завоевателя мира Мотьки.

## //

В этот день не успели закрыть «Электрическое усердие», как ко мне ворвался Шаша и, сверкая глазами, светясь от восторга, как свечка, сообщил, что уже видели Мотьку едущим с вокзала и что на голове у него настоящий цилиндр!..

— Такой, говорят, франт, — горделиво закончил Шаша, — такой франт, что пусти — вырвусь.

Эта неопределенная характеристика франтовства разожгла меня так, что я бросил лавку на приказчика, схватил фуражку — и мы помчались к дому блестящего друга нашего.

Мать его встретила нас несколько важно, даже с примесью надменности, но мы впопыхах не заметили этого и, тяжело дыша, первым делом потребовали Мотю...

Ответ был самый аристократический:

— Мотя не принимает.

— Как не принимает? — удивились мы. — Чего не принимает?

— Вас принять не может. Он сейчас очень устал. Он сообщит вам, когда сможет принять.

Всякой шикарности, всякой респектабельности должны быть границы. Это уже переходило даже те широчайшие границы, которые мы себе начертили.

— Может быть, он нездоров?.. — попытался смягчить удар деликатный Шаша.

— Здоров-то он здоров... Только у него, он говорит, нервы не в порядке... У них в конторе перед праздниками было много работы... Ведь он теперь уже помощник старшего конторщика. Очень на хорошей ноге.

Нога, может быть, была и подлинно хороша, но нас она, признаться, совсем придавила: «нервы, не принимает»...

Возвращались мы, конечно, молча. О шикарном друге, впредь до выяснения, не хотелось говорить. И чувствовали мы себя такими забитыми, такими униженно-жалкими, провинциальными, что хотелось и расплакаться и умереть или, в крайнем случае, найти на улице сто тысяч, которые дали бы и нам шикарную

возможность носить цилиндр и «не принимать» — совсем, как в романах.

— Ты куда? — спросил Шаша.

— В лавку. Скоро запирать надо. (Боже, какая проза!) А ты?

— А я домой... Выпью чаю, поиграю на мандолине и завалюсь спать.

Проза не меньшая! Хе-хе.

### III

На другое утро — было солнечное воскресенье — Мотькина мать занесла мне записку: «Будьте с Шашей в городском саду к 12 часам. Нам надо немного объясниться и пересмотреть наши отношения. Уважаемый вами Матвей Смелков».

Я надел новый пиджак, вышитую крестиками белую рубашку, зашел за Шашей и — побрели мы со стесненными сердцами на это дружеское свидание, которого мы так жаждали и которого так инстинктивно, панически боялись.

Пришли, конечно, первые. Долго сидели с опущенными головами, руки в карманах. Даже в голову не пришло обидеться, что великолепный друг наш заставляет ждать так долго.

Ах! Он был, действительно, великолепен... На нас надвигалось что-то сверкающее, бряцающее многочисленными брелоками и скрипящее лаком желтых ботинок с перламутровыми пуговицами.

Пришелец из неведомого мира графов, золотой молодежи, карет и дворцов — он был одет в коричневый жакет, белый жилет, какие-то сиреневые брючки, а голова увенчивалась сверкающим на солнце цилиндром, который если и был мал, то размеры его уравнивались огромным галстуком с таким же огромным бриллиантом...

Палка с лошадиной головой обременяла правую аристократическую руку. Левая рука была обтянута перчаткой цвета освежеванного быка. Другая перчатка высывалась из внешнего кармана жакета так, будто грозила нам своим вялым указательным пальцем: «Вот я вас!.. Отнеситесь только без должного уважения к моему носителю».

Когда Мотя приблизился к нам развинченной походкой пресыщенного денди, добродушный Шаша вскочил и, не могши сдержать порыва, простер руки к сиятельному другу:

— Мотья! Вот, брат, здорово!..

— Здравствуйте, здравствуйте, господа, — солидно кивнул головой Мотья и, пожав наши руки, опустился на скамейку...

Мы оба стояли.

— Очень рад видеть вас... Родители здоровы? Ну, слава богу, приятно, я очень рад.

— Послушай, Мотья... — начал я с робким восторгом в глазах.

— Прежде всего, дорогие друзья, — внушительно и веско сказал Мотья, — мы уже взрослые, и поэтому «Мотьку» я считаю определенным «кель выражансом»... Хе-хе... Не правда ли? Я уже теперь Матвей Семеныч — так меня и на службе зовут, а сам бухгалтер за ручку здоровкается. Жизнь солидная, оборот предприятия два миллиона. Отделение есть даже в Коканде... Вообще, мне бы хотелось пересмотреть в корне наши отношения.

— Пожалуйста, пожалуйста, — пробормотал Шаша. Стоял он, согнувшись, будто свалившимся невидимым бревном ему переломило спину...

Перед тем как положить голову на плаху, я малодушно попытался отодвинуть этот момент.

— Теперь опять стали носить цилиндры? — спросил я с видом человека, которого научные занятия изредка отвлекают от капризов изменчивой моды.

— Да, носят, — снисходительно ответил Матвей Семеныч. — Двенадцать рублей.

— Славные брелочки. Подарки?

— Это еще не все. Часть дома. Все на кольцо не помещаются. Часы на камнях, анкер, завод без ключа. Вообще, в большом городе жизнь — хлопотливая вещь. Воротнички «Монополь» только на три дня хватают, маникюр, пикники разные.

Я чувствовал, что Матвею Семенычу тоже не по себе...

Но, наконец, он решил. Тряхнул головой так, что цилиндр вспрыгнул на макушку, и начал:

— Вот что, господа... Мы с вами уже не маленькие, и, вообще, детство — это одно, а когда молодые люди, так совсем другое. Другой, например, до какого-нибудь там высшего общества, до интеллигенции дошел, а другие есть из низших классов, и если бы вы, скажем, увидели в одной карете графа Кочубей рядом с нашей Миронихой, которая, помните, на углу маковники продавала, так вы бы первые смеялись до безумия. Я, конечно, не Кочубей, но у меня есть известное положение, ну, конечно, и у вас есть известное положение, но не такое, а что мы были маленькими вместе, так это мало ли что... Вы сами понимаете, что мы уже друг другу не пара... и... тут, конечно, обижаться нечего — один достиг, другой не достиг... Гм!.. Но, впрочем, если хотите, мы будем изредка встречаться около железнодорожной будки, когда я буду делать прогулку, все равно там публики нет, и мы будем как свои. Но, конечно, без особенной фамильярности — я этого не люблю. Я, конечно, вхожу в ваше положение — вы меня любите, вам даже, может быть, обидно, и поверьте... Я со своей стороны... если могу быть чем-нибудь полезен... Гм! Душевно рад.

В этом месте Матвей Семеныч взглянул на свои часы нового золота и заторопился:

— О, ля-ля! Как я заболтался... Семья помещика Гузикова ждет меня на пикник, и, если я запоздаю, это будет нонсенс. Желаю здравствовать! Желаю здравствовать! Привет родителям!..

И он ушел, сверкающий и даже не немного гнущийся под бременем респектабельности, усталый от повседневного вихря светской жизни.

## IV

В этот день мы с Шашей, заброшенные, будничные, лежа на молодой травке железнодорожной насыпи, в первый раз пили водку и в последний раз плакали.

Водку мы пьем и теперь, но уже больше не плачем. Это были последние слезы детства. Теперь — засуха.

И чего мы плакали? Что хоронили? Мотья был напыщенный дурак, жалкий третьестепенный писец в конторе, одетый, как попугай, в жакет с чужого плеча; в крохотном цилиндре на макушке, в сиреневых брюках, обвешанный медными брелоками, — он теперь кажется мне смехотворным и ничтожным, как червяк без сердца и мозга, — почему же мы тогда так убивались, потеряв Мотью?

А ведь — вспомнишь, — как мы были одинаковы, — как три желудя на дубовой ветке, — когда сидели на одной скамейке у Марьи Антоновны...

Увы! Желуди-то одинаковы, но когда вырастут из них молодые дубки — из одного дубка делают кафедру для ученого, другой идет на рамку для портрета любимой девушки, а из третьего дубка смастерят



такую виселицу, что любо-дорого...

# Душистая гвоздика

## I

Иду по грязной, слякотной, покрытой разным сором и дрянью улице, иду злой, бешеный, как цепная собака. Сумасшедший петербургский ветер срывает шляпу, приходится придерживать ее рукой. Рука затекает и стынет от ветра; я делаюсь еще злее! За воротник попадают тучи мелких гнилых капель дождя, чтоб их черт побрал!

Ноги тонут в лужах, образовавшихся в выбоинах дряхлого тротуара, а ботинки тонкие, грязь просачивается внутрь ботинка... так-с! Вот вам уже и насморк.

Мимо мелькают прохожие — звери! Они норовят задеть плечом меня, я — их.

Я ловлю взгляды исподлобья, которые ясно говорят:

— Эх, приложить бы тебя затылком в грязь!

Что ни мужчина встречный, то Малюта Скуратов, что ни женщина, промелькнувшая мимо, — Марианна Скублинская. А меня они, наверное, считают сыном убийцы президента Карно. Ясно вижу.

Все скудные краски смешались на нищенски бедной петроградской палитре в одно грязное пятно, даже яркие тона вывесок погасли, слились с мокрыми ржавыми стенами сырых угрюмых домов.

А тротуар! Боже ты мой! Нога скользит среди мокрых грязных бумажек, окурков, огрызков яблок и раздавленных папиросных коробок.

И вдруг... сердце мое замирает!

Как нарочно: посреди грязного, зловонного тротуара ярким трехкрасочным пятном сверкнули три оброненные кем-то гвоздики, три девственно-чистых цветка: темно-красный, снежно-белый и желтый. Кудрявые пышные головки совсем не запятнаны грязью, все три цветка счастливо упали верхней частью стеблей на широкую папиросную коробку, брошенную прохожим курильщиком.

О, будь благословен тот, кто уронил эти цветы, — он сделал меня счастливым.

Ветер уже не так жесток, дождь потеплел, грязь... ну что ж, грязь когда-нибудь высохнет; и в сердце рождается робкая надежда: ведь увижу я еще голубое жаркое небо, услышу птичье щебетанье, и ласковый майский ветерок донесет до меня сладкий аромат степных трав.

Три кудрявых гвоздики!

\* \* \*

Надо мне признаться, что из всех цветов я люблю больше всего гвоздику; а из всех человек милей всего моему сердцу дети.

Может быть, именно поэтому мои мысли переехали с гвоздики на детей, и на одну минуту я отождествил эти три кудрявых головки: темно-красную, снежно-белую и желтую — с тремя иными головками.

Может быть, все может быть.

Сижу я сейчас за письменным столом, и что же я делаю? Большой взрослый сентиментальный дурак! Поставил в хрустальный бокал три найденные на улице гвоздики, смотрю на них и задумчиво, рассеянно

улыбаюсь.

Сейчас только поймал себя на этом.

Вспоминаются мне три знакомых девочки... Читатель, наклонись ко мне поближе, я тебе на ухо расскажу об этих маленьких девочках... Громко нельзя, стыдно. Ведь мы с тобой уже большие, и не подходящее дело громко говорить нам с тобой о пустяках.

А шепотом, на ухо — можно.

## //

Знавал я одну крохотную девочку Ленку.

Однажды, когда мы, большие жестоковыйные люди, сидели за обеденным столом, — мама чем-то больно обидела девочку.

Девочка промолчала, но опустила голову, опустила ресницы и, пошатываясь от горя, вышла из-за стола.

— Посмотрим, — шепнул я матери, — что она будет делать?

Горемычная Ленка решилась, оказывается, на огромный шаг: она вздумала уйти из родительского дома.

Пошла в свою комнатенку и, сопя, принялась за сборы: разостлала на кровати свой темный байковый платок, положила в него две рубашки, панталончики, обломок шоколада, расписной переплет, оторванный от какой-то книжки, и медное колечко с бутылочным изумрудом.

Все это аккуратно связала в узел, вздохнула тяжко и с горестно опущенной головой вышла из дому.

Она уже благополучно добралась до калитки и даже вышла за калитку, но тут ее ожидало самое страшное, самое непреодолимое препятствие: в десяти шагах от ворот лежала большая темная собака.

У девочки достало присутствия духа и самолюбия, чтобы не закричать... Она только оперлась плечом о скамейку, стоявшую у ворот, и принялась равнодушно глядеть совсем в другую сторону с таким видом, будто бы ей нет дела ни до одной собаки в мире, а вышла она за ворота просто подышать свежим воздухом.

Долго так стояла она, крохотная, с великой обидой в сердце, не знающая — что предпринять...

Я высунул голову из-за забора и участливо спросил:

— Ты чего тут стоишь, Леночка?

— Так себе, стою.

— Ты, может быть, собаки боишься; не бойся, она не кусается. Иди куда хотела.

— Я еще сейчас не пойду, — опустив голову, прошептала девочка. — Я еще постою.

— Что же ты думаешь еще долго тут стоять?

— Я вот еще подожду.

— Да чего ж ждать-то?

— Вот вырасту немножко, тогда уж не буду бояться собачки, тогда уж пойду...

Из-за забора выглянула и мать.

— Это вы куда собрались, Елена Николаевна?

Ленка дернула плечом и отвернулась.

— Недалеко ж ты ушла, — съязвила мать.

Ленка подняла на нее огромные глаза, наполненные целым озером невылившихся слез, и серьезно сказала:

— Ты не думай, что я тебя простила. Я еще подожду, а потом пойду.

— Чего ж ты будешь ждать?

— Когда мне будет четырнадцать лет.

Насколько я помню, в тот момент ей было всего 6 лет. Восьми лет ожидания у калитки она не выдержала. Ее хватило на меньшее — всего на 8 минут.

Но, Боже мой! Разве знаем мы, что пережила она в эти 8 минут?!

\* \* \*

Другая девочка отличалась тем, что превыше всего ставила авторитет старших.

Что ни делалось старшими, в ее глазах все было свято.

Однажды ее брат, весьма рассеянный юноша, сидя в кресле, погрузился в чтение какой-то интересной книги так, что забыл все на свете... Курил одну папиросу за другой, бросал окурки куда попало и, лихорадочно разрезывая книгу ладонью руки, пребывал всецело во власти колдовских очарований автора.

Моя пятилетняя приятельница долго бродила вокруг да около брата, испытующе поглядывая на него и все собиралась о чем-то спросить, и все не решалась.

Наконец, собралась с духом. Начала робко, выставив голову из складок плюшевой скатерти, куда она в силу природной деликатности, спряталась:

— Данила, а Данила?..

— Отстань, не мешай, — рассеянно пробормотал Данила, пожирая глазами книгу.

И опять томительное молчание... И опять деликатный ребенок робко закружился вокруг кресла брата.

— Чего ты тут вертишься? Уходи.

Девочка кротко вздохнула, подошла бочком к брату и опять начала:

— Данила, а Данила?

— Ну, что тебе! Ну, говори!!

— Данила, а Данила... Это так надо, чтобы кресло горело?

Умилительное дитя! Сколько уважения к авторитету взрослых должно быть в голове этой крошки, чтобы она, видя горящую паклю в кресле, подоженном рассеянным братом, все еще сомневалась: а вдруг это нужно брату из каких-нибудь высших соображений?..

О третьей девочке мне рассказывала умиленная нянька: — До чего это заковыристый ребенок, и представить себе невозможно... укладываю я ее с братом спать, а допрежь того поставила на молитву: «Молитесь, мол, ребяточки!» И что ж вы думаете? Братишка молится, а она, Любочка, значит, стоит и ждет чего-то: «А ты, говорю, что ж не молишься, чего ждешь?» — «А как же, говорит, я буду молиться, когда Боря уже молится? Ведь Бог сейчас его слушает... Не могу же я тоже лезть, когда Бог сейчас Борей занят!»

Милая благоуханная гвоздика!

Моя была бы воля, я бы только детей и признавал за людей.

Как человек перешагнул за детский возраст, так ему камень на шею да в воду.

Потому взрослый человек почти сплошь мерзавец...

# Кулич

— А что, сынок, — спросил меня отец, заложив руки в карманы и покачиваясь на своих длинных ногах, — не хотел бы ты рубль заработать?

Это было такое замечательное предложение, что у меня дух захватило.

— Рубль? Верно? А за что?

— Пойди сегодня ночью в церковь, посвети кулич.

Я сразу осел, обмяк и нахмурился.

— Тоже вы скажете: свети кулич! Разве я могу? Я маленький.

— Да ведь не сам же ты, дурной, будешь святить его! Священник освятит. А ты только снеси и постой около него!

— Не могу, — подумав, сказал я.

— Новость! Почему не можешь?

— Мальчики будут меня бить.

— Подумаешь, какая казанская сирота выискалась, — презрительно скривился отец. — «Мальчики будут его бить». Небось сам их лупцуешь, где только ни попадутся.

Хотя отец был большой умный человек, но в этом деле он ничего не понимал...

Вся суть в том, что существовали два разряда мальчиков: одни меньше и слабосильнее меня, и этих бил я. Другие больше и здоровее меня — эти отделяли мою физиономию на обе корки при каждой встрече.

Как во всякой борьбе за существование — сильные пожирали слабых. Иногда я мирился с некоторыми сильными мальчиками, но другие сильные мальчики вымещали на мне эту дружбу, потому что враждовали между собой.

Часто приятели передавали мне грозное предупреждение:

— Вчера я встретил Степку Пангалова, он просил передать, что даст тебе по морде.

— За что? — ужасался я. — Ведь я его не трогал?

— Ты вчера гулял на Приморском бульваре с Косым Захаркой?

— Ну, гулял! Так что ж?

— А Косой Захарка на той неделе два раза бил Пангалова.

— За что?

— За то, что Пангалов сказал, что он берет его на одну руку.

В конце концов, от всей этой вереницы хитросплетений и борьбы самолюбий страдал я один.

Гулял я с Косым Захаркой — меня бил Пангалов, заключал перемирие с Пангаловым и отправлялся с ним гулять — меня бил Косой Захарка.

Из этого можно вывести заключение, что дружба моя котирировалась на мальчишеском рынке очень высоко — если из-за меня происходили драки. Только странно было то, что били, главным образом, меня.

Однако если я не мог справиться с Пангаловым и Захаркой, то мальчишки помельче их должны были

испытывать всю тяжесть моего дурного настроения.

И когда по нашей улице пробирался какой-нибудь Сема Фишман, беззаботно насвистывая популярную в нашем городе песенку:

На слободке есть ворожка,  
Барабанщика жена... —

я, как из земли, выростал и, став к Семе вполоборота, задиристо предлагал:

— Хочешь по морде?

Отрицательный ответ никогда не смущал меня. Сема получал свою порцию и в слезах убегал, а я бодро шагал по своей Ремесленной улице, выискивая новую жертву, пока какой-нибудь Аптекаренок с Цыганской слободки не ловил меня и не бил — по всякой причине: или за то, что я гулял с Косым Захаркой, или за то, что я с ним не гулял (в зависимости от личных отношений между Аптекаренком и Косым Захаркой...).

К отцовскому предложению я отнесся так кисло именно потому, что вечер Страстной субботы стягивает со всех улиц и переулков уйму мальчиков к оградкам церквей нашего города. И хотя я найду там многих мальчиков, которые хватят от меня по морде, но зато во тьме ночной бродят и другие мальчишки, которые, в свою очередь, не прочь припаять блямбу (местное аргю!) мне.

А к этому времени как раз у меня испортились отношения почти со всеми: с Кирей Алексомати, с Григулевичем, с Павкой Макопуло и с Рафкой Кефели.

— Так идешь или нет? — переспросил отец. — Я знаю, конечно, что тебе хотелось бы шататься по всему городу вместо стояния около кулича, но ведь за то — рубль! Поразмысли.

Я это как раз и делал: размышлял.

— Куда мне пойти? К Владимирскому собору? Там будет Павка со своей компанией... Ради праздничка изобьют, как еще никогда не били... В Петропавловскую? Там будет Ваня Сазончик, которому я только третьего дня дал по морде на Ремесленной канаве. В Морскую церковь — там слишком фешенебельно. Остается Греческая церковь... Туда я и думал пойти, но без всякого кулича и яиц. Во-первых, там свои — Степка Пангалов с компанией: можно носиться по всей ограде, отправляться на базар в экспедицию за бочками, ящиками и лестницами, которые тут же в ограде торжественно сжигались греческими патриотами... Во-вторых, в Греческой церкви будет Андриенко, которому надлежит получить свою порцию за то, что наговорил матери, будто я воровал помидоры с воза... Перспективы в Греческой церкви чудесные, а узел из кулича, полудесяток яиц и кольца малороссийской колбасы — должен был связать меня по рукам и ногам...

Можно было бы поручить кому-нибудь из знакомых постоять около кулича — да какой же дурак согласится в такую чудесную ночь?

— Ну что, решил? — переспросил отец.

«А надую-ка я старика», — подумал я.

— Давайте рубль и пасху вашу несчастную.

За последний эпитет я получил по губам, но в веселой суматохе укладывания в салфетку кулича и яиц — это прошло совершенно незамеченным.

Да и не больно было.

Так, немного обидно.

\* \* \*

По скрипучему деревянному крыльцу я спустился с узлом в руке во двор, на секунду нырнул под это крыльцо в отверстие, образовавшееся из двух утащенных кем-то досок, вылез обратно с пустыми руками и, как стрела, помчался по темным теплым улицам, сплошь затопленным радостным звоном.

В ограде Греческой церкви меня встретили ревом восторга. Я поздоровался со всей компанией и тут же узнал, что мой враг Андриенко уже прибыл.

Немного поспорили о том, что раньше сделать: сначала «насыпать» Андриенке, а потом идти воровать ящики — или наоборот?

Решили: наворовать ящиков, потом поколотить Андриенку, а потом отправиться опять воровать ящики.

Так и сделали.

Поколоченный мною Андриенко давал клятву в вечной ко мне ненависти, а костер, пожирая нашу добычу, поднимал красные дымные языки почти до самого неба... Веселье разгоралось, и дикий рев одобрения встретил Христу Попандопуло, который явился откуда-то с целой деревянной лестницей на голове:

— Я себе така думаю, — весело кричал он, — сто стоит теперя одна дома, а у нему нету лестницы, чтоба попадети на верхня этаза.

— Да неужели ты домовую лестницу унес?

— Ма, сто такая: домовая не домовая — лис бы горела!

Все весело смеялись, и веселее всех смеялся тот взрослый простак, который, как оказалось потом, вернувшись к себе домой на Четвертую Продольную, не мог попасть на второй этаж, где его с нетерпением ждали жена и дети.

Все это было очень весело, но, когда я, после окончания церемонии, возвращался домой с пустыми руками, — сердце мое защемило: весь город будет разговляться свячеными куличами и яйцами, и только наша семья, как басурмане, будет есть простой, не святой хлеб.

— Правда, — рассуждал я. — Я, может быть, в Бога не верую, но вдруг все-таки Бог есть и он припомнит мне все мои гнусности: Андриенку бил в такую святую ночь, кулича не освятил да еще орал на базаре во все горло не совсем приличные татарские песни, чему уж не было буквально никакого прощения.

Сердце щемило, душа болела, и с каждым шагом к дому эта боль все увеличивалась.

А когда я подошел к отверстию под крыльцом и из этого отверстия выскочила серая собака, что-то на ходу дожевывая, — я совсем пал духом и чуть не заплакал.

Вынул свой раздерганный собакой узел, осмотрел: яйца были целы, но зато кусок колбасы был съеден и кулич с одного бока изглодан почти до самой середины.

— Христос воскресе, — сказал я, заискивающе подлезая с поцелуем к щетинистым усам отца.

— Воистину!.. Что это у тебя с куличом?

— Да я по дороге... Есть захотелось, — отщипнул. И колбасы... тоже.

— Это уже после свячения, надеюсь? — строго спросил отец.



— Д-да... гораздо... после.

Вся семья уселась вокруг стола и принялась за кулич, а я сидел в стороне и с ужасом думал:

— Едят! Не свяченный! Пропала вся семья.

И тут же вознес к небу наскоро сочиненную молитву:

«Отче наш! Прости их всех, не ведают бо что творят, а накажи лучше меня, только не особенно чтобы крепко... Аминь!»

Спал я плохо — душили кошмары, — а утром, придя в себя, умылся, взял преступно заработанный рубль и отправился под качели.

Мысль о качелях немного ободрила меня — увижу там праздничного Пангалова, Мотьку Колесникова... Будем кататься на перекидных, пить бузу и есть татарские чебуреки по две копейки штука.

Рубль казался богатством, и я, переходя Большую Морскую, с некоторым даже презрением оглядел двух матросов: шли они, пошатываясь, и во все горло распевали популярный в севастопольских морских сферах романс:

Ой, не плачь, Маруся,  
Ты будешь моя,  
Кончу мореходку —  
Женюсь на тебе.

И кончали меланхолически:

Как тебе не стыдно, как тебе не жаль,  
Что мне сменила на такую дрянь!

Завывание шарманок, пронзительный писк кларнета, сотрясающие все внутренности удары огромного барабана — все это сразу приятно оглушило меня. На одной стороне кто-то плясал, на другой — грязный клоун в рыжем парике кричал: «Месье, мадам — идите, я вам дам по мордам!» А посредине старый татарин устроил из покато́й доски игру, вроде китайского биллиарда, и его густой голос изредка прорезывал всю какофонию звуков:

— А второй да бирот, — чем заставлял сильнее зажигаться все спортсменские сердца.

Цыган с большим кувшином красного лимонада, в котором аппетитно плескались тонко нарезанные лимоны, подошел ко мне:

— Панич, лимонада холодная! Две копейки одна стакана...

Было уже жарко.

— А ну, дай, — сказал я, облизав пересохшие губы. — Бери рубль, дай сдачи.

Он взял рубль, приветливо поглядел на меня и вдруг, оглянувшись и заорав на всю площадь: «Абдраман! Наконец я тебя, подлеца, нашел!» — ринулся куда-то в сторону и замешался в толпу.

.....

Я подождал пять минут, десять. Цыгана с моим рублем не было... Очевидно, радость встречи с загадочным Абдраманом совершенно изгнала в его цыганском сердце материальные обязательства перед покупателем.

Я вздохнул и, опустив голову, побрел домой.

А в сердце проснулся кто-то и громко сказал:

— Это за то, что ты Бога думал надуть, несвяченным куличом семью накормил!

И в голове проснулся кто-то другой и утешил:

— Если Бог наказал тебя, значит, пощадил семью. За одну вину двух наказаний не бывает.

— Ну, и кончено! — облегченно вздохнул я, ухмыляясь. — Расквитался своими боками.

Был я мал и глуп.

# Продувной мальчишка

## Рождественский рассказ

В нижеследующем рассказе есть все элементы, из которых слагается обычный sentimentalный рождественский рассказ: есть маленький мальчик, есть его мама и есть елочка, но только рассказ-то получается совсем другого сорта... Sentimentальность в нем, как говорится, и не ночевала.

Это — рассказ серьезный, немного угрюмый и отчасти жестокий, как рождественский мороз на севере, как жестока сама жизнь.

\* \* \*

Первый разговор о елке между Володькой и мамой возник дня за 3 до Рождества, и возник не преднамеренно, а, скорее, случайно, по дурацкому звуковому совпадению.

Намазывая за вечерним чаем кусок хлеба маслом, мама откусила кусочек и поморщилась.

— Масло-то, — проворчала она, — совсем елкое...

— А у меня елка будет? — осведомился Володька, с шумом схлебывая с ложки чай.

— Еще что выдумал! Не будет у тебя елки. Не до жиру — быть бы живу. Сама без перчаток хожу.

— Ловко, — сказал Володька. — У других детей сколько угодно елков, а у меня, будто я и не человек.

— Попробуй сам устроить — тогда и увидишь.

— Ну, и устрою. Большая важность. Еще почище твоей будет. Где мой картуз?

— Опять на улицу?! И что это за ребенок такой! Скоро совсем уличным мальчишкой сделаешься!.. Был бы жив отец, он бы тебе...

Но так и не узнал Володька, что бы сделал с ним отец: мать еще только добиралась до второй половины фразы, а он уже гигантскими прыжками спускался по лестнице, меняя на некоторых поворотах способ передвижения: съезжая на перилах верхом.

На улице Володька сразу принял важный, серьезный вид, как и полагалось владельцу многотысячного сокровища.

Дело в том, что в кармане Володьки лежал огромный бриллиант, найденный им вчера на улице, — большой сверкающий камень, величиной с лесной орех.

На этот бриллиант Володька возлагал очень большие надежды: не только елка, а пожалуй, и мать можно обеспечить.

— Интересно бы знать, сколько в нем карат? — думал Володька, солидно натянув огромный картуз на самый носишко и прошмыгивая между ногами прохожих.

Вообще, нужно сказать, голова Володьки — самый прихотливый склад обрывков разных сведений, знаний, наблюдений, фраз и изречений.

В некоторых отношениях он грязно невежествен: например, откуда-то подцепил сведение, что бриллианты взвешиваются на караты, и в то же время совершенно не знает, какой губернии их город, сколько будет, если умножить 32 на 18, и почему от электрической лампочки нельзя закурить папироски.

Практическая же его мудрость вся целиком заключалась в трех поговорках, вставляемых им всюду, сообразно обстоятельствам: «Бедному жениться — ночь коротка», «Была не была — повидаться надо» и «Не до жиру — быть бы живу».

Последняя поговорка была, конечно, заимствована у матери, а первые две — черт его знает у кого.

Войдя в ювелирный магазин, Володька засунул руку в карман и спросил:

— Бриллианты покупаете?

— Ну, и покупаем, а что?

— Свесьте-ка, сколько каратов в этой штучке?

— Да это простое стекло, — усмехнувшись сказал ювелир.

— Все вы так говорите, — солидно возразил Володя.

— Ну вот, поразговаривай тут еще. Проваливай!

Многокаратный бриллиант весьма непочтительно полетел на пол.

— Эх, — кряхтя нагнулся Володя за развенчанным камнем. — Бедному жениться — ночь коротка. Сволочи! Будто не могли потерять настоящий бриллиант. Хи! Ловко, нечего сказать. Ну, что ж... Не до жиру — быть бы живу. Пойду, наймусь в театр.

Эта мысль, надо признаться, была уже давно лелеяна Володькой. Слыхивал он кое от кого, что иногда в театрах для игры требуются мальчики, но как приняться за эту штуку — он совершенно не знал.

Однако не в характере Володьки было раздумывать: дойдя до театра, он одну секунду запнулся о порог, потом смело шагнул вперед и для собственного оживления и бодрости прошептал себе под нос: «Ну, была не была — повидаться надо».

Подошел к человеку, отрывавшему билеты, и, задрвав голову, спросил деловито:

— Вам мальчики тут нужны, чтоб играть?

— Пошел, пошел. Не болтайся тут.

Подождав, пока билетер отвернулся, Володька протиснулся между входящей публикой и сразу очутился перед заветной дверью, за которой гремела музыка.

— Ваш билет, молодой человек, — остановила его билетерша.

— Слушайте, — сказал Володька, — тут у вас в театре сидит один господин с черной бородой. У него дома случилось несчастье — жена умерла. Меня прислали за ним. Позовите-ка его!

— Ну, стану я там твою черную бороду искать — иди сам и ищи!

Володька, заложив руки в карманы, победоносно вступил в театр и сейчас же, высмотрев свободную ложу, уселся в ней, устремив на сцену свой критический взор.

Сзади кто-то похлопал по плечу.

Оглянулся Володька: офицер с дамой.

— Эта ложка занята, — холодно заметил Володька.

— Кем?

— Мною. Рази не видите?

Дама рассмеялась, офицер направился было к капельдинеру, но дама остановила его:

— Пусть посидит с нами, хорошо? Он такой маленький и такой важный. Хочешь с нами сидеть?

— Сидите уж, — разрешил Володька. — Это что у вас? Программка? А ну, дайте...

Так сидели трое до конца первой серии.

— Уже конец? — грустно удивился Володька, когда занавес опустился. — Бедному жениться — ночь коротка. Эта программка вам уже не нужна?

— Не нужна. Можешь взять ее на память о такой приятной встрече.

Володька деловито осведомился:

— Почем платили?

— Пять рублей [53].

— Продам на вторую серию, — подумал Володька и, подцепив по пути из соседней ложи еще одну брошенную программку, бодро отправился с этим товаром к главному выходу.

Когда он вернулся домой, голодный, но довольный, — у него в кармане вместо фальшивого бриллианта были две настоящие пятирублевки.

\* \* \*

На другое утро Володька, зажав в кулак свой оборотный капитал, долго бродил по улицам, присматриваясь к деловой жизни города и прикидывая глазом — во что бы лучше вложить свои денежки.

А когда он стоял у огромного зеркального окна кафе — его осенило.

— Была не была — повидаться надо, — подстегнул он сам себя, нахально входя в кафе.

— Что тебе, мальчик? — спросила продавщица.

— Скажите, пожалуйста, тут не приходила дама с серым мехом и с золотой сумочкой?

— Нет, не было.

— Ага. Ну, значит, еще не пришла. Я подожду ее.

И уселся за столик.

— Главное, — подумал он, — втереться сюда. Попробуй-ка, выгони потом: я такой рев подыму!..

Он притаился в темном уголку и стал выжидать, шныряя черными глазенками во все стороны.

Через два столика от него старик дочитал газету, сложил ее и принялся за кофе.

— Господин, — шепнул Володька, подойдя к нему. — Сколько заплатили за газету?

— Пять рублей.

— Продайте за два. Все равно ведь прочитали.

— А зачем она тебе?

— Продам. Заработаю.

— О-о... Да ты, брат, деляга. Ну, на. Вот тебе трешница сдачи. Хочешь сдобного хлеба кусочек?

— Я не нищий, — с достоинством возразил Володька. — Только вот на елку заработаю — и шабаш. Не до жиру — быть бы живу.

Через полчаса у Володьки было пять газетных листов, немного измятых, но вполне приличных на вид.

Дама с серым мехом и с золотой сумочкой так и не пришла. Есть некоторые основания думать, что существовала она только в разгоряченном Володькином воображении.

Прочитав с превеликим трудом совершенно ему непонятный заголовок: «Новая позиция Ллойд Джорджа», Володька, как безумный, помчался по улице, размахивая своими газетами и вопя во всю мочь:

— Интер-ресные новости! Новая позиция Ллойд Джорджа — цена пять рублей. Новая позиция за пять рублей!!

А перед обедом, после ряда газетных операций, его можно было видеть идущим с маленькой коробочкой конфет и сосредоточенным выражением лица, еле видимого из-под огромной фуражки.

На скамейке сидел праздный господин, лениво покуривая папиросу.

— Господин, — подошел к нему Володька. — Можно вас что-то спросить?..

— Спрашивай, отроче. Валяй!

— Если полфунта конфет — 27 штук стоят 55 рублей, так сколько стоит штука?

— Точно, брат, трудно сказать, но около двух рублей штука. А что?

— Значит, по пяти рублей выгодно продавать? Ловко! Может, купите?

— Я куплю пару с тем, чтобы ты сам их и съел.

— Нет, не надо, я не нищий. Я только торгую... Да купите! Может, знакомому мальчику отдадите.

— Эх-ма, уговорил! Ну, давай на керенку, что ли.....

Володькина мать пришла со своей белошвейной работы поздно вечером...

На столе, за которым, положив голову на руки, сладко спал Володька, стояла крохотная елочка, украшенная парой яблок, одной свечечкой и тремя-четырьмя картонажами, — и все это имело прежалкий вид.

У основания елки были разложены подарки: чтобы не было сомнения, что кому предназначено, около цветных карандашей была положена бумажка с корявой надписью: «Дли Валоди».

А около пары теплых перчаток другая бумажка с еще более корявым предназначением: «Дли мами»...

Крепко спал продувной мальчишка, и неизвестно где, в каких сферах, витала его хитрая купеческая душонка...

# Разговор в школе

*Посвящаю Ариадне Румановой [54]*

Нельзя сказать, чтобы это были два враждующих лагеря. Нет — это были просто два противоположных лагеря. Два непонимающих друг друга лагеря. Два снисходительно относящихся друг к другу лагеря.

Один лагерь заключался в высокой бледной учительнице «школы для мальчиков и девочек», другой лагерь был числом побольше. Раскинулся он двумя десятками стриженных или украшенных скудными косичками головок, склоненных над ветхими партами... Все головы, как единообразно вывихнутые, скривились на левую сторону, все языки были прикушены маленькими мышинными зубенками, а у Рюхина Андрея от излишка внимания даже тонкая нитка слюны из угла рта выползла.

Скрип грифелей, запах полувисохших чернил и вздохи, вздохи — то облегчения, то натуги и напряжения — вот чем наполнялась большая полутемная комната.

А за открытым окном, вызолоченные до половины солнцем, качаются старые акации, а какая-то задорная суетливая пичуга раскричалась в зелени так, что за нее делается страшно — вдруг разрыв сердца! А издали, с реки, доносятся крики купающихся мальчишек, а лучи солнца, ласковые, теплые, как рука матери, проводящая по головке своего любимца, лучи солнца льются с синего неба. Хорошо, черт возьми! Завизжать бы что-нибудь, захрюкать и камнем вылететь из пыльной комнаты тихого училища — побежать по сонной от зноя улице, выделявая ногами самые неожиданные курбеты.

Но нельзя. Нужно учиться.

Неожиданно среди общей творческой работы Кругликову Капитону приходит в голову сокрушительный вопрос:

— А зачем, в сущности, учиться? Действительно ли это нужно?

Кругликов Капитон — человек смелый и за словом в карман не лезет.

— А зачем мы учимся? — спрашивает он, в упор глядя на прохаживающуюся по классу учительницу.

Глаза его округлились, выпуклились, отчасти от любопытства, отчасти от ужаса, что он осмелился задать такой жуткий вопрос.

— Чудак, ей-богу, ты человек, — усмехается учительница, проводя мягкой ладонью по его голове против шерсти. — Как зачем? Чтобы быть умными, образованными, чтобы отдавать себе отчет в окружающем.

— А если не учиться?

— Тогда и культуры никакой не будет.

— Это какой еще культуры?

— Ну... так тебе трудно сказать. Я лучше всего объясню на примере. Если бы кто-нибудь из вас был в Нью-Йорке...

— Я была, — раздается тонкий писк у самой стены.

Все изумленно оборачиваются на эту отважную путешественницу. Что такое? Откуда?

Очевидно, в школах водится особый школьный бесенок, который вертится между партами, толкает под руку и выкидывает, вообще, всякие кренделя, которые потом сваливает на ни в чем не повинных

учеников... Очевидно, это он дернул Наталью Пашкову за жиденькую косичку, подтолкнул в бок, — шепнул: «Скажи, что была, скажи!»

Она и сказала.

— Стыдно врать, Наталья Пашкова. Ну, когда ты была в Нью-Йорке? С кем?

Наталья рада бы сквозь землю провалиться: действительно — чёрт ее дернул сказать это, но слово что воробей: вылетит, не поймаешь.

— Была... Ей-богу, была... Позавчера... с папой.

Ложь, сплошная ложь: и папы у нее нет, и позавчера она была, как и сегодня, в школе, и до Нью-Йорка три недели езды.

Наталья Пашкова легко, без усилий, разоблачается всем классом и, плачущая, растерянная, окруженная общим молчаливым презрением, — погружается в ничтожество.

— Так вот, дети, если бы кто-нибудь из вас был бы в Нью-Йорке, он бы увидел огромные многоэтажные дома, сотни несущихся вагонов трамвая, электричество, подъемные машины, и все это — благодаря культуре. Благодаря тому, что пришли образованные люди. А знаете, сколько лет этому городу? Лет сто-полтораста — не больше!!

— А что было раньше там? — спросил Рюхин Андрей, выгибая натруженную работой спину так, что она громко затрещала: будто орехи кто-нибудь просыпал.

— Раньше? А вот вы сравните, что было раньше: раньше был непроходимый лес, перепутанный лианами. В лесу разное дикое зверье, пантеры, волки; лес переходил в дикие луга, по которым бродили огромные олени, бизоны, дикие лошади... А кроме того, в лесах и на лугах бродили индейцы, которые были страшнее диких зверей — убивали друг друга и белых и снимали с них скальп. Вот вы теперь и сравните, что лучше: дикие поля и леса со зверьем, индейцами, без домов и электричества или — широкие улицы, трамваи, электричество и полное отсутствие диких индейцев?!

Учительница одним духом выпалила эту тираду и победоносно оглядела всю свою команду: что, мол, съели?

— Вот видите, господа... И разберите сами: что лучше — культура или такое житье? Ну, вот ты, Кругликов Капитон... Скажи ты, когда, значит, лучше жилось: тогда или теперь?

Кругликов Капитон встал и, после минутного колебания, пробубнил, как майский жук:

— Тогда лучше.

— Что?! Да ты сам посуди, чудак: раньше было плохо, никаких удобств, всюду звери, индейцы, а теперь дома, трамваи, подъемные машины... Ну? Когда же лучше — тогда или теперь?

— Тогда.

— Ах ты, Господи... Ну, вот ты, Полторацкий, — скажи ты, когда было лучше: раньше или теперь?

Полторацкий недоверчиво, исподлобья глянул на учительницу (а вдруг единицу вкатит) и уверенно сказал:

— Раньше лучше было.

— О, Бог мой!! Слизняков, Гавриил!

— Лучше было. Раньше.

— Прежде всего — не раньше, а раньше. Да что вы, господа, — затмение у вас в голове, что ли? Тут



вам и дома, и электричество...

— А на что дома? — цинично спросил толстый Фитюков.

— Как на что? А где же спать?

— А у костра? Завернулся в одеяло и спи сколько влезет. Или в повозку залезь! Повозки такие были. А то подумаешь: дома!

И он поглядел на учительницу не менее победоносно, чем до этого смотрела она.

— Но ведь электричества нет, темно, страшно...

Семен Заволдаев снисходительно поглядел на разгорячившуюся учительницу...

— Темно? А костер вам на что? Лесу много — жги сколько влезет. А днем и так себе светло.

— А вдруг зверь подберется.

— Часового с ружьем нужно выставлять, вот и не подберется. Дело известное.

— А индейцы подберутся сзади, схватят часового да на вас...

— С индейцами можно подружиться. Есть хорошие племена, приличные...

— Делаварское племя есть, — поддержал кто-то сзади. — Они белых любят. В крайнем случае можно на мустанге ускакать.

Стриженные головы сдвинулись ближе, будто чем-то объединенные, — и голоса затрещали, как сотня воробьев на ветках акации.

— А у городе у вашем одного швейцара на лифте раздавило... Вот вам и город.

— А у городе мальчик недавно под трамвай попал!

— Да просто у городе у вашем скучно — вот и все, — отрубил Слизняков Гавриил.

— Скверные вы мальчишки — просто вам не приходилось быть в лесу среди диких зверей — вот и все.

— А я была, — пискнула Наталья Пашкова, которую не оставлял в покое школьный бес.

— Врет она, — загудели ревнивые голоса. — Что ты все врешь да врешь. Ну, если ты была — почему тебя звери не съели, ну, говори?

— Станут они всякую заваль лопать, — язвительно пробормотал Кругликов Капитон.

— Кругликов!

— А чего же она... Вы же сами говорили, что врать — грех. Врет, ей-богу, все время.

— Не врать, а лгать. Однако послушайте: вы, очевидно, меня не поняли... Ну, как же можно говорить, что раньше было лучше, когда теперь есть и хлеб, и масло, и сахар, и пирожное, а раньше этого ничего не было.

— Пирожное!!

Удар был очень силен и меток, но Кругликов Капитон быстро от него оправился.

— А плоды разные: финики, бананы — вы не считаете?! И покупать не нужно — ешь сколько влезет. Хлебное дерево тоже есть — сами же говорили... сахарный тростник. Убил себе бизона, навялил мяса и гуляй себе, как барин.

— Речки там тоже есть, — поддержал сбоку опытный рыболов. — Загни булавку да лови рыбу сколько

твоей душеньке угодно.

Учительница прижимала обе руки к груди, бегала от одного к другому, кричала, волновалась, описывала все прелести городской безопасной жизни, но все ее слова отбрасывались упруго и ловко, как мячик. Оба лагеря совершенно не понимали друг друга. Культура явно трещала по всем швам, энергично осажденная, атакованная индейцами, кострами, пантерами и баобабами...

— Просто вы все скверные мальчишки, — пробормотала уничтоженная учительница, лишний раз щегольнув нелогичностью, столь свойственной ее слабому полу. — Просто вам нравятся дикие игры, стрельбание из ружья — вот и все. Вот мы спросим девочек... Клавдия Кошкина — что ты нам скажешь? Когда лучше было — тогда или теперь?

Ответ был ударом грома при ясном небе.

— Тогда, — качнув огрызком косички, сказала веснушчатая бледнолицая Кошкина.

— Ну, почему? Ну, скажи ты мне — почему, почему?..

— Травка тогда была... я люблю... Цветы были.

И обернулась к Кругликову — признанному специалисту по дикой, первобытной жизни:

— Цветы-то были?

— Сколько влезет было цветов, — оживился специалист, — огромные были — тропические. Здоровенные, пахнут тебе — рви сколько влезет.

— А в городе черта пухлого найдешь ты цветы. Паршивенькая роза рубль стоит.

Посрамленная, уничтоженная учительница заметалась в последнем предсмертном усилии:

— Ну, вот пусть нам Катя Иваненко скажет... Катя! Когда было лучше?

— Тогда.

— Почему?!!

— Бизончики были, — нежно проворковала крохотная девочка, умильно склонив светлую головенку набок.

— Какие бизончики?.. Да ты их когда-нибудь видела?

— Скажи — видела! — шепнула подталкиваемая бесом Пашкова.

— Я их не видела, — призналась простодушная Катя Иваненко. — А только они, наверное, хорошенькие...

И, совсем закрыв глаза, простонала:

— Бизончики такие... Мохнатенькие, с мордочками. Я бы его на руки взяла и в мордочку поцеловала...

Кругликов — специалист по дикой жизни — дипломатично промолчал насчет неосуществимости такого буколического намерения сентиментальной Иваненко, а учительница нахмурила брови и сказала срывающимся голосом:

— Ну, хорошо же! Если вы такие — не желаю с вами разговаривать. Кончайте решение задачи, а кто не решит — пусть тут сидит хоть до вечера.

И снова наступила тишина.

И все решили задачу, кроме бедной, чистой сердцем Катерины Иваненко: бизон все время стоял между ее глазами и грифельной доской...

Сидела маленькая до сумерок.

# Костя

## I

Все прочие дети не любили его, маленького, хрупкого, с прозрачным личиком и причудливо растрепавшимися каштанового цвета кудрями.

Не любили. Почему?

Может быть, по той же самой причине, по которой взрослые не любят взрослых, подобных ему, светлоглазому задумчивому Косте.

Та и другая сторона меняет только возраст. А нелюбовь остается прежняя.

У детей нелюбовь к Косте общая, дружная. Стоит только приблизиться ему к пестрой, разноцветной группе мальчишек и девчонок, как со всех сторон поднимается согласный щебет и писк:

— Пошел! Пошел вон! Убирайся! Мы не хотим!

Постояв немного, он вздыхал и пробовал начать нерешительно и мягко:

— А у нас вчера во дворе дворник копал яму для дерева и наткнулся лопатой на что-то твердое. Посмотрели, а там кости, череп и большая железная шкатулка... Открыли ее, а в ней...

— Убирайся! Проваливай, не надо! Вот еще, ей-богу, лезет тут...

Снова он покорно вздыхал и отходил в сторону. Садился на нагретую солнцем скамью сквера и погружался в задумчивость.

Какой-нибудь досужий господин, сидящий подле и тронутый его задумчиво-меланхолическим видом, опуская тяжелую руку на его хрупкое, как скорлупа яйца, темя и общительно спрашивал:

— Как тебя зовут, мальчик?

— Джим...

— А, вот как! Ты разве не русский?

— Нет, англичанин, сэра.

— Вот оно что!.. А почему же ты так хорошо говоришь по-русски?

— Мы бежали из Лондона с отцом, когда я был совсем маленьким.

— Бежали? Что ты говоришь! С какой радости вам нужно было бежать?

Задумчивые глаза ребенка поднимались к небу и с минуту следили за плывущим на неизмеримой высоте облаком.

— О, это тяжелая история, сэра. Дело в том, что мой отец убил человека.

Господин испуганно вздрагивал и чуть-чуть, так на полвершка, отодвигался от задумчивого мальчика, говорящего простым, ровным тоном столь ужасные вещи.

— Убил человека? За что?

— Вы знаете, что такое Сити, сэра?

— Черт его знает! Ну?!

— В Сити был банк, да и сейчас он есть, так называемый «Голландский Соединенный». Мой отец

сначала служил там клерком, а потом, благодаря своей честности, сделался кассиром. И вот однажды ночью, когда он пришел привести в порядок немного запутанные счета, он увидел фигуру, крадущуюся по коридору по направлению к кладовым, в которых хранилось золото. Отец спрятался и стал следить... И кто же вы думаете это оказался? Директор банка! Он вошел в кладовую, набил портфель золотом и банковыми билетами и только вышмыгнул из кладовой, как отец схватил его за горло. Отец понимал, что если тот уйдет, то, конечно, вся вина за происшедшее падет на отца... Отчаяние придало ему силу. Произошла борьба, и отец задушил негодяя!.. В ту же ночь он пробрался домой, захватил меня, мы переплыли в какой-то скорлупе Темзу и бежали в Россию.

— Бедная твоя головушка, — сочувственно говорил господин, трепля малютку по плечу. — А где же твоя мать?

— Сгорела, сэр.

— Как сгорела?!

— Однажды лондонские мальчишки облили керосином на улице большую крысу и подожгли ее. В это время мимо шла за покупками моя мать. Горящая крыса в ужасе бросилась матери под пальто, и через минуту моя мать представляла собой пылающий факел...

Ребенок, печально свесив голову, умолкал, а сердобольный господин чуть не рыдал над этим несчастным сиротой, на которого, казалось, был опрокинут целый ящик Пандоры...

— Бедный крошка... Ну, пойдём, я тебя отведу домой, а то и с тобой случится что-нибудь нехорошее.

Джим тихо усмехался.

— О, нет, сэр. Со мной ничего не случится. Вы видите этот талисман? Он от всего предохраняет.

Малютка вынимал из кармана деревянную свистульку и доверчиво показывал ее своему спутнику.

— Что же это за талисман?

— Мне его дала одна старая татарка в Крыму. Мы, я помню, стояли с ней на высоком обрыве у самого моря. И что же: только что она мне его передала, как сейчас же оступилась, из-под ног ее выскользнул камень, и она полетела с громадной высоты в море.

— Чудеса! Прямо-таки чудеса. Так ты вот здесь и живешь? Ну прощай, Джим, будь счастлив, милый мальчик.

Джим бодро взбежал по лестнице, а господин долго провожал задумчивым взглядом удивительного ребенка...

Так долго стоял он, что швейцариха с подтыканной юбкой подходила к нему и спрашивала:

— Вы к кому?

— Я не к кому... Скажите, кто этот мальчик, который взбежал сейчас по лестнице?

— Это сынишка Черепициных, Костя. А что, разве?..

— Как?! Разве он не англичанин?

— С какой это радости? Простой себе мальчишка. Нетто опять наврал чего-нибудь?.. И сколько это его мать не муштрует, все без толку...

— У него разве есть мать? Она жива?

— Чего ей делается. Живехонька. Только вгонит он ее в гроб своей брехней, помяните мое слово. И что это за врущий такой мальчишка, даже удивительно!.. По всей улице его уж знают за такого, накажи

меня Бог.

## //

На продолжительный Костин звонок дверь открывала горничная Уляша.

— Где это вы, Костенька, шатались до сих пор?

— На улице задержался. Там нашего дворника Степана автомобилем переехало, так я смотрел. Погляди, у меня сзади башмак не в крови?..

— Как переехало?! Степана?! Совсем?

— Да. Дело в том, что лошади взбесились и понесли какую-то красивую барыню, а Степан бросился, схватил их под уздцы...

— Ну, что вы, Костенька, врете: то лошадь, то автомобиль... Вечно какую-нибудь юрundu размажете.

— Нет, не ерунду. Эта графиня сказала, что, если его вылечат, она выйдет за него замуж.

— Ладно вам. Врите больше. Обед уже совсем застыл. Мама уехала, а старая барыня ждет вас.

Покачиваясь на тонких ногах, Костя делал таинственное лицо и шел в столовую.

— Ты чего опаздываешь? — обрушилась на него бабушка. — Где носило?

— Да я уж час назад был у самых наших дверей, да пришлось повернуть обратно. Очень интересная история.

— Что там еще?

— Понимаете, только что я подхожу к нашим дверям, смотрю: двое каких-то стоят, возятся над замочной скважиной. Один говорит другому: «Воск крепкий, отпечаток не выходит», а тот, что пониже, отвечает: «Нажми сильнее, выйдет».

— Костечка! — со стоном всплескивает руками бабушка. — Да ведь ты врешь? Опять врешь?!

— Ну, хорошо, ну, пусть вру, — саркастически усмехается Костя. — А вот когда заберутся, да стянут у нас все, да прирежут нас, тогда будете знать, как вру. Мне что: мое дело — сказать...

Бабушка мечется в безысходном отчаянии:

— Костечка, да ведь ты врешь! Ведь по глазам вижу, что сейчас только выдумал?

— Выдумал? — медленно говорит Костя таким тоном, от которого делается жутко. — А если я вам этот кусок воска покажу... тогда тоже выдумал?

— Как же он к тебе попал?

— Очень просто: они сели на извозчика, я прицепился сзади, а когда мы приехали на окраину города, я пробежал мимо низенького, будто нечаянно толкнул его, и в это время вынул из кармана отпечаток. Вот он!..

Из кармана извлекается та же деревянная свистулька и издали показывается подслеповатой бабушке.

Сердце бабушки терзает сомнение: конечно, врет, а вдруг — правда?.. Бывают же такие случаи, что делают отпечатки с замочных скважин, забираются и убивают... Еще вчера она читала о таком случае... Надо на всякий случай сказать Уляше, чтобы закрывала ночью дверь на цепочку.

— Позови ко мне Уляшу!

Костя послушно мчится в переднюю и испуганно кричит Уляше, разговаривающей с кем-то по телефону:

— Ульяша?! Опять забыла завернуть на кухне кран от водопровода! Полная кухня воды, уже все вещи в окно плывут...

Телефонная трубка со стуком ударяется об стенку, Ульяша, опрокидывая все на своем пути, мчится на кухню.

Через минуту тяжелая сцена:

— Костенька!! Вы опять соврали? Опять выдумка? Вот, ей-богу, нынче же расчет возьму, не могу больше служить...

— Мне показалось, что вода течет, — робко оправдывается Костя, глядя на разъяренную девушку молящими глазами. — Мне шум воды слышался...

Бог его знает, этого кроткого, безобидного ребенка. Может быть, ему действительно показалось, что два господина, мирно закурившие на их площадке папиросу, на самом деле пытались снять восковые слепки с замков.

### ///

Вечером Костя сидел у письменного стола в кабинете отца и широко открытыми немигающими глазами глядел на быстро мелькавшие среди бумаг отцовские руки.

— Ты где был нынче, Костя? — спросил отец.

— В сквере.

— Что там видел хорошенького?

— Видел маму Лидочки Прягиной.

— Что ты, чудачина! Ведь Лидочкина мама умерла.

— Вот это-то и удивительно. Я сижу на скамейке, а откуда-то из-за кустов вдруг такое серое облако... Ближе, ближе — смотрю Лидочкина мама. Печальная такая. Страшно быстро подбежала к Лидочке, положила руку ей на голову, погрозила мне пальцем и тихонько ушла.

— Та-а-а-к-с, — протянул отец, глядя на сына смеющимися глазами. — Бывает.

— Что это у тебя за бумага? — осведомился Костя, заглядывая через плечо отца. — Пистолет нарисован.

— Это? Это, брат, счет из оружейного магазина. Я револьвер покупал для нашего банка.

— Револь... вер?

— Да нашему артельщику, который возит деньги.

— Револьвер?

Широко открытыми немигающими глазами глядел Костя в улыбающееся лицо отца. Его мысли уже где-то далеко. А по лицу мимолетными, неуловимыми тенями скользили какие-то легкие, еле намеченные, как паутина, мысли.

Он вздрогнул, вскочил с места и поспешно неслышными шагами выскользнул из кабинета. Как вихрь, промчался через две комнаты и, как вихрь, с растрепанными кудрями влетел в комнату мирно работающей за столом матери.

— Мама! С папой нехорошо!!

— Что такое? Что?

— Я вхожу к нему, а он лежит у стола в кабинете на ковре и около него револьвер валяется... На лбу пятнышко, а в комнате пахнет как-то странно...

Дикий страшный крик ответом ему.....

— Ну, что я с ним буду делать? — плачет мать, глядя почти с ненавистью на Костю, испуганного, робко, как птичка в непогоду, прижавшегося к могучему плечу отца. — Ведь этот мальчишка своей ложью, своими выдумками может целый дом с ума свести. Горничная его ненавидит, а дети его гонят от себя, как паршивую собачонку. Прямо какой-то жуткий ребенок. Ну, ты себе можешь представить, что с ним будет, когда он вырастет!!

— К сожалению, представляю, — вполголоса говорит отец, прижимая к плечу каштановую, растрепанную голову неудачливого своего сына. — Вырастет он, и так же его будут гнать все от себя, не понимать и смеяться над ним.

— Да что ж он будет делать, когда вырастет?!

— Милая, — скорбно говорит отец, качая седеющей головой. — Он будет поэтом.



# Записки Простодушного

## Предисловие Простодушного (Как я уехал)

— Ехать так ехать, — добродушно сказал попугай, которого кошка вытащила из клетки.

Осенью 1920 года мне пришлось наблюдать в Севастополе редкое климатическое явление...

Именно, когда уже наступили прохладные дни, обещавшие с каждой неделей делаться все прохладнее и прохладнее, пока вся эта вереница суток по исконным правилам календарей не закончилась бы зимой, в эти осенние дни ко мне пришел знакомый генерал и сказал:

— Вам нужно отсюда уезжать...

— Да мне и тут хорошо, что вы!

— Именно вам-то и нельзя оставаться. Скоро здесь будет так жарко, что не выдержите...

— Жарко?! Но ведь уже осень, — чрезвычайно удивился я.

— Вот-вот. А цыплят по осени считают. Смотрите, причтут и вас в общий котел... Говорю вам — очень жарко будет!

— Я всегда знал, что климатические условия в Крыму чрезвычайно колеблющиеся, но, однако, не до такой степени, чтобы в октябре бояться солнечного удара?!

— А кто вам сказал, что удар будет «солнечный»? — тонко прищурился генерал.

— Однако...

— Уезжайте! — сухо и твердо отрубил генерал. — Завтра же рано утром чтобы вы были на борту парохода!

В голосе его было что-то такое, от чего я поежился и только заметил:

— Надеюсь, вы мой пароход подадите к Графской пристани? Мне оттуда удобнее.

— И в Южной бухте хороши будете.

— Льстец, — засмеялся я, кокетливо ударив его по плечу булкой, только что купленной мною за три тысячи... — Хотите кусочек?

— Э, не до кусочков теперь. Лучше в дорогу сохраните.

— А куда вы меня повезете?

— В Константинополь.

Я поморщился.

— Гм... Я, признаться, давно мечтал об Испании...

— Ну вот и будете мечтать в Константинополе об Испании.

В тот же день я был на пароходе, куда меня приняли с распростертыми объятиями. Это действительно правда, а не гипербола, насчет объятий-то, потому что, когда я, влезши на пароход, слепо покатился в угольный трюм, меня внизу поймали чьи-то растопыренные руки.

На пароходе я устроился хорошо (в трюме на угольных мешках); потребовал к себе капитана (он не пришел); сделал некоторые распоряжения относительно хода корабля (подозреваю, что они не были

исполнены в полной мере) и, наконец, распорядился уснуть.

Последнее распоряжение было исполнено аккуратнее всего...

Путешествие было непродолжительное, но когда мы подошли к Константинополю, то меня ни за что не хотели спускать на берег.

Я сначала думал, что команда и капитан так полюбили меня, что одна мысль расстаться с таким приятным человеком была им мучительна, но на самом деле случилось наоборот: не пускала на берег союзная полиция, а команда не прочь была бы даже выкинуть нас всех за борт, только чтоб развязаться с беспокойным непоседливым грузом.

Не желая быть в тягость — ни команде, ни полиции, — я ночью потихоньку перелез на стоявший подле русский пароход-угольщик, где старые морские волки приняли меня как родного...

Милые вы люди! Если вы сейчас где-нибудь в плавании по бурному океану — пусть над вами ярко и ласково сияет солнце, а под килем нежная морская волна пусть нежит вас, как колыбель, — крепко желаю вам этого!

\* \* \*

Приступая к «запискам», я прежде всего хочу сказать несколько теплых слов — в защиту одного господина...

Того самого, который, по утверждению старинной русской легенды, прегорько рыдал на свадьбе и весело плясал на похоронах.

Этого господина легенда окрестила ярким исчерпывающим именем:

— Дурак.

Да полно! Так ли это! Не произошло ли в данном случае жестокой исторической несправедливости? Дурак!.. Не наоборот ли? Не мудрец ли этот русский, проникший светлым умом в самые глубинные тайны русского бытия.

Человек горько плачет на свадьбе... Да ведь он прав! Ему, конечно, жалко эту безумную пару, бросающуюся, очертя голову, рука об руку в пучину, из которой и одному-то не выбраться!

Человек веселится на чужих похоронах... Да ведь и тут он тысячу раз прав, этот мудрец, тихо радующийся, что вот, дескать, хоть один человек, наконец, устроился как следует: не нужно ему ни пайка, ни визы, ни перескакивания с одного берега на другой.

Пора, пора — давно пора — пересмотреть наше отношение к дураку. Он мудрец. Может быть, раньше это было трудно понять, но теперь, когда вся Россия вывернулась наизнанку и сидит на чемоданах и узлах, мы многое должны пересмотреть и переоценить.

Впрочем, если быть искренним, то за «бывшего» дурака, а ныне мудреца я распинаюсь не без тайной цели: попутно я хочу оправдать и себя, потому что отныне я тоже решил «улыбаться на похоронах»...

## Первый день в Константинополе

...Я забрал с парохода свои вещи, сел в лодку и поехал к Галатскому берегу.

И едва лодка клюнула носом каменную плиту пристани, и едва в лодку свалился живой клубок разнокалиберных тел — я понял, что меня здесь знают. Потому что так орать и спорить из-за сомнительной чести тащить мои чемоданы могут только люди, искренно чтущие любимого писателя.

Эти восточные поклонники быстро расхватили мои вещи — и мы понеслись в голубую неизвестную даль, короче говоря, на Перу, а еще короче говоря, в ту маленькую комнату, которую мне наняли заранее.

На Пере среди грохота и гвалта меня остановила какая-то божья старушка — столь же уместная тут, как цветочек незабудки в пасти аллигатора.

— Что вам, бабушка?

— Голубчик мой, а где ж тут турки?

— Которые?

— Да ведь это, чай, Турция.

— Чай, она.

— А чего ж турка ни одного нет?

Чтобы успокоить эту мятущуюся душу, я ткнул пальцем в какого-то господина в феске, свирепо пожирившего слоеную дрянь с лотка.

Это был единственный турок на горизонте.

— Вот этот? Вы чего ж, батюшка, в германскую войну давеча втемяшились?

Турок пожал плечами и отвечал:

— Эх, тетя! Нешто не признали? Вместе на «Сиаме» из Севастополя ноги уносили...

И обернулся к продавцу:

— Комбьен сетт гато?

— Бешь груш.

— Олл райт. А риведерчи, тетушка [\[55\]](#).

Как во время настоящего приличного столпотворения все говорили на всех языках.

Однако больше всего ухо улавливало французский язык. Говорили на нем беженцы так, что даже издали слышался густой запах нафталина, как от шубы, которая долго лежала в сундуке без употребления и которую наконец-таки извлекли на свет божий и стали перетряхивать.

Около ресторана Сарматова я слышал такой диалог.

Господин сделал испуганное лицо и, подбирая французские слова с таким страхом, с каким неопытная барышня впервые заряжает револьвер, спросил прохожего:

— Комм же пуве алле дан л'амбассад рюсс?

Спрошенный ответил:

— Тут-де сюит. Вуз алле ту а гош, а гош, апре анкор гош, е еси [\[56\]](#) будут... гм... черт его знает, забыл, как по-ихнему железные ворота?

— Же компран [57], — кивнул головой первый. — Я понимаю, что такое железные ворота. Ла порт де фер.

— Ну вот и бьен [58]. Идите все а гош — прямо и наткнетесь.

\* \* \*

В этот вечер я заснул рано, а проснулся еще раньше: ужасный, нечеловеческий вопль прорезал утренний воздух под самым моим окном.

Мой компаньон по комнате вскочил с кровати и поглядел на меня диким взглядом:

— Понимаете, что это значит? Кемалисты вошли в город.

— Н-да, въехали мы в историю, — пробормотал я. — Из огня да в полымя. Однако пойдем на улицу. Вы не боитесь?

— Ну вот, не видал я этих резнев. Чего там бояться. Русские, чай.

А крики, вопли, стоны и мольбы о помощи все неслись и неслись с улицы. Чувствовалось, что там, за стеной, растут целые гекатомбы свеженарезанных тел, обильно орошенных кровью.

Мы не могли больше... Мы выбежали на улицу.

Молодой грек стоял около корзиночки, на дне которой терялось полдюжину полудохлой скумбрии, и, разинув рот, ревел во все горло...

Мы остолбенели.

— Слушайте, а ведь это он кричит.

— Но ведь его не режут.

— А надо бы. Не кричи, каналья.

— Товар продает. Известно, трудно им.

— Однако послушайте... Если, продавая только полдюжину дохлой скумбрии, он так орет, какие же он издаст звуки, если ему поручить продать шестиэтажный дом?

Рев, крики, стоны и вопли неслись уже со всех сторон.

Зверь встал на задние лапы, потянулся и, широко раскрыв огромную пасть, оглушительно заревел: зверь хотел кушать.

## Галантная жизнь Константинополя

Шел я недавно по той улице, на которой живу, — вдруг мое праздное внимание привлек один большой ярко освещенный дом. Изнутри доносилась странная, чисто восточная музыка и слышался топот чьих-то танцующих ног. В окнах мелькало много женских теней.

— Э! — сказал я сам себе. — Это, наверное, гарем какого-нибудь константинопольского вельможи! Очевидно, он справляет день рождения и захотел повеселить бедных гаремных затворниц! Вот они где — чарующие тайны загадочного Востока!

Не успел я этого подумать, как из дверей выпорхнула очаровательная женская фигурка и, схватив меня за рукав, ясно показала, что ей хочется втащить меня внутрь таинственного дома.

Надо сознаться, что я славлюсь своей скромностью по всему Анатолийскому побережью, но надо также сознаться, что в тот момент пикантное приключение совсем вскружило мне голову.

Возможность проникнуть в гарем знатного вельможи на секунду очень соблазнила меня, и я даже сделал движение по направлению к дверям, но тут же одумался.

А что дальше?

А что, если паша вдруг неожиданно поймает меня в гареме? Я человек храбрый — и не за себя я боялся!.. Нет, я боялся за жизнь этого кроткого, застенчивого, полудикого создания, которое так доверчиво тащило меня за рукав, очевидно, чрезвычайно очарованное моей респектабельностью и манерами. Я боялся, что не взойдет и два раза луна на небе, как эта женщина будет лежать в мешке на дне Босфора. Мой коллега Пьер Лоти неоднократно писал о таких штуках.

Эти соображения охладили меня. Я освободил свой рукав, сделал селям бедной затворнице и быстро удалился, давая дорогу четырем английским матросам — очевидно, близким друзьям паши, потому что они вошли в дом без доклада, как близкие люди.

На другой день утром — о, слабость человеческая! — я решил похвастать перед друзьями своим головокружительным успехом у турецкой дамы и рассказал все приключение, не утаив ни капельки...

Мне случалось видеть, как смеются люди, я сам люблю иногда хихикнуть в подходящем случае — но это был не смех! Это было сокрушительное ржание обезумевших жеребцов.

— Не понимаю, что здесь смешного, — пожал я плечами. — Конечно, одни мужчины имеют большой успех у женщин, другие — меньший, но...

— Знаете, что это за дом? — спросил один приятель, отдышавшись.

И шепнул на ухо словцо, которое заставило вспыхнуть меня до корней волос.

— Быть не может! — воскликнул я в ужасе. — Ведь на этой же улице находится моя квартира!!

— Ну что ж такое. Подобное соседство здесь бывает зачастую.

— Нет! Ни одного дня моя нога не останется в этой квартире. Как? Не предупредить меня, когда я снимал комнату? Сейчас же иду и выскажу своей хозяйке все, что я о ней думаю!!

Разгоряченный, я выскочил из кафе на улицу и... тут же — одно веское соображение приковало меня к месту. На каком языке я выскажу хозяйке негодование? Она говорит только по-гречески, а мой запас слов на этом языке был чрезвычайно ограничен: кали-мерос, Венизелос и малиста — вот те три слова, которыми мог я орудовать и которые в самой остроумной комбинации все-таки не могли быть материалом для продолжительной морально-этической беседы.

На мое счастье, я тут же наткнулся на древнюю согбенную гречанку, продавщицу спичек, предлагавшую товар на ломаном русском языке.

— Нет, бабушка, — сказал я. — Мне ваших спичек не надо. Но если вы переведете моей хозяйке все то, что меня обурекает, — я вам заплачу пол-лиры.

Предложение оказалось соблазнительным — и мы через минуту уже шагали рука об руку к моему дому.

— Как по гречески «нога»? — спросил я. Она ответила каким-то бесформенным, клейким, как рахат-лукум, словом.

— Ну вот. Так скажите, что мое это самое у нее в доме не будет!

На звонок нам открыла сама хозяйка.

И вдруг, увидев нас, она подняла такой крик, что, вероятно, слышно было на Пере.

— Что она кричит? — спросил я старушку, которая вдруг сразу расцвела от хозяйкиного рева и даже кокетливо поправила выцветшую косынку на безволосой голове.

— Ма, она говорити, сто вы не моги приводить себе на квартиру даму! Она говорити, сто эта неприлицна, сто эта цестный дома, сто нельзя дами водити...

— Какую даму? — остолбенел я. — Я никого не приводил.

— Она эта говорити на меня. Я — дама.

И, польщенная этим диким предположением, она игриво толкнула меня полуразрушенным локтем.

Я сочно выругался, вынул пол-лиры и сунул ей в руку.

— Пошла вон, старая ведьма. Будьте вы обе прокляты.

И тут же заметил на лице хозяйки чувство сожаления ко мне, как к человеку, который заплатил за любовь деньги, не насладившись в то же время радостями этой любви...

## Деловая жизнь

Ознакомившись с городом, я решил заняться делами. Узнав, что все деловые люди собираются в специальном кафе на Пере, я пошел туда, потребовал чашку кофе и уселся выжидательно за столик — не наклюнется ли какое дельце.

На ловца, как говорится, и зверь бежит. Ко мне подсел неизвестный господин, потрепал меня по плечу и сказал:

— Здравствуйте, господин писатель. Не узнаете меня?

— Как не узнаю, — с вялой вежливостью возразил я. — Очень даже хорошо узнал. Как поживаете?

— Дела разные ломаю. А вы?

— Я тоже думаю каким-нибудь делом заняться.

— Лиры есть?

— Немножко есть, — хлопнул я себя по карману.

Лицо моего собеседника выразило напряженное внимание.

— Гм!.. Что бы мне для вас придумать?.. Гм!.. Есть у меня одно дельце, да... Впрочем, поделюсь с вами. Скажите! Вы знаете, сколько весит баран?

— Какой баран? — удивился я.

— Обыкновенный. Знаете, сколько он весит?

— А черт его знает. Я до сих пор писал рассказы, а не взвешивал баранов.

— Как же вы не знаете веса барана? — с упреком сказал незнакомец.

— Не приходилось. Впрочем, если нужно, я как-нибудь на днях... когда будет свободное время...

— Ну так вот! Знайте же, что средний баран весит три пуда!!!

Я изобразил на своем лице напряженное удовольствие.

— Смотрите-ка! Кто бы мог подозревать.

— Да, да... Три пуда. А вы знаете, сколько стоит фунт баранины? Пятьдесят пиастров.

— Да... вообще сейчас жизнь очень запуталась... — неопределенно заметил я.

— Ну, для умного человека жизнь проста как палец. Итак, продолжаю. А знаете ли вы, сколько стоит целый баран в Кады-Киое?! Десять лир! Итак — вот вам дело: вы даете двадцать лир и я двадцать лир — я покупаю двух овец, режу их...

— Не надо их резать, — сентиментально попросил я. — Они такие хорошенькие.

— А как же иначе мы их на мясо продадим? Я их сам зарежу, не бойтесь. Итак, на ваши двадцать лир вы будете иметь шесть пудов овечьего мяса, по розничной цене — шестьдесят лир!!! Да шкура в вашу пользу, да рога.

Хотя я до сих пор рогатых овец не встречал, но это была, очевидно, особая местная порода. Я кивнул головой с видом знатока:

— Очень хорошее дельце. А когда прикажете внести деньги?

— Да хоть сейчас! Чем скорее, тем лучше. Сколько тут у вас? Ровно двадцать? Ну вот и спасибо. Завтра

утром бараны уже будут у нас. Хотите, я приведу их к вам показать?

Я замялся.

— Не знаю, удобно ли это... Вдруг ни с того ни с сего бараны заходят на квартиру... Да еще моя хозяйка против этих посторонних визитов... Нет, лучше их просто зарежьте. Только не мучайте, хорошо?

Мой новый компаньон заверил, что смерть этих невинных созданий будет совершенно безболезненна и легка, как сон, и, пожав мне руку, умчался с озабоченным лицом.

С тех пор прошло 8 дней. Пока я не вижу ни моего компаньона, ни баранов, ни прибыли. Очевидно, с компаньоном что-нибудь случилось... Иногда по ночам меня мучит совесть: прав ли я был, поручив этому слабосильному человеку опасную процедуру умерщвления баранов? А что, если они по дороге сбежали от него? А что, если они перед смертью вступили с ним в борьбу и, разъяренные предстоящей участью, растерзали моего бедного компаньона?..

\* \* \*

Вчера со мной произошел удивительный случай. Иду по улице — вдруг вижу: мой компаньон навстречу. Я радостно кинулся к нему.

— Здравствуйте, голубчик! Ну что слышно с баранами?

Он удивленно взглянул на меня:

— Какие бараны? Простите, я вас совершенно не знаю!

— Ка-ак? Да ведь мы же вместе хотели заработать на баранах?

— Простите, я вас в первый раз вижу. Я иногда зарабатываю на баранах, но зарабатываю один.

И, отстранив меня, он пошел дальше.

«Однако какое удивительное сходство, — бормотал я себе под нос, провожая его взглядом. — То же лицо, тот же голос и даже на баранах зарабатывает, как и тот!»

Много тайн хранит в себе чарующий загадочный Восток.



## Русские женщины в Константинополе

Я спросил своего приятеля, разбитного малого и доку по здешним делам:

— Слушай... Я все вижу только одну уличную, по-моему, очень неприглядную жизнь... А где здесь, например, хорошее русское общество?

— А вот зайдем... Здесь есть за углом кабачок. Вот оно и будет хорошее русское общество.

— В кабаке?

— Ну уж и «в кабаке». Нужно, милый мой, выразаться мягче: «в кабачке», «в ресторанчике»... А то что это за скифское: «кабак».

Мы подошли к каким-то дверям и... с этих пор мой приятель повел себя крайне странно: расцеловался с бравым швейцаром, дружески пожал руку бородатому буфетчику за стойкой и, усаживаясь за столик, потер руки с тем непередаваемым значением, когда русский человек собирается хватить рюмку водки с подобающей этому напитку закуской:

— Ну-с... Полбутылочки очищенной, селедочку в горчице и балычка с перчиком.

Я осмотрелся. В одном углу за столиком сидела с кавалером известная всему Петербургу Динка-Танцуй, в другом Манька-Кавардак, в третьем два именитых столичных шулера, битых в свое время так, что выдубленная кожа на их лицах сделалась нежной и гладкой, как атлас.

— Вот это, по-твоему, хорошее русское общество?! — ахнул я.

— Да не это, чужак. Ты на слуг обрати внимание.

Прехорошенькая дама в кокетливом передничке подошла к нам с карточкой.

— Честь имею приветствовать вас, графиня, — изысканно расшаркался приятель. — Позвольте, графиня, представить вам моего друга писателя Простодушного.

— Ну как же, знаю, — милостиво сказала графиня, протягивая очаровательную ручку. — Когда мой муж был товарищем министра, мы часто в сумерки читали вас вслух. Бывало, заеду к Вольфу...

— Катя, — подошла к графине другая дама с крайне озабоченным видом. — Тебя к седьмому номеру просят. Неси им шницель.

— Поспеют с козами на торг! Потом я вас часто видела в Мариинском на премьерах. У нас был абонемент в третьем ряду, а у вас... Зиночка, запиши там, пожалуйста, сорок пиастров за камбалу! Однажды даже около Фелисьена, когда мой автомобиль испортился, вы предоставили любезно свой эки... Маруся, смотри, твой гость, кажется, уходит, не заплативши!.. Вот жулье! Да, позвольте! Ведь вы даже танцевали со мной однажды на балу в итальянском посольстве... Пошли ты хозяйина к черту, Зинка! Как я пойду в кабинет, когда там все пьяные, как зюзя! Пусть сам принимает заказ! Вы не знакомы? Зинаида Николаевна, баронесса фон Толь. Присаживайся, Зинка. Верите ли, господа, так редко теперь увидишь настоящих культурных людей. Иногда только с нашим швейцаром перекинешься словом...

— Почему... со швейцаром... — растерялся я.

— Он бывший профессор Бестужевских курсов.

— Может, и человек у вешалки бывший полковник? — пошутил я.

— Нет, что вы! Генерал. У нас только один буфетчик из разночинцев: бывший настоятель Покровского собора.

Мы еще посидели с полчаса с графиней и баронессой; выпили графинчик водки, поговорили о последнем романе Боборыкина; съели сосиски с капустой; поспорили о Вагнере; закончили чашкой турецкого кофе и обсуждением последних шагов Антанты.

Целуя на прощанье дамам руки, я спросил:

— А ваш супруг, графиня, тоже здесь?

— То есть где? Да, он в Константинополе, но здесь не бывает.

— Тяжело? — тихо спросил я.

— Нет, здешний хозяин не пускает. Мужьям вообще вход воспрещен. Как гость, конечно, может, но ему, понимаете ли, не до того: газеты на Пере продает.

Когда мы вышли, приятель мой сказал:

— Ну вот и поворачались в обществе.

Встретил около Токатлиана друга своего Филимона Бузыкина. Правду сказать, это была дружба наполовину: только он считал меня своим другом, я же относился к нему с той холодной унылостью, которая всегда является следствием колебания: пожать ли ему руку или дать пинка в живот.

Звали его Филимон Бузыкин — бывший оптовый торговец бычьими шкурами и солеными кишками.

Именовал он себя «ходоком насчет женского пола», но в какие места ходил Филимон Бузыкин за этим священным делом, я не рискнул бы указать печатно.

— Писатель! — заревел он наподобие одного из его быков во время операции сдиранья шкуры. — Вот здорово! И вы туточки?! Ну как насчет женского пола?

— Подите к черту, — посоветовал я.

— Нет, серьезно. Вот, знаете, где нашему брату — лафа! Такие, брат, бабеночки, и все русские, и все русские! Княгиня — пожалуйста! Баронесса — пожалуйста!

И, согнувшись в виде буквы «Г», он оглушительно захохотал.

Своим хохотом он занял весь тротуар, потому что тротуары здесь очень узенькие, а буква «Г» вовсе не такая буква, чтобы дать кому-нибудь проход своей верхней перекладиной.

Проходивший англичанин наткнулся на эту живую преграду, постоял, крякнул, смел стеком смешливого Филимона на мостовую и — длинный, прямой, холодный, как палка, — проследовал дальше.

Я разогнул Филимона и попросил его держать себя тише и прямее.

— Ой-же-ж, не могу, до чего тут хорошие бабенки в ресторанчиках!

— Осел вы, — строго сказал я. — Из-за того, что приличные женщины, по нужде, пошли служить в ресторан, вовсе не надо взвизгивать и икать на всю Перу.

— Приличные?! Ой, вы ж меня уморите. Да любая из них даст вам поцелуйчик! Я одну поцеловал — она так разнежилась: «Ах ты, говорит, стюпидик мой, со, говорит, ты мое!» [\[59\]](#) — так и режет по-французски.

— Филимон, ты глуп, — нетерпеливо сказал я.

— Я глуп? А хотите, вот сейчас пойдем в эту кабачару — тут есть прехорошенькая. Если не сорву поцелуйчика — я вас угощаю «Моэт-Шандоном», сорву — вы меня.

Это был редкий случай, когда честь женщины колебалась на горлышке шампанской бутылки.

Филимон втащил меня в ресторан, плюхнулся за столик и, вертя корявым пальцем, подозвал к себе пышную золотоволосую блондинку в традиционном передничке.

— Маруся! Подь-ка сюды.

— Я не Маруся, — спокойно возразила дама, глядя холодными застывшими глазами поверх головы Филимона Бузыкина.

— А кто же вы? — спросил Филимон, разглядывая ее с тупой раздумчивостью.

— Я — баронесса Тизенгаузен. Меня зовут Елена Павловна.

— А! Очень приятно. Каково прыгается? Присели бы, а?..

— Не могу, простите. Должна принять заказ на другом столе.

Филимон толкнул меня в бок и обратился к даме чертовски фривольным тоном:

— О, сэтт аффре! [\[60\]](#) В таком случае я должен вам сказать два слова по секрету.

Он вскочил, взял растерявшуюся от его бурного натиска даму за локоть и отвел за дверь пустого кабинета.

Первое мгновение там была мертвая тишина, но потом разразился звук, очевидно, поцелуя, потому что расторопный Филимон ручался мне в этом.

Однако никогда в жизни не приходилось мне слышать более отчетливого поцелуя. За дверью будто сговорились дать мне ясно понять, что пропала моя бутылочка «Кордон-Вэр'а».

Я вздохнул, печалась не столько о бутылке, сколько о баронессе...

Дверь отворилась. Мимо меня быстро прошла баронесса и скрылась в буфетной. За ней вышел Филимон, по своему обыкновению, цепляясь носком одной ноги за каблук другой.

— Слышали? — спросил он с вялым торжеством в голосе.

— Да. Звук отчетливый. Позвольте, Филимон! Ведь она поцеловала только один раз?

— Один, — с досадой огрызнулся он. — Не сто же. Я больше и не хотел.

— В щеку поцеловала?

— Да, этого... в щечку.

— Странно: один поцелуй, а на щеке пять красных следов.

— Губы покрашены, — угрюмо пробормотал Филимон, глядя в угол.

— Нет... Вы видите, краска все бледнеет и бледнеет... Вот уже и сошла. Нет, это не губная помада, Филимон! В чем же дело, Филимон?

— Отстаньте.

— Позвольте... Пора же суммировать все происшедшее... Что случилось? Человек решил за дверью сорвать у дамы поцелуй. Сказано — сделано. Я услышал за дверью звук. Но звук был один, очень отчетливый звук, а следов на щеке пять. Как же это понять, Филимон, а?..

— А может, у нее рука покрашена, — сказал Филимон, но тут же спохватился, вспыхнул и повесил голову. — Скверная бабенка, — со вздохом сказал он. — Невоспитанная.

— Ну что вы! Я ее немного знаю по Петербургу. Она окончила Смольный институт.

— И чему их там в этом институтишке учат? — сердито буркнул Филимон и, постучав согнутым

пальцем по столу, гаркнул: — Эй, гарсон, унь бутылъ кордону веру и апре кельк-шоз юнь жареный миндаль. Плю вить поворачивайся! [\[61\]](#)

Я налил первый бокал и, не чокаясь с Филимоном, тихо в одиночестве выпил. Выпил за скорбный, покрытый кровью, слезами и грязью, неприветливый путь нынешней русской женщины.

Иди, женщина русская, бреди по колена в грязи. Дойдешь же ты, наконец, или до лучшего будущего, или... до могилы...

Там отдохнешь от жизни.

У меня на глазах стояли слезы.

Надо отдать Филимону справедливость: рассчитывался он за шампанское тоже со слезами на глазах.

# Русское искусство

— Вы?

— Я.

— Глазам своим не верю!

— Таким хорошеньким глазкам не верить — это преступление.

Отпустить подобный комплимент днем на Пере, когда сотни летящего мимо народа не раз толкают вас в бока и в спину, для этого нужно быть очень светским, чрезвычайно элегантным человеком.

Таков я и есть.

Обладательница прекрасных глаз, известная петербургская драматическая актриса, стояла передо мной, и на ее живом лукавом лице в одну минуту сменялось десять выражений.

— Слушайте, Простодушный! Очень хочется вас видеть. Ведь вы — мой старый милый Петербург. Приходите чайку попить.

— А где вы живете?

Во всяком другом городе этот простой вопрос вызвал бы такой же простой ответ: улица такая-то, дом номер такой-то.

Но не таков городишко — Константинополь!

На лице актрисы появилось выражение небывалой для нее растерянности:

— Где я живу?.. Позвольте... Не то Шашлы-Башлы, не то Бююк-Темрюк. А может быть, и Казанлы-Базанлы. Впрочем, лучше дайте мне карандашик и бумажку — я вам нарисую.

Отчасти делается понятной густая толпа, толкущаяся на Пере: это все русские стоят друг против друга и по полчаса объясняют свои адреса: не то Шашлы-Башлы, не то Бабаджан-Османлы.

Выручают обыкновенно карандаш и бумажка, причем отправной пункт — Токатлиан: это та печка, от которой всегда танцует ошалевший русский беженец.

Рисуют две параллельные линии — Пера. Потом квадратик — Токатлиан. Потом...

— Вот вам, — говорила актриса, чертя карандашом по бумаге, — эта штучка — Токатлиан. От этой штучки вы идете налево, сворачиваете на эту штучку, потом огибаете эту штучку — и тут второй дом, где я живу. Номер 22. Третий этаж, квартира барона К.

Я благоговейно спрятал в бумажник этот странный документ и откланялся.

На другой день вечером, когда я собирался в гости к актрисе, зашел знакомый.

— Куда вы?

— Куда? От Токатлиана прямо, потом свернуть в одну штучку, потом в другую. Квартира барона К.

— Знаю. Хороший дом. Что ж это вы, дорогой мой, идете в такое историческое место — и в пиджаке.

— Не фрак же надевать!

— А почему бы и нет. Вечером в гостях фрак — самое разлюбленное дело. Все-таки это ведь заграница!

— Фрак так фрак, — согласился я. — Я человек сговорчивый.

Оделся и, сверкая туго накрахмаленным пластроном фракной сорочки, отправился на Перу —

танцевать от излюбленной русской печки.

Если в Константинополе вам известны улица и номер дома, это только половина дела. Другая половина — найти номер дома. Это трудно, потому что 7-й номер помещается между 29-м и 14-м, а 15-й скромно заткнулся между 127-б и 19-а.

Вероятно, это происходит потому, что туркам наши арабские цифры неизвестны. Дело происходило так: решив перенумеровать дома по-арабски, муниципалитет наделал несколько тысяч дощечек с разными цифрами и свалил их в кучу на главной площади. А потом каждый домовладелец подходил и выбирал тот номер, закорючки и загогулины которого приходились ему больше по душе.

Искомый номер 22 был сравнительно приличен: между 24-м и 13-м.

На звонок дверь открыла дама очень элегантного вида.

— Что угодно?

— Анна Николаевна здесь живет?

— Какая?

— Русская. Беженка.

— Ах, это вы к Аннушке! Аннушка! Тебя кто-то спрашивает. — Раздался стук каблучков, и в переднюю выпорхнула моя приятельница, в фартуке и с какой-то тряпкой в руке. Первые слова ее были такие:

— Чего тебя, Ирода, черти по парадным носят?! Не мог через черный ход приттить?!

— Виноват, — растерялся я. — Вы сказали...

— Что сказала, то и сказала. Это мой кум, барыня. Я его допрежь того в Питербурхе знала. Иди уж на кухню, раздевайся там. Недотёпа!

Кухня была теплая, уютная, но не особенно пригодная для моего элегантного фрака. Серая тужурка и каска пожарного были бы здесь гораздо уместнее.

— Ну садись, кум, коли пришел. Самовар, чать, простыл, но стакашку еще нацедить — возможное дело.

— А я вижу, вы с гран-коклет перешли на характерные, — уныло заметил я, вертя в руках какую-то огромную ложку с дырочками.

— Чаво? Я, стало быть, тут у кухарках пристроилась. Ничего, хозяйева добрые, не забиждают.

— На своих харчах? — деловито спросил я, чувствуя, как на моей голове невидимо вырастает медная пожарная каска.

— Хозяйские. И отсыпное хозяйское.

— И доход от мясной и зеленой имеете?

— Законный процент. (В последнем слове она сделала ударение на «о».) А то, может, щец похлебаешь? С обеда остались. Я б разогрела.

Вошла хозяйка.

— Аннушка, самовар поставь.

Во мне заговорил джентльмен.

— Позвольте, я поставлю, — предложил я, кашлянув в кулак. — Я мигом. Стриженная девка не успеет косы заплести, как я его ушкварю. И никаких гвоздей. Вы только покажите: куда насыпать угля и куда

налить воды.

— Кто это такой, Аннушка? — спросила хозяйка, с остолбенелым видом разглядывая мой фрак.

— Так, один тут. Вроде как сродственник. Он, барыня, тихий. Ни тебе напиться, ни тебе набезобразить.

— Вы давно знакомы?

— С Петербурга, — скромно сказал я, переминаясь с ноги на ногу. — Аннушка в моих пьесах играла.

— Как... играла? Почему... в ваших?

— А кто тебя за язык тянет, эфиеп, — с досадой пробормотала Аннушка. — Места только лишишься из-за вас, чертей! Видите ли, барыня... Ихняя фамилия — Простодушный.

— Так чего ж вы тут, господи! Пожалуйста в столовую, я вас с мужем познакомлю. Мы очень рады...

— Видала? — заносчиво сказал я, подмигивая. — А ты меня все ругаешь. А со мной господа за ручку здороваются, к столу приглашают.

С черного хода постучались. Вошел еще один Аннушкин гость, мой знакомый генерал, командовавший третьей армией.

Он скромно остановился у притолоки, снял фуражку с галуном и сказал:

— Чай да сахар. Извините, что поздно. Такое наше дело швейцарское.

\* \* \*

Мы сидели в столовой за столом, покрытым белоснежной скатертью. Мы трое — кухарка, швейцар и я.

Хозяин побежал в лавку за закуской и вином, хозяйка на кухне раздувала самовар.

А мы сидели трое — кухарка, швейцар и я — и, сблизив головы, тихо говорили о том, что еще так недавно сверкало, звенело и искрилось, что блистало, как молодой снег на солнце, что переливалось всеми цветами радуги и что теперь — залилось океаном топкой грязи.

Усталые, затуманенные слезами глаза тщетно сверлят завесу мглы, повешенную Господом Богом... Какая это мгла? Предрассветная? Или это сумерки, за которыми идет ночь, одиночество и отчаяние?

## Константинопольский зверинец

— Послушайте, Простодушный, — обратился ко мне приятель. — Хотите посмотреть зверинец?

— А разве в Константинополе есть?

— Есть.

— С удовольствием. Я обожаю зверей.

— Ну, это надо делать с разбором, — наставительно процедил сквозь зубы приятель. — Так пойдем. Сейчас как раз час их кормления.

Конечно, я Простодушный. Но не до такой же степени, чтобы не отличить простой обыкновенный зверинец от простого ресторана.

А место, куда привел меня приятель, как раз и было препошлейшим рестораном, в котором если и были звери, то на тарелках и в самом неузнаваемом виде...

— Что ж вы меня дурачите? — строго спросил я. Он усмехнулся в усы.

— Не сердитесь, Простодушный. Уверяю вас, это самый настоящий константинопольский зверинец. В крайнем случае — Паноптикум. Что ни фигура — то редкая зоологическая разновидность.

— Ну что, например, интересного в том рыженьком с фиолетовым галстуком?

— В нем-то? Да это, если правду сказать, — единственный человек в мире, который ухитрился сам себя за волосы над землей приподнять.

— Но ведь сейчас он не в этом приподнятом состоянии?

— Нет. Опустился порядочно. Но, вообще... Знаете ли, что этот человек ухитрился три года пробыть военнопленным у русских?

— Ничего нет удивительного. Немец?

— Русский.

— Но воевал-то — в рядах немцев?

— В русских рядах.

— Да, тогда это действительно что-то странное. Русский — и очутился в русском плену? Может, врет?

— Нет, эту историю я знаю досконально. Видите ли, попал он в качестве русского солдата на передовые позиции. Ну сами понимаете, — холодно, иногда голодно, а вообще — страшно; стрельба, атаки и прочие жуткие вещи. А тут однажды выслали его часовым в сторожевое охранение. И когда остался парень глухой ночью один, когда между ним и австрийцами не было никакой преграды — такая жуть взяла его, что он чуть не взвыл от страха... Так испугался, что бросил ружье и побежал куда глаза глядят. И вдруг — трах! — наткнулся на что-то. Смотрит — убитый австриец, совсем холодный. Почесал наш воин свой промерзлый затылок, раздел австрийца, надел все это на себя, захватил ружье — и твердыми шагами пошел обратно — прямо в штаб соседнего полка. Набежали наши, схватили, привели: «Ты кто?» — «Славянин. Не желаю воевать. Желаю в плен. Я люблю русских». — «Ну молодец». Угостили водкой, отослали в тыл, а потом и отправили в Сибирь, в лагерь военнопленных. Три года прожил как у Христа за пазухой.

— Гм... да. Любопытный зверь. А это кто?



— Этот? Тоже штучка. Помните крымскую эвакуацию? Легко было тогда списаться на берег? То-то оно. И рекомендацию требовали, и поручительство, и отзыв о поведении... А он сделал проще: подстерег, когда французская комиссия на пароход приехала — да и запутался между французами в качестве переводчика. Суетился, переводил больше всех... Совсем подкупил французов... Те и спрашивают: «А вы тут что делаете?» — «А я, — говорит, — с вами приехал с берега — родственника хочу взять». — «А вы сами кто такой?» — «Помилуйте — у меня тут свой завод, я его туда инженером пристрою — на тысячу лир в месяц... Он замечательный человек!! Идеальная личность! Я его хочу на всю жизнь обеспечить. Вот и паспорт его — поставьте штемпелечек!» Да и подсунул свой паспорт. Они видят, такое солидное лицо ручается — поставили!

— Да... — задумчиво заметил я. — Вот это я называю самодеятельностью... Сам себя расхвалил, сам себя взял на поруки и сам же себя списал на берег... Ваш зверинец начинает меня заинтересовывать! Что это, например, за редкая черная птица?

— О нем — два слова. Буквально два. Я даже не скажу их, а только покажу его визитную карточку.

Приятель бесцеремонно подошел к жгучему брюнету, пестро одетому, попросил визитную карточку и, улыбаясь уголками рта, вернулся ко мне.

— Смотрите — характеристика всего в два слова: «Христофор Христолидис — комиссионер удовольствий». — Я даже присвистнул.

— Да разве есть такая профессия?

— Очевидно.

— Ну какое же удовольствие может доставить мне этот «комиссионер удовольствий»?.. Скажем, для меня лучшее удовольствие, когда я лягу в постель, почитать рассказы Андреева или Куприна. Что ж, он будет сидеть около меня и читать?

Приятель рассмеялся.

— Поистине, вы с честью носите свою кличку Простодушного! Нет, Христо комиссионер совсем не таких буколических удовольствий... Дайте ваше ухо.

— Ну раз ухо — тогда я понимаю и без уха. Хорошая птица!.. И лицо этакое... выразительное... и клюв на месте... А вон у того господина, наоборот, очень приличный вид.

— Еще бы! Импресарио Шаляпина.

— А-а! Возил Шаляпина?

— Нет, не возил.

— Но вы же говорите — импресарио.

— Видите ли... Он устраивал во всех городах концерты Шаляпина, но ему всегда не хватало одной маленькой подробности: самого Шаляпина.

— Однако это ведь очень густо пахнет тюрьмой...

— Помилуйте, за что же! У него все это было без уголовщины. Скажем, приезжает он в Кременчуг, выпускает афиши: «Концерт Ф. И. Шаляпина» — публика валом валит в кассу, однако там уже аншлаг: все билеты проданы. Все в отчаянии, но тут выходит этакий благодетель — он же самый — и шепчет на ухо тому, другому, третьему: «Есть у меня десятирублевые билетки, да только меньше 15 никак не могу продать». «Голубчик, продайте». Продает. А когда все билеты проданы из-под полы за полторную цену — новый анонс: «Ввиду болезни Шаляпина концерт отменяется. Деньги за билеты можно получить обратно в

кассе». И честно возвращает: на билете — 10, получи 10, на билете — 20, получи 20. До копейки со всеми расплачивается.

— Черт его знает, — опасливо покосился я на импресарио. — Мы тут сидим, разговариваем, как ни в чем не бывало, а ведь они все не в клетках. На свободе.

И как будто в подтверждение моих слов на меня сзади накинулся один зверь, щелкая зубами и сверкая глазами.

— А-а, — кричал он, — кого я вижу! Сколько лет, сколько зим! Я ведь вас по Питеру еще знаю. Говорят, недурно устроились. Случайно есть замечательно выгодное для вас дело.

— Если замечательно выгодное, — серьезно сказал я, — то заранее иду на него.

— Вот и прекрасно! Видите ли, у меня в Орле есть дом. Так как там большевики, а мне нужны деньжата, то я бы вам его дешево продал. За три тысячи лир. Даже за полторы. Я вам и адрес дам. Дайте пока 500.

— Согласен! — весело вскричал я. — Дом беру. Тем более что у меня около Орла есть именице, на которое я не прочь поменять дом. Ваш дом стоит 3000, мое именице 3200. Доплатите мне 200 лир и забирайте все именице. Там и адреса не нужно — всякий дурак знает. Спросите «Аверченковку». Коровы есть, павлины.

Но он не слушал. Шептал уже что-то за другим столиком.

Мой приятель смеялся.

— Ничего, — говорил он. — Это не страшно. Иногда даже можно просунуть руку сквозь прутья клетки и пощекотать их за ухом.

## Второе посещение зверинца

— Ваш константинопольский зверинец мне очень понравился, — сказал я, подмигивая опытному приятелю при встрече. — Не сведете ли вы меня туда снова?

— То-то же. Я сразу угадал в вас опытного зоолога. Ну, что с вами делать — пойдем.

В зверинце я увидел почти всех старых знакомых: и «комиссионера удовольствий», и человека, который сам себя поднял за волосы, и того, что в одном случае дал о себе восторженный отзыв... Но кроме этих удивительных прежних экземпляров были и новые, свеженькие.

Осмотрел я сначала грузного, плохо выбритого мужчину с каменным, неискусно высеченным лицом.

— Посмотрите вы на него: как будто ни одной тонкой мысли не может отразиться на его лице — а на самом деле — тонкий психолог! Достоевский по проникновенности в глубины человеческого духа.

— Писатель он, что ли?

— Совсем напротив, как говорят институтки. Каторжная у него профессия.

— Ну, не томите!

— Слушаю-с. Сей муж ходит по Пере и ищет подходящих для дела парочек. Скажем, идет такая, тесно прижавшись друг к другу, он ей все время бубнит вполголоса неиссякаемое, вечное: «Ольга Петровна, знаете ли вы, что ваш образ не дает мне покою: день и ночь стоите вы, прекрасная, чуткая, передо мною»... — «Виноват! — вдруг раздается сбоку голос «психолога». — Можно на минутку?» — «Что прикажете?» — отрывается от сладких слов в сторону влюбленный. «Психолог» наклоняется к его уху и выразительно шепчет три слова. Понимаете? — три слова!

— Какие?!

— Три слова: «Лиру или в морду!» И у него при этом такое мужественное решительное лицо, что третьего выхода, очевидно, быть не может. Влюбленный сразу соображает все шансы pro и contra [\[62\]](#): затеешь скандал, получишь пощечину при любимой девушке — одна сторона. Сделать приятное лицо и вручить безболезненно лиру мужественному «психологу» — другая сторона. «С удовольствием», — с напряженной приветливостью отвечает влюбленный, вынимает из бумажника лиру и вручает по принадлежности.

«Кто это?» — спрашивает девушка, когда «психолог» отошел. «Это? Один мой старый приятель, впавший в бедственное положение. Понимаете, у него тоже есть любимая женщина, которая больна сейчас. Понимаете, не мог не помочь. Он меня растрогал до слез». — «Какой вы добрый», — шепчет умиленно девушка и крепче прижимается к своему спутнику. И все довольны. А «психолог» снова спешит к новой намеченной парочке, и снова шелестит его категорический шепот: «Лиру или в морду!»

Я взглянул на стенобитное лицо «психолога». Очевидно, он очень много бил на своем веку. Но и его били немало.

— Следующий экземпляр, — тоном сторожа при клетках, дающего объяснения, продолжал опытный приятель. — Их, собственно, даже двое — видите, рядышком сидят. Но прежде, чем о них, — взгляните на это письмецо!

Я прочитал вынутое им из кармана письмо:

— «Вам пишет женщина, которую вы не знаете, но которая безумно, молниеносно влюбилась в вас. Что вы со мной сделали? Я молода, говорят, очень красива, за мной хвост платонических вздыхателей, но

никто мне не нужен с тех пор, как я увидела вас, моя звездочка. Я хочу встретиться с вами! Буду завтра в ресторане «Слон». Подождите меня за бутылкой «Кордон-Вэр», бокал которого и я выпью. Вся и всегда ваша — Людмила N...»

— Счастливец вы, — со вздохом зависти сказал я. — Как вас любят женщины!!!

— Черта с два, — грубо перебил опытный. — Я, как дурак, проторчал полтора часа, выпил всю бутылку и ушел!

— Наверное, ее муж не пустил, — утешал я.

— Какой там к черту муж, когда письмо, как я потом выяснил, написано этими двумя фруктами, которые сидят перед вами.

— Но ведь они мужчины?! — простодушно изумился я.

— Ну да. Хозяева ресторана «Слон». Это они таким образом заманивали в свой вертеп публику. Узнавали адреса и катали в день по два десятка таких бильеду. Не щадили ни пола, ни возраста.

— Все-таки они дали вам несколько минут красивого переживания, когда вы ожидали за бутылкой шампанского. А что такое подлинное счастье? Оно заключается в ожидании счастья.

— Ну, вот вам последний экземпляр, и пойдём. Это, видите ли, теперь рантье, он тихо и честно живет на проценты с валюты, которую вывез из Крыма, а валюту он получил благодаря успешной конкуренции с двадцатью пятью кошками.

— Поистине, эфенди, я ничего не понимаю!

— В этом вы похожи на тех кошек, которые тоже ничего не понимали. Была, видите ли, у него в Крыму богатая тетка — невероятная кошатница и ханжа. Вся ее жизнь была в двадцати пяти кошках и котях и в хождении в церковь на все обедни, вечерни и заутрени.

И приехал к ней гостить племянник, этот самый хитроумный молодой человек. Видит — кошкам все, ему ничего. Пронюхал даже, что сумасбродная старуха все свое состояние отказала на содержание котов, обойдя племянника. Думал он, думал, целыми днями валяясь на кровати, — и удумал... Снял однажды со стены арапник, пошел во флигель, где коты, — несколько раз перекрестился на образ и ну лупить котов арапником по спинам и по мордам... Коты, конечно, кто куда: под столы, на портьеры вскарабкались... И принялся он проделывать эту штуку целых полтора месяца — ежедневно. Как старуха в церковь, он сейчас же арапник со стены, во флигель войдет, истово перекрестится — и ну утюжить по голове, по чем попало. Те опять — кто куда... И вот однажды, когда счел он дрессировку законченной, — приходит к тетке и говорит: «Тетя! Вы человек богомольный... И мне тяжело говорить, тетя, что вы так котов любите, а в них нечистый дух сидит». «Зачем врешь, — возмутилась тетка. — Бедных котиков обижаешь. Откуда там в них нечистая сила?» — «А пойдём во флигель, докажу!» Вошли они, стал он посредине и только — перекрестился, как коты — кто куда, под столы, на комод, на портьеры карабкаются — визг, мяуканье, будто, действительно, в них дюжина бесов! «Видите, тетя!» Разогнала тогда старуха котов, а богомольному племяннику почти все деньги при жизни передала.

Я посмотрел на богомольного племянника: у него было кроткое, мягкое, женственное лицо. Такие лица бывают у каторжников, попавшихся за подделку ассигнаций...

## Оккультные тайны Востока

Прехорошенькая дама повисла на пуговице моего пиджака и мелодично прошептала:

— Пойдите к хироманту!

— Чего-о-о?

— Я говорю вам — идите к хироманту! Этот оккультизм такая прелесть. И вам просто нужно пойти к хироманту! Эти хироманты в Константинополе такие замечательные!

— Ни за что не пойду, — увесисто возразил я. — Ноги моей не будет... или, вернее, руки моей не будет у хироманта.

— Ну, а если я вас поцелую — пойдете?

Когда какой-либо вопрос переносится на серьезную деловую почву — он начинает меня сразу интересовать.

— Солидное предложение, — задумчиво сказал я. — А когда пойти?

— Сегодня же. Сейчас.

Фирма оказалась солидная, не стесняющаяся затратами.

Пошел.

\* \* \*

Римские патриции, которым надоело жить, перед тем как принять яд — пробовали его на своих рабах.

Если раб умирал легко и безболезненно — патриций спокойно следовал его примеру.

Я решил поступить по этому испытанному принципу: посмотреть сначала, как гадают другому, а потом уже — и самому шагнуть за таинственную завесу будущего.

Около русского посольства всегда толчется масса праздной публики.

Я подошел к воротам посольства, облюбовал молодого человека в военной шинели без погон, подошел, попросил прикурить и прямо приступил к делу.

— Бывали вы когда-нибудь у хироманта — спросил я.

— Не бывал. А что?

— Вы сейчас ничего не делаете?

— Буквально ничего. Третий месяц ищу работу.

— Так пойдем к хироманту. Это будет стоить две лиры.

— Что вы, милый! Две лиры!!! Откуда я их возьму? У меня нет и 15 пиастров.

— Чудак вы! Не вы будете платить, а я вам заплачу за беспокойство две лиры. Только при условии: чтоб я присутствовал при гадании!

Молодой человек зарумянился, неизвестно почему помялся, оглядел свои руки, вздохнул и сказал:

— Ну, что ж... Пойдем.

Хиромант принял нас очень любезно.

— Хиромантия, — приветливо заявил он, — очень точная наука. Это не то что какие-нибудь там бобы или кофейная гуща. Садитесь.

На столе лежал человеческий череп.

Я приблизился, бесцельно потыкал пальцем в пустую глазницу и рассеянно спросил:

— Ваш череп?

— Конечно, мой. А то чей же.

— Очень симпатичное лицо. Обаятельная улыбка. Скажите, он вам служит для практических целей или просто как изящная безделушка?

— Помилуйте! Это череп одного халдейского мага из Мемфиса.

— А вы говорите — ваш. Впрочем, дело не в этом. Погадайте-ка сему молодому человеку.

Мой новый знакомый застенчиво протянул хироманту правую руку, но тот отстранил ее и сказал:

— Левую.

— Да разве не все равно, что правая, что левая?

— Отнюдь. Исключительно по левой руке. Итак, вот передо мной ваша левая рука... Ну, что ж я вам скажу?.. Вам 52 года...

— Будет. (Мягко возразил мой «патрицианский раб».) Пока только 24.

— Вы ошибаетесь. Вот эта линия показывает, что вам уже немного за пятьдесят. Затем проживете вы до... до... Черт знает что такое?!

— А что? — заинтересовался я.

— Никогда я не видел более удивительной руки и более замечательной судьбы. Знаете ли, до каких пор вы доживете, судя по этой совершенно бесспорной линии?!

— Ну?

— До двухсот сорока лет!!

— Порядочно! — завистливо крикнул я.

— Не ошибаетесь ли вы? — медовым голосом заметил обладатель удивительной руки.

— Я голову готов прозакладывать!

Он наклонился над рукой еще ниже.

— Нет, эти линии!!! Что-то из ряду вон выходящее!!! Вот смотрите — сюда и сюда. В недалеком прошлом вы занимали последовательно два королевских престола — один около 30 лет, другой около сорока.

— Позвольте, — робко возразила коронованная особа. — 40 и 30 лет — это уже 70. А вы говорили, что мне и всего-то 52.

— Я не знаю, ничего не знаю, — в отчаянии кричал хиромант, хватаясь за голову. — Это первый случай в моей пятнадцатилетней практике! Ваша проклятая рука меня с ума сведет!!

Он рухнул в кресло, и голова его бессильно упала на стол рядом с халдейским черепом.

— А что случилось? — участливо спросил я.

— Да то и случилось, — со стоном вскричал хиромант, — что когда этот господин сидел на первом троне, то он был умерщвлен заговорщиками!! Тут сам черт ничего не разберет! Умерщвлен, а сидит. Разговаривает!!! Привели вы мне клиента — нечего сказать!!

— Были вы умерщвлены на первом троне? — строго спросил я.

— Ей-богу, нет. Видите ли... Я служил капитаном в Марковском полку, а что же касается престола...

— Да ведь эта линия — вот она! — в бешенстве вскричал хиромант, тыча карандашом в мирную капитанскую ладонь. — Вот один престол, вот другой престол! А это вот что? Что это? Ясно: умерщвлен чужими руками!

— Да вы не волнуйтесь, — примирительно сказал я. — Вы же сами говорили, что Его Величество проживет 240 лет. Чего ж тут тревожиться по пустякам? Вы лучше поглядите, когда и от чего он умрет по настоящему, так сказать — начисто.

— От чего он умрет?.. Позвольте-ка вашу руку...

Хиромант ястребиным взглядом впился в капитанскую ладонь, и снова испуг ясно отразился на его лице.

— Ну, что? — нетерпеливо спросил я.

— Я так и думал, что будет какая-нибудь гадость, — в отчаянии застонал хиромант.

— Именно?

— Вы знаете, от чего он умрет? От родов.

Мы на минутку оцепенели.

— Не ошибаетесь ли вы? Если принять во внимание его пол, а также тот преклонный возраст, который...

— «Который, который!!» Ничего не который! Я не мальчишка, чтобы меня дурачить, и вы не мальчишка, чтобы я вам мог врать. Я честно говорю только то, что вижу, а вижу я такое, что и этого молодого человека и меня нужно отправить в сумасшедший дом!! Это сам дьявол написал на вашей ладони эти Антихристовы письма!!

— Ну, уж и дьявол, — смущенно пробормотал молодой человек. — Это считается одной из самых солидных фирм: Кнаус и Генкельман, Берлин, Фридрихштрассе, 345.

Мы оба выпучили на него глаза.

— Господа, не сердитесь на меня... Но ведь я же вам давал сначала правую руку, а вы не захотели. А левая, конечно... Я и сам не знаю, что они на ней вытиснули...

— Кто-о? — взревел хиромант.

— Опять же Кнаус и Генкельман, Берлин, Фридрихштрассе, 345. Видите ли, когда мне под Первозвановкой оторвало кисть левой руки, то мой дядя, который жил в Берлине, как представитель фабрики искусственных конеч...

Череп халдейского мудреца пролетел мимо моего плеча и, кляцнув зубами, зацепился челюстью за шинель капитана. За черепом полетели две восковых свечи и какая-то древняя книга, обтянутая свиной кожей.

— Бежим, — шепнул я капитану. — А то он так озверел, что убить может.

Бежали, схватившись за руки, по узкому грязному переулку. Отдышались.

— Легко отделались, — одобрительно засмеялся я. — Скажите, кой черт поддел вас не признаться, что ваша левая лапа резиновая, как калоша «Проводник»?

— Да я, собственно, боялся потерять две лиры. Вы знаете, когда пять дней подряд питаешься одними бубликами... А теперь, конечно, я сам понимаю, что ухнули мои две лирочки.

— Ну, нет, — великодушно сказал я. — Вам, Ваше Величество, еще 215 лет жить осталось, так уж денежки-то, ой-ой, как нужны. Получайте.

\* \* \*

Встретил даму. Ту самую.

— Ну что, были?

— Конечно, был. Аванс отработал честно.

— Ну что же, — с лихорадочным любопытством спросила она. — Что же он вам сказал?

— А вы верите всему, что они предсказывают? — лукаво спросил я.

— Ну, конечно.

— Так он сказал, что с вас причитается еще целый ворох поцелуев.

До чего эти женщины суеверны, до чего доверчивы.



# Лото-Тамбола

Оглянитесь назад, на детство: вы вспомните, что в каждом из училищ, в каждой гимназии — была такая неожиданно вспыхивающая эпидемия: вдруг — игра в перья! И все мальчишки, все классы с головой уходят в дурацкую игру, ходят, как пьяные, учебники плесневеют, в журналах стройным частоколом вытягивается ряд единиц... Но однажды, во время разгара игры в перья, кто-то, разжевав резинку, на что ушла добрая половина дня, — надул воздухом разжеванную массу и причудливо щелкнул ею. И вдруг — первая эпидемия (игра в перья) сразу, как по мановению волшебного жезла, прекратилась, к перьям потеряли всякий интерес, и крупные держатели этих, казалось бы, абсолютных ценностей — сразу потерпели крах...

И вместо перьев — целые ряды безмолвно сидящих за партами мальчишек, с дурацки-благоговейными лицами, с выпученными от напряжения глазами, с механически, как машина, двигающимися челюстями... Это — весь класс заболел новой эпидемией. Это — весь класс жует резину из-за сомнительного наслаждения один раз щелкнуть ею.

\* \* \*

Лица людей, играющих в лото, напоминают мне физиономии мальчишек, жующих целыми часами резину, чтобы один раз щелкнуть ею.

Приходилось мне видеть всякие дурацкие игры, но такой идиотски-бессмысленной, как лото, — целый год ломай голову — не придумаешь.

В чем, собственно, дело? Как начинается лото?

Идет оборотистый человек по улице. Всматривается в выражение лиц прохожих, и приходит ему в голову мысль:

— А ведь почти ни одного умного, одухотворенного лица. Общая печать скудоумия и недомыслия... Надо им, канальям, лото устроить. Пусть играют; самая для них подходящая игра.

Тут же снимает пустое помещение, вешает вывеску, ставит обдирательный аппарат, нанимает вопильщика и говорит:

— Ну, вы... гуси лапчатые! Идите, обдирать вас буду.

И сразу фабрика начинает работать; публика с физиономиями, как стертые пятаки, втискивается в помещение, обдирательный аппарат с грохотом кружится, вопильщик вопит, а хозяин ходит от одного к другому и у всех отбирает деньги.

Дураковая психология постигнута в совершенстве: если у дурака просто отнять деньги — он будет плакать и стонать, а если ему посулить, что он на свои три лиры проигрыша может получить сорок лир выигрыша, — дураковый взгляд заискрится, заблестает, откроет дурак свой кругленький ротик и примется напряженно следить по куску картона, на котором натканы без всякого смысла и толку цифры, — примется следить: не выиграет ли?

И сидит он так за куском картона час, три, десять — все свое свободное и несвободное время убухивает на рассмотрение унылого бесцветного куска картона...

А попробуйте сказать дураку:

— Что ты сидишь зря, Васенька? Пошел бы домой, спать...

— Нет, скажет, это очень выгодно: позавчера Иван Вахрамеич поставил лиру, а отхватил сразу девять пятьдесят!

Легенда об Иване Вахрамеиче поддерживает в нем радужные надежды, а хозяину только этого и надо... То и дело подходит:

— С вас полтинничек.

Будь я сам хозяином и имей я дело не с дураками, а с умными людьми, я просто и честно предложил бы им:

— Вот вы пришли играть в лото... Вносите вы деньги, а я из них каждый раз забираю 20 процентов. Пять игр сыграете — все ваши денежки у меня. Предположим, по десяти раз каждый из вас слазит в карман за деньгами и отдаст их мне все... Так не лучше ли, не проще ли, сделаем так: вы будете каждый день собираться у меня к условному часу, отдадите все свои деньги, я из них выделю процентов 30, вы их по жребию поделите между собой, как выигрыш, — и ступайте домой. И никакого лото вам не нужно, не нужно торчать в душной и закуренной комнате и до ряби в глазах пялиться на картонную бумажку с бессмысленными цифрами...

Предложи я такую комбинацию — никто на нее не пойдет; и в то же время все делают то же самое — только что больше времени тратится да лицо после игры приобретает одеревенелое выражение ободранной грабителями мумии из гробницы фараона: видимость человека есть, внутри все пусто.

\* \* \*

Недавно союзная полиция закрыла все лото.

Но...

Видели ли вы когда-нибудь, как на тоскливом черном пожарище вдруг начинает пробиваться молодая зеленая травка?..

Встречаю приятеля:

— Видели, как тараканы бегают?

— А что?

— Тут в одном доме тараканы бегают.

— Эва, нашли редкость! Я в России сотни домов видел, где тараканы бегают!

— Вы не понимаете! Тут устроены тараканьи бега. Есть старт, тотализатор, цвета жокеев, и бегут живые тараканы. Масса народу собирается играть. Есть верные тараканы! Фавориты!!!

\* \* \*

О, бог азарта — великий бог.

Отнимите у человека карты — он устроит лото; отнимите лото — он зубами уцепится за таракана; отнимите таракана — он...

Да что там говорить: я однажды видел на скамейке Летнего сада няньку с ребенком на руках. Она задумчиво выдергивала у него волосик за волосиком и гадала: «Любит — не любит! Любит — не любит».

Это был азарт любви, той любви, которая может лишить волос даже незаинтересованную сторону...

## О гробах, тараканах и пустых внутри бабах

Как-то давно-давно мне рассказывали забавный анекдот... Один еврей, не имеющий права жительство, пришел к царю и говорит:

— Ваше величество! Дайте мне, пожалуйста, право жительство!

— Но ведь ты же знаешь, что правом жительство могут пользоваться только ремесленники.

— Ну так я ремесленник.

— Какой же ты ремесленник? Что ты умеешь делать?

— Уксус умею делать.

— Подумаешь, какое ремесло, — усмехнулся скептически государь, — это и я умею делать уксус.

— И вы умеете? Ну так вы тоже будете иметь право жительство!

Прошли идиллические времена, когда рождались подобные анекдоты: настали такие времена, когда не только скромные фабриканты уксуса, но и могущественные короли не имеют права жительство...

Некоторое исключение представляет собой Константинополь: человек, который умеет делать уксус, здесь не пропадет. Искусство «делать уксус» в той или другой форме все-таки дает право на жизнь.

Вот моя встреча с такими «ремесленниками, имеющими право жительство», неунывающими, мужественными делателями «уксуса».

\* \* \*

Они сидели рядышком на скамейке в саду Пти-Шан и дышали теплым весенним воздухом — бывший журналист, бывший поэт и бывш... чуть по привычке не сказал — бывшая сестра журналиста... Нет, сестра журналиста была настоящая... Дама большой красоты, изящества и самого тонкого шарма...

Всем трем я искренно обрадовался, и они очень обрадовались мне.

— Здорово, ребята! — приветствовал я эту тройку. — Что поделяете в Константинополе?

Все трое переглянулись и засмеялись:

— Что мы поделяем? Да вы не поймете, если мы скажем...

— Я не пойму? Да нет на свете профессии, которой бы я не понял!

— Я, например, — сказал журналист, — лежу в гробу.

— А я, — подхватил поэт, — хожу в женщине.

— А я, — деловито заявила журналистова сестра, — состою при зеленом таракане.

— Все три ремесла немного странные, — призадумался я. — Делать уксус гораздо легче. Кой черт, например, занес вас в гроб?..

— Одна гадалка приняла. У нее оккультный кабинет: лежу в гробу и отвечаю на вопросы клиентов. Правда, ответы мои глубиной и остроумием не блещут, но все же они неизмеримо выше idiotских вопросов клиентов.

— А вот вы... который «ходит в женщине». Каким ветром вас туда занесло?

— Не ветром, а голодом. Огромная баба из картона и коленкора. Я влезаю внутрь и начинаю бродить

по Пере, неся на себе это чудовище, в лапах которого красуется реклама одного ресторана.

— Поистине, — сказал я, — ваши профессии изумительны, но они бледнеют перед карьерой Ольги Платоновны, состоящей при зеленом таракане!

— Смейтесь, смейтесь. Однако зеленый таракан меня кормит. Собственно, он не зеленый, а коричневый, но цвета пробочного жокея, которого он несет на себе, — зеленые. И потому я обязана иметь на правом плече большой зеленый бант: цвет моего таракана. Да что вы так смотрите? Просто здесь устроены тараканьи бега, и вот я служу на записи в тараканий тотализатор. Просто, кажется?

— Очень. Все просто. Один в гробу лежит, другой в бабе ходит, третья при таракане состоит.

Отошел я от них и подумал:

«Ой, крепок еще русский человек, ежели ни гроб его не берет, ни карнавалье чучело не пугает, ежели простой таракан его кормит...»

Это одна сторона — прекрасная сторона — русского характера...

А вот другая сторона...

## Еще гроб

Иногда — ни с того ни с сего — накатывает такое веселое, радостное настроение, что ходишь, внутренне подпрыгивая, как козленок, что хочется весь мир обнять, что внутри — будто целая стая воробьев щебечет.

В такие минуты любо беспричинно бродить по улицам, обращая умиленное внимание на всякий пустяк, попадающий в поле зрения: на турка, испуганно выкрикивающего свой товар; на деловитого грека, бегущего из харчевни с тарелочкой, на которой горсточка вареного риса, возглавленного крохотным кусочком баранины; на фотографическую витрину с усатыми, толстоногими гречанками, любящими сниматься непременно у фальшивого бутафорского рояля или около белой картонной лошади, шея которой обвивается топорной рукой самым шаловливым и грациозным образом, — все привлекает праздное, благодушное внимание, все заставляет или мимолетно усмехнуться, или мимолетно задуматься...

В таком безоблачном настроении любо зайти в светлый чистенький ресторанчик, проглотить кружку холодного пива и уничтожить какую-нибудь отбивную котлету, бродя рассеянно глазами по вечному портрету Венизелоса на стене, обильно засиженному мухами, и по разложенным листам бумаги от мух, девственно чистым — на зависть облюбованному летучей армией Венизелосу.

Недавно зашел я в таком бодром, искрящемся настроении в ресторанчик, уселся за стол; подошла очень недурная собой русская дама и, сделав независимое лицо аристократки времен французской революции, ведомой на гильотину, кротко спросила:

— Чего вы хотите?

— Обнять весь мир, — искренно ответил я, еле сдерживая бурлящую внутри молодую радость жизни.

— Отчего все мужчины думают, — грустно сказала дама, — что если мы служим здесь кельнершами, то нам можно делать всякие предложения...

Я заверил ее, что в отношении к ней лично у меня нет никаких агрессивных планов, и заказал телячью котлету и пиво.

— Салату желаете? — осведомилась она таким душераздирающим тоном, будто спрашивала: сейчас меня будете расстреливать или потом?

— О, да! Украсьте салатом мою сиротливую жизнь, — игриво отвечал я, желая немного развлечь ее. — Вы, наверное, беженка?

— Ах, и не говорите. Сейчас принесу пиво, а потом котлету.

Когда она вернулась, я сказал ей:

— Если вам не скучно, посидите со мной, поболтаем.

— Не скучно! А какое, спрашивается, веселье?.. Чему радоваться? Ах, вы знаете — раньше у меня были свои лошади, я приемы делала, а теперь... ботинок не на что купить.

Я отхлебнул пива. Оно показалось мне горьковатым.

— Сестра лежит с ангиной. Хозяева дома, греки, оскорбляют, потому что мы русские...

Я сделал второй глоток. Пиво как будто сделалось еще горче.

— Ничего. Даст бог, все уладится. Опять будем жить хорошо.

— Не верю я. Ни во что не верю. Наверное, скоро все перемрем. Муж в Совдепии остался. Наверное, убили.

Отхлебнул, опустил голову.

Решительно, черт их возьми, пивные заводы стали беззастенчиво прибавлять желчь в пиво.

— А может, муж и жив, — утешил я.

— А если и жив, так с голоду умер.

Я сочувственно покачал головой, отломил поджаренную хрустящую корочку булки и, посолив, положил в рот.

— Гм... Вот белый хлеб, — со стоном заметила кельнерша. — У нас тут его сколько угодно, белого, мягкого, свежего, а там серый, как глина, со щепочками, с половой, со жмыхами. Да если бы эту порцию туда перенести, так хватило бы на четырех человек. Да и рыдали бы, пережевывая.

Все это было совершенно справедливо, но почему деревцо за окном вяло опустило ветки, портрет Венизелоса скривился на сторону, солнечное пятно на стене погасло и прожеванный кусочек хлеба никак не хотел, несмотря на мои судорожные усилия, проскочить в горло... Я облил его глотком пива вкуса хины, мучительно улыбнулся и заметил:

— Но ведь если я сейчас не буду есть этого хлеба, я им этим не помогу?..

— Им уже ничто не поможет. Как мучаются! Как мучаются! От голода распухает лицо и все тело покрывается кровотокающими струпьями...

Она встала и пошла за котлетой.

Котлета оказалась на редкость сочная, в сухариках, с картошечкой, нарезанной такими столбиками.

Я отрезал кус, мазнул горчицей и увенчал кусочком огурца.

— Я читала, что от голода шея начинает пухнуть и гнить. Отчего бы это?

— Не знаю отчего, — угрюмо промолвил я. Мне показалось, что кусочек котлеты на вилке покраснел, распух и в нем что-то зашевелилось...

— Да... Вот вы, например, можете себе позволить здесь удовольствие съесть две или три жареные котлеты, а там даже дров нет, чтобы сварить головку ржавой селедки...

Ах, как все это было справедливо!.. Но котлета покособилась, съежилась и сделалась вялой, неаппетитной...

— Дайте счет, — со вздохом попросил я.

Она черкнула что-то в книжечке, сардонически улыбаясь:

— Иногда пишешь счет, да как вспомнишь, чем была раньше, как роскошно жила, так слезы и застилают глаза: цифр даже не вижу...

— Прощайте, — пробормотал я.

— Куда ж вы так скоро?

— Пойти на кладбище, что ли, повеситься.

— Да уж теперь это только и остается, — с готовностью одобрила она.

\* \* \*

Вчера снова накатило на меня такое бодрое бурливое настроение. Я шел по улице, чуть не приплясывая, и, наконец, решил:

— Не зайти ли в ресторанчик?.. Только — дудки! В этот уж не пойду. Эта милая девушка снова доведет меня до логической мысли привязаться веревкой за шею к перилам Галатского моста, да и спрыгнуть вниз...

Поэтому я, насвистывая нечто мелодичное, вошел в другой ресторан и... первое, на что я наткнулся, была та давешняя кельнерша.

— Вы... Здесь? — оторопел я.

— Да... Садитесь. Представьте, мне тот хозяин отказал. Вы, говорит, не умеете обращаться с публикой... А я уж, можно сказать, всякого, как родного, встречаю. Все, что есть на душе, все выложишь. Что будете кушать? А у сестрицы, представьте, кроме ангины еще и дизинтерия... Несчастье за несчастьем... Садитесь! Куда ж вы?!

## Благородная девушка

Самым серьезным человеком в свете я считаю своего друга Степана Фолиантова.

Даже в имени его и фамилии — есть что-то солидное, несокрушимое...

Поэтому я имел полное право окаменеть от изумления, когда одним весенним вечером он, как экваториальная буря, ворвался ко мне и сообщил, изнемогая на каждом слогe:

— Ну, конец, брат! Поздравь меня — я влюблен.

Если бы дьякон соборной церкви остриг волосы, вымазал лицо жженой пробкой и, надев красный фрак, выступил в кафе-концерте на эстраде в качестве негра, исполняющего кика-пу, — это было бы более подходящее, чем то, что сообщил мне Фолиантов.

— С ума ты сошел? — недоверчиво ахнул я.

— Ну, конечно! Я об этом же и говорю. Ах, какая женщина! Понимаешь: ручки, ножки и губки такие маленькие, что... что...

— Что их совсем не видно? — подсказал я.

— А?.. Ну, это ты уж хватил. Нет, их видно, но они просто крохотные. А глаза, наоборот, такие огромные, что...

— Что занимают территорию всего лица?!

— А? Ну, ты скажешь тоже. Просто огромные глаза. И красивые до безобразия!.. Носик...

— Выпей вина и расскажи лучше о характере.

— Характер? Ангельский. Бескорыстие? Дьявольское! Достаточно сказать, что, когда мы бываем в кафе, — она всегда платит свою треть. Идем в театры — она за билеты платит треть. Садимся на извозчика...

— Почему же такая странная дробь — треть?

— А брат же с нами всегда.

— Чей?

— Странный вопрос: ее! Он ко мне очень привязался... Светлая личность! Бываем втроем. Ой, опоздал! Уж ждут.

И умчался этот странный Фолиантов — так же бурно, как и появился.

\* \* \*

На другой день появился расстроенный.

— Выгнала.

— Вот тебе раз. За что?

— Я сдуру предложил денег. У них ведь не густо. И брат кричал тоже. Обиделся. Вот тебе и Константинополь! А говорят — город продажных женщин и торгующих женщинами мужчин.

Он вынул портрет прехорошенькой девушки и принялся жадно целовать его.

— Дай и я поцелую, — попросил я, глубоко растроганный.



— На. Ты ее тоже полюбишь, когда узнаешь.

Мы долго по очереди целовали портрет и потом сидели, глядя друг на друга со слезами на глазах...

— Ты, наверное, грубо предложил ей деньги, — укоризненно сказал я. — Вот она тебя и выгнала. А ты сделай как-нибудь деликатнее...

— Ну? Как же?

— Выдай ей вексель на круглую сумму и объясни, что все мы, мол, под Богом ходим, что мало ли что может случиться и что, если ты умрешь, для тебя будет невыносимой мысль, что любимый человек бедствует. Сколько ты ей, дурья голова, предложил?

— 500 лир.

— Ну, вот и напиши на эту сумму. Да вложи в коробку с шоколадом. Все-таки вексель в шоколаде — это не грубые материальные деньги в кулаке.

— А если совсем выгонит?

— В Константинополе-то? Не выгонит.

Умчался Фолиантов.

\* \* \*

Примчался Фолиантов:

— Что было! Слезы, истерика. «Так ты, говорит, думаешь, что я тебя из-за денег люблю?! Уходи!» Два часа на коленках стоял. Сказал, что, если не возьмет, — пойду и утоплюсь в Босфоре. Она страшно испугалась, заплакала еще раз и взяла. Просила только брату не говорить.

— Вот видишь, как все хорошо.

Через два дня случилось происшествие, которое потрясло не только Фолиантова, но и меня.

— Понимаешь, — рассказывал он. — Все началось из-за того, что в театре она на кого-то посмотрела, а я приревновал... Вернулись к ней домой, я наговорил ей разных слов и, в конце концов, сказал, что она меня совершенно не любит. Она заплакала, потом спросила: «Значит, выходит, если я тебя не люблю, то встречаюсь с тобой только из-за материальных интересов?! Так смотри же!» Вскочила, вынула из шкатулки мой злополучный вексель, порвала на клочки и бросила к моим ногам.

Я ахнул:

— Вот это женщина! Прямо-таки Настасья Филипповна из «Идиота»!.. Что ж ты думаешь теперь делать?

— Написал уже другой. Так или иначе — всучу ей.

— Вот тебе и Константинополь... — покачал я головой. — Встречусь с ней — в ножки поклонюсь.

Мы оба сияли, как солнце. Два солнца в одной комнате — это была редкая астрономическая комбинация.

\* \* \*

— Помирились! — радостно крикнул мне с извозчика Фолиантов. — Уговорил принять новый. Ну, характер же! Порох.

На Пере, когда один человек едет на извозчике, а другой плетется по мостовой, — трудно разговаривать. Потому я не добился подробностей.

На другой день произошли новые события.

— Это огонь, а не женщина, — кричал мне с порога Фолиантов. — Теперь уже не я ее, а она меня приревновала!..

— Ну, и...

— И порвала в клочья второй вексель!

— Третий дай! — кричал я в экстазе.

\* \* \*

С тех пор события приняли более или менее ритмичный характер...

При малейшем поводе эта странная бескорыстная девушка выхватывала из шкатулки пошлейший документ моего друга и тут же в бешенстве ревности или незаслуженной обиды — разрывала его в мелкие клочья.

Друг прибежал ко мне, мы оба долго сидели, растроганные, а потом, как два упорных осла, решали, что это девушке не поможет: она все равно получит новый вексель...

Я помню точно: эта борьба великодуший случалась ровно шесть раз. Шесть векселей было подписано, шесть было выхвачено из шкатулки, шесть, в безумном порыве, было разорвано на глазах друга, шесть раз мы, растроганные, тихо плакали на груди друг у друга...

\* \* \*

А сегодня мой друг Фолиантов явился таким расстроеным, каким я его никогда не видел.

— Шестой изорвала? — догадался я.

Он сидел молча, яростно покусывая головку трости.

— Что ж ты молчишь?.. Как поживает наш цветочек, наше ясное солнышко?..

— Чтоб оно лопнуло, это твое солнышко! — заревел мой друг, стуча тростью по дивану, как по злейшему врагу. — Если бы эту кобылу повесили — я с удовольствием дал бы намыленную веревку!..

— Послушай, Фолиантов... Есть такие границы, которые...

— Нет! Нет никаких границ — понимаешь ты это?! За что я теперь должен платить три тысячи лир или садиться в тюрьму?! А?

— Опомнись, какие три тысячи?!

— Да по вексялям, которые я, по твоему же совету, на коленках преподносил этой жадной константинопольской собаке!

— Постой, постой... Об остальном я пока не спрашиваю... Но у нее же был только один твой вексель?..

— Черта с два! Все шесть — целехоньки.

— Да ведь она же их рвала?

— Поддельные рвала! Этот ее альфонс и подделывал под мой почерк.

— Светлая личность?! Ее брат?!

— Брат?! Такой же он ей брат, как ты мне падчерица! Полетел я к ней объясняться, а он выходит и говорит: «Если вы не оставите в покое мою жену и не прекратите преследовать ее своей любовью — я заявлю в английскую полицию!» — «А мои векселя?!» — «Это ваши личные коммерческие отношения — меня они не касаются. Если вы ей дали шесть векселей за проданную вам каустическую соду или подошвенную кожу — кому какое до этого дело? Ведь подпись на векселях ваша?» А?! как тебе это понравится? каустическая сода!!! Подошвенная кожа?!!

— Признаться, — примирительно сказал я, — во всей этой истории я не узнавал до сих пор Константинополя, и это меня втайне немного тревожило. Теперь я снова узнаю его неизменяемое вечное лицо, и это меня успокаивает.

— То есть?!

— Раз девушка оказалась не девушкой, брат не братом, порванные векселя — не порванными и любовь — не любовью, а подошвенным товаром — все в полном порядке... Приветствую тебя, старый изможденный развратный мошенник — Константинополь!

— А как же векселя?..

— Есть деньги?

— Последние три тысячи лир были. Кое-как наскребу.

— Плати. Там заранее рассчитано.

# Русские в Византии

Этот осколок константинопольской жизни мне хочется написать в благородной форме исторического романа — так он красочен...

\* \* \*

Стояло ясное погожее утро лета 1921 года.

Впрочем, нет. Стоял вечер.

Автор начинает с утра только потому, что все русские исторические романы начинаются этой фразой.

А на самом деле стоял вечер, когда произошла завязка правдивого бытового романа.

Граф Безухов, не дожившись, неожиданно вошел в комнату жены и застал последнюю (она же была у него и первая) в объятиях своего друга князя Болконского.

Произошла ужасная сцена.

— Милостивый государь! — вскричал взбешенный муж.

— Милостивый государь?

— Вы знаете, что вами осквернен мой семейный очаг!!

— Здесь дама, прошу вас не возвышать голоса. Орет, сам не знает чего.

Закусив нижнюю губу, бледный граф молча сдернул со своей руки перчатку, сделал два шага по направлению к князю и бросил перчатку прямо в лицо врагу.

— Надеюсь, вы понимаете, что это значит?! — угрюмо сказал он.

— Готов к услугам, — холодно поклонился князь Болконский.

— Мои секунданты будут у вас в 10 часов утра.

— Хоть в 9, — с достоинством ответил князь, отыскивая свою шляпу.

\* \* \*

По соглашению сторон поединок решен был на завтра, на дуэльных пистолетах.

Выработав все условия и подробности, секундант графа, полковник Н., спросил у княжеского секунданта, гусарского корнета Ростова:

— Теперь — последний вопрос: у вашего доверителя есть дуэльные пистолеты?

— Никаких нет.

— А у вас?

— Откуда, голубчик? Я из Севастополя эвакуировался с маленьким ручным чемоданчиком... До дуэльных ли тут пистолетов!

— И у моего нету. Что ж теперь делать? Нельзя ли у кого-нибудь попросить на время? Например, у барона Берга?..

— Нашли у кого просить! Барон на Пере «тещиными языками» торгует с лотка — неужели, вы думаете, у него удержится такая ценная штука, как ящик с дуэльными пистолетами. Загнал!

Огорченные, разошлись секунданты по своим доверителям.

— Ну что? — нетерпеливо спросил бледный, с горящими глазами граф Безухов. — Все готово? Когда?

— Черта с два готово! Пистолетов нет.

— Вот тебе раз! У барона Берга нет ли?

— «Тещины языки» есть у барона Берга. Не будете же вы драться «тещинными языками»!

— Может, в магазине можно купить? Если недорого...

— Ваше сиятельство, что вы! В константинопольском магазине?! Дуэльные пистолеты? Да на кой же шут их будут держать? Для греков, торгующих маслинами и халвой?.. Нашли тоже Онегиных!.. Они больше норовят друг друга по шее съездить или — еще проще — обчистить на «пенды-грош», а не дуэль! Заверяю вас, что среди местных греков нет ни Ленских, ни Печоринных...

— Гм! Дьявольски глупо... Не отказываться же из-за этого от дуэли!

— Впрочем, попытаюсь пойти еще в одно место: в комиссионный магазин «Окказион» — не найду ли там?..

\* \* \*

— Здравствуйте. Чем могу служить?

— У вас есть дуэльные пистолеты?

— Помилуйте, все есть! Ковры, картины, бриллианты, курительные трубки...

— Ну на кой мне черт курительная трубка. Из нее не выстрелишь.

— Пардон, стреляться хотите? Дуэль?

— Не я. Я по доверенности.

— Ага. Так, так. Присядьте! Ну, желаю удачи. А пистолетики найдутся. Вам пару?

— Не четыре же! Это не кадрили танцевать.

— Нет, я в том смысле спросил, что, может, одним обойдетесь.

— Что вы за чушь городите! Какая же это дуэль с одним пистолетом?!

— А почему же? Сначала первое лицо стреляет, потом, ежели не попал, передает партнеру, тот стреляет, и так далее. Экономически-с.

— Подите вы! Сколько стоит пара?

— Для вас? Двести лир.

— Вы с ума сошли! Они и шестидесяти не стоят!

— Не могу-с. А пистолеты такие, что поставьте в затылок пятерых — пятерых насквозь пронизет.

— Ну, вот! Что ж мы для вашего удовольствия еще четыре пары дуэлянтов подбирать будем? Уступите за сто.

— И разговору такого нет.

\* \* \*

— Ну что?!

— Черт его знает — с ума сошел человек! Он, может, из человеколюбия, но нельзя же драть двести лир за пару! Скажите, сколько вы ассигнуете?

— Мм... Могу отдать все, что имею — сорок лир.

— Впрочем, с какой стати вы сами будете нести все расходы. Вот еще! Пусть противник принимает на себя половину!

— Послушайте! Удобно ли обращаться... по такому поводу!

— В Константинополе все удобно! Я с него и за доктора половину сдержу!..

\* \* \*

Колесо завертелось.

Полковник Н. пошел к корнету Ростову и потребовал, чтобы его доверитель, князь Болконский, заплатил свою долю за пистолеты — 40 лир; корнет пошел к князю — у князя нашлось только 25 лир; корнет отправился к полковнику, но полковник нашел, что шансы не равны, и предложил взять доктора — на счет князя; потом оба пошли в комиссионный магазин и стали торговаться...

Хозяин уступал за полтораста (без зарядов); секунденты давали 60 с зарядами; не сойдясь, оба разошлись по своим доверителям за инструкциями; граф предложил полковнику Н. взять пистолеты напрокат; полковник отправился к корнету Ростову; оба отправились в комиссионный магазин; хозяин согласился на прокат, но просил залог в полтораста лир; оба снова разошлись по доверителям; один из доверителей (граф) согласился дать в залог брошку жены (100 л.) с тем, чтобы князь Болконский доплатил остальное; корнет Ростов отправился к князю, но у князя оказалось всего-навсего 15 лир; граф передал через своего секунданта, что князь саботирует дуэль, а князь ответил через своего секунданта, что бедность не саботаж и что он если и задолжает графу за пистолеты, то впоследствии, когда будут деньги, отдаст; граф чуть было не согласился, но жена его возмутилась. «С какой стати, — говорила она, — раз шансы не равны: если он тебя убьет, он этим самым освобождается от долга, а если ты его убьешь — ты с него ничего не получишь... Я вовсе не желаю терять на вашей дурацкой дуэли!»; граф возразил, что это не дурацкое, а дело чести; графиня ответила в том смысле, что, дескать, какая честь, когда нечего есть; из комиссионного магазина пришел мальчик и простодушно спросил: «А что теи господа будут стрелять друг у друга или отдумали, потому как, может, найдутся другие покупатели — так отдавать или как?» Граф послал его к князю Болконскому, графиня послала его к черту, а он вместо этого раскрыл зонтик от дождя и побежал домой.

Наступала осень.

\* \* \*

О, Ленские, Печорины, Онегины и Грушницкие! Вам-то небось хорошо было выдерживать свой стиль и благородство, когда и пистолеты под рукой, и камердинеры собственные, и экипажи, и верховые лошади... «Дуэль? Пожалуйста! Такое-то место, такой-то час, деремся на пистолетах»... А попробуйте, милостивый государь господин Ленский, пошататься по «окказионам», да поторговаться до седьмого поту, да войти в сношения с Онегиным на предмет взятия на себя части расходов, да получить от Онегина отказ, потому что у него «юс-пара» в кармане... Так тогда — не «умру ли я, стрелой пронзенный» запоете, а совсем из другой оперы:

Помереть не померла,  
Только время провела.

\* \* \*

Бедные мы сделались, бедные...

И прилично ухлопать-то друг друга не имеем возможности!

## Аргонавты и золотое руно

С тех пор как осенью 1920 года пароход покинул берега Крыма и до самого Константинополя они так и ходили нераздельно вместе — впереди толстый, рыжебородый со сложенными на груди руками, за ним, немного сзади, двое: худощавый брюнет с усиками и седенький, маленький. Этот вечный треугольник углом вперед напоминал стаю летящих журавлей.

Только один раз я увидел их не в комбинации треугольника: они дружно выстроились у борта парохода, облокотясь о перила, и поплеывали в тихую воду Черного моря с таким усердием, будто кто-нибудь дал им поручение — так или иначе, а повысить уровень черноморской воды.

Я подошел и бесцельно облокотился рядом.

— Ну что, юноша, — обратился вдруг ко мне седенький. — Как делишки?

— Ничего себе, юноша, — приветливо ответил я. — Дрянь делишки.

— Что думаете делать в Константинополе?

— А черт его знает. Что придется.

— Так нельзя, — наставительно отозвался черноусый мужчина. — Надо заранее выработать план действий, чтобы не очутиться на константинопольском берегу растерянным дураком. Вот мы выработали себе по плану — и спокойны!

— Прекрасное правило, — пришел я в искреннее восхищение. — Какие же ваши планы?

Седенький одарил морскую гладь искусным полновесным плевком и, поглядывая на удалявшиеся с глаз плоды губ своих, процедил сквозь энергично сжатые губы:

— Газету буду издавать.

— Ого! Где?

— Что значит — где? В Константинополе. Я думаю сразу ахнуть и утреннюю, и вечернюю. Чтобы захватить рынок. Вообще, Константинополь — золотое дно.

— Дно-то дно, — с некоторым сомнением согласился я. — Только золотое ли?

— Будьте покойны, — вмешался черноусый. — На этом дне лежат золотые россыпи, только нужно уметь их раскопать. Впрочем, мои планы скромнее.

И две стороны треугольника сейчас же поддержали третью:

— Да, его планы скромнее.

— Журнал будете издавать? — попытался догадаться я.

— Ну что там ваш журнал! Чепуха. Нет, мне пришла в голову свежая мыслишка. Только вы никому из других пассажиров не сообщайте. Узнают — сразу перехватят.

Я твердо поклялся, что унесу эту тайну с собой в могилу.

— Так знайте: я решил открыть в Константинополе русский ресторан.

— Гм... Я, правда, никогда до сих пор не бывал в Константинополе, но... мне кажется, что... там уже в этом направлении кое-что сделано.

— Черта с два сделано! Разве эти головотяпы сумеют? Нет, у меня все будет особенное: оркестр из живых венгерцев, метрдотель — типичный француз, швейцар — швейцарец с алебардой, а вся прислуга —



негры!

— И вы всю эту штуку назовете русским рестораном?

— Почему бы и нет? Кухня-то ведь русская! Щи буду закатывать, кулебяки загибать, жареных поросят зашпаривать. На всю Турцию звон сделаю.

— Но ведь для этого дела нужны большие деньги!

— Я знаю! Тысяч десять лир. Но это самое легкое. Найду какого-нибудь богатого дурака-грека — в компании с ним и обтяпаем.

Молчавший доселе бородач вдруг захохотал, одарил морскую гладь сложнейшим плевком с прихотливой завитушкой и дружески ударил меня по плечу.

— Нет, это все скучная материя — дела, расчеты, выкладки. Вот у меня план так план! Знаете, что я буду там делать?

— А бог вас знает.

— То-то и оно. Ничего не буду делать. Сложу руки буду сидеть. Валюту везу. Ловко, а!

— Замечательно.

— Да-а. Узнает теперь этот Константинополишка Никанора Сырцова! Ей-бо, право! Палец о палец не ударю. Сложу руки и буду сидеть. Поработали, и буде. Ежели встречу там где — шампанеией до краев налью. Да просто заходи в лучший готель и спроси Никанора Сырцова — там я буду! А може, я в Васькиной газете публиковаться буду: «Такой-то Никанор Гаврилов Сырцов разыскивает родных и знакомых на предмет выпивки с соответствующей закуской». А в кабак мы с тобой будем ходить только в Петькин: пусть нам там негры и венгерцы дурака ломают. Поддержим приятеля, хе-хе! Хай живе Украина!

Журавлиный треугольник отделился от перил, взмахнул крыльями и плавно понесся в трюм на предмет насыщения своих пернатых желудков.

\* \* \*

Пока все беженство кое-как утряслось, пока я лично устраивался — никто из журавлиного треугольника не попадался мне на глаза.

Но однажды, когда я скромно ужинал в уголку шумного ресторана, ко мне подлетел головной журавль — Никанор Сырцов.

— Друг! — завопил он. — Говорил, шампанеией налью — и налью. Пойдем до кабинету. Какие цыгане — пальчики оближешь. Как зальются — так или на отцовскую могилу хочется бежать, или кому-нибудь по портрету заехать. Благороднейшие люди.

Он сцепился со мной на абордаж, после долгой битвы победил меня и, взяв на буксир, отшвартовался «до кабинету», который оказался холодной дымной накуренной комнатой, наполненной людьми. В руках у них были гитары, на плечах линиялы кунтуши, на лицах — скука непроходимая.

— Эй, брат! — воскликнул Сырцов, становясь в позу. — Люблю я тебя, а за что, и сам не знаю. Хороший человек, чтоб ты сдох! Веришь совести — вторую тысячу пропиваю!.. А ну вы, конокрады, ушкварьте «Две гитары за стеной!».

Пел Сырцов, рыдал Сырцов в промежутках и снова плясал Сырцов, оделяя всех алчущих и жаждущих бокалами шампанского и лирами.

— Во, брат, — кричал он, путаясь неверными ногами в странном танце. — Это я называю жить сложа

руки! Вот она, брат, и есть настоящая жизнь! Ой, жги, жги, жги!..

Последний призыв Никанора цыгане принимали вяло и вместо поджога только хлопали бокал за бокалом, зевая, перемигиваясь и переталкиваясь локтями. Впрочем, и сам Сырцов не мог точно указать, какой предмет обречен им на сжигание.

— Постой, — попытался я остановить пляшущего Никанора. — Расскажи мне лучше, что поделявают твои приятели? Открыли ресторан? Издают газету?..

— А черт их знает. Я восьмой день дома не был — так что мне газета! На нос мне ее, что ли?

\* \* \*

Шел я однажды вечером по Пти-Шан. Около знаменитого ресторана «Георгия Карпыча» раздался нечеловеческий вопль:

— Интер-ресная газета «Пресс дю Суар!». Купите, господин!

Я пригляделся: вопил издатель из журавлиного треугольника.

Очевидно, вся его издательская деятельность ограничилась тем, что он издавал вопли, с головой уйдя в несложное газетное дело сбыта свежих номеров.

— Что же это вы чужую газету продаете, — участливо спросил я. — А своя где?

— Дело этого... налаживается, — нерешительно промямлил он. — Еще месяц, два и этого... С разрешением дьявольски трудно!..

— А что ваш приятель? Как его дело с рестораном?

— Пожалуйста! Тут за углом, второй дом, вывеска. Навестите, он будет рад.

«Слава богу, — подумал я, идя по указанному адресу, — хоть один устроился!..»

Этот последний, действительно, увидев меня, обрадовался.

Подошел к моему столику, обмахнул его салфеткой, вынул из кармана карточку и сказал:

— Вот приятная встреча! Что прикажете? Водочки с закусточкой, горячего или просто чашку кофе?

— Вы что тут, в компании? Нашли дурака-грека с деньгами?

— Нет, собственно, он нашел меня, дурака. Или, вернее, я его, конечно, нашел, ну так вот... Гм!.. Пока служу. У него, впрочем, действительно есть большие деньги. Я только... этого. Не заинтересован.

— А венгерцев и негров нет?

Он отвернулся к окну и стал салфеткой протирать заплаканное стекло.

— И швейцар ваш без алебардов, безоружный, в опорках...

— Шутить изволите. Может, винца прикажете? Хорошее есть.

Еще месяц с грохотом пронесся над нашими головами.

Проходя мимо греческого пустынного ресторанчика, я иногда видел дремлющего у стены с салфеткой под мышкой смелого инициатора дела, построенного на венгерцах, неграх, швейцарцах и алебардах.

И по-прежнему издатель на углу яркой улицы издавал стоны:

— «Пресс дю Суар!»

Вчера, остановившись и покупая газету, я спросил простодушно:

— А что же ваша собственная газета?

— Наверное, скоро разрешится.

— Ну а что ваш приятель Никанор Сырцов? По-прежнему сидит сложа руки?

— Сложа-то сложа... Только не сидит, а лежит. От голодного тифа или что-то вроде — помер. Все деньги на цыган да на глупости разные проухал! У меня, в конце концов, по пяти пиастров перехватывал! Да мне тоже, знаете, взять их неоткуда. Вот тебе и «сложь руки»! Много их, таких дураков.

И когда он говорил это — у него было каменное неподвижное лицо, как у старых боксеров, которых другие боксеры лупили по щекам огромными каменными кулачищами, отчего лицо делается навсегда непробиваемым.

Жестокий это боксер — Константинополь! Каменеет лицо от его ударов.

## Развороченный муравейник

Разговор в беженском общежитии:

— Здравствуйте... Я к вам на минутку. У вас есть карта Российской империи?

— Вот она. На стенке.

— Ага! Спасибо. А почему она вся флажками покрыта? Гм! Для линии фронта — флажки, кажись, слишком неряшливо разбросаны...

— Родственники.

— Ага! Родственники это сделали?

— Какие родственники! Я это сделал.

— Родственникам это сделали? Для забавы?..

— К черту забаву! Для собственного руководства сделал.

— В назидание родственникам?

— Плевать хочу на назидание!

— А при чем же родственники?

— Выдерните флажок из Екатеринослава! Ну? Что там написано?

— «Алеша» написано.

— Так. Брат. Застрял в Екатеринославе.

— Позвольте... А где же ваша вся семья?

— А вот следите по карте... Отправной пункт — Петербург — застряла больная сестра. Служит в Продкоме, несчастная. «Москва» — потеряли при проезде дядю. Что на флажке написано?

— Написано: «Дядя».

— Правильно написано. Дальше — «Курск»: арестована жена за провоз якобы запрещенных 2 фунтов колбасы. Разлучили, повели куда-то. Успел вскочить в поезд, потому что там оставались дети. Теперь — ищите детей... Станция Григорьевка — Люся... Есть Люся? Так. Потерялась в давке. Еду с Кокой. Станция Орехово. Нападение махновцев, снова давка — Коку толпа выносит на перрон вместе с выломанной дверью. Три дня искал Коку. Пропал Кока. Какой флаг на Орехове?

— Есть флаг: «Кока на выломанной двери».

— Правильный флаг. Теперь семья брата Сергея... Отправной пункт бегства — Псков. Рассыпались кистью, вроде разрыва шрапнели. Псков — безногий паралитик дедушка, Матвеевка — Грися и Сеня. Добронравовка — свояченица, Двинск — тетя Мотя, сам Сергей — Ковно, его племянник где-то между Минском и Шавлями — я так и флажок воткнул в нейтральную зону... Теперь — гроздь флажков в ростовском направлении — семья дяди Володи, тонкая линия с перерывами на сибирское направление — семья сестры Лики!.. Пук флажков по течению Волги... Впрочем, что это я все о своих да о своих... Прямо невежливо! Вы лучше расскажите — как ваша семья поживает?

— Да что ж рассказывать... Они, кроме меня, все вместе — все 9 человек.

— Ну слава богу, что вместе.

— Вы думаете? Они на Новодевичьем кладбище в Москве рядышком лежат...

## Великое переселение народов

Когда я шел по улице, то случилось так, что этим актером будто кто-то швырнул в меня из окна третьего этажа: так неожиданно налетел он на меня, и едва ли — не сверху.

— Осторожнее, грудную клетку поломаете, — испуганно воскликнул я.

— Простите, не заметил. Задумался.

— Небось, все о дороговизне здешней жизни думаете?..

— Так. Млеко-та от крав гораздо-та драгота.

— Я... вас... не понимаю.

— Я насчет крав. Млеко-та ихнее, говорю, гораздо драго-та.

— Это еще что за арго?

— Болгарский язык. Я теперь по-болгарски учусь.

— На какой предмет?

— В славянские земли еду.

— На какой предмет?

— Петь там буду. Я певец. Петь буду.

— На какой предмет?

— Деньги зарабатывать. Там, говорят, очень выгодно для актеров. Болгары — чудесный народ.

В это время к моему собеседнику подошел другой актер. Поздоровались они:

— Живио.

— Наздар!

— Скро едъм?

— Как тлько блгарскую взу плучу-та.

— Вы тоже едете? — спросил я.

— Обязательно. Все едут: Звонский, Кринский, Брутов, Крутов, Весеньев и Перепентьев.

— Позвольте... Вас я еще понимаю, что вы едете: ваша специальность — балалайка... Так сказать, международный язык! А что там будут делать Брутов и Крутов? Ведь они драматические.

— Драму будут играть.

— Но ведь болгары не понимают по-русски!

— Поймут! Все дело в том, что из пьесы нужно все гласные вымарать и к каждому слову «та» прибавить. Тогда и получится по-болгарски. Сейчас помощник режиссера сидит и вымарывает, актеры даже рады: меньше учить придется. Здраво-та?!

— Крпко здраво, — улыбнулся я.

— Вот видите — вы тоже уже научились. Это ведь быстро! Пресимпатичный язык! Когда едете?

— Я не собираюсь.

— Неужели?! Первого человека вижу, который не едет в славянские земли!

— А что мне там делать?

— Писать будете. Написали рассказ, вычеркнули все гласные, да и марш в газету. Как говорится: марш, марш, генерале наш!

— Вздор! Дурацкая мсль-та!

— Ничего не дурацкая. В славянских землях многи листи излази.

— Чего-о?

— Я говорю: многи листи излази. По-нашему — много газет выходит. А театр, по-ихнему, — позорище.

— Вот видите. А вы едете.

— Да ведь не я один. И Громкин, и Самыкин, и Зуев, и Заворуев — все едут.

— Как Заворуев?! Ведь он не актер!

— А он хорошо на пробке играет. Зажмет пробку в зубы и ну по щекам пальцем щелкать. Любой мотив изобразит.

— Гм... да... Теперь я понимаю, почему театр, по-славянски, — позорище.

— Самыкин, хотя он и беговой наездник, — у нас он будет знаменитым славянским стрелком.

— Ну, дай ему бог настрелять побольше.

Подошел к нам Сеня Грызунков, существо, умственный багаж которого не позволил бы своему обладателю и до Кады-Кея без посторонней помощи доехать.

— Здрав буди, — сказал Сеня, здороваясь со мной. — Ну, братцы, поздравьте! Исаяя, ликуй. Получил заграничный паспорт и еду в церковнославянские земли!

— Сеничка, — сочувственно сказал я. — Как же ты поедешь в церковнославянские земли... Ведь там, поди, церковей много?..

— Ну, так что ж...

— А вашего брата и в церкви бьют.

— Мой брат и не едет. Он в Совдепии застрял. А мы с Маничкой Овсовой едем. У нее позавчера в половине пятого голос открылся. Настоящая Нежданова. Будем цыганскими романсами работать. Едем я, она и ее тетка. Гайда тройка!

\* \* \*

Пришел я домой, взглянул на карту Болгарии, и сердце у меня сжалось:

— Больно-та мала страна-та.

Но тут же и успокоился:

— Это ничего, что страна маленькая, зато сердце у нее великое. Душа гостеприимная.

Вижу отсюда, что пригреет Болгария, по мере возможности, и Громыкина, и Самыкина, и Зуева, и Заворуева.

# Трагедия русского писателя

Меня часто спрашивают:

— Простодушный! Почему вы торчите в Константинополе? Почему не уезжаете в Париж?

— Боюсь, — робко шепчу я.

— Вот чудак... Чего ж вы боитесь?

— Я писатель. И поэтому боюсь оторваться от родной территории, боюсь потерять связь с родным языком.

— Эва! Да какая же это родная территория — Константинополь.

— Помилуйте — никакой разницы. Проходишь мимо автомобиля — шофер кричит: «Пожалуйста, господин!» Цветы тебе предлагают: «Не купите ли цветочков? Дюже ароматные!» Рядом: «Пончики замечательные!» В ресторан зашел — со швейцаром о Достоевском поговорил, в шантан пойдешь — слышишь:

— Матреха, брось свои замашки, скорей тангу со мной пляши...

Подлинная черноземная Россия!

— Так вы думаете, что в Париже разучитесь писать по-русски?

— Тому есть примеры, — печально улыбнулся я.

— А именно?..

Не отнекиваясь, не ломаясь, я тут же рассказал одну известную мне грустную историю —

## *О русском писателе*

Русский пароход покидал крымские берега, отплывая за границу.

Опершись о борт, стоял русский писатель рядом со своей женой и тихо говорил:

— Прощай, моя бедная истерзанная родина! Временно я покидаю тебя. Уже на горизонте маячит Эйфелева башня, Нотр-Дам, Итальянский бульвар, но еще не скрылась с глаз моих ты, моя старая добрая, так любимая мною Россия! И на чужбине я буду помнить твои маленькие церковки и зеленые монастыри, буду помнить тебя, холодный красавец Петербург, твои улицы, дома, буду помнить «Медведя» на Конюшенной, где так хорошо было запить расстегай рюмкой рябиновой! На всю жизнь врежешься ты в мозг мне — моя смешная, нелепая и бесконечно любимая Россия!

Жена стояла тут же; слушала эти писательские слова — и плакала.

\* \* \*

Прошел год.

У русского писателя была уже квартира на бульваре Гренель и служба на улице Марбеф, многие шоферы такси уже кивали ему головой, как старому знакомому, уже у него было свое излюбленное кафе на улице Пигаль и кабачок на улице Сен-Мишель, где он облюбовал рагу из кролика и совсем недурное «ординэр»...

Пришел он однажды домой после кролика, после «ординэра», сел за письменный стол, подумал и,



тряхнув головой, решил написать рассказ о своей дорогой родине.

— Что ты хочешь делать? — спросила жена.

— Хочу рассказ написать.

— О чем?

— О России.

— О че-ем?!

— Господи боже ты мой! Глухая ты, что ли? О России!!!

— Calmez-vous, je vous en prie [63]. Что ж ты можешь писать о России?

— Мало ли! Начну так: «Шел унылый, скучный дождь, который только и может идти в Петербурге... Высокий молодой человек быстро шагал по пустынной в это время дня Дерибасовской...»

— Постой! Разве такая улица есть в Петербурге?

— А черт его знает. Знакомое словцо. Впрочем, поставлю для верности — Невскую улицу! Итак: «...Высокий молодой человек шагал по Невской улице, свернул на Конюшенную и вошел, потирая руки, к «Медведю». — «Что, холодно, monsieur?» — спросил метрдотель, подавая карточку. — «Mais oui [64], — возразил молодой сей господин. — Я есть большой замерзавец на свой хрупкий организм!»

— Послушай, — робко перебила жена. — Разве есть такое слово «замерзавец»?

— Ну да! Человек, который быстро замерзает, — суть замерзавец. Пишу дальше: «Прошу вас очень, — сказал тот молодой господин. — Подайте мне один застегай с немножечком poisson bien frais [65] и одну рюмку рабиновку».

— Что это такое — рабиновка?

— Это такое... du водка.

— А по-моему, это еврейская фамилия: Рабиновка — жена Рабиновича.

— Ты так думаешь?.. Гм! Как, однако, трудно писать по-русски! — И принялся грызть перо. Грыз до утра.

\* \* \*

И еще год пронесся над писателем и его женой.

Писатель пополнел, округлел, завел свой авто — вообще, та вечерняя газета, где он вел парижскую хронику, щедро оплачивала его — «сет селебр рюсс» [66].

Однажды он возвращался вечером из ресторана, где оркестр ни с того ни с сего сыграл «Боже, царя храни»... Знакомая мелодия навеяла целый рой мыслей о России...

«О, нотр повр Рюсси! [67] — печально думал он. — Когда я приходить домой, я что-нибудь будить писать о наша славненькая матучка Руссия».

Пришел. Сел. Написал:

«Была большая дождика. Погода был то, что называй веритабль петербуржьен! [68] Один молодой господин ходил по одна улица, по имени сей улица: Крещиатик. Ему очень хотелось manger. Он заходишь на Конюшню сесть на медведь и поехать в restaurant, где скажишь: garçon, une tasse de [69] рабинович и одна застегайчик авес [70] тарелочка с ухами...»

\* \* \*

Я кончил.

Мой собеседник сидел, совсем раздавленный этой тяжелой историей.

Оборванный господин в красной феске подошел к нам и хрипло сказал:

— А что, ребята, нет ли у кого прикурить цыгарки!

— Да, — ухмыльнулся мой собеседник. — Трудно вам уехать из русского города!

## Язык богов

Маленькая грязная комнатка, с гримасой бешенства сдаваемая маленькой грязной гречанкой одному моему безработному знакомому.

Он слишком горд, чтобы признать отчаянное положение своих дел, но, зайдя к нему сегодня, я сразу увидел все признаки: вымытую собственными руками рубашку, сушившуюся на портрете Венизелоса, тарелку, на которой лежал огрызок ужасающей жареной печенки с обломком семита — отложенные в качестве ужина, грязная закопченная керосинка с какой-то застывшей размазней в кастрюле.

Обитатель комнаты так углубился в чтение книги, что даже не заметил моего появления...

— Что ты сидишь, как сын, нос в книгу уткнул. Захлопывай книгу, пойдем по взморью на лодке кататься. Погода изумительная!

Поднял он от книги тяжелую голову, поглядел на меня ничего не видящими глазами — опять уставил их в книгу.

— Ну что же ты?

— Сегодня не могу, книжку читаю.

— Подумаешь, важность — книжка! Что это: откровение великого мыслителя, что ли?

— Подымай выше! Видишь, не могу оторваться.

— Поэма Эдгара По?

— Убирайся ты со своим По!

— Бешеная фантазия Гастона Леру?

— Откровенно говоря, я не знаю, как эта книга и называется: первые несколько листов оторваны. Знакомый газетчик дал.

— Да с чего же начинается?

— А вот послушай: «...вообще, на рынках и в лавках купить хороших, сытых, т. е. откормленных, цыплят — большая редкость. Ежели хотите иметь хороших цыплят, то, купив их живыми, следует покормить недельки две дома гречневой крупой, заваренной кипящим молоком, и содержать всех в тесном месте, чтобы цыплята не бегали. Но ежели хотите побаловать себя цыплятами на славу (тут голос моего приятеля дрогнул от волнения), то покормите их вареным на молоке рисом! Цыплята будут объедение: белое, нежное, тающее во рту мясо, с косточками, как хрящики. Правда, такое кормление молочным рисом обходится немало — рубля 3–4».

Я проглотил слюну и нетерпеливо воскликнул:

— Постой! Да ведь это простая поваренная книга!!

— Простая?! Нет, брат, не простая! Послушай-ка: «Главный подвоз рябчиков — вологодских и астраханских — начинается с установившегося зимнего пути. Лучшие сибирские рябчики — кедровики, то есть питающиеся кедровыми орехами. Когда выбираете дичь — она должна быть чиста, чтоб дробинки, так сказать, нигде не было видно. Это тем особенно важно, что тогда, во время жаренья жирной птицы, сало и сок из ее ранок не вытекают, отчего она не высохнет и не потеряет во вкусе. Хороший рябчик должен быть: бел, сыт, т. е. мясист. Аромат его — приятно-смолянистый».

— Ну так едем, что ли?

Я внутренне лукаво улыбнулся и добавил:

— Марья Григорьевна тоже едет.

— Марья Григорьевна? Ага. А ты вот это послушай: «Бывают случаи, что люди самые опытные ошибаются в выборе рыбы — да еще как ошибаются-то! Плавают, например, в садке или окаренке две стерляди; рост у них, правильнее — мера, — одинаковая, обе толстые, брюшко у обеих желтое, обе без икры, яловые, что вкуснее. Вы просите подрезать рыб снизу, к наростику, т. е. к хвосту. Подрезать обеих: и обе, как желток, жир — червонное золото. Чего еще требовать? Как еще пробовать? Между тем за столом оказывается, что одна из стерлядей вкусом удивительная, нежная, тает во рту, другая — так себе, грубая, дряблая, темновата, да и жиру в ней оказывается мало — весь он остался в рассоле, в котором варили стерлядь, и потемнела-то она во время варки. Отчего? Оттого, что стерлядь эта другой воды: первая из Оки, вторая — волжская!!»

— Н-да, — задумчиво сказал я, машинально глотая слюну. — Дела!

— Вот видишь! А ты знаешь, как телят поят?

— Подумаешь, важность; дадут ему воды — он и пьет.

— Ха-ха-ха! Слушай. «Еще не так важно отпоить теленка, как важно выбрать его для отпоя, в чем, главное, и заключается секрет троицких телятников. Именно: выбирайте для отпоя теленка на низких, а не на высоких бабках, смотрите, чтоб у него были белы белки и губы, изнутри, когда их подвернете. Теленок, выбранный для отпоя, не должен делать большого движения, для чего его ставят в тесное стойло, где бы он мог только повернуться, лечь и встать, но отнюдь не скакать и играть; подстилки не должно класться никакой: одна соломина, которую теленок будет жевать, испортит все дело. В стойле должно быть сухо, для чего пол делают наклонным, с дырками, чистым. Ежели в молоко будет подлита хоть капля воды или подбавлена мука — телятина будет непременно красна и груба. Менее как в четыре-пять недель порядочно отпоить теленка нельзя; но поят очень хороших по три, даже по четыре месяца. Конечно, таким телятам молока от одной коровы недостаточно, и поят их от двух, трех, пяти и более коров».

— Что ты хочешь этим сказать? — угрюмо спросил я.

— Ничего! — отвечал он торжествующе.

— А Марья Григорьевна тебя два раза спрашивала; она сегодня особенно интересна. И понимаешь — на блузке совсем прозрачные рукава... А руки! Белые, пухленькие, с ямочками на локтях. Грудь...

— А это: «К масленице зернистую икру подвозят в столицы и даже почти во все города нашего отечества в огромном количестве. К сожалению любителей, хорошая зернистая икра всегда в цене (4–4½ руб. фунт); достоинства зернистой икры следующие: малая соль, разбористость, т. е. зерно должно быть цело, не смято и отделяться одно от другого свободно, раскатываться в дробь. Белужья икра крупнее и беловатее, осетровая — мельче и с желтизной, но трудно сказать, которая лучше. Лучшая зернистая икра — багрена, т. е. та, которая вынута из рыбы, пойманной на воле багром, а не садковая, т. е. вынутая из рыбы, сидевшей уже в садках, из потомленной рыбы». Ха-ха! Понимаешь, как люди раньше жили? Икру из томленной рыбы он не лопал!..

— Послушай: замечательная погода. Море тихое, а? Поедем... Сейчас полная луна, с берега доносится музыка, волны тихо шелестят о борта лодки... Марья Григорьевна смотрит на тебя загадочным мерцающим взглядом. Стройная подъемистая ножка шаловливо выглядывает из-под края шумящей юбки...

— А это?! «Макарены Монглас. В приготовленные и вымешанные с маслом макароны положить тертый пармезан пополам с швейцарским сыром, филеи из кур, нарезанные ломтиками, гусиные печенки, трюфели и шампиньоны, предварительно обжарив их в масле. Потом прибавить ложку белого соуса,

размешать, подавать при консоме...» А? каково?

— Не спорю, — вздохнул я. — Макароны Монглас — очень вкусная штука. Да, кстати, о Марье Григорьевне. За ней в последнее время усиленно прихлестывает Пузыренко... Если ты не поедешь — он тоже увяжется в лодку...

— Меня не это удивляет, — рассеянно возразил приятель. — Меня удивляет «Гарнир Массена». Полюбуйся-ка: «Снять с дроздов филеи, подрезать верхнюю плеву, подсолить, изжарить. Очистить свежие каштаны и, обжарив немного в сливочном масле, налить бульоном, сварить до мягкости; приготовить на двух яйцах лапшу, сварить в соленом кипятке, откинуть на решето. Когда все будет готово, сложить лапшу на растопленное масло в кастрюле, размешать, выложить на блюдо, сверх лапши уложить филеи, а середину наполнить сваренными каштанами...»

— Ей-богу, — моляще простонал я, — я дроздов не люблю. Другое дело перепелки... И Марья Григорьевна их очень любит. Знаешь, когда она ест своими беленькими зубками...

— Перепелки, говоришь? Изволь! «Гарнир Шомель. Снять филеи с 6-ти перепелок и, подрезав верхнюю кожицу, сложить на вымазанную маслом глубокую сковородку и обжарить. Выпустить в кастрюлю 10 желтков яиц, развести выкипяченным соком из перепелов, посолить, процедить, разлить в намазанные маслом формочки и сварить на пару. Нафаршировать овальные гренки фаршем из дичи № 17...»

— Постой, постой! А как делается № 17?..

— Сейчас посмотрим...

Было 2 часа ночи.

Луна, освещавшая где-то далеко на тихом взморье Марью Григорьевну и Пузыренко, заглядывала и к нам в окно. Так как мой приятель устал читать — его заменил я. Наклонившись над книгой, читал я внятно и со вкусом:

— «Артишоки, фаршированные другим манером. Приготовить артишоки, обдать их кипятком, а потом выбрать на салфетку. Приготовить фарш № 27, прибавить шампиньонов, рубленого трюфеля, рубленой зелени, раковых шеек...»

\* \* \*

Смаковали до утра.

Что ни говори, а бедному русскому в Константинополе удастся иногда попить по-царски.

## Бриллиант в три карата

Недавно я мог разбогатеть. И я с высоко поднятым челом прошел мимо этого богатства, к которому буквально стоило только протянуть руку.

Что меня удержало? Полагаю, исключительно только те принципы, которым еще в детстве научила меня мама, да то кроткое лицо любимой девушки, которое глянуло на меня с небес.

На Пере около Русского посольства в 4 часа дня ко мне подошел бедно одетый человек с открытым лицом и спросил:

— Где банкирская контора Иванова?

— Не знаю, голубчик, — вежливо сказал я, разглядывая витрину книжного магазина.

Тогда он обратился к другому господину, стоявшему подле, — солидному, приветливого вида господину.

— Где банкирская контора Иванова?

— А зачем вам банкирская контора?

— Да вот хочу русский золотой продать.

На лице солидного ясно отпечатались ненасытное корыстолюбие:

— Сколько хотите? — спросил он, подмигивая мне...

— Пять лир.

— Давайте.

Я пошел вперед, но солидный догнал меня и, очевидно, не смоги сдержать распиравшей его изнутри радости, объявил:

— Видали вы такого дурака? Золотой стоит семь с полтиной, а он за пять отдал.

— А хорошо ли пользоваться неопытностью ближнего? — мягко упрекнул я.

— Ну, вот еще! Дураков учить надо.

В это время человек, так жестоко охарактеризованный солидным, догнал нас и сказал, таинственно озираясь:

— А у меня еще вещички есть... Не купите ли?

Мой новый знакомый заволновался и толкнул меня по-сообщнически локтем: «Не будет ли, дескать, поживы?»

— Только зайдем под ворота.

И тут в полумгле ворот перед нашими очарованными глазами блеснули из бархатной коробочки два великолепных крупных бриллианта...

— Сколько хотите? — истерически заволновался солидный, даже облизнув запекшиеся губы. — Я куплю.

И шепнул мне на ухо:

— Понимаете... Трехкаратники. Чистая вода. Лир по семьсот. Если хотите — уступлю вам.

Мое врожденное благородство не позволило мне воспользоваться таким щедрым предложением.

— О, что вы! Вам первому предложено...

— Ну, хорошо, я триста лир дам за пару! — засуетился солидный... — Только сейчас в контору сбегая. У меня тут комиссионно-ювелирная контора. Подождите минутку...

Продавец оказался капризным, как избалованная кокетка:

— Ну, вот еще: ждать! Хотите — берите, нет — не надо.

И, замкнувшись в самого себя, побрел вперед.

Мой новый знакомый схватил меня за руку и умоляюще зашептал:

— Не упускайте его из виду! Задержите хоть на пять минут, пока я за деньгами смотаюсь. Двести вам дам за комиссию!.. Идите за ним. Ведь тут на полторы тысячи.

Я догнал продавца и, усмехаясь, сказал:

— А этот субъект здорово разгорелся на ваши бриллианты. Он просит подождать.

— А ну его!.. Не продам я ему, — угрюмо пробормотал таинственный бриллианщик.

— Почему?

— Не хочу с жидами дело иметь.

— Фи! Стыдитесь! — огорченно заметил я. — При чем тут эта расовая рознь, когда лучшие умы...

— Купите лучше вы. Я вам за сто отдам.

Суетная гордость наполнила мою душу:

— Вот, — подумал я. — Значит, есть же во мне что-то, до того привлекательное, что даже незнакомый человек под влиянием этого гипнотического обаяния готов отдать сокровище за десятую долю стоимости.

— Увы, голубчик, — вздохнул я. — У меня и всего-то есть пятьдесят лир.

— Ну, давайте.

— Красиво ли это будет, — вскричал я в благородном порыве, — если я воспользуюсь вашей неосведомленностью! Знайте же, о продавец, что тот господин оценил ваши бриллианты в полторы тысячи!.. Он говорит: чистая вода.

— А Бог с ними... Куда я их дену!..

О, бедное непрактичное дитя!

Сердце мое дрогнуло жалостью...

— Ну... пойдём со мной в магазин! У меня есть знакомый ювелир!.. Я попрошу, он вам заплатит не менее тысячи!

— Нет, какие там магазины... Не пойду я... Начнутся расспросы: что да как?

— Послушайте, — прошептал я, и моя честная кровь застыла в не менее честных жилах. — Честным ли способом приобретены эти драгоценности?!

— Ну, что вы, господин! За кого вы меня принимаете...

— О, простите, простите, — бросился я к нему, в раскаянии пожимая его руку. — Я, было, усумнился, но ведь это так понятно... И, поверьте, если бы у меня было лир восемьсот...

— Берите за пятьдесят одну штуку!..

— О, нет, нет. Это было бы неблагородно по отношению к вам! Ведь я же вижу, что вы можете

получить в десять раз больше... Вот зайдём в этот ювелирный магазин, я устрою...

— В этот? Именно в этот? Зайдём.

Перед намеченным нами магазином стоял человек без шапки, очевидно, приказчик, вышедший подышать свежим воздухом.

— Куда вы? — растопырил он руки. — Магазин на полчаса закрыт. Проверка. Приходите через полчаса. А что вы хотели?

Мой спутник доверчиво раскрыл коробочку.

— Ах, какая прелесть! — вскричал приказчик, совершенно ослепленный. — Каратов по пяти! Пойдите, куда ж вы?!

Владелец бриллиантов пошел вперед, а человек с наружностью ювелирного приказчика схватил меня за руку и зашептал:

— Ради Бога, не упускайте! Это пятикаратники! Чистая вода! Купите у него, наш магазин даст вам тысячи полторы! Приходите только через полчаса. Не выпускайте!

Богатство сверкало тут же, можно сказать, перед самым моим носом, ослепляло меня, но... имел ли я моральное право пользоваться наивностью доверчивого простака?

— Ну, что?.. Покупаете, что ли? — обратился ко мне этот чудака. (Он видел, что я колебался.)

— Но... у меня только пятьдесят лир!..

— Берите! Все равно, — беззаботно махнул он рукой.

Дрожа от тайной радости, я засунул руку в карман и вынул пятьдесят лир... О, что мне сейчас эти жалкие гроши, когда через час я буду обладателем сотен...

— Вы мне дайте тот, который побольше, — жадно прошептал я.

— Пожалуйста!

Я протянул руку к бриллианту, и вдруг... кроткий образ моей умершей невесты будто заглянул с неба мне в душу. «Прав ли ты, обманывая своего ближнего», — прозвучал голос с небес.

«О, Мэри, — воскликнул я внутренне. — Простишь ли ты меня? О Мэри, это была только минута слабости!»

Взор мой просветлел... Я спрятал деньги обратно в карман и твердо сказал:

— Нет, друг мой, это было бы преступлением в отношении вас! Такая драгоценная вещь за гроши... о, нет!.. Я дам вам рекомендательное письмо к одному моему богатому приятелю, а для него полторы-две тысячи лир по справедливой оценке ювелира... Куда ж вы?!

Он взглянул на меня непередаваемым взглядом и замешался в толпе.

О, Мэри! Только ради тебя оттолкнул протянутую руку, полную роскоши, красоты и богатства.

\* \* \*

Ничего не понимаю.

Вчера один знакомый восторженно рассказывал мне о том, что купил по случаю на Пере «четырёхкаратник» за 35 лир...

— Это нечто изумительное! — кричал он. — Это перл природы!



Пошли мы оба сбывать перл природы в ювелирный магазин — хозяин предложил за «перл» 15 пиастров.

Как катастрофически падают цены на бриллианты!

# Константинопольские греки

До русской революции я знал греков так же, как знал болгар, мадьяр, итальянцев...

Мадьяры ходили по дворам, продавая мышеловки, итальянцы продавали коралловые ожерелья и брошки из лавы, болгарин специально демонстрировал по улицам дрессированную обезьяну, а грек исключительно торговал губками. Каждая национальность имела свою профессию, и никакой путаницы не было. Если бы вы каким-нибудь чудом увидели грека с обезьяной, то — одно из двух: или грек был не настоящий, или обезьяна поддельная...

Встречал в России и чехов: их специальность была — преподавание в русских гимназиях латинского и греческого языков...

А грек — торговал губками...

В Константинополе я впервые увидел греков, торгующих и не губками, и это сначала производило болезненное впечатление. Впрочем, если и не губками, то грек все равно торговал. За полтора года я не встретил ни одного грека, который был бы художником, музыкантом, инженером или балетным танцором...

Благодаря новой турецкой политике — все греки теперь покидают Константинополь... [71] Для вас, читатель, это пустяки — одно из тысячи второстепенных политических течений, а для греков это то же, что разрушение Помпеи.

У них были огромные магазины, рестораны, склады — и со всем этим грек должен расстаться...

Может быть, и сейчас на вас это не произведет никакого впечатления. Велика важность: Бог дал, Бог и взял.

Вы не знаете константинопольского грека... Все они, как один, скорей пустили бы себе пулю в лоб, чем расстались с благоприобретенным, но браунинг стоит 18 лир, а он и так на бегстве потеряет две трети состояния.

Не говорите мне, что я жесток, — вы не знаете константинопольского грека...

Когда вся Россия эвакуировалась из Крыма в Константинополь — России помогали все, кроме греков: турки, армяне, французы, англичане — и только один грек сделал, что мог: повысил вдвое цены на сдаваемые русским комнаты...

У всякого народа бывают хорошие, бывают и плохие элементы. У греков нет ни хороших, ни плохих элементов — все как один и один как все. Правда, они даже по-своему любили русских, потому что русский — широкая славянская душа — и его можно обчистить, обмошенничать, как угодно...

Я бы еще понял грека, если бы он, «заработав» на русском, — спустил потом легко нажитые деньги в каком-нибудь русском же ресторане — не таков грек. Содранную с нищего русского лиру он, озираясь, прячет в кошелек, кошелек в чулок, чулок в шкатулку, шкатулку под паркет, паркет накроет ковром — и тогда сам черт не достанет этих денег...

*Греческое искусство.* Греческого театра нет. Греческой литературы нет. Музыки нет. Играют только на лире, и то если она турецкая, бумажная...

Греческие журналы страшны по внешности: оберточная бумага замазана красной и синей краской, а приглядишься — рисунок украден из «Ла ви Паризьен» или «Сурир» [72].

Самая популярная греческая песня «Пускай могила меня накажет» — украдена у русской улицы,

национальный греческий танец — фокстрот, и танцуют они его только в железобетонных зданиях, потому что неогречанки — потомки Сафо, Фрины, Аспазии и Билитис [73] — имеют ноги, по объему и весу своему разрушающие обыкновенный паркетный пол.

*Наружность грека.* Константинопольский грек черен, гречанка толста. У грека лицо летом и зимой покрыто слоем собственного жира, у гречанки весь жир ушел в ноги...

Одевается грек не по сезону, а по календарю: 6 дней в неделю ходит черт знает в чем, а в седьмой (воскресенье), сотворив все дела свои, — надевает дорогой костюм с фирмой скончавшегося 12 лет тому назад портного, надевает великолепное пальто, кашне, лакированные ботинки, калоши (если стоит жаркое лето — это неважно), берет зонтик, берет под руку не менее пышно одетую жену и идет гулять по Пере, толкаясь среди тысячи таких же пышных греков.

Иногда им овладевает припадок безумного разгула; тогда он заходит в кафе и требует: стакан кофе с пирожным (для себя), стакан чудесной кристальной воды (для жены).

Надо отдать ему справедливость — если он не с женой, а с любимой девушкой — он тогда может раскутиться: требует для себя не один стакан кофе, а два, так что звезда его очей получает два стакана кристальной воды, что надолго делает ее гордой своим любимым...

\* \* \*

Вот что такое константинопольский грек и вот почему то, что недавно делалось с греками в Константинополе, — это разрушение Помпеи в грандиозном масштабе...

# Утопленники

По Пере куда-то спешил человек.

Знакомый остановил его и спросил:

— Куда?

— В тюрьму.

— Навещать кого-нибудь?

— Нет.

Он помолчал и добродушно добавил:

— Может быть, кто-нибудь меня навестит.

И тут же между ними произошел такой краткий диалог, что ему позавидовал бы любой спартанец:

— Долги?

— Огромные.

— Предприятие?

— Идиотское.

— Коммерция?

— Антреприза.

— Прогорели?

— Сажусь.

— Кредиторы подсадели?

— И публика.

Будущий арестант сразу заволновался и вышел из рамок лаконичности.

— Вы знаете, что меня погубило? Султанская вода!

— Да что вы говорите? Такой вкусный освежающий безвредный напиток...

— Я захлебнулся, утонул в нем... Можете представить — что такое Константинополь? Это огромный городище в два или три миллиона жителей... А может быть, пять... Черт его знает. Так из трех миллионов могло в мой сад и театр ходить пятьсот человек?

— Могло.

— Ведь это такой пустяк — одна шеститысячная! Понимаете — из шести тысяч человек пусть только один идиот придет — и мне уже будет хорошо. Поняли? Теперь пойдем дальше: могли эти пятьсот оставить в моем саду в среднем по лире?

— Могли. Отчего же, — утешил его собеседник. — Я бы оставил.

— Спасибо. Теперь уже не надо. Мой расчет был такой: из пятисот человек, если 25 будут пить шампанское, — ведь это одна двадцатая от пятисот, а остальные пусть жрут кофе, пиво и котлеты — и вот я и мои компаньоны уже с прибылью! Уже мы можем заплатить оркестру, артистам и аренду... О-о, проклятый городишко!

— Шампанского меньше выпили?

— Ни бутылки! Первые дни масса столов занята, но всюду — султанская вода! Моря, океаны султанской воды... Сидят, слушают огромную программу и дуют эту воду, как верблюды... Выпили 12 бочек, так что в первые три дня я даже мог покрыть этой султанской водой свои расходы... Но потом эти пятьсот водяных каналов пересмотрели всю программу и потащились в другие сады пить султанскую воду. На днях прихожу я в свой сад — у столиков стоят до сорока кельнерш, перед сценой гремит оркестр из 15 человек, на сцене мечутся первые персонажи, хор и балет — 42 человека и... кто же всю эту стоголовую армию должен оплатить? Сидят перед сценой 4 грека и, покусывая зубочистки, пьют султанскую воду... И сделалось мне жутко... Представился мне Константинополь огромной ямой, где сотни тысяч человек попрятались по углам, насвистывают сами себе, вместо программы, «Мон-Омме» и дуют целыми цистернами султанскую воду. А в пустом саду перед четырьмя эллинскими аристократами мечутся за две бутылки султанской воды хор, балет, лучшие артисты — все это одетое, загримированное, срепетованное... Хватился я за голову да и крикнул компаньонам: «Лопнули!» В корабле пробоина и в пробоину вливается султанская вода... *(Он помолчал.)* Теперь, слава богу, хоть посижу в сухом месте. Впрочем, что это я все о себе да о себе... — Расскажите, что вы поделываете?

— А как же! Я теперь в больших хлопотах. С одним денежным человеком в компании сад и театр открываем. Расчет у нас, изволите видеть, такой.....

# Дела

На далеких кофейных плантациях под лучами жгучего беспощадного солнца тысячи полуобнаженных людей работают, добывая миллиарды зерен кофе.

Потом этот кофе грузится на корабли.

Корабли бороздят неизмеримые пространства морей и океанов.

Потом в Константинополе тюки кофе выгружаются.

Потом его мелют.

Потом жарят.

Потом приносят в кафе.

Варят; подают посетителям, которые делают дела только за чашкой кофе.

Потом из этих дел ни черта не выходит.

И прямо-таки больно мне: стоит ли тысячам полуобнаженных людей жариться под раскаленным солнцем, пароходам — плыть, рабочим — выгружать, кому-то молотить, жарить, варить, чтобы в результате ни из одного дела, решенного за чашкой кофе, — ничего не вышло.

\* \* \*

Вот те нижеследующие элементы, из которых складывается каждое константинопольское дело: одному человеку приходит в голову деловая мысль; он сообщает ее посреднику; при этом в кафе пьют кофе; очарованный деловой мыслью посредник мчится к капиталисту; пьют кофе; капиталист тоже приходит в восторг от замечательной деловой идеи. Сходятся, наконец, все трое, дую кофе изо всех чашек, которые только видны в окрестности. Торжественные клятвы положить все дни своей оставшейся жизни, все соки своего ума — на проведение замечательного дела. Расходятся.

Через три дня:

Капиталист (посреднику):

— Видите ли... Я, к сожалению, не могу внести деньги на это дело, потому что аргентинская шерсть упала по сравнению с бразильским зерном. Понимаете?

Посредник:

— Я вас понимаю. (Он ничего не понимает.) Мне самому, впрочем, сейчас не до этого дела: устраиваю метрополитен под Босфором!

Посредник (встречается с автором идеи):

— А знаете, что наш капиталистишка закинулся?

— Я чувствовал это с самого начала.

— У меня, впрочем, есть другой на примете. Если хотите...

— Нет, спасибо. Я уже без вас нашел кое-что, очень подходящее...

— Да? Ну и слава богу. Я бы все равно не мог заняться этим делом. Открываю воздушный ресторан на привязном шаре. Чудная мысль! Вот только бы капиталиста найти.

— Гм! Капиталиста? — призадумывается автор предыдущей идеи. — У меня, кажется, есть для вас кое-что подходящее.

И, о чудо! Прежнее дело безболезненно и легко забыто, инициатор предыдущего дела превратился в посредника настоящего дела, а посредник предыдущего, наоборот, — в инициатора.

Капиталист отыскивается моментально!

И снова: на кофейных плантациях кипит работа, собирают, грузят, везут, выгружают, жарят, мелют, варят — для чего? Только для того, чтобы три деловых человека поговорили, выработали проект договора, поклялись бодро идти нога в ногу по избранному деловому пути до конца своей жизни — и разошлись в разные стороны, не моргнув бровью.

\* \* \*

Никогда не предлагайте константинопольцу верных дел — они не для него.

От дела, могущего принести 50 процентов пользы, он брезгливо отвернется.

Но в воздушный ресторан на привязном шаре он ринется с головой, с руками и ногами; но на оригинальный симфонический оркестр, составленный исключительно из гермафродитов, он убухает все денежки...

Никогда не пытайтесь убедить его минимальными цифрами затрат; боже вас сохрани прельщать его скромной, дешевой сметой расходов.

Звоните, бухайте, сверкайте, дерите — тогда он, замороженный, как кролик змеиной головой, сам бросится вам в пасть.

— Помилуйте, наша прачечная, которую я предлагаю вам открыть, будет лучшая в городе! Десять паровых машин по сорок атмосфер, двести восемьдесят прачек, 102 гладильщицы — все красавицы как на подбор! Конечно, свой мыльный завод и небольшой участок для посева картофеля — собственный крахмал будем делать. Восемь грузовичков будут развозить белье по всей периферии города, электрическая станция, тройная испанская бухгалтерия!! Дзинь, бум, трах-та-ра-рах!

\* \* \*

Перед своим отъездом в Чехословакию я подвел и погубил целую массу константинопольских деловых людей. Простодушный, но крепкий, как медная ступка, я получил заманчивое предложение от одного капиталиста открыть в Берлине прекрасное предприятие.

Я еще не выпил и дюжины чашек кофе, как работа у меня закипела: я привлек других капиталистов, снял с места служилых людей, организовал, устроил, но... все были мной погублены, кроме первого капиталиста; он по-прежнему безмятежно пьет свой кофе, а они:

1. Отказались от места.
2. Продали свои громоздкие вещи.
3. Перевели свои деньги на германские марки.

Они именно сделали это потому, что я крепкий и устойчивый, как медная ступка. Такой человек не подведет.

Не будь меня, они бы мирно сошлись, мирно поглотили два-три литра кофе и мирно разошлись по своим делам.

Но... нельзя упаковывать медную ступку в один ящик с хрупким богемским хрусталем; своей солидностью я их передал, стер в порошок: места они потеряли, марки их упали, проданные вещи они прожили — в живых осталась только медная ступка да первый капиталист, который — скажи я ему, какая произошла из-за него суматоха, — только широко открыл бы глаза: вольно им, дуракам, было верить.

— Да ведь, позвольте! Сколько кофе было выпито, клялись идти об руку и, как говорилось в древности, — «на том крест целовали»!

— Что поделаешь — кофейное дело!

\* \* \*

Эти каналы — эти полуголые негры на кофейных плантациях: сколько они хорошего народу подводят!



## Заключение

Снова перечитал я свои «Записки Простодушного» и, сидя сейчас за письменным столом, призадумался...

Точно ли я теперь такой «Простодушный», каким был тогда, когда, ясным ликующим взором оглядывая пеструю Галату, высаживался на константинопольский берег в полной уверенности, что ожесточенная борьба хамалов из-за моих вещей — результат радости при встрече восточных поклонников с русским писателем. Точно ли я таков теперь, каким был тогда?..

О, нет. Гляжу я искоса в зеркало, висящее в простенке, — и нет больше простодушия в выражении лица моего...

Как будто появилось что-то себе на уме, что-то хитрое, что-то как будто даже жестокое.

А может быть, эти резкие складки около губ — результат дорого приобретенной мудрости?

Во всяком случае — умер Простодушный...

Доконал Константинополь русского Простодушного.

Целый ряд лет еще промелькнет перед нами... Но все эти годы уже будут обвеяны мудростью, хитростью и, может быть, — жестокостью.

Выковали из нас — благодушных, мягких, ласковых дураков — прочное железное изделие.

# Чехо-Словакия

## Прага

Недавно я прогуливался в сопровождении своего импресарио по улицам Праги, погруженный в тихое умиление.

«О прекрасная старуха, милая сердцу каждого художника, — думал я, — сколько веков копила ты свои каменные сокровища, и как ты ревниво бережешь их, подобно скупому рыцарю...»

— Очень недурной городишко, — прозаично перебил мои грезы импресарио — этот человек с книжкой театральных билетов вместо сердца и с идеалами, заключающимися в красиво отпечатанной афише.

— По отношению к Праге вы могли бы выражаться почтительнее, — сурово заметил я.

— Я восхищен Прагой. Чего ж вам еще нужно... — Я просветлел.

— А-а, понимаю. Вам нравятся эти живописные серые дремлющие дома, многовековый сон которых...

— При чем тут дома... Я восхищен тем, что здесь нет этой идиотской манеры — заклеивать чужие афиши.

— Черт знает о чем вы говорите! Какие афиши?!

— Обыкновенные, театральные. Я знал города, где только что наклеишь афишу, как другой импресарио уже бежит и наклеивает на вашу афишу свою.

— Глупости вы говорите.

— Нет-с, не глупости. Да вот вам наугад одна из многочисленных историй. Приехали в один город два гастролера, и выпустили их импресарио афиши. Вышел один импресарио погулять, полюбоваться на расклеенные афиши — глядь, а они уже сплошь заклеены его конкурентом... Побежал он домой, взял новые и пошел заклеивать афиши конкурента собственноручно. Только что кончил, видит, идет конкурент с пачкой афиш под мышкой и с ведром клея. Ходит и заклеивает только что наклеенные афиши. Побежал первый домой за свежими афишами — и давай восстанавливать свои нарушенные права. Около одного пункта оба сошлись. Стоят молча друг около друга и клеят. Один наклеивает, другой искоса взглянет на него да на свеженькую афишу свою и прилепит. Полчаса они так клеили одна на другую — прямо слоеный пирог на стене получился!

— Чем же кончилось? — спросил я, не на шутку заинтересованный.

— У первого афиши раньше кончились. Посмотрел он на свои пустые руки, вздохнул, снял пиджак, мазнул по нему кистью и залепил пиджаком афишу конкурента. Обиделся тот за такое нарушение театральной этики да хватъ беспиджачного кистью по голове...

— Убил?!

— Не особенно. Тот два месяца в больнице пролежал, а этот два месяца в тюрьме просидел. Сенсационнейший процесс был, но в результате оба по хорошему сбору сорвали. Знаете, я запишу, чтоб не забыть.

— Что запишете?

— Что в Праге такое хорошее правило — афиши не заклеивать. Приеду в Россию — у себя введу.

— Мне здесь другое нравится, — задумчиво сказал я. — Очень любят здесь старину и сохраняют ее. Есть дома, которые по пятьсот лет стоят, и их любовно берегут. А у нас в России на старину смотрят, как на рухлядь. Вернусь в Россию — буду пропагандировать сохранение старины. Запишите, чтобы не забыть.

— Запишу. А потом тут хорошая манера: при пивных заводах есть такие садики — дают только пиво на стол, а сосиски и ветчину посетители с собой в бумажке приносят. У нас в России хозяин пивной за это огромный скандал закатил бы. Да и посетитель считал бы моветоном и верхом мещанства — прийти в ресторан со своими продуктами. А ведь — очень удобно. Запишу в книжку, чтоб не забыть, и потом в России введу.

— А мне вот тоже нравится, что город просыпается с зарей и в шесть часов утра уже работа в полном ходу. Записать, а?..

— Запишите.

— А соколов видели? Какие молодцы! Тренированные, бодрые. Всегда с музыкой, и публика их приветствует кликами и аплодисментами. А наша русская молодежь... Я запишу, а?

— Запишите. Кстати, вот трамвай идет. Ну-ка, кто ловчее вскочит на ходу...

Я употребил ловкий, чисто сокольский прием и, как птица, взлетел на подножку трамвая. Импресарио — за мной.

Но... тут случилось что-то непонятное... кто-то крикнул, кто-то свистнул, трамвай остановился, и молодцеватый полицейский вежливо отнесся ко мне:

— С вас четыре кроны.

— Так я их кондуктору уплачу, — бодро возразил я.

— Нет, мне. Штраф. Нельзя вскакивать на ходу.

— А у нас в России...

— Вот вы в России и скачите.

Дальше мы пошли пешком.

— Записать? — спросил притихший импресарио.

— Насчет чего?..

— А вот насчет скакания. Когда в Россию вернемся, чтоб ввести.

— Гм... запишите, пожалуй, только помельче... А вот на углу русские газеты. Купите. Интересно, как поживает Ленин.

Мы развернули газеты и уткнулись в них носом с таким интересом, будто о болезни родного отца читали.

— Жив еще!

— Жив, но уже, как говорится, ни папа, ни мама не скажет.

Сзади кто-то деликатно тронул меня за плечо. Я оглянулся.

— Пожалуйста четыре кроны штрафа, — сказал полицейский.

— За что?!

— На улице читать запрещено.

— Да я и не читал.

— А что ж вы делали?

— Жарко, я хотел лицо утереть газетой. Знаете, при нашем беженском положении, когда нет носовых платков...

— Утираться газетой, на которой свежая краска! Тогда я вас оштрафую за нечистоплотность.

Я разозлился.

— Попробуйте! У меня родной дядя — Масарик.

— Не завидую ему, что он имеет таких родственников.

— Ну и насчет полиции ему тоже не повезло.

— Объяснитесь.

— Послушайте, вы меня лучше не задерживайте. Я спешу на завтрак к Бенешу и, если опоздаю...

— Ничего. Вы ему покажете квитанцию в уплате штрафа...

— Это вот такая квитанция? Могу я прочесть, что вы в ней написали?

— Можете!

Я ехидно улыбнулся:

— Да, как же я могу читать ее, когда вы сами говорите, что на улице читать запрещено.

Крупные капли пота выступили на честном полицейском лбу.

— Тогда пожалуйста за мной в участок — там в закрытом помещении и прочтете.

— Не беспокойтесь. Нате ваши четыре кроны. Кланяйтесь вашему начальнику полиции и скажите, что между нами все кончено...

Мне недавно говорили, что пражская полиция отличается гениальным искусством открывать преступления и находить преступников. Мне говорили, что за все время существования полиции только одно преступление осталось не открытым и не наказанным.

Теперь прибавилось еще другое преступление — не открытое и не наказанное: когда мы зашли за угол, я все-таки, озираясь по сторонам, дочитал газету на улице.

Омраченный импресарио спросил меня:

— Это записать? Насчет чтения на улице?

— Не надо, — угрюмо сказал я. — Незачем портить записную книжку.

P. S. Если орган, в котором будет напечатан этот фельетон, опубликует мое второе преступление с газетой и полиция явится ко мне за штрафом — я запишу этот штраф на счет редакции. Записать?

# Чехи

Нет на свете человека деликатнее и воспитаннее чеха...

Он ласков. Он заботлив. Он внимателен. Невозмутим. Всегда прекрасное расположение духа. Исключительно любит нас, русских.

Я никогда не видел, чтобы чех в обществе вышел из себя. А для меня нет ничего приятнее, как взвалить на свои плечи самую трудную задачу в мире... Поэтому я решил вывести чеха из себя...

\* \* \*

Трое чехов и я — мы сидели в углу ресторана и дружелюбно попивали пиво.

Я подстерег паузу, обвел компанию хитрыми глазами и неожиданно сказал:

— Мне ваше правительство не нравится.

Будь я на месте чеха — я бы съязвил: «Зато у вас, у русских, хорошее правительство!» Вместо этого чех кротко возразил:

— Видите ли, у нас правительство еще молодое. В будущем оно делается старше, опытнее и, вероятно, не будет делать тех ошибок, которые вы имеете в виду.

— И Прага мне ваша не нравится, — сказал я, втайне приготовив руку для защиты на случай удара по голове со стороны соседа.

— А мне кажется — город красивый, — деликатно возразил мой сосед.

— Что толку, что красивый! Трубочист! Если трубочист, покрытый сажей, будет Аполлоном Бельведерским — все равно сквозь слой сажи красоты не видно.

— Прага — старый город.

— И напрасно. Надо бы помоложе. И потом, господа! Как вам не стыдно? Как можно на спящего человека наваливать 5 пудов?!

— Кто на вас навалил 5 пудов?! — испугался мой сосед с другой стороны.

— Помилуйте! А перины, которыми вы накрываетесь?! Внизу перина, сверху перина; получается огромный пирог, в котором тоненькая прослойка фарша — полураздавленный плоский человек. Мне всегда снится, что на меня обрушился глетчер и засыпал меня миллионом пудов снегу!.. Это не постель, а обвал в горах! Утром горничная долго должна искать маленькое сморщенное задохшееся существо, чтобы с помощью массажа и искусственного дыхания пробудить его к жизни!..

— Зимой под периной теплее, — робко возразил чех. — Впрочем, действительно, с непривычки, может быть, неприятно...

— Неприятно!.. Это даже не эстетично!! Вообразите молодую хорошо сложенную женщину под этой горой! Каковы получаются у нее контуры? А? А как у вас подают водку в ресторане? Вы видели хоть одного кельнера, который, несмотря на все ваши мольбы, подал бы вам водку перед обедом?! Он всегда норовит притащить водку к сладкому!! Это разве порядок?!

— Это, вероятно, потому, что наш национальный напиток — пиво...

Я кричал, жестикулировал, выдумывал самые тяжелые вещи — чехи были неизменно вежливы, кротки и безмятежны. Я головой бился об эту каменную стену деликатности, я охрип и, наконец, не найдя

больше других недостатков, ворчливо сказал:

— И потом мне совершенно не нравятся ваши...

Я боюсь даже написать произнесенное мною слово, потому что едва это слово прозвучало — с моими компаньонами произошла разительная, волшебная перемена... Лица их налились кровью, глаза засверкали негодованием, и мужественные кулаки, как молоты, застучали по безвинному столу:

— Вы у нас в Чехии гость! — загремели голоса. — И поэтому невежливо говорить в Чехии такие вещи! Если вам не нравится — уезжайте к себе в Россию!

Господи! За что они так на меня напали? Ведь я только сказал, что мне не нравится такая простая вещь, как...

Нет... страшно. Лучше я напишу это слово завтра.

# Кнедлики

«Кнедлики»!!!!

Вот то слово, которое привело в возмущение и ярость моих друзей-чехов...

— Позвольте, господа, — оправдывался я. — Ну что в них хорошего? Что такое — кнедлики?! Это вареный, тяжелый, как свинец, хлеб, который кирпичом ложится в желудке. Ведь если я буду есть кнедлики каждый день — у меня в желудке будет кирпичный дом!

— У вас не в желудке кирпич, — кричал мой сосед по столу, — а в сердце у вас кирпич! Да ели ли вы когда-нибудь настоящие кнедлики?!

А другой чех — самый деликатный — сказал:

— Я и забыл, что мне нужно домой...

— Позвольте! — забеспокоился я. — Вы же говорили, что у вас свободный вечер...

— Да, но я не думал, что он так печально кончится.

— Пойду и я, — встал другой.

— И я!!

Я остался в грустном одиночестве...

Ничего не поделаешь — придется обедать одному:

— Кельнер, дайте обед!

На первое мне дали суп с кнедликом; на второе «вепшово печенье» с кнедликом; на десерт — кнедлик с яблоком внутри. Смотрел я на эти три невинные штучки, лежащие передо мною нетронутыми, и думал:

«Неужели такой пустяк может повести к международным осложнениям и к разрыву дипломатических сношений?..»

\* \* \*

Забыл сказать: потребованную мною к предобеденной закуске водку кельнер подал вместе с кофе...

Побрел я грустно домой, разделся и подполз под перину... Может быть, здесь людская ненависть не отыщет меня!

## Как добыть себе в Праге комнату

Все живущие в Праге хорошо знают, как трудно добыть в этом прекрасном городе даже не-прекрасную комнату...

Бесквартирные квартиранты бьются и разбиваются о занятые уже квартиры, как слабая волна о несокрушимый каменный утес.

Любя своих читателей по-христиански, — я хочу дать им очень полезный совет:

«Как добыть себе комнату»!

\* \* \*

Наметив себе владельца уютной комнатки, очень ревнивого и имеющего хорошенькую жену, вы садитесь за стол и пишете жене и мужу два совершенно различных письма...

Первое:

«Мадам! Ваш муж вам изменяет. Если хотите убедиться — идите завтра в 8 часов вечера в гостиницу «Гранд-Отель» и постучите в 42-й номер. Ничего не подозревая, он откроет вам, вы ворветесь и застанете его с вашей соперницей. Письмо это сожгите. Захватите на всякий случай револьвер... Ваш доброжелатель».

И второе:

«Послушайте вы, рогатый муж! Ваша жена вам изменяет. Если хотите убедиться, идите завтра в 8 часов вечера в «Гранд-Отель». Там, в 42-м номере живет тот, который надсмехался над вашим семейным очагом. P. S. Захватите револьвер. Письмо сожгите. Ваш доброжел.»

Можете для верности написать и третье письмо — кроткому, ничего не подозревающему жильцу № 42 «Гранд-Отеля»:

— «М. Г. [74] Я знаю, вы живете в «Гранд-Отеле», № 42. Завтра в 8 час. вечера на ваш номер будет сделано преступное нападение с целью грабежа. Когда к вам ворвутся — стреляйте! Ваш доброжелатель».

Послав все три письма, ждите кротко результатов...

Что-нибудь, да выйдет: или муж ухлопает жену, или жена мужа, или муж — безвинного жильца № 42, или жилец — мужа...

Одним словом, будет кровавая неразбериха, которая вам на руку... В том или другом случае — кто-нибудь попадет в тюрьму, кто-нибудь на кладбище...

Тут-то вы не зевайте. Занимайте освободившуюся комнату, пока из-под носу не выхватили.

Не смущайтесь, если призраки загубленного вами мужа или жены будут являться вам.

Днем они не являются, а ночью — пусть себе ходят.

Походят, походят, да и отстанут.



# Мой ученик

Результаты моего вчерашнего совета «Как найти себе в Праге комнату» сказались очень быстро. Даже — молниеносно!

Он вошел ко мне, не постучавшись, и первыми его словами были:

— Чтоб они провалились, ваши адовы, анафемские фельетоны!!!

— Сами вы провалитесь, — застенчиво сказал я.

— Чтоб она лопнула, газетенка ваша несчастная!! Будь они прокляты, все номера «Прагер Прессе» [75], от первого до последнего!!

Я одобрительно потрепал его по плечу венским стулом, но он угрюмо уклонился от этой ласки и, стукнув кулаком по столу, сказал:

— Ищите мне комнату!

— Камера в городской тюрьме вам подойдет? — заботливо осведомился я.

— Скажите, вы зачем учите читателей разным гадостям?

— Ничего подобного! Я сею разумное, доброе, вечное.

— Пусть его вместе с вами в могилу положат, это вечное! Не откажетесь же вы от того, что напечатали вчера совет: «Как получить себе в Праге комнату»...

— Надеюсь, вы ее получили?

— Получил?.. (Он горько засмеялся.) Так слушайте ж!

\* \* \*

Я приехал в Прагу 3 недели тому назад. Конечно, о комнате или о номере в гостинице нечего было и думать!

Ну... устроился я пока у одного знакомого гостеприимного чеха-мануфактурщика под прилавком. Снаружи стенка прилавка была не до полу, и поэтому я, отдыхая после обеда, мог свободно изучать обувь всех покупателей...

Лежу я однажды днем, читаю книжку. Вошел один покупатель, купил что-то, а когда расплачивался — уронил бумажник. Нагнулся, глянул под прилавок — и узнали мы друг друга. Мой старый приятель!

— Что ты тут делаешь? — изумленно спросил он.

— Читаю при свечке Альфонса Доде.

— Под прилавком?!!

— Ну да. На прилавке — это было бы неудобно и для хозяина, и для покупателей. Одним словом: у меня нет комнаты!..

Он вытащил меня из-под прилавка, обнял, расцеловал, очистил от пыли и сказал:

— Я никогда не допущу, чтобы мои друзья валялись, как гнилая бумага, под прилавками. Иди жить ко мне! У меня всего одна комната, но мы как-нибудь поместимся.

Представьте себе, что эта его комната мне очень понравилась: уютная, светлая... Но в ней был

огромный недостаток: мой приятель. Одному мне она приходилась бы как раз по душе, а он был лишней.

Приятель угостил меня, напоил винцом и рассказал о себе. Рассказал, что он влюблен, что его избранница замужем, что они встречаются у нее, когда муж уходит на дежурство, — одним словом, выложил всю подноготную...

И как раз на другой день — только что я утром продираю глаза, натыкаюсь на ваш фельетон в газете — «Совет, как найти себе в Праге комнату».

Прочитал я — обрадовался — прекрасный верный способ, тем более, что и комната была у меня на примете: та самая, где я жил.

И вот, когда приятель ушел на свидание к своей милой, я сел и тут же настряпал письмо ее мужу — по вашему же рецепту: «Ну, и фрукт же вы, господин рогоносец! Ха-ха. Пока вы дежурите на службе — у вашей жены дежурит возлюбленный! Бегите скорей домой, захватите револьвер и застрелите его, нечего там стесняться. Она же не виновата, это он ее соблазнил, я знаю! Ваш доброжелатель».

Написав, занес это письмецо мужу на дежурство, вернулся домой и стал ждать.

И вдруг раскрывается дверь...

Я вскочил и, с бешенством тряс его за плечи, вскричал:

— Раскрывается дверь?! Так? Говори, каналья, — так?.. И вносят бездыханный труп вашего друга?!!

— Будьте вы прокляты с вашими «советами»!! Ничего подобного! Раскрывается дверь и входит мой приятель живой и здоровый — под руку с какой-то дамой...

— Прости, говорит, Володя (это я Володя), — я, говорит, знаю, что поступаю не по-товарищески, но, понимаешь, какое вышло дело: кто-то донес мужу, он нас застал и, узнав обо всем, дал ей полную свободу! Теперь она будет жить у меня, а ты... Ты сам понимаешь, втроем жить неудобно... Так что — иди опять под прилавок.

— Ну-с?!

Он замолчал, злобно поглядывая на меня.

— Чего ж вы от меня хотите?

— Я вас спрашиваю: куда вы меня денете, раз вы во всем виноваты?

— Куда я вас дену?

Я дружески взял его сзади за воротник, любовно повернул, приветливо распахнул дверь, заботливо сбросил его с лестницы, и, пока он катился, мелодично спускаясь головой о ступеньки, я задумчиво шептал:

— Однако, какая страшная могучая сила — печать — в умелых руках!

## Самый страшный притон Праги

Я спросил одного приятеля-чеха — большого знатока пражской жизни:

— Скажите, а есть у вас в Праге какие-нибудь притоны?..

— Что вы называете «притоном»? — осторожно осведомился он.

— Ну понимаете... Какой-нибудь страшный зловещий притон, где собираются воры, убийцы, грабители и их дамы — падшие женщины, обольщающие посетителя и подводящие его под нож своего друга... Есть такие места в Праге?

— Да вам зачем, Господи Иисусе?!

— Люблю сильные ощущения... Я шатался в Париже, в Риме, Константинополе по таким трущобам, где рука всегда должна быть в кармане, а палец на курке «браунинга».

— Да... Есть такие места и в Праге, — с некоторой даже гордостью промолвил чех. — Я знаю один такой притон, что, когда я туда попал, у меня кровь заледенела в жилах...

— Ради бога, адрес!..

— Ну что вам за охота рисковать?!

— Ах, вы не понимаете, какая прелесть в риске! Как туда попасть?

— Гм! Ей-богу, не советую. А впрочем, как хотите! Вот вам адрес...

\* \* \*

С замирающим сердцем брел я по узкой темной улице, еле освещенной редкими фонарями... Грязный двухэтажный дом... В завешенных окнах видны какие-то странные силуэты... До меня донеслись звуки резкой странной музыки и чей-то хриплый смех...

Поколебавшись несколько секунд, я толкнул дверь и вошел.

Душный дымный спертый воздух, и в этом тумане кружатся в причудливом «шимми» две зловещие подозрительные пары.

При моем входе обе пары приостановились и сказали:

— Мфутета!

— Поклона!

Я в первый раз в жизни видел таких приветливых убийц, таких простодушных грабительских дам.

«Эге, — подумал я, — усыпляют мою подозрительность! А потом опоят чем-нибудь и зарежут. Ну что ж — поборемся».

Я уселся за большой стол рядом с сосущим трубку старичком самого зловещего, подозрительного вида и постучал:

— Дайте мне ликеру!

Зловещий старикашка, видя, что ко мне никто не подходит, засуетился:

— Пан верхник! Этот господин желает ликеру. Что ж вы его заставляете ждать?!

«Э, — подумал я, — мягко стелешь, да жестко спать будет». И вызывающе добавил:

— Только у меня с собой тысячекроновая бумажка! Можете потом разменять?

Дьявольская выдержка у этих чешских убийц и грабителей! Парижские или константинопольские при виде такой депозитки сразу бы перерезали горло ее обладателю, а эти даже глазом не моргнули.

— Не беспокойтесь, пан. Как-нибудь разменяем.

— Вы русский? — хитро спросил меня ужасный старик, хрипя своей огромной кривой трубкой...

— Да-с, русский! Может быть, это вам не нравится?!

— Нет, я люблю русских. Только я удивляюсь, как это русские могут носить при себе такие большие деньги! Ведь потерять можно.

— Да, — ехидно усмехнулся я. — Или какой-нибудь молодец полоснет ножом по горлу и отнимет.

Очевидно, я разгадал страшного старика, потому что он испуганно от меня отодвинулся.

Подошла подруга одного из убийц и, сев рядом, спросила старичка:

— Нет ли у вас папиросы?

— Извольте! — засуетился я с самым залихватским видом. — Может быть, и вина хотите? Ликеру?

Тут же решил поддразнить ее апаша и, если можно, вывести его из себя.

— Можно вас поцеловать в щечку?

— Если это вам доставит удовольствие — пожалуйста, — засмеялась она. («Боже, какое несчастное создание... Ну что она знает, что она читала? Бедный кусок дикого мяса!...»)

— Вы русский? — спросила она, прихлебывая ликер.

— Да, милашка, русский! И есть деньжата — ха-ха-ха!

— Я читала русских писателей. Вы знаете Чирикова?

— Неужели читали Чирикова?

— Я его много читала. И Куприна читала, и Аверченко... — «А, чтоб ты лопнула», — подумал я. Мне сделалось душно.

— Кельнер! Счет. Я ухожу.

Один из убийц принес счет. Другой — взламыватель касс — стал менять мою тысячу крон.

«Сейчас будут резать».

Дьявольская выдержка — никто даже не пошевелился.

«Крон на двести обсчитает», — явилось у меня слабое утешение.

С легкой досадой в душе я встал, причем молодой подкальватель вежливо поднял мою упавшую шляпу.

— Мфутета, — сказал ростовщический старик.

— Поклона! Служебник! Доброй ночи, — попрощались со мной из угла двое (наверное, конокрады!).

\* \* \*

Я вышел на темную глухую улицу. Прошел квартал. Вдруг услышал сзади себя топот чьих-то догоняющих меня ног. Оглянулся:

— Так и есть!

Молодой убийца, подругу которого я неосторожно поцеловал, догонял меня. «Гм... Вот оно! Начинается!» Я прижался к стене и приготовился к защите.

— Извините, милостивый пан, — сказала это отребье человечества, запыхавшись. — Вы, когда получали сдачу, уронили около стула пятидесятикроновую бумажку... Вот — извольте!

Схватившись за голову, я отшвырнул деньги, глухо застонал и побежал прочь от недоумевающего «отребья человечества».

\* \* \*

Вот что такое — «самый страшный притон Праги»! Для такого большого благоустроенного города — это даже неприлично.

\* \* \*

Родители! Если в кинематографе идет какая-нибудь очень пикантная фильма — можете послать ваших детей-подростков в этот притон.

Там — приличнее.

# Русский беженец в Праге

Всякому, даже не учившемуся в семинарии, известно, что если человека, долго голодавшего или томившегося жаждой, сразу накормить до отвала или напоить до отказа — плохо кончит такой человек: выпучит глаза и, схватившись исхудалыми руками за раздутый живот, тихо отойдет в тот мир, где нет ни голодных, ни сытых.

История, случившаяся с гражданином советской республики Андрюшей Перескокиным, вполне удовлетворительно иллюстрирует это вышеприведенное бесспорное положение.

Всякому, даже не учившемуся в семинарии, известно, что долго голодавшего или жаждавшего человека надлежит откармливать или отпаивать постепенно: кусочек хлебца или мяса, глоточек воды, через час опять кусочек хлебца, глоточек воды. И эти порции усиливать только постепенно и с крайней осторожностью.

Будь моя власть, я бы на всех границах, через которые переваливают беглые советские граждане, стремясь в Белград, в Прагу и прочие места, — я бы на всех таких границах понастроил этикие предбанники, нечто вроде карантина, где беглецы подготовлялись бы к предстоящей сытой, безопасной жизни — постепенно, исподволь.

Скажем так: голодный, жаждущий, носящий на своем брэнном теле шрамы от красноармейских штыков, советский федеративный бедняга с разбегу перелетел границу и ввалился прямо в мои объятия.

Такого беднягу надлежит, прежде всего, схватить за шиворот и дать два-три тумака, чтобы переход от советской жизни к обыкновенной был не так резок.

Для этой же цели надлежит потом стащить беглеца в особую казарму и там дать ему кусок белого, но черствого хлеба, сдобрив его стаканом черного, но слегка прокисшего пива.

— Ешь, собака! Пей, каналья!

Ночью рекомендуется разбудить спящего скитальца, произвести у него легкий пятиминутный обыск и ткнуть слегка штыком или прикладом в бок.

На следующий день федеративный беглец перевозится уже в более удобное помещение. Хлеб ему дается менее черствый, пиво прокисшее чуть-чуть, а вместо тычка штыком — пара снисходительных оплеух.

Когда вы заметите, что у беглеца уже появилась краска в лице и взор сделался более спокойным, а манеры самостоятельнее, рискните к мягкому белому хлебу прибавить немного жареного мяса, копченую кефаль и кусочек вареного поросенка. К этому: стаканчик казенной водки и полбутылки вкусного, свежего, пражского пива. Вместо побоев — легкий щипок или щелчок по голове, нечто среднее между болевым ощущением и игривой лаской.

На следующий день накормите беглеца супом, судаком, гусем и пирожными и, потрепав по плечу, можете уже выпустить его на свободу: вы приготовили его достаточным образом к восприятию прелестей спокойной, нормальной, сытой жизни.

Вот как нужно было делать.

А у нас в Константинополе, Белграде, Праге это дело поставлено чрезвычайно плохо... (Я говорю «у нас», потому что я теперь чувствую себя всюду у себя — Прага ли, Лондон или Мельбурн — это все мои летние виллы, в которых я спасаюсь от советской духоты...) Так вот, я и говорю — у нас дело поставлено из рук вон плохо: перескочил человек границу, почувствовал приволье и свободу, съел 10 фунтов белого

хлеба, уписал поросенка и...

Впрочем, тут вполне уместно вернуться к описанию трагической истории, случившейся с Андрюшей Перескокиным...

\* \* \*

— Андрюша, голубчик! Ты! Не чаял и видеть тебя в живых! Давно из Совдепии?

— Только сегодня, родной. Пешком в Прагу добрел, не успел еще очухаться... Фу-фу!..

— Что это у тебя в руках за свертки?

— Поросенок и бечевка для упаковки — 20 фунтов...

— Зачем это тебе?

— Замечательно дешево. Купил на всякий случай. У нас ведь в Москве бечевки совсем нет. А о поросятах даже забыли, какой он и есть. А тут за 80 крон...

— Да зачем тебе сырой? Ты бы лучше жареного купил.

— Чудак, да разве сейчас можно разбирать. Увидел: несет баба поросенка, и купил. А то еще перехватят. Угля купил два пуда. В гостинице оставил.

— А уголь тебе зачем?

— Вот оригинал! Да ведь совсем даром! А поищи-ка у нас в Москве! Эй, мальчик, что несешь? Газеты. Это не советские? Ну дай тогда десять штук. Что, одинаковые? Это, брат, неважно, зато правду всю узнаю. Все десять и прочту. Голубчик! Обойдем, пожалуйста, этот перекресток — тут нечто вроде милиционера стоит.

— Да тебе его чего ж бояться?

— А вдруг прикладом по спине треснет.

— С ума ты сошел? За что? У нас тут полиция вежливая.

— Толкуй! Эй, баба, стой! Что это, хлеб? Белый? Сколько хочешь за всю корзину? Тридцать крон. О боже! Почти пуд... Давай, милая, давай, драгоценная.

— Послушай... Ты этого хлеба и в неделю не съешь.

Но он не слушал меня. Глаза его помутнели, а руки судорожно уцепились за корзинку.

Я махнул рукой и отошел от него.

— Эй, куда ты! Стой! Можно будет у тебя сегодня переночевать?

— Да ведь ты говорил, что имеешь номер в гостинице.

— А вдруг ночью обыск? А я как назло нынче в разговоре с извозчиком осуждал советский федеративный строй... Кстати... автомобили здесь дешевы! Что ты говоришь?! Тридцать крон?! А у нас 7 миллионов за конец! Вези... Вези меня, милый!..

— Куда прикажете?

— Куда-нибудь... Главное — совсем почти даром! Хе-хе. Вези на базар: куплю сосисок, толстенькие такие у вас тут в Праге есть — куплю про запас килограммов восемь!..

И вот вчера с Перескокиным Андрюшей случилось то, чего я боялся больше всего...

Я увидел его едущим по одной из окраинных улиц Праги на возу с сеном (купил Андрюша сено очень дешево, совсем даром); в одной руке Андрюша держал жареного гуся (ошеломляющая дешевизна — сто крон!), в другой руке бутылку водки (а у нас в Совдепии за водку — расстрел!). Сидя на возу с сеном, Андрюша лихорадочно пожирал гуся, запивал водкой прямо из горлышка, а в промежутках между жевательным и глотательным процессами на всю улицу горланил «Боже, царя храни!». Увидел меня, загадочно подмигнул — и его леденящий душу хохот огласил улицу.

— Видал-миндал?! Дорвался я теперь... Гуляй душа! В гостиницу с сеном не пускают, так я теперь тово... Крейсирую! Си-иль-ный, державный ца-арствуй на славу...

— Доктора! — крикнул чей-то озабоченный голос. — Готов паренек! Скапустился.

Сняли Андрюшу с сена... Повели...

И сидит он теперь в компании Наполеона Бонапарта, стеклянного человека и человека-петуха, хлопающего над самой Андрюшиной головой ладонями и оглушительно кукарекающего...

Андрюша уже приторговался к нему... Ведь в Совдепии петухов давно не видели...

\* \* \*

А выдержки Андрюшу в проектированном мною подготовительном карантине — ничего бы этого и не было... Нет того, чтобы позаботиться о приезжающих.



## **Экспедиция в Западную Европу сатириконцев: Южакина, Сандерса, Мифасова и Крысакова**

# I. Введение

О пользе путешествий. — Кто такой Крысаков. — Душевные и телесные свойства Мифасова. — Кое-что о Сандерсе. — Я. — Наш слуга Митя

Как часто случалось нам останавливаться в восторге и восхищении, с раскрытым сердцем перед чудесами природы, созданной всемогущими руками Творца!

Некоторые восторженные простоватые натуры раскрывают даже при этом рот и на закрытие его соглашаются только при усиленных уговорах или после применения физического насилия.

Спрашивается: каким же образом можем мы получать наслаждение от созерцания природы во всем ее буйном размахе и многообразии?

Ответ один: путешествуя.

Да! Путешествие — очень полезное препровождение времени. Оно расширяет кругозор и облагораживает человека... Один мой приятель, живя безвыездно в России, приводил всех в ужас огрубением своего нрава: он беспрестанно и виртуозно ругался самыми отчаянными словами, не подозревая, что существует кроме брани и обыкновенный разговорный язык.

Однажды поехал он за границу. Объездил Германию, Францию, Италию и Испанию. Вернулся... и что же! После возвращения этот человек стал ругаться и поносить встречных не только по-русски, но и на немецком, французском, итальянском и испанском языках.

Такое поведение вызвало всеобщее изумление, и дела его поправились.

Даже небольшие путешествия облагораживают и развивают человека. Это можно видеть на примере обыкновенных учеников. Ежедневные краткие их путешествия в училище делают из них образованных людей, которые никогда не заблудятся в лесу, несмотря на то, что главная его составная часть — буква «ѣ» [\[76\]](#).

А открытие Америки? Была ли бы она открыта, если бы Колумб не путешествовал? Конечно, нет. А неоткрытие Америки вызвало бы экономические неурядицы. Европейские герцоги и принцы, не встречая богатых американок, впадали бы в бедность и вымидали, а американки, не подозревая о существовании материка, битком набитого гербами, титулами и высокопоставленными их носителями — быстро разбогатели бы до того, что денег девать было некуда, ценность их упала, и экономический кризис, этот бич народов, обрушился бы от одного океана до другого на этот замечательный материк.

А что может быть прекраснее путешествия в тропическую страну, например Африку? Я читал об одном англичанине, который задумал исследовать берега таинственной Танганайки; он взял с собой палатку, носильщиков, верблюдов и чемоданы. На берегу таинственной Танганайки он наткнулся на такое прожорливое племя, что оно съело, помимо англичанина, верблюдов и носильщиков, — даже чемоданы и съедобные части палатки.

Даже в этом трагическом случае можно наоблюсти пользу и культурное значение путешествий: невежественные дикари приняли чрезвычайно цивилизованный вид, украсив уши своих жен коробками из-под консервов, а королю нахлобучив на голову, вместо короны, керосиновую кухню.

Это пустяк, конечно. Но это — первый шаг в обширную область культуры.

Я мог бы еще сотнями примеров доказать пользу и значение путешествий, но не хочу ломиться в открытую дверь. Это только гимназисты в классных сочинениях на тему «о пользе путешествий» измышляют, как бы поосновательнее доказать, что дважды два — четыре.

# 1

Четверо нас (кроме слуги Мити) единогласно решили совершить путешествие в Западную Европу. Цели и стремления у нас были разные: кое-кто хотел просто «расширить кругозор», кое-кто мечтал по возвращении «принести пользу дорогой России», у одного явилось скромное желание «просто поболтать», а слуге Мите рисовалась единственная заманчивая перспектива, между нами говоря, довольно убогая: утереть, по возвращении, своим коллегам нос.

В этом месте я считаю необходимым сказать несколько слов о каждом из четырех участников экспедиции, потому что читателю впоследствии придется неоднократно сталкиваться на страницах этой книги со всеми четырьмя, не считая слуги Мити.

Крысаков (псевдоним). Его всецело можно причислить к категории «оптовых» людей, если существует такая категория. Он много ест, много спит, еще больше работает, а еще больше лентяйничает, хохочет без умолку, в глубине сердца чрезвычайно деликатен, но на ногу наступить себе не позволит. При необходимости полезет в драку или в огонь, без необходимости — проваляется на диване неделю, читая какую-нибудь «Эволюцию эстетики» или «Собрание светских анекдотов на предмет веселья». Иногда не прочь, ради курьеза, соврать, но, уличенный, не спорит, а вместо этого бросается на учителя и начинает его щекотать и тормошить, заискивающе хихикая. В жизни неприхотлив. Спокойно доликает поданную чашку кофе — пивом, размешивает его с сахаром, а если тут же стоит молоко, то и молоко переливается в чашку. Пепел, упавший случайно в эту бурду, размешивается ложечкой для того, «чтобы не было заметно». Любит задавать официантам нелепые, бессмысленные вопросы. Раздеваясь у ресторанной вешалки, обязательно осведомится: приходил ли Жюль Верн? И чрезвычайно счастлив, если получит ответ:

— Полчаса как ушли.

Беззаботность и лень его иногда доходят до героизма. Когда мы выехали из России, то, начиная от Берлина, у него постепенно стали отваливаться пуговицы от всех частей одежды. Постепенно же он заменял их булавками, иглами и главным образом замысловатой комбинацией из спичек и проволоки от лимонадных бутылок. Чтобы панталоны его сидели как следует, ему приходилось надменно выпячивать вперед живот и беспрестанно, с кажущейся беззаботностью, засовывать руки в карманы.

Положение его ухудшалось с каждым днем. Хотя еще стояла прекрасная весна, но крысаковские пуговицы, вероятно, совершенно созрели, потому что падали сами собою, без посторонней помощи.

В Венеции наступил крах. Когда мы собрались идти обедать в какое-то «Капелла Неро», Крысаков сел в своем номере на кровать и тоскливо сказал:

— Идите, а я посижу.

— Что ты, крысеночек, — участливо спросил я, — болен?

— Нет.

— Тебя кто-нибудь обидел?

— Нет.

— А что же?

— У меня не осталось ни одной...

— Леры?

— Пуговицы.

- Купи другой костюм.
- Да у меня есть костюм.
- Где же он?
- В чемодане.
- Так чего ж ты, чудака, грустишь? Достань его, переоденься и пойдём.
- Не могу. Потерял ключ.
- Взломай!
- Попробуйте! Он из крокодиловой кожи.

Из угла вытащили огромный, чудовищно распухший чемодан и с озверением набросились на него. Схватили сначала за ручки — отлетели. Схватили за ремни — ремни лопнули.

— Раскрывайте ему челюсти, — хлопотливо советовал художник Мифасов, лежа на постели. — Засуньте ему палку в пасть.

После получасовой борьбы чудовище сдалось. Замок застонал, крикнул, крышки разжались, и душа его полетела к небу.

Первое, что лежало на самом верху, — было зимнее пальто, под ним галоши, ящик из-под красок и шелковый цилиндр, доверху наполненный мелом, зубным порошком и зубными щетками.

— Вот они! — сказал радостно Крысаков. — А я их с самого Вержболова искал. А это что? Ваза для кистей... Зачем же я, черт возьми, взял вазу для кистей?

— Лучше бы ты, — сказал Сандерс, — взял стеклянный футляр для каминных часов или стенную полку для книг.

— Братцы! — восторженно сказал Крысаков, вынимая какую-то часть туалета. — Пуговиц, пуговиц-то сколько!.. Прямо в глазах рябит...

Он переоделся и, схватив свой чемодан, похожий на животное с распоротым брюхом, из которого вывалились внутренности, оттащил его в угол.

- Жалко его, — растроганно сказал он, выпрямляясь, — я так люблю животных...
- Что это у тебя сейчас упало?
- Ах, черт возьми! Пуговица.

Так он и ездил с нами — веселый, неприхотливый, пускавшийся иногда среди шумных бульваров в пляс, любующийся на красоту мира и таскавший за обрывок ручки свой ужасный полураскрытый чемодан, из которого изредка вываливался то тюбик краски, то ботинок, то фаянсовая пепельница, то рукав сорочки, радостно подпрыгивавший на неровностях тротуара.

Второй член нашей экспедиции — Мифасов (псевдоним) был молодцом совсем другого склада. Я не встречал человека рассудительнее, осмотрительнее и осведомленнее его. Этот юноша все видел, все знает — ни природа, ни техника не являются для него книгой тайн. Ему 25 лет, но по спокойному достоинству его манер и мудрости суждений — ему можно дать 50. По внешности и костюму он — полная противоположность бедняге Крысакову. Все у него зашито, прилажено, манжеты аккуратно высовываются из рукавов, не прячась внутрь и не вылезая за четверть аршина, воротничок рассудительно подпирает щеки, и шея подвязана настоящим галстуком, а не подкладкой от рукава старого сюртука (излюбленная манера Крысакова одеваться шикарно).

Осведомленность Мифасова приводила нас в изумление.

Уже спустя несколько часов после отъезда из Петрограда этот энциклопедический словарь, эта справочная машина заработала.

— Мы будем проезжать через Вильно? — спросил Крысаков.

— Что вы! — поднял плечи Мифасов. — Где наша дорога, а где Вильно. Совсем противоположная сторона. Неужели вы даже этого не знаете?

В глазах его светилась ласковая укоризна.

Мы проезжали через Вильно.

— Мифасов! — сказал я, наклоняясь к нему (он лежа читал книгу). — Ты говорил, что Вильно в стороне, а между тем мы его сейчас проехали.

Он скользнул по мне взглядом, сомкнул глаза и захрапел.

Перед Нюрнбергом он долго и подробно рассказывал о красоте замка Барбароссы и потом, по нашей просьбе, сообщил старинное предание о знаменитом тысячелетнем дубе, посаженном во дворе замка графиней Брунгильдой. Притихшие, очарованные, слушали мы прекрасную легенду о Брунгильде.

В одном только Мифасов, рассказывая это, оказался прав — он действительно рассказывал легенду: потому что дерево, как выяснилось, посадила не Брунгильда, а Кунигунда — и не дуб, а липу, которая, по сравнению с тысячелетним дубом, была сущей девчонкой.

По этому поводу Мифасов саркастически заметил:

— Нам не нужно было ехать через Вильно. Тогда бы все оказалось в порядке.

Свободное время Мифасов распределял аккуратно на две половины. Первая — безжалостно ухлопывалась на чистку ногтей, вторая — на боязнь заболеть. Между нами была та разница, что мы любили жизнь, а осторожный Мифасов боялся смерти. Каждое утро он брал зеркало, засматривал себе в горло, ощупывал тело и с сомнением качал головой.

— Что? — спрашивал его порывистый Крысаков. — Еще нет чахотки? Сибирская язва привилась? Дифтерит разыгрывается?

— Не овайте упосей, — невнятно бормотал Мифасов, ощупывая язык.

— Что?

— Я говорю: не говорите глупостей!

— Смотрите на меня! — восторженно кричал Крысаков, вертясь перед своим другом. — Вот я становлюсь в позу, и вы можете дотронуться до любой части моего тела, а я вам буду говорить.

— Что?

— Увидите!

Мифасов деликатно дотрагивался до его груди.

— Плеврит!

Дотрагивался Мифасов до живота.

— Аппендицит!

До рук.

— Подагра!

До носа.

— Полипы!

До горла.

— Катар горла!

Мифасов пожимал плечами:

— И вы думаете, это хорошо?

Мы бессовестно эксплуатировали осторожного Мифасова во время завтраков или обедов.

Если креветки были особенно аппетитны и Мифасов протягивал к ним руку, Крысаков рассеянно, вскользь говорил:

— Безобидная ведь штука на вид, а какая опасная! Креветки, говорят, самый энергичный распространитель тифа.

— Ну? Почему же вы мне раньше не сказали; я уже 2 штуки съел.

— Ну, две-то не опасно, — подхватывал я успокоительно. — Вот три, четыре — это уже риск.

Подавали фрукты.

— Холера нынче гуляет — ужас! — сообщал таинственно Крысаков, набивая рот сливами. — Как они рискуют сейчас подавать фрукты?!

— Да, пожалуй, еще и немые, — говорил я с отвращением, захватывая последнюю охапку вишен.

Оставалась пара абрикос.

— Мифасов, кушайте абрикосы. Вы ведь не из трусливого десятка. Правда, по статистике, абрикосы — наиболее питательная почва для вибрионов...

— Я не боюсь! — возражал Мифасов. — Только мне не хочется.

— Почему же? Скушайте. Вот ликеров — этого не пейте. От них бывают почечные камни...

В чем Мифасов — в противоположность своей обычной осторожности — был безумно смел, расточителен и стремителен — это [77] был прекраснейший человек и галантный мужчина.

В наших скитаниях за границей он восхищал всех иностранцев своим своеобразным шиком в разговоре на чужом языке и чистотой произношения.

Правда, багаж слов у него был так невелик, что свободно мог поместиться в узелке на одном из углов носового платка. Но эти немногие слова произносились им так, что мы зеленели от зависти.

Этот человек сразу умел ориентироваться во всякой стране.

В Германии, входя в ресторан, он первым долгом оглядывался и очертя голову бросал эффектное «Кельнер!», в Италии: «Камерьере!» и во Франции: «Гарсон!»

Когда же перечисленные люди подбегали к нему и спрашивали, чего желает герр, сеньор или мсье — он бледнел, как спирт, неосторожно вызвавший страшного духа, и начинал вертеть руками и чертить воздух пальцами, графически изображая тарелку, вилку, курицу или рыбу, пылающую на огне.

Сжалившись над несчастным, мы сейчас же устраивали ему своего рода подписку, собирали с каждого по десятку слов и подносили ему фразу, которую он тотчас же и тратил на свои надобности.

Третьим в нашей компании был Сандерс (псевдоним) — человек, у которого хватило энергии только на то, чтобы родиться, и совершенно ее не хватало, чтобы продолжать жить. Его нельзя было назвать

ленивым, как Мифасова или меня, как нельзя назвать ленивыми часы, которые идут, но в то же время регулярно отстают каждый час на двадцать минут.

Я полагаю, что хотя ему в действительности и 26 лет, но он тянул эти годы лет сорок, потому что так нудно влачиться по жизненной дороге можно, только отставая на двадцать минут в час.

От слова до слова он делал промежутки, в которые мы успевали поговорить друг с другом а part, а между двумя фразами мы отыскивали номер в гостинице, умывались и, приведя себя в порядок, спускались к обеду.

Плеться сзади за нами, он задерживал всю процессию, потому что, подняв для шага ногу, погружался в раздумье: стоит ли вообще ставить ее на тротуар? И только убедившись, что это неизбежно, со вздохом опускал ногу; в это время ее подруга уже висела в воздухе, слабо колеблясь от весеннего ветерка и вызывая у обладателя тяжелое сомнение: хорошо ли будет, если и эта нога опустится на тротуар?

Кто бывал в Париже, тот знает, что такое — движение толпы на главных бульварах. Это — вихрь, стремительный водопад, воды которого бурно несутся по ущелью, составленному из двух рядов громадных домов, несутся, чтобы потом разлиться в речки, ручейки и озера на более второстепенных улицах, переулках и площадях.

И вот, если бы кто-нибудь хотел найти в этом бешеном потоке Сандерса — ему было бы очень легко это сделать: стоило только влезть на любую крышу и посмотреть вниз... Потому что среди бешеного потока людей маячила только одна неподвижная точка — голова задумавшегося Сандерса, подобно торчащему из воды камню, вокруг которого еще больше бурлит и пенится сердитая стремнина.

Однажды я сказал ему с упреком:

— Знаете что? Вы даже ходите и работаете из-за лени.

— Как?

— Потому что вам лень лежать.

Он задумчиво возразил:

— Это пара...

Я побежал к себе в номер, взял папиросу и, вернувшись, заметил, что не опоздал:

— ...докс, — закончил он.

Сандерс — человек небольшого роста, с сонными голубыми глазами и такими большими усами, что Крысаков однажды сказал:

— Вы знаете, когда Сандерс разговаривает, когда он цедит свои словечки, то часть их застревает у него в усах, а ночью, когда Сандерс спит, эти слова постепенно выбираются из чащи и вылетают. Когда я спал с ним в одной комнате, мне часто приходилось наблюдать, как вылетают эти застрявшие в усах слова.

Сандерс проямлил:

— Я брежу. Очень про...

— Ну, ладно, ладно... сто? Да? Вы, хотели сказать: «просто»? После договорите. Пойдем.

При его медлительности у него есть одна чрезвычайная страсть: спорить.

Для того, чтобы доказать свою правоту в споре на тему, что от царь-колокола до царь-пушки не триста, а восемьсот шагов, он способен взять свой чемоданчик, уложиться и, ни слова никому не говоря, поехать в Москву. Если он вернется ночью, то, не смущаясь этим, пойдет к давно забытому этот спор

оппоненту, разбудит его и торжествующе сообщит:

— А что? Кто был прав?

Таков Сандерс. Забыл сказать: его большие голубые глаза прикрываются громадными веками, которые непоседливый Крысаков называет шторами:

— Ну, господа! Нечего ему дрыхнуть! Давайте подыдем ему шторы — пусть посмотрит в окошечки. Интересно, где у него шнурочек от этих штор. Вероятно, в ухе. За ухо дернешь — шторы и взовьются кверху.

Крысаков очень дружен с Сандерсом. Иногда остановит посреди улицы задумчивого Сандерса, снимет ему котелок и, не стесняясь прохожих, благоговейно поцелует в начинающее лысеть темя.

— Зачем? — хладнокровно осведомится Сандерс.

— Инженер вы. Люблю я чивой-то инженеров...

Четвертый из нашей шумливой, громоздкой компании — я.

Из всех четырех лучший характер у меня. Я не так бесшабашен, как Крысаков, не особенно рассудителен и сух, чем иногда грешит Мифасов; делаю все быстро, энергично, выгодно отличаясь этим свойством от Сандерса. При всем том, при наших спорах и столкновениях — в словах моих столько логики, а в голосе столько убедительности, что всякий сразу чувствует, какой он жалкий, негодный, бесталанный дурак, ввязавшись со мной в спор.

Я не теряю пуговицы, как Крысаков, не даю авторитетных справок о Кунигунде и ее дубе, не еду в Москву из-за всякого пустяка... Но при случае буду веселиться и плясать, как Крысаков, буду в обращении обворожителен, как Мифасов, буду методичен и аккуратен, как Сандерс.

Я не писал бы о себе всего этого, если бы все это не было единогласно признано моими друзьями и знакомыми.

Даже мать моя — и та говорит, что никогда она не встречала человека лучше меня...

Будет справедливым, если я скажу несколько слов и о слуге Мите — этом замечательном слуге.

Мите уже девятнадцать лет, но он до сих пор не может управлять как следует своими телодвижениями.

Обыкновенная походка его напоминает грохот обвалившегося шкапа со стеклянной посудой. Желая пошевелить руками, он приводит их в такое бешеное движение, что оно грозит опасностью прежде всего самому Мите. Рассчитывая перешагнуть одну ступеньку лестницы, он, неожиданно для себя, взлетает на самый верх площадки; однажды при мне он, желая чинно поклониться знакомому, так мотнул головой, что зубы его лязгнули и шапка сама слетела, описав эффектный полукруг. Митя бросился к шапке таким стремительным прыжком, что перескочил через нее, обернулся, опять бросился на нее, перескочил, и только в третий раз она далась ему в руки. Вероятно, если человека заставить носить до двадцати лет свинцовые башмаки, а потом снять их, — он также будет перехватывать в своих телодвижениях и прыжках.

Почему это происходит с Митей — неизвестно.

О своей наружности он мнения очень определенного. Стоит ему только увидеть какое-нибудь зеркало, как он подходит к нему и на несколько минут застывает в немом восхищении. Его неприхотливая натура выносит даже созерцание самого себя в крышку от коробки с ваксой или в доньшко подстаканника. Он кивает себе дружески головой, подмигивает, и рот его распускается в такую широчайшую улыбку, что углы губ сходятся где-то на затылке.

У Крысакова и у меня установилась такая система обращения с ним: при встрече — обязательно



выбранить, упрекнуть или распечь неизвестно за что.

Качества этой системы строго проверены, потому что Митя всегда в чем-нибудь виноват.

Иногда, еще будучи у себя в кабинете, я слышу приближающийся стук, грохот и топот. Вваливается Митя, зацепившись одним джужим плечом за дверь, другим за шкаф.

Он не попадался мне на глаза дня три, и я не знаю за ним никакой вины; тем не менее, подымаю глаза и строго говорю:

— Ты что же это, а? Ты смотри у меня!

— Извините, Аркадий Тимофеевич.

— «Извините»... я тебя так извиню, что ты своих не узнаешь. Я не допущу этого безобразия!!! Я научу тебя! Молодой мальчишка, а ведет себя черт знает как! Если еще один раз я узнаю...

— Больше не буду! Я немножко.

— Что немножко?

— Да выпил тут с Егором. И откуда вы все узнаете?

— Я, братец, все знаю. Ты у меня узнаешь, как пьянствовать! От меня, брат, не скроешься.

У Крысакова манера обращения с Митей еще более простая. Встретив его в передней, он сердито кричит одно слово:

— Опять?!!

— Простите, Алексей Александрович, не буду больше. Мы ведь не на деньги играли, а на спички.

— Я тебе покажу спички! Ишь ты, картежник выискался.

Митя никогда не оставляет своего хозяина в затруднении: на всякий самый необоснованный окрик и угрозу — он сейчас же подставляет готовую вину.

Кроме карт и вина, слабость Мити — женщины. Если не ошибаюсь, система ухаживать у него пассивная — он начинает хныкать, стонать и плакать, пока терпение его возлюбленной не лопнет, и она не подарит его своей благосклонностью.

Однажды желание отличиться перед любимой женщиной толкнуло его на рискованный шаг.

Он явился ко мне в кабинет, положил на стол какую-то бумажку и сказал:

— Стихи принесли.

— Кто принес?

— Молодой человек.

— Какой он собою?

— Красивый такой блондин, высокий... Говорит, «очень хорошие стихи»!

— Ладно, — согласился я, разворачивая стихи. — Ему лучше знать. Посмотрим.

Вы, Лукерья Николаевна,  
Выглядите очень славно.  
Ваши щеки, как малина,  
Я люблю вас, очень сильно —  
Вот стихи на память вам,  
Досвиданица, мадам.

— Когда он придет еще раз, скажи ему, Митя: «досвиданьца, мадам». Ступай.

На другой день, войдя в переднюю, я увидел Митю.

Машинально я закричал сердито обычное:

— Ты что же это, а? Как ты смел?

— Что, Аркадий Тимофеевич?

— «Что»?! Будто не знаешь?!

— Больше не буду. Я думал, может, сгодятся для журнала. Я еще одно написал и больше не буду.

— Что написал?

— Да одни еще стишки.

И широкая виноватая улыбка перерезала его лицо на две половины.

Когда мы объявили ему, что он едет с нами за границу — радости его не было пределов.

— Только вот что, — серьезно сказал Крысаков. — Отвечай мне... Ты наш слуга?

— Слуга.

— И должен исполнять все то, что тебе прикажут?

— Да-с.

— Так вот — я приказываю тебе изучить до отъезда немецкий язык. Через неделю мы едем. Ступай!

Сейчас же Крысаков и забыл об этом распоряжении. Но Митя за день перед отъездом явился к нам и сказал:

— Готово.

— Что готово?

— Немецкий язык.

— Какой?

— Коммензи мейн либер фрейлен, их либези, данке, зицен-зи, гиб мир эйн кусс.

— Все?

— Все.

— Проваливай.

Думал ли Митя, что за границей его постигнет такая страшная, никем не предугаданная судьба.

## 2

Краткое описание Европы. — Статистические данные. — Флора. — Фауна. — Климат. — Мои беседы с путешественниками

Начиная описание нашего путешествия, я полагаю, будет нелишне дать краткий обзор места наших будущих подвигов...

Европа лежит между 36-й и 71-й параллелями Северного полушария. Мы собственными глазами видели это.

Берега Европы омывают два океана сразу: Северный Ледовитый и Атлантический. Не знаю, как омывает Европу Ледовитый океан, но Атлантический — особой тщательностью в возложенной на него работе не отличается — грязи на берегу сколько угодно.

Относительно общей фигуры Европы во всех учебниках географии говорится одно и то же:

«Фигура Европы не представляет никакой правильности... Но если срезать три самых больших полуострова — Скандинавию, Бретань и Ютландию, то окажется, что форма материка — прямоугольный треугольник».

Это очень наглядно. Можно то же сказать при описании фигуры жирафы: «если срезать у нее шею и ноги, то получится обыкновенный прямоугольный треугольник».

Конечно, если вздорное самолюбие европейцев завлечет их так далеко, что из желания жить в прямоугольном треугольнике они отрежут от материка упомянутые полуострова — я готов признать на будущее время эту форму типичной для Европы.

Пока же об этом говорить преждевременно...

Народонаселение Европы достигает 400 миллионов людей.

Здесь нелишне будет привести (кажется, это всегда делается в подобных случаях) несколько наглядных статистических данных.

1) Если бы все народонаселение Европы поставить друг на друга, то высота этой пирамиды была бы выше 300 000 верст. Мы знаем, что от Москвы до Петрограда 600 верст, следовательно, все народонаселение Европы уложилось бы 500 раз, немного менее ста раз на версту.

2) Если у каждого европейца выдернуть из головы только по одному волоску, то количество собранных волос, посаженных в землю, займет пространство величиной в 4 ½ акра. Чтобы скосить этот «урожай», потребуются работа 2 7/8 косарей в течение 9 суток!

3) Наиболее наглядным является такой статистический пример: если бы кто-нибудь захотел лично познакомиться со всем народонаселением Европы, то, считая полторы секунды на каждое рукопожатие, этому человеку пришлось бы затратить на знакомство (считая восьмичасовой рабочий день) около 600 лет. Средняя продолжительность человеческой жизни 68 лет, т. е., другими словами, для этого опыта потребовалось бы 8,9 человека. Во что бы превратились правые руки этих тружеников?

Откуда же взялось такое количество людей?

Детские учебники географии отвечают на этот вопрос довольно точно:

«Потому что Европа лежит в умеренном климате, способствующем наибольшему развитию и напряжению человеческих способностей».

Всю эту ораву в 400 миллионов человек приходится одевать и кормить. Отсюда выросла промышленность и сельское хозяйство.

Промышленность распределяется так: в России — главным образом добывающая, за границей — обрабатывающая. Я до сих пор не могу забыть, как хозяин римского отеля обчислил меня на 60 лир, добытых в России.

Фауна Европы очень бедна: в городах — собаки, лошади, автомобили; за городом — гуси, коровы, автомобили. В одной России до сих пор водятся медведи, и то жожаками, на цепи.

Флора Европы богаче — растёт почти все, от апельсин и моршки до процентов на банковские ссуды. Особое внимание уделяется винограду, потому что всякая страна гордится каким-нибудь вином, кроме Англии, которая никаких вин не имеет. Оттого-то, вероятно с горя, англичане такие горькие пьяницы.

Первенство в отношении вин надо, конечно, отдать Франции. Оттого-то во Франции и пьют так много.

Впрочем, немцы качеством своих вин не уступают французам, и поэтому пьянство немцев вошло в поговорку.

В России виноделие стоит на очень низкой ступени. Поэтому ли или по другой причине, но встречаешь трезвого русского чрезвычайно редко.

Справедливо будет упомянуть еще об испанцах. Отношение их к вину таково, что даже свои лучшие города они прозвали «Хересом» и «Малагой». Не думаю, чтоб кто-нибудь из испанцев отважился на это в трезвом виде. В этом отношении португальцы гораздо скромнее: хотя и поглощают свой портвейн и мадеру в неимоверном количестве, но города носят приличные названия: Оporto, Мадейра и т. д.

В том же учебнике географии, автор которого безуспешно пытался срезать все европейские полуострова, сказано:

«В Америке, где пьют довольно много, трезвость европейцев вошла в поговорку».

Климат Европы разнообразный: есть много европейцев, которые с трудом излечивались от солнечного удара для того, чтобы через шесть месяцев замерзнуть самым неизлечимым образом. Ученые связывают климат Европы с какими-то воздушными течениями, то холодными, то теплыми. К сожалению, холодные течения появляются всегда зимой, а теплые летом, что никого устроить и утешить не может.

Площадь, занимаемая Европой, равняется 9 миллионам верст, т. е. на каждую квадратную версту приходится 44 ½ человека. Таким образом в Европе абсолютно невозможно заблудиться в безлюдном месте. Скорее есть риск быть зарезанным этими 44 ½ людьми, с целью получить лишний клочок свободной земли.

Начиная описание нашего путешествия, я должен оговориться, что нам удалось объехать лишь небольшую часть 9 миллионов верст и увидеть только ничтожный процент 400 миллионов народонаселения. Но это неважно. Если самоубийца хочет определить сорт дерева, на котором ему предстоит повеситься, он не будет изучать каждый листок в отдельности.

Перед отъездом я попытался собрать кое-какие справки о тех странах, которые нам предстояло проезжать.

Мои попытки ни к чему не привели, хотя я и беседовал с людьми, уже бывавшими за границей.

Я пробовал подробно расспрашивать их, выпытывать, тянул из них клещами каждое слово, думая, что человек, побывавший за границей, сразу должен ошеломить меня целым каскадом метких наблюдений, оригинальных характеристик и тонких штришков, которые дали бы мне самое полное представление о «загранице».

Пробовали вы беседовать с таким, обычного сорта, путешественником?

**Вы.** Ну, расскажите же, милый, рассказывайте поскорее — как там и что, за границей?

**Он** (*холодно*). Да что ж... Ничего. Очень мило.

**Вы.** Ну, как вообще, там... люди, жизнь?

**Он.** Да, жизнь ничего себе. В некоторых местах хорошая, в некоторых плохая. В Париже трудно через улицу переходить. Задавят. А то — ничего.

**Вы.** Ага! Так, так!.. Ну, а Эйфелеву башню... видели? Какое впечатление?

**Он.** Большая. Длинная такая, предлинная. Я еще и в Италии был.

**Вы.** Ну, что в Италии?!! Расскажите!!!

**Он** (*зевая*). Да так как-то... Дожди. А в общем, ничего.

**Вы.** Колизей видели?

**Он.** Ко... Колизей? Позвольте... гм... Сдается мне, что видел. Да, пожалуй, видел я и Колизей.

**Вы.** Ну, а что произвело там на вас, в Италии, самое яркое впечатление?

**Он.** Улицы там какие-то странные...

**Вы.** Чем же странные...

**Он.** Да так какие-то... То широкие, то узкие... Вообще, знаете, Италия!

**Вы** (*обрадовавшись. Лихорадочно*). Ага! Что Италия?! Что Италия!

**Он.** Гостиницы скверные, рестораны. Альберго, по-ихнему. Ну, впрочем, есть и хорошие...

Попробуйте беседовать с этим бревном час, два часа — ничего он вам путного не скажет. Вытянете вы из него клещами, с помощью хитрости, неожиданных уловок и ошеломляющих вопросов, только то, что в Германии хорошее пиво, что горы в Швейцарии «очень большие, чрезвычайно большие», что «Вена веселый город, а Берлин скучный город», что в Венеции его поразило обилие каналов, такое обилие, которого ему нигде не приходилось встречать...

Да пожалуй еще, если он расщедритя, то сообщит вам, что Париж — это город моды, роскоши и кокоток, а в Испании в гостиницах двери не запираются.

И потом внезапно замолчит, как граммофон, в механизм которого сунули зонтик...

Или начнет такой путешественник нести отчаянный вздор. Долго плачется на то, что, будучи в Страсбурге, целый день разыскивал прославленный Кельнский собор, а никакого Кельнского собора и нет... Куда он девался — неизвестно.

У некоторых путешественников есть другая манера — все отрицать, всякое установившееся мнение, сложившуюся репутацию — переворачивать кверху ногами...

**Вы.** Говорят, итальянки очень красивы?

**Он.** Чепуха! Не верьте. Толстые, неуклюжие и — удивительно — почему-то на одну ногу прихрамывают. Одни разговоры о прославленной красоте итальянок!

Ошибочно думать, что этот глупец изучил итальянских женщин со всех сторон, во всех деталях. Просто был он в Риме два дня, все это время проторчал в грязном кабачке на окраине, и прислуживала ему одна-единственная итальянка, толстая, неуклюжая, прихрамывающая на одну ногу.

**Вы.** А в Испании, небось, жарко?

**Он.** Вздор! Дожди вечно жарят такие, что ужас. Без непромокаемого пальто не показывайся. (Два часа. От поезда до поезда — случайно шел дождь.)

**Вы.** А француженки — очень интересны?

**Он.** Ну, что вы! Накрашены, потерты и при первом же знакомстве папироску кланчат.

Вышеизложенные характеристики посторонних путешественников приведены для того, чтобы подчеркнуть: а сатириконцы (и Митя) не такие, а сатириконцы (и Митя) будут вдумчиво, внимательно и своеобразно подходить к укладу заграничной жизни и постараются осветить в ней такие стороны, что все раскроют удивленно глаза и ахнут.

# Германия вообще

Один немец спросил меня:

— Нравится вам наша Германия?

— О, да, — сказал я.

— Чем же?

— Я видел у вас, в телеграфной конторе, около окошечка телеграфиста сбоку маленький выступ с желобками; в эти желобки кладут на минутку свои сигары те лица, которые подают телеграммы и руки которых заняты. При этом над каждым желобком стоят цифры — 1, 2, 3, 4, 5 — чтобы владелец сигары не перепутал ее с чужой сигарой.

— Только-то? — сухо спросил мой собеседник. — Это все то, что нравится?

— Только.

Он обиделся.

Но я был искренен: никак не мог придумать — чем еще Германия могла мне понравиться.

Немцы чистоплотны, — но англичане еще чистоплотнее.

Немцы вежливы [78] — но итальянцы гораздо вежливее.

Немцы веселы — французы, однако, веселее.

Немцы милосердны [79] — нет народа милосерднее русских — в частности, славян — вообще.

Немцы честные — но кто же может поставить это кому-нибудь в заслугу? Это пассивное качество, а не активное.

Ни один огурец не сделал в течение своей жизни ни одной подлости или мошенничества; следовательно, огурец следует назвать честным? Отнюдь. Честность его просто следствие недостатка воображения.

Большинство немцев честны по той же причине — по недостатку воображения.

Не то хорошо, что немцы честны, а то плохо, что все остальные народы, исключая французов и англичан, отъявленные мошенники.

Когда в России встречаешься с французской или английской честностью — это производит крайне выгодное впечатление.

Однажды в Харькове я зашел в английский магазин купить шляпу.

— Сколько стоит эта шляпа? — спросил я.

— Десять рублей, — сказал хозяин.

— Хорошо, заверните. Вот вам 25 рублей — позвольте сдачу.

— Пожалуйста.

— Позвольте!.. Мне нужно сдачи 15 рублей, а вы даете 18. Вы ошиблись в мою пользу.

— Нет, не ошибся. Дело в том, что шляпа стоит всего 7 рублей, и я не могу взять за нее больше...

— А почему же вы сказали раньше — 10.

— Я думал, вы будете торговаться — русские всегда торгуются. Я бы и сбросил 3 рубля. Но раз вы не торгуетесь — не могу же я взять за нее больше...

Вот я рассказал этот эпизод. Но если бы русские купцы не были такими мошенниками — мне и в голову бы не пришло восхищаться поступком иностранца-шляпника.

\* \* \*

Немецкая аккуратность, немецкая методичность — это все выводит настоящего русского из себя.

В Берлине мы зашли однажды в какой-то музей военных трофеев.

Подшли в первой зале к монументальному сторожу и спросили:

— А где тут знамена?

Он оглядел нас и стал со вкусом медленно чеканить:

— Знамена есть налево; знамена есть направо; знамена есть впереди; знамена есть в нижнем этаже; знамена есть в верхнем этаже; знамена есть в среднем этаже. Какие именно знамена хотели бы вы видеть?

В одной немецкой гостинице я наблюдал следующий факт: какой-то человек постучал в дверь первого номера и сказал:

— Очень прошу извинения — не здесь ли находится в гостях господин Шульц; он мне нужен по одному мануфактурному делу.

После этого он постучал во второй номер:

— Очень прошу извинения — не здесь ли находится в гостях господин Шульц; он мне нужен по одному мануфактурному делу. Я уже спрашивал в первом номере — его нет.

То же самое он повторил в третьем, четвертом и пятом номерах. В шестом уже добавлял: я искал господина Шульца в первом номере, я искал господина Шульца во втором номере, в третьем и в четвертом, я искал господина Шульца также в пятом — его там не было. Нет ли у вас господина Шульца, необходимого мне по мануфактурному делу?

У нас в России после этого монолога открылась бы дверь третьего или четвертого номера и сапог полетел бы в голову незадачливого мануфактурщика.

А в немецкой гостинице голоса отвечали из-за дверей:

— Я очень сожалею, но у меня в пятом номере нет в гостях господина Шульца, необходимого вам по мануфактурному делу; но нет ли господина Шульца в номере шестом?

Все немецкие двери украшены надписями: «выход», будто кто-нибудь без этой надписи воспользуется дверью, как машинкой для раздавливания орехов, или, уцепившись за дверную ручку, будет кататься взад и вперед. Надписи, украшающие стены уборных в немецких вагонах, — это целая литература: «просят нажать кнопку», «просят бросать сюда ненужную бумагу», под стаканом надпись «стакан», под графином «графин», «благovolите повернуть ручку», в «эту пепельницу покорнейше просят бросать окурки сигар, а также других табачных изделий».

Одним словом, всюду — битте-дритте, как говорил Крысаков.

Существует и немецкая любовь к изящному: в Берлине большинство автомобилей раскрашено разноцветными розочками; всякая вещь, которая поддается позолоте, — золотится; не поддается позолоте — ее украсят розочкой...



Наряд немецкой женщины — это целая симфония. На голове зеленая шляпа с желтым пером и красной розочкой. Юбка голубая, обшита внизу оранжевыми полосками. Только кофточка отличается скромным фиолетовым цветом, но одета она так, что грудь делается плоской, а спина пузырится, как волдырь на обваренном месте; башмаки хотя из грубой кожи, но зато большие; чулки прекрасной верблюжьей шерсти.

Из этих элементов составляется вся немецкая женщина, из женщин — толпа на главных улицах, толпа дает физиономию всему Берлину, а Берлин — Германии.

Немецкий мужчина — это вторая сторона вышеописанной физиономии. Средний немецкий мужчина не имеет ни страданий, ни сомнений, ни очень возвышенных, ни очень низменных чувств.

Он любит прежде всего себя, за то, что никогда не доставлял сам себе ненужных страданий; потом семью, потому что дети не огорчают его, а жена не изменяет, по недостатку темперамента или поклонников; наконец, любит родину, потому что она заботится о нем, пишет на каждой двери «выход» и устраивает удобные перенумерованные желобки для сигар у телеграфных окошечек.

Он спокоен за себя, за семью и за родину.

Спокойствие дает ему возможность веселиться, и он действительно каждый день веселится, но не утром или днем — когда нужно устраивать свое благосостояние, — а вечером.

Как он веселится?

За столом в любимой пивной собирается каждый день одна и та же компания: Фриц Штумпе, Яков Миллер, Иоганн Миткраут и Адольф Гроссшток.

Целый вечер взрывы хохота несутся со стороны стола, занятого веселыми собутыльниками.

— Эге, — думает зритель в отдалении, — наверное, что-нибудь забавное рассказывают. Прислушаюсь-ка...

Прислушивается...

— Герр Штумпе! Отчего вы сегодня молчите? Не бьет ли вас ваша жена?

Взрыв гомерического хохота следует за этими словами.

— Ох, — говорит Иоганн Миткраут, задыхаясь от смеха. — Вечно этот Миллер придумает какую-нибудь штуку. А? «Не бьет ли», говорит, «вас ваша жена?» Ха-ха-ха!

— Хо-хо-хо!

Всеобщий восторг пьянит толстую голову Миллера; надо сказать что-нибудь еще, чтобы закрепить за собой славу присяжного весельчака и юмориста.

— Герр Штумпе! Говорят, что вы уже целый год не носите ваших сбережений в ваш банк?

— Почему? — недоумевает простоватый Штумпе.

— Потому что весь ваш бюджет уходит на покупку ваших зонтиков, которые ломает о вашу спину ваша жена.

Будто скала обрушилась — такой хохот потрясает стены пивной.

— Хо-хо-хо! — стонет басом изнемогающий Гроссшток.

— Хи-хи-хи, — октавой выше заливается, нагнув к столу голову, совершенно измученный Миткраут.

— Хе-хе-хе!

— Хо-хо-хо!!

— Э, — думает Штумпе, — дай-ка и я что-нибудь отмочу. Тоже когда-то острили не хуже.

— Вы, герр Миллер, кажется, купили вашего нового мопса? — спрашивает Штумпе, обводя компанию взглядом, который ясно говорит: «слушайте, слушайте! Сейчас я выкину штуку еще позабористее».

— Да, герр Штумпе. Не хотите ли вы на нем покататься верхом? — подмигивает неистощимый Миллер, вызывая долгий хохот.

— Нет, герр Миллер. Но теперь нам опасно прийти в ваш дом есть ваш обед.

— Почему? — хором спрашивают все, затаив дыхание.

— Потому что вы можете угостить нас вашими сосисками из вашего мопса.

— Хо-хо-хо!!!

— Хи-хи!

— Хо-хо. Кххх... Рррр. Однако этот Штумпе тоже с язычком! Хо-хо... Так как вы говорите? «Колбаса из мопса?» Ну, и чудак же! Вам бы попробовать написать что-нибудь в «Lustige Blatter»...

Так они веселятся до двух часов ночи. Потом каждый платит за себя и все мирно возвращаются под теплое крылышко жены.

— Сегодня мы прямо помирали от хохоту, — говорит длинный Гроссшток, накрываясь периной и почесывая живот. — Этот чудила Штумпе такую штуку выкинул! «Накорми-ка нас, говорит, герр Миллер, собачьими колбасами». Все со смеху полопались.

# Человек за бортом

Сейчас я буду писать о том, что наполовину испортило наше путешествие, о том, что повергло нас в чрезвычайное уныние и благодаря чему мы потеряли человека, который доставлял нам немало хороших веселых минут.

Одним словом — я расскажу об инциденте с Митей.

Митя, пожив несколько дней в Берлине, начал уже приобретать некоторый навык в языке и стал понемногу отставать от неряшливой привычки путать: «бутер» и «брудер», «шинкен» и «тринкен».

Уже лицо его приняло выражение некоторого превосходства над нами, а разговор — тон легкого снисхождения к нашим словам и шуткам.

Уже он, отправляясь куда-нибудь с Крысаковым и надев яркий галстук и старую панаму, пытался изредка принимать вид барина, путешествующего со слугой, так как шел он впереди, заложив руки в карманы и насвистывая марш, в то время как безропотный Крысаков, неся в одной руке ящик с красками, в другой — фотографический аппарат, скромно плелся сзади.

Мы не могли налюбоваться на него, когда он, проходя по Фридрихштрассе, бросал влюбленный взгляд на свое отражение, затем задевал плечом пробежавшую мимо горничную с покупками и говорил густым, как из пустой бочки, голосом:

— Пардон!

Горничная испуганно оглядывалась, а он пускал ей вслед самый лучший излюбленный прием своего несложного донжуанства:

— Гиб мир эйн кусс.

И все-таки то, что случилось с Митей, было для нас совсем неожиданно. Постараюсь восстановить весь инцидент в полном объеме, как он выяснился потом из расспросов, справок и сопоставлений.

Прошло уже несколько дней после нашего приезда в Берлин.

Так как ясные дни были для нас очень дороги, то мы, выбрав одно туманное, дождливое утро, решили посвятить его Вертгейму. Кто из бывших в Берлине не знает этого колоссального сарая, этого апофеоза немецкой промышленности, этого живого памятника берлинской дешевизны, удобства и безвкусицы?

— Митя! — сказали мы, поднявшись в башмачное отделение. — Этот магазин очень велик, и тут легко заблудиться и потеряться. Ты парень, может быть, и неглупый, да только не на немецкой почве. Поэтому сядь вот тут за столиком в ресторанном отделении, попроси стакан чаю и жди нас.

— Слушаю-с, — сказал он, смотря в потолок. — Ой-ой, как тут высоко...

— Митя! — строго крикнул Крысаков. — Опять?!

— Что, Алексей Александрыч?

— «Что»... Будто я не знаю. Я тебя насквозь вижу!

— Простите... И откуда вы все знаете? Я всего только одну кружечку выпью. Мюнхенского. Чаю не хочется. Удивительно — только подумаешь, а вы уже знаете.

— Ну, ладно. Только одну кружечку, не больше.

Мы оставили его за столиком, ушли в бельевое отделение — и больше его не видели. Вернулись,

нашли столик пустым, обегали все этажи, но так как у Вертгейма миллион закоулков — пришлось махнуть на поиски рукой, надеясь на то, что каким-нибудь образом добрался Митя до нашей гостиницы и ждет нас в номере.

Увы! Его не было там; он не пришел и вечером; не пришел на другой день. Мы заявили полиции, сделали публикацию в трех берлинских газетах — о Мите не было ни слуху, ни духу. А на третий день нам уже нужно было ехать дальше, в Дрезден. Мы оставили консулу некоторые распоряжения, немного денег и, полные мрачных предчувствий и грусти — уехали. Что же делал Митя?

Оставшись один, он выпил кружку пива, потом еще одну, и еще; мир показался ему светлым, радостным, а люди добрыми и благожелательными.

— Пока мои хозяева вернутся — пойду-ка я полюбуюсь на магазин. Я думаю, они не рассердятся.

Он нацарапал карандашом на мраморном столике (мы не заметили тогда этой надписи):

«Немножко я погуляю пока звините скоро завернусь пейте хорош, пиво Советую. Прият, опетита. Ваш слу. Митя».

После этого Митя принялся бродить по галереям, спускаясь с каких-то лестниц, подымаясь куда-то на лифте и заглядывая во все закоулки.

Не прошло и полчаса, как Митя должен был убедиться, что он заблудился. Он искал ресторан — ресторан как в воду канул.

Он остановил какого-то покупателя, с целью спросить, где ресторан, но тут же вспомнил, что не знает, как по-немецки ресторан...

Хмель выскочил из головы, и Митя почувствовал, что тонет.

У него было два выхода: или найти нас, или отправиться в гостиницу; но второе было неисполнимо — он не знал названия гостиницы.

Всею виной было его неуместное франтовство. Предусмотрительный Крысаков по приезде в Берлин заставил Сандерса изготовить следующий плакат на немецком языке для ношения на груди:

«Добрые туземцы! То, на чем навешен этот плакат, принадлежит нам, четверем чужестранцам, и называется слугой Митей. Если он потеряется — доставьте этого человека Отель Бангоф, № 26. Просят обращаться ласково; от жестокого обращения хиреет».

Плакат был составлен очень мило, наглядно, но, как я сказал выше, в Митю вселился бес франтовства: он категорически отказался от вывешивания на груди плаката.

— Почему же? — увещевал его Крысаков. — Хочешь, мы сделаем приписку, как в скверах: «волос не рвать, на велосипедах по нем не ездить».

Митя отказался — и теперь жестоко платился за это.

Долго бродил он, усталый, измученный, по разным лестницам и отделениям. Теперь он желал только одного: найти выход на улицу.

Но это было не так-то легко. Митя, шатаясь от усталости, ходил между чуждыми ему людьми, наполнявшими магазин, и призрак голодной смерти рисовался ему в чужом городе, в громадном магазине, среди чужих, не понимавших его людей.

Один раз он остановил покупательницу и попытался навести справки о выходе:

— Мейн герр! Битте цаллен. Их либе зи.

Нищенский запас немецких слов, имевшийся в его распоряжении, связывал его мысль; и весь разговор его, волей-неволей, должен был вращаться в сфере ресторанных или сердечных представлений.

Дама изумленно посмотрела на растрепанного Митю, пробормотала что-то и нырнула в толпу.

— Гм... — печально подумал Митя. — Не понимает.

Он обратился к господину:

— Где выход, а? Такой, знаете? Дверь, дверь! Понимаете?

— Was?

— Я говорю, выход. Гиб мир эйн кусс. Битте цаллен. Цузамен.

Господин задрожал от страха и убежал.

Бродил Митя так до вечера; покупатели стали редеть, зажглись огни... Мучимый голодом Митя заметил около одной покупательницы на стуле коробку конфет; потихоньку стащил ее, забрался в укромный уголок чемоданного отделения, съел добычу — и сон сморил его.

Только утром нашли его; он спал, положив под голову пустую раздавленную коробку из-под конфет, и на лице его были видны следы ночных слез. Бедный Митя...

Вот что последовало за этим: сердобольные продавщицы накормили его, одна из них поговорила с ним по-русски, выяснила положение, но так как нашего адреса Митя не знал, то дальнейший путь его жизни резко разошелся с нашим.

Мы уехали в Дрезден, а Митя, поддержанный вертгеймовскими продавщицами, которые были очарованы его простодушным немецким разговором и веселостью нрава, Митя открыл торговлю: стал продавать газеты, спички и букетики цветов — одним словом, все то, сбыт чего не требовал знания тонкостей немецкого диалекта.

Только на обратном пути в Россию отыскали мы через вертгеймовских продавщиц нашего Митю; он сначала встретил нас презрительно, потом обрушился на нас с упреками, а в конце концов расплакался и признался, что хотя богатство и прельщает его, но родину он не забывает и, вернувшись, сделает для нее все, что может.

# Тироль

Инсбрук. — Пернатые. — Тяжелый разговор. — О немецком остроумии. — Теория приливов и отливов. — Сандерс болен. — Еще одна теория. — В Штейнах. — Зловещее место. — Ссора с Крысаковым. — Отъезд в Фаркартен

Инсбрук — столица Тироля. Правильнее, Инсбрук — мировая столица скуки, самодовольно-мелкого прозябания, сытости и сентиментальной тирольской глупости.

Приехав в Инсбрук, мы первым делом на вокзале наткнулись на существо, которое во всяком нормальном здравомыслящем русском должно было вызвать смешанное чувство изумления и веселья.

Это был краснощекий, туполицый, голоногий тиролоец, с ног до головы убранный разноцветными лентами и утыканный перьями, точно петух, которого кухарка начала ощипывать и, не окончив, побежала в мелочную лавочку за бутылкой прованского масла.

Голова этого дюжего парня была украшена какой-то бумажной короной, а за ушами торчали два пучка цветов.

Он что-то мурлыкал и приплясывал.

— Если бы не перья, — сказал Крысаков, — я мог бы предположить, что это человек.

— Больше того, — поддержал Мифасов. — Это похоже на девушку. Смотрите, сколько на ней лент.

В это время откуда-то вынырнул еще десяток людей, разукрашенных подобным же странным образом.

— Боже ты мой! Вероятно, где-нибудь поблизости лопнул сумасшедший дом и содержимое его вытекло на потеху мальчишек и на страх взрослым.

Но сейчас же мы заметили, что странная компания не только не пугала аборигенов, но даже не останавливала на себе ничьего мимолетного внимания. Взрослые тирольцы, тирольки и маленькие тирольчата проходили мимо не оглядываясь, и только некоторые раскланивались с предводителем группы.

— Сандерс, — сказал Крысаков, — узнай, что с ними случилось? Не надо ли им чего?

Если судить о немецком языке по Сандерсову разговору — можно вывести заключение, что нет на свете языка длиннее, сложнее и утомительнее.

Сандерсу нужно было сказать только две фразы: «Кто вы такие? Почему так странно одеты?»

Он подошел к предводителю тирольцев из семейства ленточных, понурился и пробормотал что-то.

Тиролоец ему ответил. Сандерс покачал головой с безнадежным видом и сказал такую длинную фразу, что два поезда успели уйти и один подкатил к вокзалу. Тиролоец хлопнул себя по бедрам, прищелкнул пальцами и стал что-то объяснять, перепрыгивая с ноги на ногу. Объяснения тирольца не могли вырвать Сандерса из бездны уныния, угнетенности и сомнения. Он собрался с духом и размотал с невидимой катушки такую длинную фразу, что тиролоец начал линять. Он потерял два пера с короны и одно с плеча, и, не заметив убытка, высказал Сандерсу такое количество слов, что в них должно было заключаться географическое описание Тироля, характеристика нравов народонаселения и перечисление главных видов флоры и фауны. Утешило ли это Сандерса? Разъяснило ли ему что-нибудь? Нет! Он потрогал зеленую пуговицу на толстом животе тирольца и вытянул из себя длинную, как осенняя ночь, фразу.

И только получив обоснованный ответ на это, отошел он от тирольца, переваливаясь, как объевшаяся

утка.

— Ну?! — спросил нетерпеливый Крысаков.

— Обыкновенные тирольцы. Ферейн. Возвращаются после воскресной экскурсии.

— Скрытный народец, — подмигнул Крысаков. — Трудненько было вам вытянуть у этого оболтуса столь краткие сведения.

— Нет, ничего, — пожал плечами Сандерс. — Я только спросил, кто они такие, а он ответил...

— Тошнит меня от этих тирольцев, — признался Крысаков. — Чистенькие, куцые, кругозор ограничен горами и собственным недомыслием, благонаравно ухаживают за тирольками и благонаравно женятся. Здесь не бывает сцен ревности, убийств, измен и сильных душевных движений, как в сторону благородства, так и в сторону подлости. Шесть дней благонаравно трудятся, седьмой день благонаравно пляшут в какой-нибудь таверне. Кстати, как неимоверно сладок и противен их дефреггер! Брр! Самодовольно пляшут и самодовольно остряют. Вы знаете, что такое ихние остроты? Вообще немецкое остроумие! В Берлине один господин с гордостью говорил, что немецкие дети не чета нашим. Они смелы, находчивы, сообразительны и в ответах не смущаются, а отвечают метко и остроумно. Мы сделали даже опыт... Встретили какого-то известного своей находчивостью знакомого господину школьника и вступили с ним в беседу. «Что ты любишь больше всего на свете?» — «Свою прекрасную родину». — «Неужели? А я думал, что больше всего тебе должно нравиться заехать в ухо мальчишке, который обидел бы тебя!» — «О нет. Вступать в драку стыдно. Лучше сообщить о нехорошем поступке мальчишка его родителям, которые скажут ему, что он их огорчил, и ему станет стыдно». — «Та-ак... И, наверное, по воскресеньям вы собираетесь в школе и поете духовные псалмы?» — «О, да. Это лучший наш отдых в свободное время». — «Видите, — сказал мне господин, когда мы отошли. — Преострый мальчуган. За словом в карман не лезет». — «Может быть, может быть». И тут только я заметил, что мой господин тоже немецкий дуралей. Кстати о немцах. Меня томит жажда. Не выпить ли нам пива?

В этих случаях инициатива всегда принадлежала Крысакову. И удивительно, что мы — поднимавшие бесконечные споры по поводу выбора номера в гостинице или места в вагоне — в этом случае никогда не возражали и не спорили.

— Вы хотите выпить? Пойдем.

— А вы разве не хотите?

Все мы сразу делались чрезвычайно предупредительны к Крысакову, оставляя в забвении собственное желание и настроение.

— При чем тут мы? Раз вы хотите — пойдем.

— Да мне неудобно, что вы из-за меня идете.

— Ну, вот глупости. Отчего вам и не доставить удовольствия.

Иногда от меня исходило предложение «кой-чего перекусить». И в этом случае — наша дружба разыгрывалась в полном блеске.

— Отчего же вы не обедали вместе с нами?

— Я тогда не хотел, а теперь хочу.

— Эх, ну что с вами делать. Придется пойти с вами.

— Вы можете посидеть. Я скоро закушу.

— Да чего там... Вы не спешите. Я тоже чего-нибудь глотну.

Покорные желанию Крысакова, мы уселись, и нам подали четыре кружки прекрасного пенистого пива. Крысаков отхлебнул и благодушно сказал:

— Не люблю я, чивой-то, Тироля. Отчего у них, братцы, колени голые? Что это за обычай?

После недолгого раздумья я нерешительно сказал:

— Я думаю — это в целях сохранения тирольской нравственности...

— При чем тут нравственность?

— А как же? Местность у них гористая, мужчины же при объяснении девицам в любви обязательно становятся на колени.

— Ну?!

— Ну, а в гористой местности на голые колени не очень-то встанешь...

— Это вздор! Нет ничего нелепее ваших теорий.

— А у вас никаких теорий и вообще-то нет.

— Вы думаете? А моя теория причины приливов и отливов? Это не мысль, а молния!

— Воображаю!

— Вы знаете, господа? По-моему — на земном шаре не хватает воды. Все дело в том, что два противоположных берега океана можно сравнить с головой и ногами спящего человека, прикрытого коротким одеялом — океаном. Теперь: если натянуть короткое одеяло на голову, обнажаются ноги, натянуть на ноги — обнажается голова. Так и океан — если тут прилив, там должен быть отлив. Понятно?

— Садитесь! Два!

— Не два, а четыре.

— Идея. Кельнер! Еще четыре кружки.

— Я не хочу пива, — неожиданно сказал Сандерс, глядя на нас помутневшими глазами. — Мне нездоровится.

Мы засуетились, а больше всех Крысаков:

— Ну, вот! Говорил я, что вам не нужно было есть яиц утром.

— Да при чем тут яйца?

Крысаков не медик, но у него своя стройная система распознавания болезней и лечения их; кроме того, у него собственное, ни у кого не заимствованное представление о человеческом организме.

— Как при чем яйца? У вас еще вчера была немного повышена температура. Крутые яйца при повышении температуры являются бродильным ферментом и, давя на печень, производят отлив крови от сердца.

— Вот-то чепуха.

Крысаков расшаркался:

— «Чепуха»? Сначала не слушаете меня, а потом — чепуха?! Говорил я вчера, чтобы вы взяли холодную ванну? Говорил?

— Говорили.

— Ну, вот. А вы не взяли. У меня, батенька, отец доктор.



— Наверное, прекрасный доктор, — вежливо поддержал я. — Я думаю, тысяча его бывших больных возносят на том свете за него молитвы.

— Сандерс! Сейчас же в постель! Мы поднимемся на фуникулере на гору, посидим с полчаса и потом займемся вами.

Опечаленные, поднимались мы по головоломной дороге в хрупком вагончике на вершину горы.

Крысаков рассеянно смотрел на зеленеющий скат, сбегавший к серебряной реке, и несколько раз бормотал про себя:

— Да, несомненно... Типичный брюшной тиф. Без впрыскивания кокаина не обойтись. Гм... Ножные ванны.

Его красивое лицо с орлиным носом было сумрачно.

Чтобы отвлечь его от печальных мыслей, я спросил:

— Интересно, какой силой этот вагончик поднимается в гору.

— Очень просто, — пожал плечами Мифасов. — Один вагончик ползет вверх, другой вниз. Тот, который ползет вниз, подымает своей тяжестью первый, то есть идущий вверх.

— Я не техник, — возразил я, — но здравый смысл подсказывает, что это не так. По твоей теории выходит, что вагон, ползущий вниз, должен быть всегда в несколько раз тяжелее ползущего вверх.

— Он и тяжелее.

— А как же тогда следующая очередь, когда тяжелый должен ползти вверх, а легкий вниз?

— Очевидно, переключают какую-нибудь тяжесть.

— Как же переключать, когда вагончики ни разу не сходятся вместе внизу или вверху.

— Ну, это уже дело техники. Я говорю только то, что знаю наверное.

— А я думаю, что тяга электрическая...

— Что?! Ха-ха! Ну и скажет же, ей-богу.

Немного спустя выяснилось, что тяга, действительно, электрическая.

— Ну что? — безжалостно спросил я Мифасова. — Кто был прав?

— Что? Ну, милый мой — мне, вообще, ни тепло, ни холодно, какая там тяга. Вообще, не приставай ко мне.

Через час Сандерс с термометром под мышкой сидел, окруженный нами, и говорил:

— Ну, ребятки, плохо мне. Ужасно не хотелось бы умереть в Тироле.

Сердца наши разрывались от тоски и жалости.

— Подумайте, господа, — сказал я. — Четыре иностранца, сыны бедной России, брошены судьбой в далекую тирольскую дыру. И вот один умирает... Как раз тот самый, который хоть и не спеша, но разговаривал по-немецки. Остаемся мы... Трое... Надо его хоронить, обычаев мы не знаем, положение отчаянное. Идем в лесок, срубам дерево, выдалбливаем гробик и кладем туда Сандерса... И вот тирольцы видят странную, щемящую душу процессию. Три весельчака, понутив головы, в черных шапках, плетутся за гробом четвертого, влекомого равнодушной ко всему тирольской лошастью... Это сатириконцы хоронят своего товарища... Опустили гроб в могилу... «Прощай, товарищ! Недолго ты прожил среди нас... Спи спокойно...»

Крысаков всхлипнул, Мифасов сделал вид, что рассеянно глядит в окно; он махнул перед лицом рукой, будто сгоняя с него назойливую муху. Было тихо... Только слышалось тяжелое дыхание Сандерса.

— Да... вернемся мы втроем... Первый раз втроем! Придем в свои комнаты. У стены сиротливо лежит чемоданчик Сандерса. Он ему уже не нужен! «А что, господа, — скажет тихо Крысаков, — ведь в этом чемоданчике лежат деньжонки, которые Сандерсу уже не нужны. Не поделиться ли нам? Жаль, что он такого маленького роста, а то бы можно было и одежкой его воспользоваться...»

— Я бы пива выпил, — неожиданно сказал больной.

Поднялась буря протестов.

Решили сделать так: мы с Мифасовым уезжаем немедленно прямо в Штейнах, до которого час езды, а Крысаков остается с больным в Инсбруке.

— Я его вылечу! — сурово обещал Крысаков.

— Он на меня все время кричит, — пожаловался больной. — В Дрездене чуть не поколотил меня...

— Как же вас не бить? Представьте себе, господа, я ему говорю: у вас ангина, вам нужно есть для очищения горла орехи, а он не хочет.

С тяжелым сердцем уехали мы с Мифасовым, оставив за своей спиной эту странную пару.

Крупный дождь... ветер гнул деревья, шумел, метался и выл в тесных горах. У подножия одной из них приютился Штейнах.

До сих пор мы все не можем выяснить, почему, по каким соображениям дремлющий Сандерс включил Штейнах в наш маршрут. После громадного, чудовищного Берлина, веселого красивого Мюнхена — эта таинственная дыра с вымершим населением в несколько десятков человек — показалась нам тюрьмой, тем более, что горы со всех сторон окружили ее, стеснили ее, сдавили ее.

Помню крохотный вокзал, у которого поезд приостановился на одну минуту, помню черный, как вакса, вечер, мокрую от дождя землю и абсолютное страшное безмолвие.

Мы выползли со своими чемоданами, постояли минут пять и наконец в ужасе завывали:

— Треге-е-ер!!

— Здесь нет трегеров, — ответил нам откуда-то с неба неизвестно чей голос.

— О, черт возьми! Изво-о-озчик!!

— Здесь нет извозчиков, — ответил тот же беспощадный голос с неба.

— Швейцар из гостиницы!!

— Швейцаров нет.

— Дайте нам какого-нибудь человека.

И прозвучало похоронное:

— Здесь нет людей.

— Да вы-то кто? Не человек?

— Я начальник здешней станции.

— Где вы?

— Наверху. Во втором этаже.

— Посоветуйте, как нам найти гостиницу?

— Идите прямо.

— Да тут забор!

— Идите влево.

— Тут тоже забор!

Проклятый начальник станции неожиданно замолчал, будто ему заткнули платком рот.

— Эй, вы-ы! Как вас!! Тут забо-о-ры!

Дождь обливал нас сверху, грязь хлюпала внизу под ногами... Молча взвалили мы на плечи чемоданы, перелезли через забор и наткнулись на какую-то дверь.

— Это что?

— Гостиница.

Так мы приехали в Штейнах. Приезд был невеселый, житье наше печальное и отъезд угрюмый.

Все мы ко дню отъезда перессорились в самых разнообразных комбинациях: Крысаков с Сандерсом, я с Сандерсом, Сандерс с Мифасовым.

Вообще, должен признаться, к стыду нашему, что ссорились мы частенько. При этом ссора кого-нибудь из нас с товарищем вызвала необычайное повышение симпатии в поссорившемся — к остальным. Другими словами, если X разрывал отношение с Y, то к Z он относился настолько повышенно нежнее, насколько это чувство расходовалось раньше на Y.

Ничто в мире не пропадает, и ничто вновь не появляется.

Самая тяжелая ссора случилась в Берлине, когда Крысаков оказался на одной стороне, а мы трое — на другой.

Впечатлительный Крысаков выносил такое положение вещей только сутки... На другое утро он взял свой незакрывающийся чемодан, ящик с красками и, скорбно понурившись, сказал Мите (единственному, с кем отношения были хороши):

— Митя! Проведи меня до вокзала... Я уезжаю. Что уж там... Пожили! Эх, эх...

Я не выдержал:

— Вы с ума сошли! Куда вы уезжаете?

Он опустился на чемодан и, ни на кого не глядя, под журчание Митиных слез сказал:

— Уеду... Что ж, и без меня проживете. Не бойтесь, я поездку не бросаю... Только эти четыре дня, что вы проживете в Берлине, — я посижу в том благословенном местечке, которое приглядел еще давеча.

— Какое местечко! Что вы задумали?!

— Такое... Я думаю, там будет тихо... Ни криков, ни попреков. Посижу там один. Может, когда меня не будет, вы поймете.

— Ну, слушайте, это черт знает что! Какое там вы местечко выбрали, не зная языка, с вашим «битте-дритте»? Мы вас не пустим!

— Нет уж, что уж там. Митенька, бери чемодан. Тебе не тяжело, милый Митя... дорогой Митечка?

По принятому обыкновению, вся любовь и приязнь изливалась теперь на единственного человека, который был с ним в хороших отношениях, — на Митю.

— Извини меня, Митенька, что я тебя затрудняю... Может быть, мне самому лучше понести чемодан, а ты, Митя, отдохни.

Вокзал был в двух шагах, и поэтому берлинцы могли любоваться диковинной, нелепой процессией: впереди шагал плачущий, растроганный слуга с чемоданом, сзади барин с видом погребальной лошади, нагруженный ящиком для красок, а сбоку бежали три друга, умоляя непреклонного Крысакова одуматься, уговаривая и успокаивая его.

— Нет уж... не уговаривайте. Уеду... Не поминайте лихом!

— Ну, куда? куда вы едете? В какое местечко?

— Сейчас узнаете.

Он подошел к билетному окошечку и грустно сказал кассиру:

— Битте-дритте, эйн билет! В Фаркартен!

— Куда? — ахнули мы.

— В Фаркартен. Это, вероятно, такое местечко под Берлином. Я тут на доске прочел. С указательным пальцем. Туда и поеду. Уж вы не удерживайте. Раз я облюбовал.

— Вы знаете, что такое фаркартен? — зловеще спросил Сандерс.

— А что? Может быть, очень болотистое место?

— Нет. Фаркартен значит — «дорожные билеты».

— Митечка! — сказал Крысаков, помолчав: — Бери-ка, тащи назад чемодан. Битте-дритте!

Мы подхватили его под руки и с заискивающим смехом повлекли обратно.

К сожалению, впоследствии частенько случалось, что у каждого из нас поочередно мутился разум, и он, забыв дружбу, «собирался в Фаркартен»...

Заканчивая эту главу, искренно хочу крикнуть:

— Да здравствует дружба! Долой проклятый Фар-картен!

# Венеция

## 1

Город лени и музыки. — Cartolina postale. — Способ Крысакова. — Способ Мифасова. — Способ Сандерса. — Демократия и аристократия. — Пир с нищенкой. — Сандерс втягивается в лихорадку. — Лечение

Мы в Венеции.

Если бы какой-нибудь гениальный писатель обладал таким совершенным пером, что дал бы читателю, не видевшему Венеции, настоящее о ней представление, — такой писатель принес бы много несчастья и тоски читателям. Потому что узнать, что такое Венеция, и не увидеть ее, это сделаться навеки отравленным, до самой смерти неудовлетворенным.

Когда я приехал в Венецию, я подумал:

«Ведь миллионы людей живут и умирают, не видя Венеции. Если бы они знали то, чего они лишены, жизнь их потеряла бы краски, и тоска по далекой невыразимой красоте иссушила бы сердце».

Я пишу эти строки в холодном угрюмом Петрограде, но стоит мне только закрыть глаза, как я до последних мелочей вижу Венецию. Она врзалась в память неизгладимо, я по ней тоскую и мечтаю, как о далекой прекрасной любовнице, свидание с которой сделает меня снова счастливым.

Я закрываю глаза...

Мягкий густой вечерний воздух, нежащий, как прикосновение, невыразимая истома во всем теле; хочется встать в гондоле и закричать от полноты настоящего наслаждения и счастья. Но не встаешь... Наоборот, развалившись на уютных подушках, погружаешься в блаженную неподвижность и всем телом, всеми органами, всеми порами впитываешь в себя ленивый, теплый, сладкий воздух, сладкую песню, лениво доносящуюся издали, и молчишь, молчишь... Черная густая вода тихо журчит за гондолой, нежно плещет весло ленивого парня на корме и таинственно молчат сбжавшиеся к воде старые-престарые дома, среди которых скользит тихая лениво-проворная гондола. Узенький канал кончился... Над головой мелькнул еще видимый изгиб мостика — и мы выносимся на широкий canale grande. Здесь широкое, пышное небо черным бархатом разметалось над нами и застыло, усеянное редкими сверкающими осколками-звездами. И внизу плещется черная теплая, слепая вода, и плывет далеко по каналу нежная, сладострастная серенада оттуда, где целый сноп огней, фонариков собрал полчища гондол, как свеча собирает мотыльков. Какие-то фигуры мелькают на огненном фоне и изредка песню пререзает смех и веселый говор.

Замерла посреди канала большая, изукрашенная фонариками, барка. На ней море огня, а все остальное зачернено ночью. Десятки гондол сползли к огню, окружили его и, притихшие, почти невидимые, колышутся. Изредка багровый свет на барке выхватит из темноты резной нос гондолы, блеснет на металле и погаснет.

Тихо колышутся гондолы; сладко нежит песня; все необычно; рядом с нашей гондолой трется о ее борт чужая, за ней еще одна, а остальные тонут, невидимые... Боже мой, как хорошо! Пусть все это искусственное, пусть барка принадлежит корыстолюбивому антрепренеру, а у певцов, наверно, грязные руки, а какие-то подозрительные молодцы с ухватками кошек или разбойников ползают по бортам ваших гондол, собирая за пение сольди и лиры...

Все равно, не убить им этой Божьей красоты, пышного теплого неба и теплой воды, которая, как добрая нянька-колыбель — качает нашу гондолу. Пусть певцы нахальны и жадны, а немцы, самодовольно развалившиеся на подушках гондол, скупы до омерзения. Я все же нашел красоту, и ее у меня не отнять — я крепко прижал ее к моему сердцу. Боже, как далеко от меня Россия, Петроград, холод, грабежи, грязные участки, глупые октябристы, мой журнал, корректуры, цензурный комитет и немолчный телефон!..

Поют... Тихо постукивают гондолы боками одна о другую. Качаются.

Хорошо, когда усталого баюкают.

А утром другая — томительно-сладкая жизнь; зазвучит все по-другому... засверкает ослепительное солнце, четко вырежется на голубом небе кружево белых дворцов и легких мостиков, зазвучит музыкальная брань гондольеров, польется с неба золотой зной, и замелькают всюду живые, проворные, как обезьяны, и ленивые, как черепахи, итальянцы, наполняя жгучий воздух немолчным жужжаньем.

Ах, эти итальянцы... Над ними можно смеяться, но не любить их нельзя.

Уличная толпа сплошь состоит из беспардонных лгунов, мелких мошенников и попрошаек, но это такая веселая живая толпа, плутовство их так по-дикарски примитивно и неопасно, что не сердиться, а только добродушно смеешься и отмахиваешься!

— Cartolina postale.

— No, signore.

— Cartolina postale!!

— No, no!

— Cartolina postale!!

— Не надо, тебе говорят!!

— Русски! Очень кароши cartolina... Molto bene.

— Русски, а? Купаться! Шеловек! Берешь cartolina postale?

— Убирайся к черту! Алевузан, пока тебе не попало.

— Господин, купаться, а? — заискивающе лепечет этот разбойничьего вида детина, стараясь прельстить вас бессмысленными русскими словами, Бог весть когда и где перехваченными у проезжих forestieri russo.

Я сначала недоумевал — чем живут эти люди, от которых все отворачиваются, товар которых находится в полном презрении и его никто не покупает?

Но скоро нашел; именно тогда, когда этот парень шел за мной несколько улиц, переходил мостики, дожидаясь меня у дверей магазинов, ресторана и, в конце концов, заставил купить эти намозолившие глаза венецианские открытки.

— Ну, черт с тобой, — сердито сказал я. — Грабь меня!

— О, руссо... очень карашо! Крапъ.

— Именно — грабь и провались в преисподнюю. Ведь ты, братец, мошенник?

— Купаться, — подтвердил он, подмигивая.

Замечательно, что венецианцы знают одно только это русское слово и употребляют его в самых разнообразных случаях.

У Крысакова, по обыкновению, своя манера обращаться с этими надоедливými комарами.

Он мерно шагает, не обращая ни малейшего внимания на приставания грязнорукого, темнолицего молодца, нагруженного пачками открыток и альбомов. Тот распинается, немолчно выхваляет свой товар, забегает спереди и сбоку, заглядывает Крысакову в лицо — Крысаков с каменным, сонным лицом шагает, как автомат. И вдруг, среди этой болтовни и упрасиваний Крысаков неожиданно оборачивается к преследователю, раскрывает сомкнутый рот и издает неожиданно такой пронзительный нечеловеческий крик, что итальянец в смертельном ужасе, как бомба, отлетает шагов на двадцать. У Крысакова опять спокойное каменное лицо, и он равнодушно продолжает свой путь.

Мифасов, наоборот, враг таких эксцентричностей. Разговор его с этими паразитами — образец логики и внушительности.

— Cartolina postale! — в десятый раз ревет продавец.

— Милый мой, — оборачивается к нему Мифасов. — Ведь мы уже тебе сказали, что нам не надо твоих открыток, зачем же ты пристаешь? Когда нам будет нужно, мы сами купим, а пока — настойчивость твоя останется без всякого результата.

У каждого свой характер. Сандерс и здесь остается Сандерсом.

— Carrrrrtolina postale!!!

Сандерс останавливается и начинает аккуратно пересматривать все открытки. Он берет каждую и медленно подносит ее к близоруким глазам. Пять, десять, двадцать минут...

— Нет, брат. Плохие открыточки.

Умиравший от скуки итальянец рад, наконец, когда эта пытка кончается, хватает забракованные открытки и удирает в какую-нибудь щель, чтобы прийти в себя и собраться с духом.

Когда мы подъезжали к Германии, Крысаков лаконично сказал:

— Тут пьют пиво.

И мы, покорные обычаям приютившей нас страны, принялись поглощать в неимоверном количестве этот национальный напиток.

В Венеции, едва мы переоделись после дороги и спустились на еще не остывшую от дневного зноя пьядетту, Крысаков потянул носом воздух и сказал:

— Жареным пахнет. Вы спросите, что здесь пьют? Вино. Кьянти.

И началось царство кьянти. Добросовестность наша в этом случае стояла вне сомнений. Мы решились есть и пить во всякой стране только то, чем эта страна славится.

Поэтому в Германии выработался свой шаблон.

— Четыре кружки пива, бульон «мит ай», шницель и братвурст мит краут.

К этому заказу Крысаков неизменно прибавлял единственную немецкую фразу, которую он сам сочинил и которой оперировал в самых разнообразных случаях:

— Битте-дритте.

Он был ошеломляющим среди скучных немцев, со своим сияющим лицом, костюмом, осунувшимся от отсутствия пуговиц, чемоданом, распухшим, какдохлый слон, внутри которого скопились газы, и неизменным припевом ко всем нашим распоряжениям:

— Битте-дритте.

Ехал он в Европу с самым независимым видом, обещая поддержать нас в смысле языка, но в Германии ему не пришлось этого сделать, так как он знал только французский язык, в Италии его французского языка итальянцы не понимали, а во Франции французы вполне присоединились в этом смысле к итальянцам.

Так он и остался со своим загадочным:

— Битте-дритте.

Начиная с Венеции, мы разбились на две резкие группы: Мифасов и Сандерс — благомыслящая, умеренная группа, я с Крысаковым — бесшабашная разгульная пара, неприхотливая и небрезгливая до последней степени. Мы якшались с подонками населения, пили ужасное грошовое вино, ели каких-то пауков, каракатиц и разных морских чудовищ, пожирали червяков, похожих на макароны, и макароны, очень смахивавшие на червяков, а Мифасов и Сандерс, обедая в приличных дорогих ресторанах, лишь изредка ходили за нами, наблюдая издали за нашими поступками.

Однажды мы затащили их в такую остерию, что Мифасов, прежде чем сесть на скамью, покрыл ее осторожно газетой.

— Ну, ребята, — оскалил зубы Крысаков. — Покушаем, ха-ха, покушаем... Женщина! Синьора хозяйка! Дайте нам вон этих штучек и этих... Эту рыбку зажарьте да макарон закатите посмешнее. Да кьянти не забудьте, лучшее, что есть в вашем погребе.

Нам подали стряпню, о которой лучше не говорить, и вино, о котором нужно сказать только то, что хотя бутылка и была покрыта паутиной, но, вероятно, в этом погребе паук содержался на определенном жалованье — так все было нехорошо сделано.

— А вы что же, милые? — радушно обратился Крысаков к Мифасову и Сандерсу. — Кушайте, угощайтесь.

— Я сыт, — осторожно сказал Мифасов, — и, кроме того, сейчас иду в ресторан.

Бедному Сандерсу очень хотелось заслужить наше расположение; он принял молодецкий вид, наложил себе на тарелку немного кушанья и, осмотрев его, спросил:

— Это что? Рыба или мясо?

— Бог его знает. Среднее между рыбой и мясом. Земноводное. Во всяком случае, оно уже умерло, и вы его не жалейте.

Наши друзья смотрели на нас с отвращением, мы на них с презрением...

Утолили голод прекрасно, хотя на тарелке осталась целая гора макарон; в остерию зашла нищенка, увидела, что мы оставили недоеденным лакомое блюдо, и попросила разрешения докончить его.

Мы радушно усадили ее между застывшим Мифасовым и Крысаковым, налили ей винца, чокнулись и выпили за благополучие красавицы Венеции.

Без хвастовства могу сказать, что мы двое чувствовали себя вполне в своей тарелке, отличаясь этим от макарон, быстро перешедших с тарелки в желудок нашей соседки.

— Что, миленькие мои, — язвительно спросил Крысаков, когда мы вышли. — Вы ведь привыкли «спускаться к обеду, когда ударит гонг»? Здесь это проще: трахнет один гость другого бутылкой по голове — вот тебе и гонг. Можешь обедать с чехлом от чемодана на плечах вместо смокинга...

Сандерс и Мифасов нас презирали, не скрываясь — это было ясно.

— Вы заболаете от такой пищи! — предупредил Сандерс.



Он угадал: на другой день я был болен легкой лихорадкой, но, к несчастью, заболел и Сандерс, который питался «по гонгу». Этим блестяще опровергалась его теория.

И опять Крысаков трогательно, как сестра милосердия, ухаживал за нами. Сочинял нам разные лекарства, натирал нас вином и коньяком, отделив для себя известный процент этих медикаментов в виде гонорара; совал нам под мышку термометры, вскакивал ночью и, встревоженный, прибегал к нам, чтобы пробудить нас от крепкого сна; мне рекомендовал холодную ванну, а Сандерсу горячую, хотя симптомы были у нас совершенно одинаковые...

## 2

Купанье на Лидо. — «Русским языком я тебе говорю!» — Гондолы. — Паразиты. — Собор Св. Марка. — Перепроизводство дождей. — Школа Св. Маргариты. — Снова и снова Сандерс болен. — Как мы купались

Через два дня Крысаков нашел нас совершенно здоровыми и повез на Лидо купаться.

И опять на долгое время погрузился я в состояние тихого восторга. Небо, какого нет нигде, вода, которой нет нигде, и берег, которого нет нигде.

Милые, милые итальянцы!.. Они не стыдливы и просты, как первые люди в раю. И удивительно, как сатириконцы быстро ко всему приспосабливаются: едва мы разделись и натянули на себя «трусики» величиной в носовой платок — как сразу почувствовали себя маленькими детьми, которых нянька полощет в ванне. Похлопывая себя по груди и бокам, ринулись мы на песок, не стесняясь присутствием дам, зарылись в него, выскочили, огласили воздух победным криком и обрушились в воду, подняв такое волнение, что, вероятно, не одно судно, паруса которых мелькали вдали, перевернулось и пошло ко дну.

Мужчины и дамы, полоскавшие около, смотрели на нас с некоторым удивлением. Эта обуглившаяся от солнца публика долго любовалась на наши белые, как молоко, северные тела, причем один из ротозеев соболезнующе сказал:

— Это недолго. Через три дня почернеете.

— О, милые! — возразил Крысаков. — Мы пожираем таких же пауков и спрутов, каких пожираете вы, пьем ваше кьянти, готовы петь и плясать по-вашему целый день, разделись голые, как вы сейчас, не стесняясь дам, — почему же нам и не сделаться такими же черными, как вы?

Мы упали животами на песок и, надвинув на затылки панамы, подставили свои плечи и ноги под жгучий каскад горячего, как кипяток, солнца.

Крысаков, впрочем, нашел в себе силы доползти до Сандерса, приподнять его панаму и нежно поцеловать в темя.

— Зачем? — лениво спросил Сандерс.

— Инженер. Люблю инженеров.

И мы погрузились в нирвану.

Когда мы одевались, я услышал в соседней кабинке странный диалог.

Незнакомый сиплый голос говорил:

— Русским языком я тебе говорю или нет: принеси мне лампадочку вермутцу позабористее.

Голос слуги при кабинках — старого, выжженного солнцем итальянца-старика в матроске (я его видел раньше) отвечал:

— Нон каписко.

— Не каписко! Чертова голова! Не каписко, а вермут. Ну? Русским языком я тебе, кажется, говорю: вермут принеси, понимаешь? винца!

— Нон каписко.

— Да ты с ума сошел? Кажется, русским языком я тебе говорю... и т. д.

— Слушайте! — крикнул я. — Вы русский?

— Да, конечно! Кажется, русским языком говоришь этому ослу...

— На них это не действует... Скажите ему по-итальянски...

— Да я не умею.

— Как-нибудь... «прего, синьоре камерьере, дате мио гляччио вермуто...» Только ударение на «у» ставьте. А то не поймет.

— Ага! Мерси. Эй ты, смейся паяччио! Дате мио, как говорится, вермуто. Да живо!

— Субито, синьоре, — обрадовался итальянец.

— То-то, брат. Морген фри.

Мы оделись, уселись на пароход и покатали в Венецию, свежие, безоблачно радостные, голодные, как волки зимой.

Это были прекрасные дни. Долгими часами бродили мы по закоулкам среди старых величавых дворцов, любясь небом, прислушиваясь к мрачной тишине узеньких каналов, которую редко-редко когда нарушит тяжело нагруженная кирпичом или овощами лодка. В лодке — итальянец и, конечно, он спит, прикрыв шляпой бронзовое лицо и щедро подставляя под солнце бронзовые руки и ноги...

По всей Венеции разлит сладкий яд невыразимой лени и медлительности... Уличного шума нет, потому что нет грохота экипажей и криков извозчиков. А венецианские гондольеры, в большинстве случаев, молчаливы и сосредоточенны. Жизнь — вечный медленный праздник. Публика шагает не спеша, останавливаясь на каждом шагу, гондолы ползут лениво, потому что спешить некуда и пассажир все равно дремлет, изредка поднимая отяжелевшие от истомы веки и скользя ленивым взглядом по облупившимся фасадам примолкших дворцов и покосившимся причалам, которые зыбкой линией отражаются в черной воде уснувшего канала...

На пьяццете, у берега большого канала, жизнь шумнее. Здесь десятки черных гондол мерно качают своими благородными, прекрасной формы носами, а лодочники, как стая разбойников, притаившись, стерегут проходящего форестьера, растерянного и сбитого с толку необычностью всего окружающего.

Стоит только показаться иностранцу, как поднимается неимоверный крик десятков хриплых глоток:

— Гондола, гондола, гондола!

Выйдя из гостиницы (тут же на пьяццете), я подхожу к берегу и делаю знак. С радостным воем гондольер прыгает в гондолу и, как птица, подлетает ко мне. Сейчас же откуда-то из-за угла дома вылетают: 1) здоровенный парень, роль которого — посадить меня, поддерживая двумя пальцами под локоть; 2) другой здоровенный парень, по профессии придерживатель гондолы у берега какой-то палочкой, — хотя гондола и сама знает, как вести себя в этом случае; 3) нищий — по профессии пожелатель доброго пути; и 4) мальчишка-зритель, который вместе с остальными тремя потребует у вас сольди за то, что вы привлекли этой церемонией его внимание.

Я сажусь; поднимается радостный вой, маханье шапками и пожелания счастья, будто бы я уезжаю в Африку охотиться на слонов, а не в ресторанчик через две улицы.

При этом все изнемогают от работы: парень, который подсаживал меня двумя пальцами, утирает пот с лица, охает и, тяжело дыша, придерживает рукой готовое разорваться сердце; парень, уцепившийся тоненькой палочкой за борт гондолы, стонет от натуги, кричит и всем своим видом показывает, что если в Италии и существуют каторжные работы, то только здесь, в этом месте; нищий желает вам таких благ и рассыпается в таких изысканных комплиментах, что не дать ему — преступно; а ротозей-мальчишка вдруг бросается в самую середину этого каторжного труда и немедленно принимает в нем деятельное участие:

поддерживает под локоть того парня, который поддерживал меня.

Если вдуматься в происшествие, то только всего и случилось, что я сел в лодку... Но сколько потрачено энергии, слов, споров, советов и пожеланий. Четыре руки с четырьмя шляпами протягиваются ко мне, и четверо тружеников, получив деньги, дают клятвенное уверение, что теперь, после моего благородного поступка, обо мне позаботятся и святая Мария, и Петр, и Варфоломей!

Я говорю гондольеру адрес, мы отчаливаем, тихо скользим по густой воде и, после получасовой езды, подплываем к самому ресторану. Кто-то на берегу приветствует меня радостными кликами. Кто это? Ба! Уже знакомые мне: придерживатель гондолы, подсаживатель под руку, пожелатель счастья и мальчишка поддерживатель поддерживателя под руку.

Они объясняют мне, что слышали сказанный мною гондольеру адрес и почли долгом прийти сюда, чтобы не оставить доброго синьора в безвыходном положении. Опять кипит работа: один придерживает гондолу, другой суетливо призывает благословение на мою голову, третий меня придерживает под руку, а четвертый поддерживает третьего.

Милая, голодная, веселая, мелко-жульническая и бесконечно-красивая даже в этом жульничестве Италия!

Нас обманывали на каждом шагу, но так мелко, так дешево, что мы только посмеивались.

У собора Св. Марка целая туча гидов. Показывают собор, показывают могилу какого-то знаменитого дожа, настолько знаменитого, что потом в каждой церкви нам показывали могилу, где лежали настоящие, подлинные останки этого удивительного дожа.

Однажды я не вытерпел и спросил:

— Вы говорите, что это настоящая могила, в которой лежит настоящее, подлинное тело дожа Марка Х?

— Си, сеньоре, только у нас!

— Странно... я до вас был в семи церквях и в каждой мне показывали настоящее трупохранилище Марка Х.

— Они вам показывали? — презрительно возразил проводник. — Хотел бы я посмотреть ихнего дожа! Воображаю... Вероятно, что-нибудь курам на смех. Туда же... лезут со своими дожами. У нас, синьор, такой дож Марко Х похоронен, что пальчики оближете.

У меня осталось смутное впечатление, что в прежние времена трупы знаменитых дожей заготавливались оптовым способом на одной из немецких фабрик и потом рассылались во все церкви, чтобы никому не было обидно...

Когда мы осмотрели собор Св. Марка, гид, показывавший нам собор, опустил голову, отошел поодаль и задумался: «Что бы еще такое показать?»

Вспомнил. Показал то место, где Барбаросса стоял перед папой на коленях. Место было самое обыкновенное. Задумался. Вспомнил. Показал то место, где сидел папа.

— Ну, довольно, — сказали мы. — Все!

— Нет! — остановился гид.

Задумался. Вспомнил. Показал то место, на котором Барбаросса не стоял. Мы внимательно осмотрели указанное место. Понравилось.

— Я сейчас вам покажу мраморную колонну, отнятую у турок.

— Не надо, — сухо сказали мы.

— Покажу то место, где стояли кардиналы, когда Барбаросса...

— Не надо!

Он призадумался.

— Хотите, может быть, красивую синьору? Очень скромная, молодая, а?

— Пойди к черту!

— Открыток не надо ли? Вот хорошие есть. Эй, Джузеппе! Иди сюда, вот господам нужно открытки.

— К дьяволу! Ничего нам не нужно.

— Ага! Я знаю, что вам показать... Хотите видеть школу Святой Елизаветы?

— Это интересно, — сказал Крысаков, обращаясь к нам. — Мне очень хотелось бы видеть, как у них поставлено учение... Ведите!

Мы последовали за гидом.

Он привел нас в какое-то помещение, одна часть которого была занята венецианским стеклом, а другая — несколькими десятками рабочих, копавшихся над какими-то мраморными статуэтками и мозаикой.

— Вот, — сказал гид, подмигивая хозяину, — эти господа хотят что-нибудь купить.

— Это что такое? — сурово спросил Мифасов.

— Школа Святой Елизаветы!

— Это такая же школа, как ты честный человек. Ах ты, мошенник! Какая это школа?! Разве такие школы бывают?

— Я не понял синьоров, — сказал гид, сверкая зубами... — Школу желаете? Пожалуйста, я проведу вас в школу. Школу Святой Маргариты! Синьоры останутся довольны.

Он повел нас, треща, как попугай, приплясывая и беспрестанно оборачиваясь...

Привел... Среди десятка манекенов сидели и плели кружева несколько прехорошеньких девушек.

— Вот, — сказал гид. — Настоящие венецианские кружева.

Меня удивило, что никто из нас не рассердился.

Наоборот, все подошли к красавицам и с захватывающим интересом стали следить за их работой.

Крысаков настолько заинтересовался проворством маленьких ручек, что взял одну из них и поцеловал.

— Нет, — сказал гид. — Я только хотел предложить вам купить кружева.

В другом углу Сандерс внимательно рассматривал плетенье, остановив работу самым примитивным способом: взял обе руки работницы в свои.

— Мифасов! — печально сказал я. — Только мы с тобой и отличаемся суровой нравственностью и закаленным сердцем.

— Да, да... Послушай... Тебе не нужен тот цветочек, что торчит в твоей петлице? Дай мне. Я приколю его к груди той, вон, высокой, черной...

— Боже, — подумал я с отвращением. — Эти люди, как тигры, набросились на беззащитных девушек...

Глубокое чувство сожаления охватило меня. Я нежно-покровительственно обвил талию ближайшей работницы и шепнул:

— Не бойтесь! Я не подпущу их к вам.

— Пойдем, синьоры, — сказал гид, лицо которого вытянулось. — Я вижу, что вы ничего не купите...

Действительно, мы вышли из «школы Маргариты», не купив даже аршина кружев.

— Все-таки, — задумчиво сказал Крысаков, — у них школьное дело обставлено недурно.

Когда наступил назначенный заранее день нашего отъезда из Венеции, мы с Сандерсом снова заболели.

Поезд уходил в пять часов вечера, и мы аккуратно пролежали до 4 ½ часов вечера.

— Теперь уже на поезд не успеешь? — осторожно спросил Сандерс.

— Нет. Пока соберемся, пока гондола доползет...

— Ну, значит, можно вставать. Господи! Какое счастье еще один денек пожить в Венеции!

Мы вскочили, оделись и пошли бродить.

На другой день печаль разрывала наши сердца — нужно было уезжать.

Мы обошли все уголки, простились с Венецией, но... случилась непредвиденная вещь: в три часа дня заболел Мифасов.

— Плохо мне что-то, — сказал он. — Знаю, что нынче обязательно нужно ехать, но не могу встать.

— Гм... Ну, ты лежи, а мы поедem на Лидо купаться. Все равно уж, раз остались...

— И я с вами...

— С ума вы сошли! Смотрите-ка! У него лихорадка, а он — купаться!

Укутали Мифасова, пошли завтракать, побродили по переулкам и поехали на Лидо.

Разделись, легли на песок. Вдруг Крысаков поднялся на локтях и, глядя в воду, неуверенно сказал:

— Гм! Если бы Мифасов сейчас не лежал в Венеции в жестокой лихорадке, я бы подумал, что это он!

— А, это вы братцы, — пролепетал Мифасов, сконфуженно потирая тощую грудь. — А мне сделалось этого, знаете... как его? лучше! Да, сделалось лучше — я и приехал.

Признаться ли? Все мы втайне были благодарны за его ловкий прием. Пожить еще один день в Венеции! Этот Мифасов всегда придумает что-нибудь остроумное.

И в последний раз вошли мы в лазурные воды Лидо...

У всякого была своя манера купаться. Сандерс заплывал так далеко, что я, теряя его из вида, начинал подумывать о приискании, по возвращении в Россию, нового секретаря.

Крысаков, повертевшись в воде две минуты и наглотавшись соленой воды, вполне удовлетворенный, выбегал на берег и принимался за разные гадости: бросал в нас песком, завязывал узлы на рубашках и носился, как сорвавшийся с цепи слон, по всему побережью.

Мифасов входил в воду с таким лицом, что будто бы он уже махнул рукой на жизнь и что морская пучина — близкая его могила. Валился на полуаршинной глубине во весь свой длинный рост и, выпучив в безумном паническом ужасе глаза, размахивал бешено руками с видом человека, решившегося дорого продать жизнь.

Со стороны казалось, что это человек среди океана борется с гигантским волнением и тонет, одинокий... На самом деле стоило ему только протянуть руку, чтобы она коснулась берега.

В первый раз, когда я увидел его полный отчаяния взгляд и бешеные спазматические движения на полуаршинной глубине, то, обеспокоенный, спросил:

— Боже мой! Что это ты делаешь?

— Плаваю! — прохрипел этот лихой малый.

— Где? Ведь тут глубины не больше двух футов.

— Что ты! Я ведь ногами до самого дна достаю.

Я не хотел ему говорить, что этого же результата он достигает на любой городской улице, где воды нет. Но, взглянув на его покрытое предсмертным потом лицо и отчаянный лихой взгляд — промолчал.

Может быть, кто-нибудь спросит, как плаваю я?

Боже мой! Да конечно — превосходно.

# Флоренция

Мнение путеводителя. — Испорченный механизм Мифасова. — Фьезоле. — Катанье в странном экипаже. — Человек, перещеголявший Сандерса. — Мы растерялись. — Поиски. — Остроумный плакат. — Опять Фьезоле

В путеводителе — о Флоренции сказано:

— Этот город можно назвать самым красивым из всех итальянских городов.

А о Венеции в том же путеводителе сказано:

— Этот город считается самым красивым из всех итальянских городов.

К Риму составитель путеводителя относится так:

— Рим можно назвать самым красивым из всех итальянских городов.

Можно сказать с уверенностью, что жена составителя путеводителя в своей семейной жизни была не особенно счастлива. Каждую встретившуюся женщину увлекающийся супруг находил «лучше всех».

Венеция — царица, а Флоренция — ее красивая фрейлина, поддерживающая царственный шлейф. В Венеции нужно наслаждаться жизнью, во Флоренции — отдыхать от жизни.

Благородным спокойствием обвеяна Флоренция.

Улицы без крика и гомона, роскошная зелень недвижно дремлет около белых дворцов, а солнце гораздо ласковее, нежнее, чем в пылкой Венеции.

Едва мы умылись в гостинице и переоделись, я спросил:

— Что хотел бы каждый из вас сейчас сделать?

— Меня интересует, — нерешительно сказал Мифасов, — постановка их школьного дела.

Крысаков пожал плечами и взглянул на часы:

— Поздно! Они уже, наверно, кончили свои кружевные дела. Меня интересует — едят ли здесь что-нибудь? Я хочу есть.

— А вы, Сандерс, чего хотите?

Он вздохнул, поглядел в окно, передвинул ногой чемодан и сказал:

— Я...

Мы терпеливо подождали.

— Ну, ладно! Выскажетесь по дороге. Некогда.

— Надо, господа, ехать во Фьезоле, — предложил Мифасов. — Полчаса езды на трамвае. Там прекрасно. Красивое местоположение, зелень.

Совет Мифасова поставил нас в затруднительное положение. За час перед этим я заглядывал в путеводитель и нашел такие сведения: «Фьезоле, полчаса езды от Флоренции в трамвае; прекрасное местоположение, масса зелени».

Но раз это же самое утверждал Мифасов, я усомнился: нет ли ошибки в путеводителе? Потому что не было большего неудачника в подобных случаях, чем Мифасов. У него была прекрасная память, но какая-то негативная: все запоминалось наоборот.



— Может быть, Фьезоле не около Флоренции, а около Рима? — спросил, колеблясь, я.

— Нет, здесь.

— Может быть, это какая-нибудь скверная дыра? Не спутал ли ты, Коленька... А? Ну-ка, вспомни.

— Нет, там хорошо.

И что же... Не успел трамвай доехать до места назначения, как мы убедились, что это Фьезоле и что оно действительно прекрасно.

— Тут есть, господа, остатки древнего цирка. Можно взять лошадок и съездить посмотреть. Близко.

— Коля, — осторожно сказал Крысаков, — может быть, это не цирк, а театр, а? И не старый, а новый? Ну-ка вспомни-ка. Может, до него далеко? Может, тут не лошадки возят, а мулы или верблюды?

В механизме Мифасова что-то испортилось: цирк был действительно древний и находился он близехонько.

Когда я сравниваю себя с товарищами, мне прежде всего бросается в глаза разница нашей духовной организации. Попробуйте спросить меня, что осталось в моей памяти от Флоренции и Нюрнберга? Я отвечу в первом случае: красивая грусть, которой проникнуто было все; во втором случае: идиллическое настроение на фоне суровых, тесно сдвинувшихся зданий, в окна которых, казалось, грозно глядят прошлые, серые века, закованные в латы и отягощенные доспехами. А спросите о Флоренции и Нюрнберге моих товарищей. От всего Нюрнберга уцелел толстый немец Герцог, хозяин кабачка, в котором нас угостили несравненными кровяными колбасами, брат-вурстом и изумительным пивом. Я до сих пор не могу забыть ни этих колбас, ни этого пива... Флоренция? Фьезоле? О, конечно, при этом слове у моих друзей засверкают глаза и польются воспоминания:

— Помните кьянти? Нигде во всей Италии нам не давали такой прелести! А асти? Нигде нет такого! А мартаделла, а гарганзола!! А какая-то курица, приготовленная таинственно и чудесно. Ах, Фьезоле, Фьезоле!..

Действительно, должен сознаться, что ни этого вина, ни этих чудесных кушаний забыть нельзя. Ах, Фьезоле, Фьезоле!

После этого чудесного пира мы, ласковые и разнеженные, вышли из увитого зеленью дворика крохотного ресторана и бодро зашагали, полные искренней любви друг к другу. Крысаков не преминул снять с Сандерса шляпу и нежно поцеловать его в темя.

— Почему? — спросил сонно Сандерс.

— Славный вы человек. Дай Бог вам всего такого...

Идя сзади под руку с Мифасовым, я шепнул ему:

— В сущности, они хорошие ребята, не правда ли?

— Превосходные. В них есть что-то такое...

Он споткнулся, но я дружески поддержал его.

— Стойте! — закричал Крысаков. — Экипаж! Поедем на нем. Эй, ты! Свободен?

Это был большой, черный, поместительный экипаж, влекомый парой лошадей, которых вел под уздцы парень в грязном, темном костюме.

— А флорентийцы, как и венецианцы, — люди одного вкуса. Все у них выдержано в черных тонах. Садитесь, господа! Фу ты, как неудобно...

Кучер что-то закричал и стал прыгать и кривляться около экипажа.

— Что он делает?

— Наверное, какая-нибудь секта. Эти итальянцы, вообще...

— Может быть, он занят? Спросите его по-французски.

По-французски возница не понимал.

— Свободен? — спросил Мифасов. — Либро? Э? Твоя экипажа свободна есть? Либро?

Экипаж оказался свободен и, тем не менее, возница очень не хотел, чтобы мы садились. Он кричал и бесновался...

— Покажите этому флорентийскому ослу пять лир. Может быть, это его успокоит.

Мы показали смятую бумажку и победоносно полезли в экипаж.

Возница застонал, всплеснул руками, вскочил на облучок, ударил по лошадям — и экипаж поскакал, бешено подпрыгивая на каменистой мостовой.

Прохожие, встречаясь с нами, взмахивали руками и кричали что-то нам вслед; мальчишки бежали за нами, приплясывая и оглашая воздух немолчными воплями.

— Какое приветливое народонаселение, — сказал Мифасов удовлетворенно. — Вообще итальянцы всегда хорошо относятся к иностранцам.

— А может быть, они принимают нас за каких-нибудь должностных лиц? — спросил честолюбивый Крысаков.

— Ну, знаете... Мы больше смахиваем на конокрадов.

— О, черт. Ударился головой о верх! Знаете, я думаю, этот экипаж не создан для быстрой езды.

В справедливости слов Крысакова мы не замедлили убедиться через две минуты. Навстречу нам очень медленно подвигался такой же самый экипаж. Возница степенно вел четырех лошадей под уздцы, а сзади шагали погруженные в задумчивость люди. В экипаже был только один пассажир, и тот не сидел, а лежал, чинно сложив на груди руки.

— Посмотрите-ка, что это?

— Д-а-а... Гм!..

— Знаете что? Тут уж нам недалеко; пройдемся пешком.

— Идея! А то мы совсем без движения...

— Растолстеешь, — согласился Крысаков, поспешно спрыгивая с нашего странного экипажа.

Домой мы добрались молча. Говорить не хотелось.

Уезжали на другой день утром. Во Флоренции нам удалось видеть самого медлительного человека в мире. Сандерс казался перед ним человеком-молнией.

Наша гостиница была около самого вокзала, через дорогу. Портье сказал, что он довезет наши вещи на тележке, а мы можем пойти вперед, брать билеты. До поезда оставалось двадцать пять минут. Мы взяли билеты, просмотрели юмористические журналы; до поезда осталось десять минут. Выпили бутылку вина, проверили билеты, проверили время отхода — осталось три минуты.

— Проклятое животное! Мы опоздали. Не украл ли он наши вещи?

— Пусть кто-нибудь побежит за ним.

- А вдруг он сейчас откуда-нибудь вынырнет?
- Как же мы поедем без одного. Нам разлучаться нельзя.
- Теперь уж не разлучимся.
- Почему?
- А вот... наш поезд... тронулся.

Когда хвост поезда скрылся где-то за горизонтом, послышалось тихое пение, и портье, мурлыча популярную канцонетту и толкая впереди тележку с нашими вещами, показался из-за угла. Он подвигался популярным среди нас «шагом Сандерса» со скоростью десяти ругательств спутника в минуту.

Остановился... Вытер лицо красным платком, закурил сигару, пожал руку знакомому факкино и, заметив в углу нашу молчаливую группу, благодушно спросил:

- Опоздали? Поезд ушел?
- Ушел.
- Та-ак.
- Ну, что новенького в Риме? — спросил, сдерживая себя, Крысаков.
- О, я, синьоры, к сожалению, не был там.

— Неужели? Я думал, вы сейчас туда заезжали по дороге. Благополучно ли вы переправились через неприступное ущелье, отделяющее гостиницу от вокзала?

- О, синьоры, дорога совершенно прямая.
- Знаете, кто вы такой, синьор портье? Идиот, грязное животное, негодяй и бригант!

К французскому языку он относился совершенно равнодушно, что было видно из того, что лицо его оставалось сонным, и под градом ругательств он сладко затягивался отвратительной сигарой.

- По-итальянски бы его, — свирепо сказал я.
- Ладно. Кто будет?
- Говорите вы. А мы будем составлять фразы.

Каждый из нас знал по несколько итальянских ругательств, но это было плохое, разрозненное издание. Приходилось собирать у каждого по несколько слов, систематизировать и потом уже в готовом виде подносить их Крысакову для передачи по адресу.

Мы расселись на своих чемоданах, и фабрика заработала. Мы с Мифасовым произносили слова, Сандерс их клеивал, а Крысаков громовым голосом бросал уже готовый фабрикат в лицо обвиняемому.

Обвиняемый присел на пустую тележку, надвинул шапочку на глаза и закрыл лицо руками.

Когда мы с Мифасовым опустошили себя, оказалось, что негодяй заснул.

- Пойдем жаловаться хозяину гостиницы.

Они ушли, а я остался около вещей. Прошло очень много времени; я видел, как ушел второй поезд на Рим, и узнал, что следующий уходит только через три часа. Велел факкино отнести вещи в багаж, а сам пошел бродить по городу, чтобы протянуть время до поезда. Обиженный, покинутый, плотно позавтракал. За час до отхода поезда вернулся на вокзал. Никого не было. Потом оказалось, что Сандерс, Крысаков и Мифасов пришли после моего ухода на вокзал. Увидели, что меня нет, и отправились искать меня по городу. Зашли по дороге в альберго, хорошо позавтракали. Потом опять искали. А я пришел на вокзал,

никого не нашел и, встревоженный, отправился на поиски. Искал долго, устал... Зашел в ресторан пообедать. В это время потерянные друзья опять навестили вокзал, не нашли меня и снова пустились в поиски; заглядывали в рестораны, остерии; в одной решили пообедать. А поезда приходили из Рима, уходили в Рим, сновали туда и сюда, не дожидаясь несчастной, расползшейся по всему городу компании. Группа «Мифасов, Сандерс и Крысаков» устроила заседание по поводу потерявшейся группы «Южакин», и решила поставить поиски на самую широкую ногу: город был разбит на районы; на углах улиц поставлена была цепь сторожевых (Мифасов); член этой человеколюбивой экспедиции Сандерс был командирован на вокзал со специальным поручением: наклеить в багажном отделении на мой чемодан глубокомысленный плакат:

«Если вы придете на вокзал, забирайте вещи и идите в гостиницу «Палермо», где мы ночуем. А если не придете на вокзал, мы вечером — в шантанчике у Рынка Свиньи, туда прямо и идите».

Ниже приписка карандашом:

«Впрочем, что я за дурак: если вы не придете на вокзал, как же вы узнаете, что мы вечером у Рынка Свиньи? Тогда ведь вы не будете знать, где мы. В таком случае, поезжайте в «Палермо» и вечером просто ложитесь спать. Крысаков кланяется».

— А, ну вас, — подумал я. — Не люблю людей, делающих ложные шаги. К черту ваш Рынок Свиньи! Поеду-ка я лучше на Фьезоле, в этот милый кабачок.

Потом я выяснил, что мои спутники к концу вечера растеряли друг друга и каждый очутился в одиночестве. Это произошло потому, что Крысаков, вместо того чтобы ждать Сандерса в условленном месте, решил пойти ему навстречу; Сандерс, наоборот, решил зайти по дороге за Мифасовым, а Мифасов отправился к Крысакову, не нашел его, полетел на вокзал, — и четыре человека весь день бродили в одиночестве по флорентийским улицам. Каждый из них был раздражен глупостью других и, не желая их видеть, решил провести вечер в одиночестве.

Поэтому Крысаков был чрезвычайно изумлен, обнаружив меня на Фьезоле, в излюбленном ресторанчике, а Сандерс и Мифасов, появившиеся почти в одно время за нашими спинами, сочли это каким-то колдовством.

Сначала, усевшись, мы сделали кое-какую попытку разобраться в происшедшем, но это оказалось таким сложным, что все махнули рукой, дали клятву не разлучаться и... курица по-итальянски, выплывшая из ароматной струи асти, смягчила ожесточившиеся сердца.

# Рим

Сандерс сокрушается. — Старина. — Я стараюсь перещеголять гида. — Колизей. — Сандерс в катакомбах. — Музей. — Тяжелая жизнь. — Художественное чутье. — Дорогая палка. — Уна лира

Рим не на всех нас произвел одинаковое впечатление. Когда мы осмотрели его как следует, Сандерс засунул руки в карманы и спросил:

— Это вот и есть Рим?

— Да.

— Это такой Рим?

— Ну, конечно. А что?

— Гм, да... — протянул он, ехидно усмехаясь. — Так вот он, значит, какой Рим...

— Да, такой. Вам он не нравится?

— О, помилуйте! Что вы! Как же может Рим не нравиться? Смею ли я...

Свесив голову, он долго повторял:

— Да-с, да-с... Вот оно как! Рим... Хи-хи. А я-то думал...

— Что вы думали?

— Ничего, ничего. Городок-с... Городочек-с! Хи-хи.

Мы пробовали рассеять его огорчение.

— Он, правда, немножко староват... Но зато...

— Да, да... Староват. Но зато он и скучноват. Он и грязноват. Он и жуликоват. Хи-хи!

В этом смысле я резко разошелся с Сандерсом. Рим покорило мое сердце. Я не мог думать без умиления о том, что каждому встречному камню, каждому обломку колонны — две, три тысячи лет от роду. Тысячелетние памятники стояли скромно на всех углах, в количестве, превышающем фонарные столбы в любом губернском городе.

А всякая вещь, насчитывавшая пятьсот, шестьсот лет, не ставилась ни во что, как девчонка, замешавшаяся в торжественную процессию взрослых.

Я долго бродил с гидом по Форуму, среди печальных обломков старины, и в ушах моих звенели диковинные цифры:

— Две тысячи лет, две с половиной! Около трех тысяч лет...

Когда мы брели усталые по сонным от жары улицам, я остановился около мраморного, позеленевшего от воды и лет фонтана и сказал:

— О! Вот тоже штучка. Я думаю, не из новых.

Гид пожал плечами, сплюнул в струю воды и возразил:

— Дрянь! Всего-то восемьсот лет.

На углу меня заинтересовала чья-то бронзовая статуя.

— Господин, — сказал гид, — если мы будем останавливаться около таких пустяков — у нас не хватит недели.

— Вы это считаете пустяком?

— О, Господи ж! Поставлен в прошлом столетии.

— Однако, — сказал я. — Как же вы терпите эту ужасную новую ярко-позолоченную конную статую Виктора-Эммануила?

— О, ведь это вещь временная. Этот памятник еще не готов.

— Почему?

— Он будет готов через шестьсот-семьсот лет, когда позолота слезет. Тогда это будет благороднейшее старинное произведение искусства.

— Странный обычай. У нас, в России, таким способом заготавливают только огурцы впрок. Раз он не готов — не нужно было его открывать...

— Закрытыми такие вещи нельзя держать, — возразил гид. — Тогда позолота и в тысячу лет не слезет.

Я проникся культом старины даже гораздо раньше, чем этого мог ожидать гид.

В сумерки он зашел ко мне в гостиницу и предложил, лукаво ухмыляясь:

— Не желает ли господин посмотреть тут один шантанчик?

— Старый? — спросил я.

— О, нет, совершенно новый, недавно отремонтированный.

— Так что ж вы мне его предлагаете! Еще если лет восемьсот, девятьсот...

— О, тогда господину нужно пойти в кафе Греко.

— Старое?

— О, да. Еще в восемнадцатом веке...

— Только-то? Нет, мой дорогой. Я полагаю — его можно будет посещать лет через триста... и то с большой натяжкой...

Я имею основание думать, что гид почувствовал ко мне тайное почтение. Он поклонился и сказал:

— В таком случае, не посмотрите ли вы завтра собор Святого Петра?

— О, — равнодушно пожимая плечами, промямлил я. — Вы говорите — святого? Это, вероятно, что-нибудь уже после Рождества Христова?

— Да, но...

— Знаете что? Отложим это до будущего приезда. Все-таки будет годиком больше, а?

— Ну, я знаю, что господину нужно... Он завтра утром посмотрит Колизей и термы Каракаллы.

— Ну что ж, — сказал я. — Я полагаю, что это меня позабавит.

На другой день утром автомобиль в двадцать минут доставил нас прямо к Колизею. Был прекрасный жаркий день.

Лицо гида сияло гордостью и торжеством.

— Вот-с! Извольте видеть.

— А где же Колизей?

Гид побледнел:

— Как... где?.. Вот он, перед вами!

— Такой маленький? Тут повернуться негде.

— Что вы, господин! — жалобно вскричал гид. — Он громаден! Это одно из величайших зданий мира. Пожалуйте, я вам сейчас покажу ямы, где содержались звери до представления и откуда их выпускали на христиан.

— Там сейчас никого нет? — осторожно спросил положительный Мифасов.

— О, синьор, конечно. Вам со мной нечего бояться. Вот видите, остатки этих громадных стен; все они были облицованы белым мрамором — такую работу могли сделать только рабы.

— А где же мрамор?

— Монахи утащили в Ватикан. Весь Ватикан построен из награбленного отсюда мрамора.

— Ага! — сказал Сандерс, — око за око... Сначала звери в Колизее драли христиан, потом христиане ободрали Колизей.

— О, — сказал гид, — христианство погубило красоту Рима. Это была месть язычеству. Лучшие памятники разграблены и уничтожены Ватиканом. Вам еще нужно взглянуть на бани Каракаллы и на катакомбы.

Добросовестный гид потащил нас куда-то в сторону, и мы наткнулись на грандиозные развалины, на стенах которых еще кое-где сохранилась живопись, а на полу — чудесная мозаика.

Мы, притихшие, очарованные, долго стояли перед этим потрясающим памятником рабства и изнеженности, над которым несколько тысячелетий пронеслись, как опустошительный ураган, пощадив только то немного, что могло дать представление нам, узкогрудым потомкам, о мощном размахе предков.

И мне захотелось остаться тут одному, опуститься на обломок колонны и погрузиться в сладкие мечты о безвозвратно минувшем прошлом. Так хотелось, чтобы никого около меня не было, ни гида, ни Сандерса, с его сонным видом и вечным стремлением завязать спор по всякому ничтожному поводу, ни размашистого громогласного Крысакова, ни самоуверенного кокетливого Мифасова, которому до седой старины такое же дело, как и ей до него.

В это время ко мне приблизился Мифасов и сказал тихонько:

— Вот она, старина-то!.. Так хочется побыть одному, без этого хохотуна Крысакова, без вялого дремлющего Сандерса, которому, в сущности, наплевать на всякую старину... Так хочется посидеть часик совсем одному.

За моей спиной послышался шепот Сандерса:

— Вас не смешат, Крысаков, эти два дурака, которые, вместо того чтобы замереть от восторга, шепчутся о чем-то? Как бы мне хотелось, чтобы никого из них не было!.. Сесть бы в уголочке да пометчать.

— Да, да, — сказал Крысаков. — Мне тоже. Чтобы никого не было!.. Ну, разве только вы, — деликатно добавил он.

Были мы в катакомбах. Сырой, холодный воздух, зловещий шорох наших ног, огонек свечи, освещающий пространство в ладонь величиной, и тяжелое смутное настроение, которое еще больше усиливали вопросы Сандерса, неожиданно вступившего в полосу разговорчивости в этом неподходящем месте.

— Почему тут так темно? — осведомился он у монаха.

— Катакомбы.

— Ну, я понимаю — катакомбы! А все-таки могло быть светлее. Тут никто не живет?

— Конечно, нет. Здесь хоронили мучеников, а в последнее время — пап.

— Чьих? — бессмысленно спросил Сандерс, отколупывая пальцем кусок воска от свечи.

— Римских.

— Ага! Теперь уже, вероятно, нет древних христиан? Времени-то, слава Богу, прошло немало.

— Ради Бога, довольно! — сурово перебил Крысаков. — Теперь я понимаю, почему Сандерс так редко разговаривает... У него есть солидные основания.

Большую часть времени, проведенного в Риме, мы тратили на хождение по музеям и картинным галереям.

Я подозреваю, что с музеями у нас с самого начала вышло недоразумение: художники боялись показаться мне и Сандерсу людьми некультурными, не интересующимися искусством и потому, едва успев приехать в город, уже неслись с искаженными тоской лицами во все картинные галереи города; мы, не желая показать себя перед художниками людьми отсталыми, равнодушными к их профессии, носились за ними.

Сколько мы видели картинных галерей? Сколько музеев обожали мы за все время наших скитаний по Европе? Какое количество картин больших и маленьких промелькнуло перед нашими утомленными глазами? Берлин, Дрезден, Мюнхен, Нюрнберг, Венеция, Флоренция, Рим, Неаполь, Генуя, Париж... Всюду целое море полотна — зеленого, красного, розового, старинного и нового...

В Ватикане Сандерс заснул в музее за дверью, а в другом музее — забыл его название — мы так разошлись, что, поднимаясь все выше и выше, попали в большую комнату, уставленную столами, за которыми сидели несколько живых стариков. Мы тупо осмотрели их, постояли добросовестно около портрета Виктора-Эммануила и потом потащились обратно, шатаясь от усталости.

— Вот столб какой-то, — указал Мифасов, когда мы спускались по темной лестнице.

— Старинный?

— Бог его знает! Спокойнее будет, если осмотрим.

Осмотрели столб. Как говорится, ничего особенного.

Начиная с Мюнхена, мы, по приезде в каждый город, усвоили привычку робко спрашивать у обывателей:

— Нет ли тут каких-нибудь музеев или картинных галерей?

И если музеи были, Крысаков решительно надевал шляпу и с суровой складкой у углов рта с видом подвижника говорил:

— Ну, ничего не поделаешь... Надо идти.

Остальные трое безропотно надевали шляпы и шагали за ним, угрюмо опустив головы.

— Может быть, он закрыт? — шептал Сандерс, с надеждой поглядывая на Крысакова.

— Глупости! Почему бы ему быть закрытым?

— Ремонт... Или по случаю пожара.

— Вздор! Пойдем. Я вам покажу тут такого Луку Кранаха, что даже ахнете.



Как люди деликатные, мы с Сандерсом ахали.

— Смотри, Сандерс, — Кранах!

— Да, да! Лука. Изумительно.

Крысаков и Мифасов распознавали художников и их картины по общепринятой системе; у Сандерса же была своя система — очень дикая, но, к общему изумлению, довольно верная. Например, Рубенса он узнавал по цвету женских колен, а какого-то французского художника единственно по тому признаку, что на всякой его картине в центре была нарисована белая лошадь. И действительно — в десятке разбросанных картин было заключено десять лошадей, и все белые, и каждая в центре.

Я с завистью смотрел на трех друзей, которые издали безошибочно, по одним им известным признакам, узнавали среди десятков — какого-нибудь Гверчино, Зурбарана или Луку Кранаха.

В конце концов, я придумал следующий практичный и простой способ конкурировать с ними: когда они застывали в изумлении перед какой-нибудь картиной, я потихоньку прокрадывался в следующую комнату, прочитывал подписи под картинами, возвращался и потом, шествуя в хвосте в эту следующую комнату, говорил, выглядывая из-за спин товарищей:

— А! Что это? Если не ошибаюсь, эта старина Лауренс? Похоже на его письмо...

— Да, это Лауренс, — неохотно соглашался Крысаков.

— Еще бы! Я думаю. А этот, вот в углу висит — убейте меня, если это не Берн-Джонс. Сразу можно узнать этого дьявольского виртуоза! Ну конечно. Да тут, если я не ошибаюсь, и Гэнсборо, и Рейнольдс!

Сандерс, Мифасов и Крысаков изредка ошибались. Я никогда не ошибался.

— Смотрите! — говорил Крысаков. — Ведь это Коро! Его сразу можно узнать.

Я читал на дощечке:

«Ван-Хиггинс, Голландская школа».

— Неужели? А ведь совсем Коро!.. Не правда ли, Мифасов?

— Да! — подтверждал Мифасов, очень ревниво относившийся к поддержанию их профессионального престижа. — Ну, Добиньи, конечно, вы сразу узнали?

— Это не Добиньи, — поправлял я. — Это Курбе.

— Ну, Курбе! Их часто смешивают.

— У Курбе всегда толстое дерево сбоку, — авторитетно замечал дремавший Сандерс.

И мы шли дальше, пробегая одним взглядом десятки картин, лениво волоча усталые ноги и судорожным движением выпрямляя изредка натруженные спины и затылки.

Когда уже все было осмотрено, несносный проныра Крысаков неожиданно говорил:

— А вот тут есть еще один закоулочек — мы в нем не были.

— Ну, какой там закоулочек... Стоит ли? Я уверен, там ничего путного нет.

— Нет, Сандерс, — так нельзя. Нужно все осматривать...

— Милые мои! Отпустите вы меня...

— Что вы! Там целых два Фрагонара.

— Два?.. Эх! Ну, идем!!

Всюду нам сопутствовала компания англичанок. Англичанки все, как на подбор, были старые — ни одной молоденькой, ни одной красивой.

За все время мы видели несколько сот англичанок — все они были старые, отвратительные. Я уверен, что в Англии есть много и молодых, но они на континенте не показываются. Их, вероятно, держат где-нибудь взаперти, выдерживают в каком-то погребе, дожидаясь, пока они постареют. А когда они готовы — их выпускают на континент большими партиями. Ездят они всюду по куковскому маршруту, сопровождаемые длинными, иссохшими от времени англичанами; забавно видеть, как куковский проводник набивает чудовищно-громадный автомобиль этим старым мясом, хватая леди и джентльменов за шиворот и пропихивая их ногой в затруднительных местах. Ничего, довольны.

И бродят они, несчастные, подобно нам, застывая с видом загипнотизированных кроликов перед какой-нибудь «головой старика» или «туманным вечером в Нидерландах».

Это позор и несчастье — изучать сокровища искусства таким образом. Что у меня осталось в памяти? Несколько Рубенсов, два-три Рембрандта, полдюжины Бёклинов, и кое-что испанское: поразительные Хулоага, Англада и Саролла-Бастила. А сколько я видел? Зеленые, желтые пейзажи, розовые тела, разные девушки с кошкой, девушки без кошек и кошки без девушек; цветы, сырая рыба рядом с персиками и вечный святой Себастьян, которого не изображал только тот, кто вместо живописи занимался другими делами. Потом было много каких-то уродливых облупленных картин с детской перспективой и кривыми телами.

Корректный Мифасов считал необходимым восхищаться и этими облупленными обрывками старины; а хронический протестант Сандерс в таких случаях ввязывался в ожесточенный спор:

— Замечательно! Ах, как это замечательно! Крысаков! Посмотрите, какой это чудесный тон! И как проштудировано!

— Да, действительно... тон, — деликатно подтверждал Крысаков.

— Послушайте, — начинал Сандерс, как бык, потупив голову и озираясь. — Неужели эта ерунда вам нравится?

— Милый мой, это не ерунда!

— Это не ерунда? Вы посмотрите, как нарисовано! Теперь гимназист пятнадцати лет нарисует лучше.

— Вы забываете исторические перспективы.

— Тогда при чем здесь «тон», «проштудировано»? Изумляйтесь исторически — и этого будет довольно.

— Вы варвар!

— А вы сноб!

— Ах, так? Надеюсь, наши отношения...

— Ну, поехала! — кривился Крысаков. — «Не осенний мелкий дождичек»...

И Крысаков, и Мифасов, как авгуры, упорно охраняли своих богов, а мы, честные, откровенные люди без традиций — не церемонились. Впрочем, однажды, изловив Крысакова в темном уголку, я путем вопросов довел до его сознания, что Боттичелли не так уж хорош, чтобы захлебываться перед ним. На сцену, правда, выступила историческая перспектива, но я налег — и Крысаков сдался. Это меня тронуло, и я, помню, очень расхвалил какую-то незначительную картинку, которая ему понравилась.

Он очень любил живопись, но под конец нашего путешествия, если по приезде в новый город в нем

не оказывалось музея, Крысаков оживлялся, шутил и вообще начинал чувствовать себя превосходно.

К концу нашего путешествия мы с Крысаковым оказались обладателями очень драгоценных предметов: я — палки, он — фотографического аппарата. Эти две вещи мы вывезли из России, и на месте они стоили: палка — рубль, аппарат — двенадцать рублей.

Мы с ними нигде не расставались, и поэтому при входе во всякий музей или галерею у нас их отбирали, а потом взыскивали за хранение.

В Риме я решил бросить эту дрянную рублевую палку, но она уже стоила около пятидесяти лир, — было жаль. В Неаполе цена ее возросла до семидесяти лир, начиная от Генуи — до ста, а после Парижа — потеря ее совершенно бы меня разорила. Эта палка и сейчас находится у меня. Любопытные долго ее осматривают и очень удивляются, что такая неказистая на вид вещь обошлась мне около двухсот франков. А крысаковский аппарат к концу путешествия разорил своего хозяина, потому что, как верная собака, таскался за ним в самые неподходящие места.

Рим в отношении поборов — самый корыстолюбивый город. Там за все берут лиру: пойдете ли вы в Колизей, захотите ли взглянуть на картинную галерею, на памятник или даже на собственные часы.

В Ватикане с нас брали просто за Ватикан (лира!), за картинную галерею Ватикана (лира!), за левую сторону галереи (лира!), за правую (тоже!), за Сикстинскую капеллу (лира!) и еще за какой-то закоулочек, где стоит подсвечник, — ту же лиру.

Немудрено, что самый захудалый папский кардинал имеет возможность носить бархатную шапку.

Все это сделано на наши лиры.

Извиняюсь за это лирическое отступление, но оно необходимо для того, чтобы пристыдить некоторых итальянцев, если они прочтут эту книгу.

# Неаполь

## 1

Неаполитанцы. — Случай с монетой. — Город нищих. — Неаполитанский купец. — Первое появление Габриэля. — Аквариум. — Позилиппо. — Тарантелла. — Мы разрываем с Габриэлем. — Кафе-концерт. — Ресторанная тактика. — Помпея. — Гривуазность Габриэля. — Самая богатая страна

В путеводителе сказано, что Неаполь один из самых больших городов Италии — в нем свыше полумиллиона жителей.

Я думаю, путеводитель сказал на этот раз правду, потому что уже на вокзале я насчитал очень много народу.

Неаполитанцы у нас, в России, известны своими оркестрами. Мифасов сообщил нам некоторые сведения об оригинальном подразделении этого народа на группы: весь Неаполь делится на так называемые оркестры, а оркестры делятся на отдельных жителей, мужчин (игра на гитаре и пение) и женщин (пение и танцы).

Конечно, Сандерс не преминул вступить с ним в бесконечный спор, оспаривая правильность этого простого и ясного подразделения. Мне оно понравилось.

Стремление неаполитанца надуть туриста возведено в культ. В Венеции и Риме это делается спешно, по-любительски, без установленных приемов и твердой организации. Неаполь же может похвастаться серьезным и добросовестным отношением к своему делу.

Один мой знакомый рассказывал следующий случай из неаполитанской жизни...

Сидел он однажды в кафе и пил кофе. Народу было мало — несколько итальянцев за мороженым и одинокий турист-англичанин, мирно пивший в углу кофе. Выпив его, англичанин вынул портмоне, стал рыться в нем и при этом нечаянно выронил золотую монету. Никто не трогался с места. Только один слуга прошел в этот момент мимо, обремененный подносом с новыми порциями мороженого.

Англичанин позвал других слуг, попросил поднять монету, но — монета как в воду канула. Все слуги искали ее на глазах у англичанина — утаить было невозможно, монета не могла куда-нибудь закатиться, потому что щелей в полу не было.

И тем не менее монета исчезла.

Выругавшись, англичанин расплатился и ушел.

Тогда мой знакомый подозвал к себе человека, несшего в момент потери громадный поднос, и потихоньку сказал:

— Послушайте, камерьере... Я не буду поднимать истории — расскажите мне, как вы это сделали?

— Что я сделал?

— Ну, вот... Укр... присвоили себе монету. Каким это образом?

— Господин ошибается. Я никакой монеты и не видел, — возразил итальянец, скаля зубы.

— Послушайте... я же прекрасно видел, как она упала, как вы, проходя, наступили на нее ногой и как она сейчас же исчезла...

— Не знаю, о чем синьор говорит.

— О, черт возьми! Я ведь не полицейский, и мне все равно, но, если вы не расскажете, я заявлю обо всем хозяину кафе.

— В таком случае, — усмехнулся слуга, — дело это очень простое. Срединка моей подметки была смазана клеем. Я увидел, как монета упала, и сию же секунду наступил на нее. Вот и все.

— Послушайте... Но ведь не могли же вы сегодня, когда смазывали подметку сапога, предвидеть, что кто-нибудь уронит золотую монету?

— О, сударь, золотая, серебряная — это все равно, — возразил добрый слуга, — и падают они, конечно, не так часто, но подметки — все мы смазываем с утра на всякий случай.

Это ли не организация?

И, вместе с тем, нет итальянца ленивее, чем неаполитанец. Целыми днями валяются они на набережной, в узких кривых переулках и между мраморных колонн домов. Вероятно, лежат и мечтают: как бы почуднее надуть туриста?

Но трудно собраться с мыслями, когда солнце так приятно поджаривает оборванца, а море дышит в самое лицо вкусным соленым запахом.

Много ли ему нужно? На целый день оборванцу заработать, найти или украсть пару сольди. На эту пышную сумму он по заходе солнца купит в грязной, шумной обжорной улице, сплошь заставленной громадными чанами с кипящей снедью, — какую-нибудь жареную рыбку или тарелочку макарон, и тут же съест все это бок о бок с таким же оборванным любителем *dolce far niente*. Жаркий климат много еды не требует, и в пище все очень умеренны.

Все жизненные потребности до смешного невелики.

Проезжая по рынку — одно из самых интересных живописных зрелищ Неаполя, — я видел такого рода купцов: около корзиночки, сооруженной из щепочек и наполненной двумя крохотными жалкими полудохлыми рыбками, сидит продавец и пронзительным голосом выкликает свой товар. Сколько могут стоить эти рыбки величиной с ладонь — в Неаполе, в этом рыбном царстве? Нужно добавить, что грязная простоволосая женщина, которая закупит оптом весь запас этого товара, будет торговаться до седьмого пота, хватая несчастных рыбок, подбрасывая их, перевертывая, нюхая и, вообще, стараясь выжать из флегматичного купца все, что можно.

Большинство неаполитанских промышленников — это «купец, продающий пару рыбок».

Часто мы встречали целую длинную процессию: два дюжих итальянца везут крохотную тележку, на которой стоит обыкновенная шарманка. Третий, мускулистый мужчина, гордо идет сбоку, положив одну руку на шарманку (очевидно, это настоящий владелец ее), а еще два здоровяка подталкивают тележку сзади.

В сущности, эту тележку могла бы повезти вскачь обыкновенная кошка; но пять верзил присосались к шарманке, как пиявки, и каждый всеми силами старается доказать, что он честным трудом зарабатывает свой хлеб.

Шарманка останавливается... Двое начинают вертеть ручку, меняясь с видом полного изнеможения каждые две минуты; один горланит какое-нибудь «*sole mio*», а остальные двое энергично собирают у слушателей деньги.

Соберут копеек десять, покроют чехлом шарманочку и поплетутся дальше, придерживая, подпихивая и таща тележку, точно русские многострадальные бурлаки по берегу Волги баржу тянут.

Ленивые... Если у итальянца чешется затылок, он не почешет его до того случая, когда встретится со

знакомым и снимет шляпу; тогда заодно и почешется.

Вся нечеловеческая энергия целиком, как в громадных коллекторах, собралась в продавцах открыток и разносчиках газет.

Только в Неаполе возможен такой прямо-таки невероятный способ распространения газет.

Газетчик, опережая вас, вдруг ловко подбрасывает вам под ноги какую-нибудь «Миланскую газету» или «Poppo Romano» с таким расчетом, чтобы вы с разгону наступили ногой на газету... Тогда газетчик поднимает крик и взыскивает деньги за якобы испорченную вашей ногой газету.

Добродушные туземцы, зная этот способ, остерегаются и ставят ногу с разбором, а форестьеры всегда попадают.

Никаким промыслом не брезгуют оборванные юнцы, если можно получить несколько чентезимов.

Один итальянский мальчишка, пробегая мимо меня, вдруг остановился и указал мне на проходившего жирного патера.

— Ну? Что?

— Патер.

— Прекрасно. Что же дальше?

— Это патер. Господин мне даст что-нибудь?

— За что?!

— За то, что я указал господину патера.

Таких указателей патеров в Неаполе несметное количество.

Едва мы приехали и, оставив вещи в гостинице, отправились купаться, как перед нами выросла фигура молодца самого подозрительного вида, с грязными руками и бегающими вороватыми глазами.

Этот человек на все время нашего пребывания в Неаполе сделался нашей тенью, нашим эхом, нашим вторым я.

Увидев, что он отделился от группы людей не менее подозрительных, мы инстинктивно сдвинулись ближе и вынули руки из карманов, но грязный парень сказал:

— Господа путешественники! Я могу предложить себя в качестве гида. Хорошо знаю город, могу показать самое интересное.

— Не надо! — хором ответили мы.

— Могу показать вам Везувий, повезти вас на Позилиппо и порекомендовать самый лучший кафешантан в городе.

— Не надо!

— В таком случае, я знаю, что заинтересует молодых путешественников (он засмеялся с самым развратным видом) — тарантелла!

— А-а, тарантелла, — заинтересовались мы. — Это любопытно. Посмотрим...

— Где господа остановились? «Эксцельсиор»? Тут за углом! Знаю. Я сегодня вечером зайду. Сейчас купаться? Знаю! Пойдемте, я вас провожу.

— Да не надо, — сказали мы. — Зачем же? Купальня ведь в двух шагах.

— Нет, что вы! Я вам помогу. Разве можно? Вот тут купальня. Видите — вот она. А это вот будка, где

продают билеты! Здравствуйте, мамарелла! Вам, конечно, нужны билеты? Вот этим господам нужны билеты! Дайте им билеты! Они очень нуждаются в билетах! Пожалуйста, три билета. Вот они платят вам деньги. Позвольте, я заплачу. Нет, нет, не беспокойтесь. Вот их деньги, мамарелла. Сдачи! А, вот сдача. Получите сдачу, синьоры. Это сдача. Позвольте, я проведу вас в купальню. Это вот называется купальня. Это тут раздеваются, а там вот купаются, видите, где вода. Прислужник! Вот эти господа хотят выкупаться. Это прислужник, господа. Не бойтесь, господа, — он славный малый. А то вон пароход идет. Здесь вот раздевайтесь. Позвольте, я вам расстегну жилет — вам неудобно. Я вам расшнурую ботинки. Сядьте на стул, а ножку свою поставьте мне на колено. Прислужник! Эти господа будут купаться. Они добрые, хорошие господа. Надо, чтобы им было хорошо купаться. Позвольте, я галстук развяжу.

— Ради бога, нам ничего не нужно! Мы все сами сделаем.

— Позвольте, я разверну вам простыню.

— Ничего, ничего не надо. Мы сами все сделаем — вернитесь к своим повседневным делам.

— Так я вас тут около купальни подожду...

Он ушел с глубоким сожалением. «Вернулся к своим повседневным делам», по выражению Мифасова.

Но, очевидно, кроме нас — у него никаких повседневных дел не было. Вообще, этот человек произвел, в конце концов, на нас такое впечатление, что до нашего приезда у него никаких дел не было, что все его существование на этой планете приспособлено исключительно к нашему появлению в Неаполе и что после нашего отъезда он, исполнив свое земное предназначение, вернется к небытию.

Когда мы вышли, он ждал нас у входа, задремав на закатном солнышке.

Мы хотели потихоньку пройти мимо, но он очнулся, вскочил, рассыпался в извинениях и завертелся, как мельница.

— Господа искупались и идут в гостиницу? Я провожу их в гостиницу.

— Не надо! Нам тут два шага. Мы знаем, где гостиница.

Он замотал головой и, отстраняя попавшегося нам навстречу прохожего, понесся на всех парах.

— Я вас провожу! Пустите, прохожий, этих господ. Они идут к себе в гостиницу, не преграждайте им пути. Они в гостинице, вероятно, освежившись купаньем, будут пить чай или вино, не так ли?

— Прованское масло! — отвечал Сандерс. — Пустите нас, или я задушу вас, как котенка.

— Ха-ха-ха! Господин очень веселый, он шутит. Итальянцы тоже веселые. Эввива, руссо! Швейцар! Вот эти господа пришли в вашу гостиницу, они тут остановились. Это хорошие господа, и ты, швейцар, относись к ним внимательно. Не нужно ли вам разложить ваши чемоданы, ваши вещи? Что? К черту? О, господин большой весельчак. Имею честь кланяться. До вечера!

Стоя внизу, в пролете лестницы, он долго посылал нам приветственные знаки и махал грязным платком.

Через час я вышел на улицу с целью побриться. Первое лицо, которое я увидел около гостиницы, был Габриэль, наш знакомец.

— Что вы тут делаете? — изумленно спросил я.

— Ожидаю. Может быть, синьорам что-нибудь понадобится.

— Ничего не надо. Как дойти до парикмахерской: налево или направо?

— О, я, конечно, провожу вас! Пойдемте, я знаю, где парикмахерская. О, действительно, хорошо было бы, если бы Габриэль не знал, где парикмахерская.

— Не надо провожать меня. Я просто возьму извозчика.

— Извозчика? Сейчас!

Он исчез, и через полминуты ко мне подкатил экипаж. Я взглянул на извозчика...

Это был Габриэль.

— Как?! Разве вы и извозчик?!

— Я все, господин. Все, что вам понадобится.

— Я хочу акробата, — пошутил я.

Габриэль камнем скатился на мостовую, положил бич и, хлопнув в ладоши, стал на голову. Еле уговорил я его усесться на козлы.

В тот же день мы с Сандерсом отправились в знаменитый неаполитанский аквариум.

Человек, продававший билеты, попросил на чай, человек, отбиривший билеты, попросил на чай же, и сторож при рыбах попросил тоже на чай за то, что он палочкой пошевелил какого-то гада.

Аквариум действительно был чудесный. Громадные омары и крабы медленно шевелились за стеклом, беззвучно перебирая чудовищными клешнями... Отвратительные осьминоги такого вида, который только и может пригрезиться в ночных кошмарах, смотрели на нас страшным неподвижным взглядом, присосавшись к стеклу и медленно втягивая и вытягивая тошнотворные лапы, покрытые, как маленькими белыми блюдцами, присосками.

Какие-то толстые рыбы с презрительно отвисшей нижней губой, точно сытые бюрократы, еле шевелили плавниками в тупой дремоте... Стаи юрких рыбок стрелой неслись по воде, моментально, как по команде, поворачивались и так же стройно неслись в другую сторону. Одна суетливая рыба чрезвычайно напомнила нам провинциальную сплетницу: она без толку шныряла от одной группы к другой, подсматривала, что делают омары, и, взмахнув возмущенно плавниками, неслась сейчас же к угрям, рассказывала о виденном и, махнув хвостом, летела уже к сонному крабу, донося на поведение угрей. Всюду она вынюхивала, шпионила и подслушивала. И еще потому была она похожа на человеческую сплетницу, что имела рот узенький, собранный в ниточку, глазки остренькие, а на голове нечто вроде природного капора.

В то время, как я за ней наблюдал, Сандерс задумчиво стоял около другого стеклянного ящика, изредка вертя головой во все стороны.

— Вот чудачки! — сказал он. — Насыпали песку и поставили пустой ящик.

Сторож, услышав это, по выражению лиц заметил наше недоумение и, хлопнув Сандерса ободряюще по плечу, исчез.

Через минуту он явился с длинной палкой. Сунул ее в пустую вазу, и — вдруг песок зашевелился, разорвался на десяток кусков, и каждый кусок песку оказался плоской рыбой, — до смешного точно — сотворенной мудрой природой под цвет и вид настоящего песка.

— Мимикрия! Защитный цвет. До сих пор я видел это только у бабочек.

Так как мы не были одарены свойством мимикрии и не могли слиться с окружающей нас обстановкой, то сторож, вернувшись, без труда отыскал нас и потребовал на чай за то, что пошевелил палкой.



Осьминог, присосавшись к стене, смотрел, как мы расплачивались, и в его страшных выпученных глазах тоже ясно читалось всеобщее, как эпидемия, желание получить с форестьера на чай.

— А вот, — сказал я Сандерсу, — посмотрите-ка, какие хорошие раковины. Если бы на каждой из них было еще написано: «Привет из Ялты» — совсем они были бы настоящими раковинами.

— А вот это так называемая чернильная рыба, — сказал Сандерс, — кстати, надо будет нынче вечером написать домой письмо.

Сандерс никогда ни в чем не хотел от меня отставать. Стоило только сосрить мне, как острил и он.

— Однако, — ледяным тоном сказал я. — Атмосфера начинает сгущаться. Пожмите осьминогам лапы и пойдём отсюда.

Конечно, Габриэль уже дожидался при выходе. И, конечно, он уговорил нас ехать на Позилиппо.

Мы не жалели, что поехали. Чудесная живописная дорога... С одной стороны обрывистый берег моря, с другой — непрерывный многоверстный ряд домишек, населенных ужасающей беднотой. Но все это так красиво, грязные растрепанные дети, ленивые прохожие, тяжелые простоволосые простолюдинки, перебрасывающиеся из окна с соседкой тихими односложными словами или перебегающие дорогу с фьяской вина под мышкой, живописное тряпье, развешанное на стенах и окнах домишек, обрывок песни, донесшейся слева, запах свежей рыбы, донесшийся справа, клуб золотой от заходящего солнца пыли впереди и крики мальчишек, бегущих сзади за экипажем в чаянии получить что-нибудь с ошалелого иностранца...

Позилиппо... Ресторан с верандой на громадной высоте, над морем. Вдали выгнулась из воды мощная спина Капри — место невольного заточения Максима Горького [80].

Чисто физическое, животное чувство довольства охватило нас, когда мы, потребовав вина и музыки, погрузились в созерцание тихого синего моря, теплого неба и осколка бледно-розовой луны в чистой прозрачной высоте.

Нежная, сладкая итальянская песня, тихий рокот двух гитар, теплота наступающего вече...

— Cartolina postale!!

— О, чтоб тебя черти забрали! Что такое?

— Cartolina postale...

— Провались ты с ними вместе! Даже сюда забрался, каналья.

— Возьмите. Хорошие карточки.

— Отстань, тебе говорят.

— Тогда, знаете что? Я вас познакомлю с барышней... Синьоритта беллиссима! Рариссима! Чрезвычайно честная девушка, но вы сами понимаете... Отец бедный...

— Не надо.

— Уверю вас — красавица...

Сандерс сделал вид, что заинтересовался. Стал участливо расспрашивать:

— Неужели красавица?

— О, mio Dio!..

— И вы говорите — честная девушка?

— Чрезвычайно честная.

— Ну что вы говорите?! Это неслыханно! А отец бедный?

— О, очень бедный!

— Неужели? Что же это он так... Работы нет?

— Нет. Так хотите — поедем?

— Вы говорите — красавица?

— Да, очень. Но бедность — сами понимаете...

— Ничего, ничего. И очень красивая, вы говорите?

— О, да.

— Она, может быть, просто хорошенькая... Или действительно — красавица?

— Настоящая!

— Так, так... Ну, ступайте! Нам ничего не надо.

— Синьоры! Это вас ни к чему не обязывает, — отчаянно возопил продавец открыток, видя, что добыча ускользает. — Вы только можете посмотреть! Право, поедем.

Но в это время Габриэль, подойдя к веранде, услышал его слова и налетел на него, как коршун, — изгнав беднягу в одну минуту.

Смысл его протеста был такой, что, дескать, эти хорошие господа принадлежат ему, он их нашел, честно около них кормится и никому другому не позволит переходить себе дорогу.

Они спорили, будто два гуртовщика о стаде баранов.

Впрочем, мы их умиротворили, выслав остатки вина и мартаделлы; вся компания продавцов открыток и просто ротозеев, под предводительством Габриэля, уселась на ступеньках и стала пировать, издавая в нашу честь восторженные крики и произнося заздравные тосты.

Я заметил, что Сандерс был на вершине блаженства: около нас гремела специально нанятая нами музыка, пели для нас певцы, внизу пировала восторженная чернь под командой нашего первого министра... Я подозреваю: не чувствовал ли Сандерс себя в этот момент королем среди своего доброго народа?

Вечером каналья Габриэль действительно повез нас «смотреть тарантеллу».

В этот вечер изучение неаполитанского быта ни на шаг не подвинулось вперед.

Мы были бессовестно обмануты.

Вас, путешественников, которые когда-нибудь попадут в Неаполь, — хочу я предупредить, что такое «тарантелла», которую так усиленно рекомендуют нечестные гиды...

Нас (меня и Сандерса) ввели в большую круглую комнату, стены и потолок которой были покрыты зеркалами. Вокруг стен диваны, посередине комнаты круглое бархатное возвышение — все это аляповатое, ужасающе грубое.

— Садитесь, господа, — загадочно ухмыляясь, сказал Габриэль, и сейчас же засуетился, обращаясь к тучной женщине, на лице которой была написана целая книга былых преступлений и порока: — Вот эти господа, мамарелла, очень желают видеть тарантеллу, им нужно показать тарантеллу... Ах, да покажите же этим добрым господам вашу тарантеллу. Это прекрасные и хорошие господа, и им надлежит посмотреть

тарантеллу.

«Мамарелла» хлопнула в жирные ладони, и тотчас же шесть женщин выбежали из боковых дверей.

Были они в том, «в чем», по русской поговорке, «мать родила», и даже еще меньше, принимая во внимание, что какая-нибудь из них в свое время родилась в сорочке. Одним словом, были они абсолютно, безусловно и радикально голы.

С заученными жестами дефилировала эта армия перед нами, а мы сидели с Сандерсом, опечаленные этим обманом, оскорбленные в нашей скромности.

— Нравится? — спросила торжествующим тоном бесхитростная мамарелла.

Бедняге и в голову не могло прийти, что ее «тарантелла» могла в ком-нибудь не вызвать одушевления.

— Гм, да... — смущенно сказал Сандерс. — Вещь забавноватая. Недурно, как говорится, задумано. Женщины?

— Конечно. Вы же видите.

— Так, так... Гм... Не холодно?

Пансион мамареллы, привыкший к скотской разнузданности немцев и к шумному поведению галантных французов, — был изумлен нашей сдержанностью; все поглядывали на нас с недоумением.

— Протанцуйте им, деточки, — скомандовала мамарелла. — Пусть посмотрят вашу тарантеллу.

Она взяла в руки бубен, и шесть женщин закружились, заплясали; откормленные торсы сотрясались от движений, и вообще, все это было крайне предосудительно.

— Помпейские позы! — скомандовала мамарелла, уловив на нашем лице определенное выражение холодности и осуждения.

Но и помпейские позы не развеселили нас. Женщины становились в неприличные сладострастные позы с таким деловым, небрежным от частых повторений видом, как утомленный приказчик мануфактурного магазина к концу вечера показывает надоевшим покупательницам куски товара.

На сцене вдруг появился дожидавшийся где-то неподалеку Габриэль.

— О!.. А почему господа так скромно сидят? Почему они не приласкают этих красавиц? Смотрите, какие красоточки. Вот эта или эта... Или вот эта! Настоящая богиня. А эта! Красавица, а? Не нравится? Пошла вон. Тогда, может, эта? Украшение Неаполя, знаменитая красав... Не надо? Ну ты, лошадь, отойди, не мешайся тут. А вот эта... Что вы о ней скажете, синьоры?..

Он с деланным восторгом хлопал женщину по плечам, трепал по щекам, отгонял равнодушно «первых красавиц» и «богинь», а красавицы и богини с таким же холодным видом шептались около нас, ожидая нашего одобрения и благосклонности.

— Пойдем! — сказал Сандерс.

— Что вы, синьоры! Куда? Неужели вам не нравится?!

— Не нравится? Мы в восторге! Это прямо что-то феерическое... Когда-нибудь после... гм... на днях... Мы уж, так сказать, к вам денька на три. А теперь — прощайте.

Мы, угрюмые, замкнутые, спускались по лестнице, а Габриэль вертелся около нас, юлил и заглядывал в наши лица, стараясь отгадать впечатление.

— Видишь вот эту улицу? — обратился к нему Сандерс. — И вот эту улицу?.. Ты иди по этой, а мы по

этой... И если ты еще к нам пристанешь — мы дадим тебе по хорошей зуботычине.

Он захныкал, завертелся, заскакал, но мы были непреклонны. Отношения были прерваны навсегда.

Я уверен, что настоящим неаполитанцам никогда бы в голову не пришло пойти на тарантеллу и «помпейские позы». Все это создано для туристов и ими же поддерживается. Для них же весь Неаполь принял облик какого-то громадного дома разврата.

Пусть иностранец попробует пройтись в сумерки по Неаполю. Из-за каждого угла, из каждой подворотни, буквально на каждом шагу к нему подойдет гнусного вида незнакомец и тихо, но назойливо предложит «красивую синьору», «обольстительную синьору» или даже рогаццину (девочку).

Эти поставщики осаждали нас, как мухи варенье.

— Что такое?

— Синьоры... берусь показать вам одну прекрасную даму. Познакомлю даже... тут сейчас за углом. Пойдем...

— К ней? К даме? Явиться одетому по-дорожному — что вы! Это неудобно.

— Ничего! Я ручаюсь вам — можно.

— Ну, что вы... И потом неловко же являться в чужой дом, не будучи знакомыми.

— Пустяки! С ней нечего — хи-хи — церемониться.

— Ну, вам-то нечего — вы, конечно, хорошо знакомы... По праву старой дружбы можете и без смокинга. А нам неудобно.

— Но я вам ручаюсь...

— Милостивый государь! Мы знаем правила хорошего тона и не хотим делать бестактности. Мы уверены, что дама будет шокирована нашим бесцеремонным вторжением. Она примет нас за сумасшедших.

...Итальянский кафе-концерт — зрелище, полное интереса и разных неожиданностей.

Действие происходит больше в публике, чем на сцене. Весь зал подпевает, притоптывает, вступает с певицей в разговоры, бешено аплодирует или бешено свищет.

Если певица не нравится — петь ей не дадут. Понравится — измучают повторениями.

У всех душа нараспашку. Подстерегают всякого удобного случая, чтобы выкинуть коленце, посмеяться или посмешить публику. Зал набит порохом, взрывающимся от малейшей искры.

Всякого вновь входящего зрителя сидящая публика приветствует единогласным доброжелательным:

— А-а-а!..

Приветствуемый, гордый всеобщим вниманием, пробирается на свое место и через минуту присоединяет уже свой голос к новому приветствию:

— А-а-а!

Выходит на сцену толстая немка... берет несколько хриплых нот.

Музыкальная публика этого не переносит:

— Баста. Баста!!

— Баста!!!

Немка, не смущаясь, тянет дальше.

И тогда гром невероятных по шуму и длительности аплодисментов обрушивается сверху, перекатывается и растет, как весенний гром.

Петь невозможно. Виден только раскрытый рот, растерянные глаза. Забракованная певица исчезает под гомерический свист.

Когда мы покупали билеты, перед нами вынырнул Габриэль.

— А-а, синьоры идут сюда! Сейчас, сейчас! Кассир! Выдайте этим хорошим господам билеты... Они желают иметь билеты. Это мои знакомые господа — дайте им лучшие билеты. Вот сдача. Вот билеты. Красивые красные билетки. Я вас тут подожду. Когда выйдете — поедем в одно местечко.

— Отстаньте, — сурово сказали мы. — Не смейте нас дожидаться — мы все равно не поедем с вами. Напрасно только потеряете время. И ни чентезима не получите и потеряете время.

— О, добрые господа! Зачем вы обижаете Габриэля? Он бедный человек и подождет вас.

Конечно, когда мы через три часа вышли — бедный человек ждал нас.

— Пройдемся, господа, — сказал Крысаков. — Прелестная ночь.

— Пожалуйте! — подкатил Габриэль. — Тут как раз четыре места. Я вас ждал.

— Убирайся к дьяволу! Мы тебе сказали, что ты не нужен? Отъезжай! Мы хотим идти пешком...

Мы зашагали по озаренному лунной тротуару, а Габриэль шагом потянулся за нами.

Узкие улицы, еще сохранившие в каменных стенах и мостовой теплоту солнца, накалившего их днем, — нежились и дремали под лунной... И везде нам приходилось шагать через груды беспорядочно разметававшихся тел. Весь голодный, нищенский Неаполь спит на улицах... это красиво и жутко. Будто весь город, все дома вывернуты наизнанку.

Аршина два макарон днем и аршина два тротуарной плиты ночью — весь обиход оборванного гражданина прекрасной Италии. Господь Бог хорошо обеспечил этих бездельников...

Странные жуткие улицы.

Какой-нибудь англичанин верхом на осле медленно пробирается среди этой беспорядочной гекатомбы спящих и пожирающих макароны тел, медленно пробирается, напоминая смешную пародию на Штуковскую картину «Бог войны».

— Зайдем в ресторан, господа. Закусим.

Когда мы взбирались по лестнице ресторана, Габриэль крикнул:

— Я подожду вас, синьоры!

— Убирайся к черту!

— Синьоры только крикнут — и я уже тут как тут.

В итальянских ресторанах средней руки у нас своя линия поведения, выработанная общими усилиями хитроумного Сандерса и изобретательного Крысакова.

Дело в том, что рестораторы и слуги — невероятные бестии, жадные, трусливые, нахальные, только и помышляющие о том, как бы надуть бедного путешественника, подсунув ему вместо асти — помои, заменив заказанное кушанье отвратительным месивом и приписав к счету процентов пятьдесят.

Поэтому мы, являясь в ресторан, с места в карьер подчеркиваем — с кем им придется иметь дело.

— Почему на скатерти пятно? — яростно кричит Крысаков, свирепо вращая глазами. — Что? Где? Вот оно! Если вы вытираете сапоги скатертью, так можете сунуть ее в карман, а не подсовывать нам!! Это что?? Это что?! Вода? А графин? Его когда мыли? Такие графины на стол ставят?! Позвать метрдотеля! Хозяина сюда! Как же вы нас накормите, если у вас так обращаются с гостями!! На ножах ржавчина! Ложки погнуты! Одна ножка стола короче других!! А? Позовите сюда полицию... Мы консулу пожалуемся!!! Все ваше гнусное заведение по косточкам разнесем!!!

Все обитатели ресторана мечутся около нас в паническом ужасе.

— Будет, — деловито говорит Мифасов. — Довольно. Теперь они подготовлены...

Мы сразу успокаивались.

И, действительно — после этого за нами ухаживали, как за принцами. Подавали лучшее вино, прекрасное кушанье, и счет предъявлялся потом такой честный и скромный, что всякий не отказался бы выдать за него собственную дочь.

— Хорошо ли поужинали, синьоры? Габриэль ждет вас — и лошадка его тоже ждет добрых великодушных синьоров... Какие-то господа сейчас нанимали нас, но мы с лошадкой отказались.

— Вы знаете, что? — дрожа от негодования, вскричал Мифасов. — Я думаю, что нам придется из-за этого проклятого человека уехать из Неаполя раньше времени. Вы подумайте, если он умрет с голоду, мы будем виновниками его смерти... Потому что он не пьет, не ест и ездит за нами с утра до ночи. Он ничего не зарабатывает, не получает ни от нас, ни от других пассажиров, которым он из-за нас отказывает! Что привязало его к нам? Какую несбыточную мечту лелеет он, привязавшись к нам, как пиявка к бескровному железу. Постойте! Я ему сейчас скажу все как следует!

— Не надо! Самое лучшее не обращать на него внимания... Представим себе, что его нет.

Мы пошли дальше, весело беседуя, а Габриэль плелся за нами на своей лошаденке, изредка окликая нас, лясь и заискивая.

С этого вечера мы стали прикидываться, что совершенно не замечаем его, не слышим его голоса и не видим тела. Он вертелся около нас, предлагал, клянчил, а мы продолжали начатую беседу и смотрели сквозь него, как сквозь оконное стекло, равнодушным, неостанавливающимся взглядом.

Утром возник спор, ехать ли в Помпею и на Везувий или только в одну Помпею.

— На что нам Везувий? — говорил Сандерс. — Обыкновенная гора с дырой посередине. Ни красоты, ни смысла. Тем более что она ведь и не дымится.

— Тогда, значит, и Траянову арку не нужно было смотреть: обыкновенная арка, с дырой посередине и тоже не дымится.

— Это не то. Не можем же мы рассматривать все интересные предметы только с двух сторон: дымятся они или не дымятся. А вулкан должен дымиться. Это его профессия. Если же он этого не делает — не стоит и смотреть на лодыря.

— Господа! Кто за Везувий, — сказал Крысаков, — пусть подымет руки.

Было так жарко, что никто и не пошевелился. Даже сам Крысаков — поклонник вулканов — помахал рукой, но поднять ее не имел силы.

Везувий провалился.

Гид, нанятый через контору гостиницы, повез нас в Помпею.

Конечно, почти всю дорогу за нами ехал Габриэль, взывая к нам, предлагая освободить нас от гида и

суля различные диковинные уголки в Помпее, о которых гид и не слыхивал.

Пустые угрюмые развалины Помпеи производят тягостное, хватающее за душу впечатление. Стоят одинокие пустые, как глазницы черепа, примолкшие дома, облитые жестоким, палящим глаза солнцем... В каждом закоулке, в каждом крошечном мозаичном дворике притаились тысячелетия, перед которыми такими смешными, жалкими кажутся наши «завтра», «на той неделе» и «в позапрошлом году».

Останавливает внимание и углубляет мысль не главное, не вся улица или дом, а какой-нибудь трогательный по жизненности пустяк: камень, лежащий посреди узкой улицы на повороте и служивший помпейским гражданам для перехода в грязную погоду с одной стороны улицы на другую; какой-нибудь каменный прилавок с углублением посередине для вина — в том домишке, который когда-то был винной лавкой.

Это дает такое до жгучести яркое представление о прошлой повседневной жизни! Так хочется закрыть глаза, задуматься и представить толстого, обрюзгшего продавца вина, разгульных покупателей, толпящихся в лавчонке, стук сандалий промелькнувшей мимо женщины; стан ее лениво изгибается от тяжести кувшина с водой, и черные глаза щурятся от солнца, разбивающего золотые лучи о белый мрамор стен...

Спит мертвая теперь, высохшая, изглоданная временем, как мумия, Помпея — скелет, открытый через две тысячи лет.

Только проворные изумрудные ящерицы быстро и бесшумно скользят среди расщелин стены, покрытой тысячелетней пылью, да болтливый, жадный, вертлявый гид оглашает немолчной трескотней мертвые, как раскрытый гроб, улицы.

Вот посреди улицы фонтан... Бронзовый фавн с раскрытым ртом, из которого когда-то лилась вода. Гид обращает наше внимание: нижняя губа и часть щеки фавна совершенно стертые; на мраморе водоема видна большая глубокая впадина — будто оттиск руки в мягком тесте. Это — следы миллионов прикосновений уст жаждущих помпеян — на лице бронзового фавна, и миллионы прикосновений рук, опиравшихся на мраморный край водоема, в то время когда губы сливались с бронзовыми губами фавна...

В Риме, в соборе Св. Петра, большой палец бронзовой статуи Петра наполовину стерт поцелуями верующих; в какой-то другой церкви мраморная статуя популярного святого имеет странный вид — одна нога обута в бронзовый башмак. Зачем? Мрамор очень непрочный материал для поцелуев. Надолго его не хватит.

Этот стертый рот фавна и большой палец св. Петра дают такое ясное представление о времени, мере и числе, что сжимаешься, делаешься маленьким-маленьким и чувствуешь себя песчинкой, подхваченной могучим самумом, рядом с миллионами других песчинок, увлекаемых в общую мировую могилу...

— Что он вам показывает какого-то дурацкого фавна. Пойдем со мной, добрые, великодушные синьоры!.. Я вам покажу такие пикантные фрески, что вы ахнете. Только мужчинам их показывают, дорогие, прекрасные синьоры!

Из-за расщелины стены показывается орошенная обильным потом плутоватая физиономия Габриэля.

— Что он вам показывает? Все какую-то чепуху... А я вам, синьоры, мог бы показать неприличную статую фавна.

Наш гид настроен серьезно, академично, мошенник же Габриэль, наоборот, весь погряз в эротике, и вне гривуазности и сала — никакого смысла жизни не видит.

Гид отгоняет его, но он увязывается за нами и, следуя сзади, с сардонической улыбкой выслушивает

объяснения гида.

— Вот тут, в этом доме, при раскопках нашли мать и ребенка, которые теперь находятся в здешнем музее. Мать, засыпаемая лавой, не нашла в себе силы выбраться из дома — так и застыла, прижав к груди ребенка...

— А неприличную собаку видели, синьоры? — вмешивается Габриэль. — Вот-то штука... Хи-хи...

Никто ему не отвечает.

В каком-то доме мы, наконец, к превеликому восторгу Габриэля, натываемся на висящий на стене деревянный футляр, в виде шкапчика...

Его открывают... Если в античные времена эта фреска красовалась без всякого прикрытия — античная публика имела о стыдливости и пристойности особое представление.

Габриэль корчится от циничного смеха; наш гид снисходительно подмигивает, обращая наше внимание на некоторые детали.

Человек, который показывает эту непристойность, просит на чай; тот человек, который впустил нас в дом, — тоже просит на чай; и тот человек, который пропустил нас в какие-то ворота, — взял на чай.

В помпейском музее брали с нас за вход в каждую дверь; неизвестный человек указал пальцем на иссохшее тело помпейца, лежащее под стеклом, сказал:

— Это тело помпейца.

И протянул руку за подаванием.

Я указал ему на Крысакова и сказал:

— Это тело Крысакова.

После чего, в свою очередь, протянул ему руку за подаванием.

Он ничего мне не заплатил, хотя мои сведения были ценнее его сведений: я знал, что его помпеец — помпеец, а он не знал, что мой Крысаков — Крысаков.

Возвращаясь обратно на станцию, мы наткнулись на громадные штабели лавы, сложенной здесь после раскопок; на несколько верст тянулись эти штабели.

Вышел из хижины человек, взял несколько кусков лавы в орех величиной и роздал нам на память. Потом попросил уплатить ему за это.

— Сколько? — серьезно спросил Мифасов.

— О, это сколько будет вам угодно!..

— Нет — так нельзя. Всякая вещь должна быть оплачена ее стоимостью. Во сколько вы цените врученные нам кусочки?

— Если синьоры дадут мне лиру — я буду доволен.

— Сандерс! Уплатите ему лиру.

Мифасов оглядел необозримое пространство, покрытое лавой, и завистливо сказал:

— Какая богатая страна — Италия!

— Почему?

— Четыре кусочка лавы общим весом в четверть фунта — стоят одну лиру. Сколько же должно стоить все, что тут лежит? Интересно высчитать.



Возвращались усталые.

— Видели в музее сохранившиеся зерна пшеницы, кусочки почерневшего хлеба и даже остатки какого-то кушанья... Это изумительно!

— Понимаю, — подмигнул Крысаков, — просто вы проголодались и потому сворачиваете все на съестное. Вон, кстати, и ресторанчик.

Первый стакан кьянти приободрил нас.

— Милое винцо! Смотрите, господа, что это Сандерс такой задумчивый? Сандерс! Что с вами?

Он рассеянно поднял опущенные глаза и сказал:

— Приблизительно около двенадцати с половиной миллиардов пудов на общую сумму девятьсот миллиардов рублей.

— Чего?!!

— Лавы. Тут.

## 2

Розовая черепаха. — Максим Горький. — Итальянская толпа. — Старик. — Тяжелое путешествие. —  
Последнее мошенничество. — Опять Габриэль

На Капри пароход отходил утром.

Так как весь Неаполь пропитан звуками музыки и пения, то и на пароходе оказался целый оркестр.

Хорошо живется бездельничающему туристу. Сидит он, развалясь под тентом, а ему играют неаполитанские канцонетты, пляшут перед ним, охлаждают пересохшее от жары горло какой-то лимонной дрянью со льдом — и за все это лиры, лиры, лиры...

Тут же у ног пресмыкается продавец черепаховых изделий и кораллов.

Крысаков, осажденный продавцом, пробует притвориться глухим, но когда это не помогает, прибегает к странному способу: он берет нитку кораллов, осматривает их и пренебрежительно говорит:

— Ну, милый мой, какая же это черепаха!.. Ничего общего.

— Да это, синьор, не черепаха. Это кораллы.

— Что? Не слышу. Ты можешь мне клясться хоть отцом родным — я не поверю, что это черепаха. Разве розовые черепахи бывают?

— Но это не черепаха! Я и не говорю, что это черепаха. Это кораллы.

— Что? Не слышу. А это что? Коралл? Почему же он в форме гребенки?.. Ты, братец, изолгался; ну разве бывает коралл прозрачный, коричневого цвета. Это что-то среднее между янтарем и агатом. Что? Не слышу!

Продавец орет Крысакову в самое ухо:

— Это и есть, господин, черепаха! Настоящий черепаховый гребень.

— Врешь, врешь! Он на коралл ни капельки не похож. Как не стыдно?! Господа, разве это коралл?

— Конечно, не коралл, — в один голос поддерживаем мы.

— Ну, вот видишь. Ты уж думаешь, если мы иностранцы, русские, — так и ничего не понимаем. У нас, братец, за такие штуки в полицию тянут. Ступайте, чужеземец.

Скрипки заливаются, солнце печет, винт оставляет сзади на чудесном лазурном зеркале воды — длинную вспаханную борозду.

У «голубой пещеры» пароход останавливается. Туча лодок подлетает к пароходу, лодочники разбирают пассажиров, и мы, улегшись на дно лодки, вползаем в пещеру.

За то, что пещера, действительно, голубая — с нас берет по лире главный лодочник, берут простые лодочники и потом еще взыскивают в пользу какого-то акционерного общества, которое эксплуатирует голубую пещеру.

Туристы нисколько не напоминают баранов, потому что баранов стригут два раза в год, а туристов — каждый день.

Я не сказал о цели нашей поездки на Капри — мы ехали к Максиму Горькому.

Я бы мог многое рассказать об этом чудесном, интереснейшем человеке нашего времени, об этой кристальной душе, узнав которую, нельзя не полюбить крепко и надолго; я бы мог рассказать о его жизни,

так непохожей теперь на печение булок в пекарне, о его мастерском увлекательном разговоре, о детском смехе и незлобии, с которым он рассказывает о попытках компатриотов в гороховых пальто залучить его на родину; бедные гороховые пальто потратились на дорогу, приехали, организовали слезку, но все это было так глупо устроено, что веселые итальянцы за животы хватались от смеху. Так ни с чем и уехали компатриоты; разве что только русский престиж среди итальянцев подняли.

Я бы мог рассказать о той исключительной приветливости и радушии, с которыми мы были встречены писателем...

Но, щадя его скромность, пропущу все это.

А вот нижеизложенное имеет некоторое отношение к этой книге...

Мы говорили о Неаполе.

— О, видите ли, — сказал Горький, — есть два Неаполя. Один Неаполь туристов: жадный, плутоватый, испорченный и распутный; другой — просто Неаполь. Этот чудесен. И неаполитанцы тоже бывают разные... К сожалению, иностранца встречают только отбросы, специально живущие на счет туристов, обирающие их. Будьте уверены, что настоящий неаполитанец с глубоким отвращением относится ко всем этим «тарантеллам», ко всему тому, что специально создано для нездорового спроса форестьера. Нужно пожить между итальянцами, чтобы узнать их. Они добры, великодушны, горячи и неизменно веселы. Я вам расскажу сейчас один случай, очень характеризующий славных неаполитанцев...

Пришло в Неаполь однажды какое-то русское судно. Матрос, отпросившись на берег, стал бродить по городу, дивясь на незнакомую обстановку, пока не наткнулся на кинематограф. Бедняге вятичу или костромичу, взятому от сохи, никогда не приходилось видеть раньше кинематографа, и он решил посмотреть. Купил билет, сел. Просмотрел всю программу — пришел в такой восторг, что остался снова ее смотреть... Билета с него второй раз не спросили, но покосились... Просмотрел второй раз программу... Восхищение его было так велико, что он остался и на третий раз. Тут уж хозяин не выдержал — потребовал, чтобы матросик взял второй билет. Матросик заспорил и, по незнанию ли итальянского языка или по чему другому — но дал хозяину зуботычину. Поднялся крик — матросика схватили и потащили в полицию.

Итальянская толпа любопытна до истерики. Увидели, что ведут чужеземца в полицию, заинтересовались:

— За что? Что сделал?

Хозяин кинематографа рассказал; «смотрел, дескать, человек программу два раза, да еще хотел и в третий раз смотреть. А деньги за билет уплатить отказался, да, кроме того, когда его стали выводить — вступил в драку».

Посмотрели неаполитанцы на матросика.

— Знаете что, — обращаются к полицейским и хозяину. — Отпустите вы его.

— Как так, отпустите?

— Ну, чего там... Бедный человек, видит кинематограф впервые, обрадовался, что дорвался, — за что его в полицию?

— В самом деле, отпустите его.

Толпа загудела — сначала просительно, потом — не просительно.

— Отпустите этого человека! Отпустите его! — гудела вся улица.

Итальянская толпа шутить не любит. Просят, значит, надо сделать.

— Ну, бог с тобой, — согласился кинематографщик. — Ступай! Отпустите его, я ничего против него не имею.

Торжествующая толпа бросилась качать кинематографщика, полицейских; потом устроила овацию матросику, подхватила его на руки и с веселым пеньем и плясками повела в ближайший кинематограф.

Ввалились, просмотрели программу, подхватили опять матросика на руки и с той же восторженностью повлекли в другой кинематограф, оттуда в третий, четвертый, и так до самого вечера, пока несчастный матросик не взмолился:

— Братцы, отпустите меня! Тошнит меня от него...

Вот и вся история. Но сколько в ней неожиданности, добродушия и милой шутки. Ко всякому поводу придерется неаполитанец, чтобы погорланить, повеселиться и поплясать.

До сих пор не могу сказать точно, какое впечатление произвели мы на Максима Горького.

Говорю это потому, что знаю — порознь каждый из нас сносный человек, но все мы in corpore [81] — представляем собою потрясающее зрелище. Человек с самыми крепкими нервами выносит пребывание в нашей компании не больше двух-трех часов. Шутки и веселье хороши, как приправа, но если устроить человеку обед из трех блюд: на первое соль, на второе горчица и на третье уксус — он на половине обеда взвояет и сбежит.

Однажды ехали мы из Петрограда в Москву — Крысаков, Мифасов и я. В четырехместное купе к нам сел какой-то сумрачный старик. Он начал сурово прислушиваться к нашему разговору... Постепенно морщины на его лице стали разглаживаться, через пять минут он стал усмехаться, а через полчаса хохотал как сумасшедший, радуясь, что попал в такую хорошую компанию. В начале второго часа смех его заменился легкой, немного усталой усмешкой, в середине второго часа усмешка сбежала с лица, и весь он осунулся, со страхом поглядывая на нашу компанию, а к исходу второго часа — схватил свои вещи и в ужасе убежал отыскивать другое купе.

Мы же были свежи и бодры, как втянувшиеся в алкоголь пьяницы, которых и бутылка рому не свалит с ног.

На другой день мы решили сами (безо всякой просьбы со стороны Горького) покинуть Капри и вернуться на родину — в Неаполь.

Пароход отходил в 4 часа дня, но был другой способ добраться до Неаполя — на лодке.

Мы с Крысаковым сначала колебались в выборе, но когда Мифасов и Сандерс подали голоса за пароход — мы решили ехать на лодке.

Минусы были таковы: 30 верст по палящей жаре. Если не будет ветра — на веслах 6–7 часов езды (на пароходе 1 ½ часа), если же будет ветер, то будет и качка. Цена — на пароходе 8 лир, на лодке 30.

Облив Сандерса и Мифасова потоком холодных, ядовитых, презрительных слов и замечаний, мы вдвоем сели в 10 часов утра и поехали.

Ветер оказался таков: не настолько сильный, чтобы надуть паруса, и не настолько слабый, чтобы не было качки.

Поэтому мы стояли на месте, и нас качало. Я немедленно подружился с лодочниками. Откупорил бутылку кьянти, угостил этих добрых людей, эти добрые люди угостили меня какой-то колбасой с хлебом, и потом я с этими добрыми людьми принялся горланить неаполитанские песни.

Что в это время делалось с Крысаковым — говорить не буду; он частенько наклонялся за борт, и не

знаю, что заставляло его вести себя так — проклятая качка, которой он не переносил, или наше энергичное, но нестройное пение.

А сверху палило презрительное, обваривавшее нас, как раков, солнце, а внизу колыхалась изумрудная вода, и вялый парус ласково трепал Крысакова по лицу.

Бедняга частенько наклонялся за борт, и мы из деликатности отворачивались, рассматривая какую-нибудь чайку и заглушая его стоны визгливым пением «Bella Napoli» и «Sole mio».

Приехали мы на полчаса (они выехали в 4 часа!) позднее Сандерса и Мифасова. То есть приехал я почти один, потому что от большого могучего Крысакова осталась одна оболочка, которую я, как плед, перекинул через руку, выходя из лодки.

Нужно было три дня, чтобы набить эту опустевшую оболочку пищей и чтобы эта оболочка приняла некоторое подобие контуров прежнего Крысакова.

Очнувшись, он протянул мне слабую руку, и первые слова его были таковы:

— Теперь вы можете представить, как я вас люблю, если согласился, ради вас, на такую штуку!

— Спасибо, — добродушно сказал я. — Обещаю вам, что первую попавшуюся картинную галерею исхожу с вами вдоль и поперек...

Прощай, прекрасный Неаполь!.. Мы уезжаем.

Заключительный неаполитанский аккорд был таков: собираясь ехать на пристань, мы с Сандерсом наняли извозчика; сели, тронулись.

Меланхоличный Сандерс, бродя рассеянным взором по окружающему, увидел на стекле таксометра нашего извозчика какую-то маленькую прилипшую бумажечку, в полтинник величиной; от скуки он стал пальцем соскабливать ее. Бумажечка сейчас же отклеилась и — о чудо! Под ней на таксометре красовалась цифра — 2 лиры!

Мы только что тронулись, и поэтому с нас могло следовать не более двадцати центезимов...

— Стой! — заорали мы. — Это что такое? Откуда у тебя две лиры?

Извозчик сразу прикинулся не понимающим по-французски (в Италии почти все говорят довольно внятно по-французски) и стал что-то объяснять нам, спорить, кричать.

Бедняга не знал нашей системы. Мы сразу подняли такой вой и крик, что сбежалось пол-Неаполя.

— В полицию! — ревел я. — К консулу! Телеграмму посланнику!! Разбойники!..

— Стреляйте в него, — кричал Сандерс. — Где ваш ножик? Нас грабят!! Перережьте ему горло!

Извозчик обрел неожиданный дар французской речи. Подобострастно вскочил, низко кланяясь, перевел механизм таксометра, и мы, сразу заговорив обыкновенными спокойными голосами, двинулись под восторженные клики собравшейся толпы.

Больше всех был в восторге наш возница. Он смотрел на нас с восхищением, оборачивался, хлопал меня по коленке и говорил:

— Добрый синьор руссо — умный, понимающий человек. Он прекрасный чудесный путешественник, и пусть он не сердится на Беппо. Ну, вышла маленькая ошибочка — чего там... Хе-хе.

Мы приехали на пристань.

Правду говорит пословица: «Кто на море не бывал, тот горя не видал», — пароход задержался с погрузкой, и нам пришлось ожидать четыре часа.

Всякий развлекался как хотел: Крысаков ел, Сандерс спал, а мы с Мифасовым бросали в воду серебряные монеты. Несколько юрких мальчишек бросались за ними с пристани, ныряли и доставали со дна. Были изумительные искусники.

Какой-то немец тоже бросал монеты, но, как человек экономный, не желающий даром тратить денег, он — или забрасывал монету за двадцать метров от намеченного ныряльщиками места, или старался попасть ныряльщикам в голову...

Прогудел уже второй гудок, и в это время на пристани показался Габриэль. Он долго отыскивал нас глазами, а найдя — закричал, заплясал и стал посылать нам воздушные поцелуи.

— А что, господа, — сказал Мифасов. — Может быть, он всюду увязывался за нами не из-за выгоды, не из-за денег, а просто потому, что искренно полюбил нас. А мы не понимали его, гнали, унижали и не замечали.

Это было совершенно новое освещение поступков Габриэля. Мы наскоро сложились, завернули в бумагу несколько лир и бросили это сооружение Габриэлю.

И за этим последовал не дождь, а целый ливень воздушных поцелуев... с обеих сторон.

— Прощай, Габриэль! Кланяйся иссохшему помпейскому человеку! Поцелуй от нас мартаделлу.

Бедный, милый Габриэль!.. Прощай. Ты ведь никогда, никогда, вероятно, не узнаешь, что я, где-то в далекой России, вспоминаю о тебе в книге, написанной непонятным тебе, кроме слова «купаться», языком и напечатанной непонятными буквами.

## На пароходе из Неаполя в Геную

— А братья есть у вас?

— О, да. Семь миллионов, три миллиона и четырнадцать с половиной.

— Простите... что вы такое говорите?

— В этих суммах выражается состояние каждого из них! Трое.

— А матушка ваша... жива?

— Нет. Скончалась. Позвольте... дайте вспомнить... Да! Двадцать восемь тысяч долларов было истрачено на ее похороны.

— Вероятно, ваша семья сильно горевала?

— Еще бы! Приостановка дела на четыре дня дала по конторе убытку около четырехсот тысяч... А когда умерла бабка Стивенсон, их горе не стоило и сотняги тысяч. Вот вы и смекните.

— Да? Какое бессердечие... Смотрите, что за чудесное облако направо от нашего парохода!..

— Будущий атмосферный осадок. Если бы его перегнуть на сушу, да спустить на пшеницу — ого!

— А что?

— А то, что за него всякий неглупый сельский хозяин пару сотен отвалит.

Это было мое первое знакомство и первый разговор с мистером Джошуа Перкинсом. Он казался самым обыкновенным американцем: одетый в брюки отвратительного американского фасона и ботинки, похожие больше на лошадиные копыта, он шатался по всему пароходу без пиджака и жилета, с засученными рукавами, распевал пронзительным, фальшивым голосом ужасные американские песенки и презирал всех так откровенно и беззаботно, что все полюбили его.

Только ко мне он благоволил, потому что при первой встрече я выказал себя еще большим американцем, чем он: выйдя после обеда на палубу и заметив, что мистер Перкинс развалился на занятом мною *longue chaise*'е, я подошел и, лениво зевнув, опустился к нему на колени.

Он забился подо мной, завыл и, сбросив меня, в бешенстве вскочил на ноги.

— Простите, — заметил я, — но я сел на свое место. Вот карточка с моим именем на спинке.

Он захохотал и, пересев на соседний стул, вступил со мной в вышеприведенный разговор.

После замечания относительно облака он посвистал немного и спросил:

— Женаты?

— Был.

— Жена?

— Умерла.

— От чего?

— О, это тяжелая история... Она сгорела на моих глазах от лопнувшей бутылки с бензином.

— А!

В глазах его засветился живой интерес к моим словам.

— Тяжелая история?

— Да. Очень.

— Хотите дело?

— ?..

— Я, вероятно, не говорил вам, что у меня в Нью-Йорке есть две газеты... Опишите вашу историю погуще — у вас есть литературное имя — я смогу заплатить вам по полдоллара за строчку.

— Нет. Не хочу.

— Почему? Мне просто хочется утереть такой штукой нос этому зазнавшемуся каналье Чарли Пегготу. Он изо дня в день пичкает своих читателей историями о вырытых трупах и взбесившихся животных — этот мошенник Пеггот...

— Я не могу принять вашего предложения, — сухо отвечал я.

Он похлопал меня по плечу.

— Молодец! Я, признаться, хотел испытать вас — настоящий вы мужчина или нет. Вы сразу раскусили меня. Действительно, полдоллара за строчку — это сор. All right! Я заплачу вам доллар.

— Не находите ли вы, — угрюмо возразил я, — что покойница, дорогая сердцу мужа, — плохое средство для утирания носов зазнавшимся Чарли Пегготам.

Джошуа Перкинс смутился и крепко пожал мою руку.

— Простите, если я не так выразился. Конечно, утирание носа Пегготу вашей... дорогой покойницей... это скорее метафорический оборот...

— Ничего. Прекратим этот разговор. Вы давно путешествуете по Европе?

— Третий месяц.

— Что же вас тут больше всего интересует?

— Искусство.

— Значит — музеи, картинные галереи, да?

— Да. Есть изумительные вещи. Говорят, тут за одного Рубенса отвалили около двух миллионов?

— Да.

— Вот это приемная вещь!

— Что это такое — приемная?

— Вещь, которую не стыдно повесить в приемной. А, откровенно говоря, все эти Луки Кранахи да Паоло Веронезе — ведь это так... для кабинета или в другую какую комнату... а?

Он нерешительно заглянул в мое непроницаемое лицо.

— А? как вы думаете?

— Да... Это правда. Кранухом Пегготу носа не утрешь!

— Вы думаете? Это, пожалуй, верно. Можете представить, у него в буфетной комнате, в дверцах буфета, вделаны четыре настоящих Фрагонара!

— Шикарно! Надеюсь, вы утерли нос этому зазнавшемуся выскочке?

Джошуа подмигнул мне:



— Собираюсь. Да так, что он и не ожидает! Хе-хе!

Мы оба долго смеялись.

— Небось, — предположил я, — обмемблируете свою квартиру египетскими мумиями? Они стоят бешеных денег. А живот ей выдолбить, да устроить там погребец для ликеров... То-то позеленеет ваш Пеггот.

— Нет, это почище мумий. Вы знаете, я подыскиваю себе старинный замок!

— Для чего?

— Жить в нем. Буду приезжать месяца на три в год, да и жить в нем. Не правда ли, комфортабельно?

— Нашли что-нибудь подходящее?

— Нет. Есть или простые развалины, или хорошие замки, но не продают. Я приторговывал замок Барбароссы в Нюрнберге... Нет, говорят, нельзя. Почему? — неизвестно!

— Как же вы думаете устроиться?

— Я уже говорил с архитектором. Он обещал выстроить новый, но как бы старый. Как вы думаете?

Я подумал немного и сказал решительно:

— Нет, это не то.

— Ну, что вы говорите!..

— В старых замках обыкновенно есть прекрасные галереи портретов, где так сладостно-жутко и страшно по ночам, когда желтая луна тускло светит в разбитые, затканые паутиной окна...

— О, за этим дело не станет. Любой антикварий развесит за гроши целую галерею!.. Стекла, если их разбить...

— Пожалуй. Но где летучие мыши, гнездящиеся под потолком полуразрушенной башни, где треск ветхой мебели, шорохи под полом и завывание ветра в трубе громадного, веками закопченного камина?

— Да, это так. Гм...

Джошуа поднял ноги, положил их на перила палубы и, осмотрев свои похожие на лошадиные копыта башмаки, спросил:

— А вы не знаете, как их разводят?

— Кого?

— Летучих мышей.

— Кто же их разводит... Сами разводятся. Черт их знает как. Пустите одну пару для завода, а там видно будет. Остальное, конечно, пустяки. Камин можно закоптить порохом, под полом поставить несколько аппаратов, которые трещали бы при ходьбе, ветер в трубе прекрасно имитируется парой органых труб, вековая пыль в нежилых комнатах оседает в три дня, если десяток дюжин рабочих будет посменно шаркать пыльными сапогами... Все это не так трудно. И устроите вы такое помещеньице, что утрете нос самому Барбароссе... Одного только у вас не будет.

— Ого!

— Да-с. Не будет у вас старого зловещего привидения, которое бродило бы по ночам, пугая обитателей замка.

— Да ведь привидений-то вообще нет.

— Ну, это смотря где. Конечно, в вашем нью-йоркском небоскребе ему не ужиться, а в старых замках их целые гнезда.

— Может быть, и у меня заведется...

— Не-ет, дорогой мой... На имитацию его не подловишь. Оно, как тесто на муке, замешивается на легенде, на каком-нибудь старинном злодеянии. А старинного злодеяния вам за миллион не устроить.

Джошуа был огорошен искренно и серьезно.

— Наловить их в развалинах да напустить ко мне...

— Убегут. Главное дело — легенды нет. Злодеяния нет.

— Есть дело! — сказал Джошуа, хлопнув меня по колену. — Вы писатель? Так придумайте мне легенду. Легенду старинного замка Джошуа Перкинса.

— Да что ж тут можно придумать? Есть определенные американские легенды: железнодорожные короли Дженкинс и Бридж, имея две параллельные железнодорожные линии, конкурировали в ценах на перевозку скота из места, где его было много, в места, где его было мало. Дженкинс спустил цены за перевозку до минимума, а Бридж, по американскому обычаю, захотел «утереть нос» Дженкинсу и назначил цены себе в громадный убыток. Что же делает умный Дженкинс? Он начинает сам покупать скот и отправлять его за гроши по дороге своего конкурента, кладя в карман огромные прибыли, чем и разоряет его. Вот вам и легенда. А что из нее сделаешь? Если даже Бридж повесился, то и тогда что он скажет Дженкинсу, явившись к нему темной страшной ночью — в качестве привидения? «Дженкинс, Дженкинс, — скажет он только, — зачем ты отправлял скот по моей дороге?» — «Да ведь и ты, голубчик, — основательно возразит ему Дженкинс, — спустил цены так, что хоть ложись да помирай. Не надо было зарываться». Нет. Такой легенды никакой замок не выдержит.

Джошуа сосредоточился, что-то припоминая.

— А вот у меня дед скончался при крайне таинственных обстоятельствах.

— Именно?

— Его повесили в Канзасе за кражу лошадей...

Я скептически пожал плечами:

— Уж и легенда! Да махните рукой на привидение. Живите так.

— Это не то. Не комфортабельно. Впрочем, я поговорю с архитектором.

— Вам бы жениться лучше, — посоветовал я.

— О, это очень трудная вещь — брак. У меня есть две девушки на примете — не знаю, на какой из них остановиться.

— А какая между ними разница?

— Хлебный элеватор.

— Удивляюсь я вам, американцам... Все вы сводите на деньги да на элеваторы. Могли бы хоть тут последовать влечению сердца. Каковы они собою?

— Одна миниатюрная, небольшого роста, килограммов около пятидесяти весу, другая высокая, хорошо развитая девушка.

— Килограммов в семьдесят?

— Да, около этого. Вот вы тут и посоветуйте!..

— И советовать нечего. Женитесь на той, которая весит больше.

Он с сомнением посмотрел на меня — не смеюсь ли я.

— Однако... Это, мне кажется, несколько меркантильный взгляд...

— Ничуть! — горячо возразил я. — Вы подумайте. Что такое жена? Это нечто такое, что дороже всего человеку. И если этого дорогого, прекрасного будет на двадцать процентов больше, то не ясно ли, даже не умеющему считать, что от этого счастье обладания любимым существом подыметя на такое же количество процентов.

Он снисходительно пожал плечами:

— Эти европейцы неисправимые идеалисты. Впрочем... Пароход наш уже подходит к Генуе... Мы сейчас расстанемся. Я совершенно незаметно провел с вами два часа сорок семь минут. Очень рад. Не откажитесь принять от меня на память эту любопытную вещицу!

Джошуа вынул из бумажника зубочистку и благоговейно протянул ее мне.

— Это что такое?

— Это замечательные зубочистки. Их всего у меня три, и каждая обошлась мне в 300 долларов.

— Из чего же они сделаны? — изумился я.

Он самодовольно улыбнулся:

— Из пера на шляпе Наполеона Первого, на той самой шляпе, в которой он был на Аркольском мосту. Мне было очень трудно достать эту вещь!

Джошуа Перкинс пожал мне руку, надел пиджак, засвистал фальшиво и зашагал за носильщиком.

Я подошел к борту парохода, бросил наполеоновскую зубочистку в воду и стал смотреть на закат...

# Генуя

Генуя знаменита своим Campo Santo; Campo Santo знаменито мраморными памятниками; памятники знамениты своей скульптурой, а так как скульптура эта — невероятная пошлятина, то о Генуе и говорить не стоит.

Впрочем, есть люди, которые с умилением взирают на такие, например, скульптурные мотивы:

1) Мраморный детина, в мешковатом сюртуке, брюках старого покроя и громадных ботинках, стоит у чайницы, долженствующей, по мысли скульптора, изображать могилу отца детины; детина, положив под мышку котелок, плачет. Ангел, сидя на чайнице, тычет в нос безутешному молодцу какую-то ветку.

2) Огромный барельеф: внизу на крышке гроба стоит ангел и передает, вытянув руки, парящему наверху ангелу — покойника, с безмолвной просьбой распорядиться им по своему усмотрению.

3) Безносаемая смерть тащит упирающуюся девицу в склеп.

4) А вот девица, судьба которой лучше — ее просто два ангела ведут под руки к вечному блаженству.

5) Целая композиция: мраморный хозяин умирает на мраморной кровати, окруженный домочадцами; налево господин в мраморном галстуке не то утешает, не то щекочет пальцем даму, возведшую глаза горе.

Всюду невероятное смешение старомодных сюртуков и панталон с ангельскими крыльями, ангельскими хитонами, ангельскими факелами в руках.

Ангельское терпение нужно, чтобы пересмотреть всю эту бессмыслицу.

Во время нашего путешествия по этому бесконечному морю испорченного мрамора произошел странный инцидент.

Именно: Крысаков, который задержался около стучащейся в райские двери девицы, вдруг догнал нас бледный и в ужасе зашептал:

— Со мной что-то случилось...

— Что такое?

— Сколько кьянти выпили мы за завтраком? — спросил Крысаков, дрожа от страха.

— Сколько каждому хотелось — ни на каплю больше. А что случилось?

— Дело в том — я не знаю, что со мной сделалось, но я сразу стал понимать по-итальянски.

— Как так? Почему?

— Видите ли, около той «девушки у врат» стоит публика. Вдруг кто-то из них заговорил — и я сразу чувствую, что понимаю все, что он говорит!

— Какой вздор! Этого не может быть.

— Уверю вас! Другой ему ответил — и что же! Я чувствую, что понял и ответ.

— Тут что-то неладно... Пойдем к ним!

Мы подошли.

— Слышите, слышите? Я прекрасно сейчас понимаю, о чем они говорят... О том, что такой сюжет они уже встречали в Риме... Хотите, я вам буду переводить?

— Не стоит. Это излишне.

— По... почему?

— Потому что они говорят по-русски.

Мифасов оглядел фигуру смущенного Крысакова и уронил великолепное:

— Удивительно, как вы еще понимаете по-русски.

## Страшный путь

Путь из Генуи в Ниццу был ужасен. Отвратительные, грязные вагоны, копоть, духота.

Все мы грязные, немые — и умыться негде.

Едим ветчину, разрывая ее пальцами, и пьем кьянти из апельсиновых шкурок и свернутых в трубочку визитных карточек.

Солнце склонялось к закату. Все мы сидели злые, мрачные и все время поглядывали подстерегающими взорами друг на друга, только и ожидая удобного случая к чему-нибудь придраться.

В вагоне сразу стемнело.

— Удивительно, как на юге быстро наступает ночь, — заметил Мифасов. — Не успеешь оглянуться, как уже и стемнело.

— Удивительно, как вы все знаете, — саркастически заметил Сандерс.

— В вас меня удивляет обратное, — возразил Мифасов.

Вдруг в вагоне стало проясняться, и опять дневной свет ворвался в окно.

— Удивительно, — захихикал Сандерс, — как на юге быстро светлеет.

Поезд опять нырнул в туннель.

— Удивительно, — сказал Крысаков, — как на юге быстро темнеет...

— Черт возьми, — проворчал Сандерс, — как быстро время летит. Сегодня только выехали, и уже прошло три денечка.

— Опять темнеет! Четвертая ночь!

— А вот уже и рассвет... Четвертый денечек. С добрым утром, господа.

Угрюмо озираясь, сидел затравленный Мифасов.

Чем дальше, тем туннели попадались чаще, и до границы мы проехали их не меньше сотни.

Когда, по выражению Крысакова, «наступила ночь», я вдруг почувствовал, что какое-то тяжелое тело навалилось на меня и стало колотить меня по спине. Я с силой ущипнул неизвестное тело за руку, оно взвизгнуло и отпрыгнуло.

Поезд вылетел из туннеля — все смиренно сидели на своих местах, апатично поглядывая друг на друга.

— Хорошо же, — подумал я.

Едва только поезд нырнул в следующий туннель, как я вскочил и стал бешено колотить кулаками, куда попало.

— Ой, кто это? Черрт!

Опять светло... Все сидят на своих местах, подозрительно поглядывая друг на друга.

— Кто это дерется? Что за свинство, — спросил сонный Сандерс.

— Действительно, — подхватил я, — безобразие! Вести себя не умеют.

Тьма хлынула в окна. И опять поднялась в вагоне невероятная возня, рев, крики и протесты.

— Стойте! — раздался могучий голос Крысакова. — Я поймал того, который нас бьет. Держу его за

руку... Нет, голубчик, не вырвешься!

Засиял свет и — мы увидели бьющегося в крысаковских руках Сандерса.

Все набросились на него с упреками, но я заметил, как змеилась хитрая улыбочка на губах Мифасова.

От Монте-Карло к нам в купе подсели две француженки.

Одна из них обвела нас веселым взглядом и вдруг нахлобучила Крысакову на нос его шляпу.

— Ура! — гаркнул Крысаков из-под шляпы. — Отселе, значит, начинается Франция!

Ницца — небольшой городок, утыканный пальмами.

Мы попали в него в такое время, когда все приезжее народонаселение состояло из шести человек: нас четырех и тех двух француженок, которых мы встретили в вагоне.

У бедняжек, очевидно, в сезоне были такие плохие дела, что уехать было не на что, и поэтому они влачили вдвоем жалкое существование, надеясь на случай.

Но случай не подвертывался, потому что, кроме нас, никого не было, а наши принципы удерживали нас от легкомысленных поступков и преступного общения с женщинами.

Нам не нужно было тратить много времени, чтобы заметить, что вся Ницца живет только нами и для нас; все гостиницы были закрыты, кроме одной, в которой жили мы; все извозчики бездельничали, кроме двух, которые возили нас, магазины отпирались для нас, музыка по праздникам на площади гремела для нас, и только легкомысленные бабочки, кружившиеся около нас, были вне этого распорядка — спрос на женскую привязанность стоял до смешного низко.

Когда мы уезжали, было такое впечатление, что душа Ниццы отлетает и тело сейчас замрет в последней агонии.

В Париж! В Париж!

# Париж

Тоска по родине. — Мы четверо. — Призрак голода. — Муки. — 14 июля. — Лирическое отступление. — Деньги отыскиваются. — Последние усилия. — Драка. — Победа. — В Россию. — Последнее merci...

Наиболее остро это началось с Парижа.

Первым был пойман Мифасов: пойман на месте преступления в то время, когда, сидя в маленьком кафе на бульваре Мишель и увидя нас, пытался со сконфуженным видом спрятать в карман клочок бумаги.

— Погодите! — строго сказал Крысаков. — Дайте-ка сюда. Ну, конечно, я так и подозревал.

Это был обрывок русской газеты.

— А наше слово? Наше слово — не читать русских газет, не вспоминать о России, не пить русской водки?..

Опустив голову, смущенно шаркал ногой по цементному полу Мифасов.

Вторым попался Сандерс.

Однажды идя по улице впереди него и неожиданно оглянувшись, мы заметили, что он отмахнулся два раза от какого-то попрошайки, а потом вдруг остановился, прислушался к его словам, и лицо его, как будто очарованное сладкой музыкой, распустилось в блаженную улыбку.

— О! — сказал Сандерс, — вы говорите — вы русский! Неужели? Не обманываете ли вы меня?

— Русский! Ей-богу! Поверьте, третий день уже хожу — ни шиша...

— Как? Как вы сказали? «Ни шиша?» О, это очень мило! Какое образное русское слово! Это очень хорошо, что вы русский. Это благородно с вашей стороны!

— Обносился, оборвался я, как босьявка...

Склонив голову набок, Сандерс сладко слушал...

— О, что за язык! «Босьявка»... «оборвался»... Почему никто из товарищей моих не говорит так по-русски? Давно я не слыхал от них русского слова. Все стараются французить... Русский! Я желаю вас выручить, русский. Вот вам пять франков.

Крысакова однажды поймали ночью уже на лестнице в то время, когда он, крадучись, со своим распухшим, больным чемоданом пробирался к выходу...

— Неужели, господа, вы не можете потерпеть несколько дней? — возмущался я, — до нашего срока отпуска — двух месяцев — осталось всего шесть суток.

Но в тот же вечер я сам, подойдя к открытому окну, увидел на небе нашу русскую добродушную луну. И мне захотелось, как собаке, положить лапы на подоконник, вытянуть кверху голову, да как завывать!.. Завывать от тоски по нашей несчастной, милой родине...

В предыдущих очерках я уделял наибольшее внимание этнографическим описаниям; Париж настолько всем известен, что я считаю себя вправе заняться, главным образом, путешественниками — Мифасовым, Крысаковым, Сандерсом и мною.

Всякий, конечно, был верен себе: Сандерс однажды задремал с булкой в руках, остановившись на полпути между прилавком и нашим столиком; он же, заспорив как-то о том: какой из двух путей, ведущих к Лувру, ближе, — встал в шесть часов утра и пошел проверять тот и другой путь; среди сна все трое были разбужены и оповещены о том, какой хороший, умный человек Сандерс и как он всегда бывает прав.



Всякий, конечно, был верен себе: Мифасов после обеда потащил нас в кафешантан Марини; он же возмутился бешеными ценами на места в этом учреждении; он же предложил поехать в какой-нибудь из маленьких шантанчиков на Севастопольском бульваре, утверждая, что хотя это далеко, но зато дешевизна тамошних кабачков баснословная, он же, в ответ на наши сомнения, сказал, что ему приходилось бывать там и что спорить с ним, опытным кутилой, глупо. «За свои слова я ручаюсь головой». По приезде на место выяснилось, что цены в кафе-концерте на Севастопольском бульваре выше цен Марини на 40 %.

Всякий, конечно, был верен себе: шокируя Мифасова и Сандерса, мы с Крысаковым присаживались за столиком в третьеклассном кафе, требовали пива, а потом Крысаков мчался к тележке, развозившей всякую снедь, покупал на 10 су паштета из телячьей печенки, на 3 су хлеба, и мы устраивали такой пир, что все с восхищением глядели на нас, кроме Мифасова и Сандерса.

— Кушайте, — добродушно угощал Крысаков, похлопывая ладонью по своему паштету. — Битте-дритте.

Должен заметить, что паштетом питались и наши антагонисты — Мифасов и Сандерс. Должен заметить, что и насыщение паштетами за 10 су и хлебом за 3 су, и возмущение ценами шантана — все это имело под собой основательную почву: дело в том, что мы разорились.

Кто был виноват в этом? Что было причиной этому: склонность ли Мифасова к фешенебельным ресторанам, «обедам под гонг», страсть ли Сандерса к эффектным одеждам, покупка ли массы оружия, которое всякий из нас приобрел для защиты жизни от могущих посягнуть на нее врагов? Вероятно, все вместе повредило нам.

Правда, мы ждали солидного перевода на Лионский кредит, и перевод этот должен был получиться в Париже 12 июля. Но 12 июля банки были закрыты потому, что через два дня предстояло огромное празднование 14 июля — день взятия Бастилии; 13 июля банки не открывались потому, что оставался всего один день до 14-го; 14-го праздновали Бастилию; 15-го отпраздновали первый день после взятия Бастилии, а 16-го была какая-то генеральная проверка всех банковских касс; так как 17-го было воскресенье — то мы, очутившись 11-го без денег — могли ожидать их получения только 18-го.

Грозный призрак голода протянул к нам свои костлявые, когтистые лапы.

Первые признаки бедствия выяснились неожиданно: 11 июля, после роскошного завтрака в ресторане на Итальянском бульваре, мы взяли мотор и полетели в Булонский лес.

Сандерс был задумчив. Вдруг на полдороге он хлопнул ладонью по доске мотора и с несвойственной ему энергией воскликнул:

— Стойте! Сколько показывает таксометр?

— 6 франков 50.

— Мотор! Назад!

— Что случилось?

И, как гробовой молоток, прозвучали слова Сандерса:

— У нас всего 8 франков... (общественными суммами заведовал Сандерс).

Раздались крики ужаса; мотор повернули, и он, как вестник бедствия, полетел со страшным ревом и плачем в город.

— Стойте! До дому версты полторы. Дойдем пешком, — предложил благоразумный Крысаков. — Шоферу нужно, конечно, заплатить полным рублем, но на чай, ввиду исключительности положения, не давать; пусть каждый пожмет ему руку; это все, чем мы можем располагать.

Все с чувством пожали шоферу руку и поплелись домой.

Вечером прибегли к паштету с пивом, а утром на другой день Мифасов засел за большую композицию «Голодающие в Индии».

— Как жаль, что нет с нами Мити, — заметил Крысаков. — Его можно бы послать собирать милостыню. Самим нам неудобно, а он мог бы поработать на бедных хозяев.

— Бедный Митя! — вздохнул Мифасов. — Он, вероятно, умирает от голоду в Берлине, мы — в Париже. О, жизнь! Ты шутишь иногда жестоко, и твоя улыбка напоминает часто гримасу смерти.

Сандерс обошел кругом Крысакова и, щелкнув зубами, сказал:

— Думал ли я, что рагу из Крысакова будет казаться мне таким заманчивым?!

Крысаков, взволнованный, встал, поцеловал Сандерса в темя и выбежал из нашей комнаты в свою.

Потом вернулся, положил на стол золотой и сурово сказал:

— Последний! Прятал на похороны. Берите!

Радостный крик сотряс наши груди.

— Беру в кассу, — сказал Сандерс. — Что мы сделаем на эти деньги?

— Тут я на углу видел один ресторанчик... — несмело заметил Мифасов.

«Голодающие» на его рисунке сразу пополнели. Он приделал им животы, округлил щеки, прибавил мяса на руках и ногах и сказал:

— Произведения художника есть продукт его настроения. Налево за углом, вход с бульвара. Обед два франка с вином!!

— Bravo, Мифасов! Он заслуживает качанья. В первую же хорошую качку на море вы будете вознаграждены! За угол, господа, за угол!!

Было 13-е число. Весь Париж наряжался, украшался, обвешивался разноцветными лампочками; на улицах строили эстрады для музыкантов, драпируя их материей национального цвета. Уже приближался вечер, и пылкие французы не могли дождаться завтрашнего дня, зажгли кое-где иллюминацию и плясали на улице под теплым небом, под звуки скрипок и флейт.

А мы сидели в комнате Мифасова без лампы, озаренные светом луны, и тоска — этот спутник сирых и голодных — сжимала наши сердца, которые теперь переместились вниз и свили себе гнездо в желудке.

Недоконченный этюд «Голодающие в Индии», снова реставрированный в сторону худобы и нищенства, — смутно белел на столе своими страшными скелетообразными фигурами.

— Мама, мама, — прошептал я. — Знаешь ли ты, что испытывает твой сын, твой милый первенец?

— Постойте, — сказал Мифасов, очевидно, после долгой борьбы с собой. — У меня есть тоже мать, и я не хочу, чтобы ее сын терпел какие-нибудь лишения. В тот день, когда голод подкрадывался к нам — у меня были запрятанные 50 франков. Я спрятал их на крайний случай... на самый крайний случай, когда мы начнем питаться кожей чемоданов и безвредными сортами масляных красок!.. Но больше я мучиться не в силах. Музыка играет так хорошо, и улицы оживлены, наполнены веселыми лицами... сотни прекрасных дочерей Франции освещают площади светом своих глаз, их мелодичный смех заставляет сжиматься сердца сладко и мучи...

— По 12 с половиной франков, — сказал Сандерс. — Господи! Умываться, бриться! Черт возьми! Да здравствует Бастилия!

И мы, как подтаявшая льдина с горы, низринулись с лестницы на улицу.

Какое-то безумие охватило Париж. Все улицы были наполнены народом, звуки труб и барабанов прорезали волны человеческого смеха, тысячи цветных фонариков кокетливо прятались в темной зелени деревьев, и теплое летнее небо разукрасилось на этот раз особенно роскошными блистающими звездами, которые весело перемигивались, глядя на темные силуэты пляшущих, пьющих и поющих людей.

Милый, прекрасный Париж!..

Как танцуют на улице? Играют оркестры?!

Невероятным кажется такое веселье русскому человеку.

Бедная, темная Русь!.. Когда же ты весело запляшешь и запоешь, не оглядываясь и не ежась к сторонке?

Когда твои юноши и девушки беззаботно сплетутся руками и пойдут танцевать и выделять беззаботные скачки?

Желтые, красные, зеленые ленты серпантина взвиваются над толпой и обвивают намеченную жертву, какую-нибудь черномазую модистку или простоволосую девицу, ошалевшую от музыки и веселья.

На двести тысяч разбрасывает сегодня щедрый Париж бумажных лент — целую бумажную фабрику, миллион сгорит на фейерверке и десятки миллионов проест и пропьет простолюдин, празднуя свой национальный праздник.

Сандерс тоже не дремлет. Он нагрузился серпантином, какими-то флажками, бумажными чертями и сам, вертлявый, как черт, носится по площади, вступая с девицами в кокетливые битвы и расточая всюду улыбки; элегантный Мифасов взобрался верхом на карусельного слона и летит на нем с видом занятого авантюриста. Мы с Крысаковым скромно пляшем посреди маленькой кучки поклонников, вполне одобряющих этот способ нашего уважения к французам. Писк, крики, трубный звук и рев карусельных органов.

А на другое утро Сандерс, найдя у себя в кармане обрывок серпантина, скорбно говорил:

— Вот если бы таких обрывков побольше, склеить бы их, свернуть опять в спираль, сложить в рулон и продать за 50 сантимов; двадцать таких штукеч изготовить — вот тебе и 10 франков.

Крысаков вдруг открыл рот и заревел.

— Что с вами?

— Голос пробую. Что, если пойти нынче по кафе и попробовать петь русские национальные песни; франков десять, я думаю, наберешь.

— Да вы умеете петь такие песни?

— Еще бы!

И он фальшиво, гнусавым голосом запел:

Матчиш прелестный танец —  
Шальной и жгучий...  
Привез его испанец —  
Брюнет могучий.

— Если бы были гири, — скромно предложил я. — Я мог бы на какой-нибудь площади показать работу гириями... Мускулы у меня хорошие.

— Неужели вы бы это сделали? — странным, дрогнувшим голосом спросил Сандерс.

Я вздохнул:

— Сделал бы.

— Гм, — прошептал он, смахивая слезу. — Значит, дело действительно серьезно. Вот что, господа! Мифасов берег деньги на случай питания масляными красками и кожей чемоданов. Я заглянул дальше; на самый крайний, на крайнейший случай, — слышите? — когда среди нас начнет свирепствовать цинга и тиф — я припрятал кровные 30 франков. Вот они!

— Bravo! — крикнул, оживившись, Крысаков. — у меня как раз цинга!

— А у меня тиф!

Мифасов сказал:

— Тут... на углу... я...

— Пойдем.

Грохот восьми ног по лестнице разбудил тишину нашего мирного пансиона.

Когда мы были в «Кабачке мертвецов» и Сандерс, уходя, сказал шутовскому привратнику этого кабачка, где слуги поносили гостей, как могли: «Прощайте, сударь!» — тот ответил ему привычным, заученным тоном: «Прощайте, туберкулезный!»

Конечно, это была шаблонная шутка, имевшая успех в этом заведении, но сердце мое сжалось: что, если в самом деле слабым здоровьем Сандерс заболит с голодухи и умрет?..

Последние десять франков ухлопали мы на это кощунственное жилище мертвых, будто бы для того придя сюда, чтобы привыкнуть постепенно к неизбежному концу.

— Удивляюсь я вам, — сказал мне Крысаков. — Человек вы умный, а не догадались сделать того, что сделал каждый из нас! Припрятать деньжонок про запас. Вот теперь и голодай. До открытия банков два дня, а я уже завтра с утра начинаю питаться верблюжьим хлебом.

— Чем?

— Верблюжьим хлебом. В Зоологическом саду верблюдов кормят. Я пробовал — ничего. Жестко, но дешево. Хлебец стоит су.

— Ну, — принужденно засмеялся я, — у вас, вероятно, у кого-нибудь найдется еще несколько припрятанных франков — «уже на самый крайний случай — чумы или смерти».

— Я отдал все! — возмутился Мифасов. — Запасы имеют свои границы.

— И я.

— И я!

— Я тоже все отдал, — признался я. — Натура я простодушная, без хитрости, я не позволю утаивать что-нибудь от товарищей, «на крайний случай». А тут — чем я вам помогу? Не этой же бесполезной теперь бумажонкой, которая не дороже обрывка газеты, раз все меняльные учреждения закрыты.

И я, вынув из кармана русскую сторублевку, пренебрежительно бросил ее наземь.

— В «Олимпию», — взревел Крысаков. — В «Олимпию» — в это царство женщин! Я знаю — там меняют всякие деньги!

Как нам ни противно было очутиться в этом царстве кокоток и разгула — пришлось пойти.

Меняли деньги... Крысаков был очень вежлив, но его «битте-дритте» звучало так сухо, что все блестящие ночные бабочки отлетали от него, как мотыльки от электрического фонаря, ударившись о твердое стекло.

В тот момент, когда, наконец, для французов красные, а для нас черные дни — кончились и наступили будни, мы получили пачку разноцветных кредиток и золота.

И в тот же момент в один истерический крик слились четыре голоса:

— В Россию!

— Домой!

— В Петроград!

— К маме!

Но кто проследит пути судьбы нашей? Кто мог бы предсказать нам, что именно в день отъезда случится такой яркий потрясающий факт, который до сих пор вызывает в нас трех смешанное чувство ужаса, восторга и удивления?!

Милый, веселый, неприхотливый Крысаков... Ты заслуживаешь пера не скромного юмориста с однотонными красками на палитре, а, по крайней мере, могучего орлиного пера Виктора Гюго или героического размаха автора «Трех мушкетеров».

Постараюсь быть просто протокольным — иногда протокол действует сильнее всего.

Было раннее утро. Крысаков накануне вечером сговорился с нами идти в Центральный рынок поглазеть на «чрево Парижа», но, конечно, каждый из нас придерживался совершенно новой оригинальной поговорки: «вечер утра мудренее». Вечером можно было строить какие угодно мудрые, увлекательные планы, а утром — владычествовал один тупой, бессмысленный стимул: спать!

Крысаков собрался один. Жил он в другом пансионе с женой, приехавшей из Ниццы; с утра обыкновенно заходил к нам и не расставался до вечера.

В шесть часов утра хозяйка пансиона видела жильца, который на цыпочках, стараясь не шуметь, пробирался к выходу с вещами (ящик для красок и этюдник); в девять часов утра та же хозяйка заметила жену жильца, выходящую из своей комнаты с картонкой в руках.

Хозяйка преградила ей путь и сказала:

— Прежде чем тайком съезжать, милые мои, — надо бы уплатить денежки.

— С чего вы взяли, что мы съезжаем? — удивилась жена Крысакова. — Я еду к модистке, а муж поехал на этюды, на рынок.

— На этюды? Все вы, русские, мошенники. И ваш муж мошенник.

— Не больше, чем ваш муж, — вежливо ответила жена нашего друга.

Затем произошло вот что: хозяйка раскричалась, толкнула квартирантку в грудь, отобрала ключ от комнаты, несмотря на уверения, что деньги лежат в комнате и могут быть заплачены сейчас, а потом квартирантка была изгнана из коридора и поселилась она в помещении гораздо меньшем, чем раньше, — именно на уличной тумбочке у парадных дверей, где она, плача, просидела до двух часов дня.

Она не знала, где найти мужа, который в это время, ничего не подозревая, весело завтракал с нами на полученные из Лионского кредита денежки.

Позавтракав, он вспомнил о семейном очаге, поехал домой и наткнулся на плачущую жену на

тумбочке.

Наскоро расспросив ее, вошел побледневший Крысаков в зал пансиона, где за общим столом сидело около двадцати человек аборигенов.

Мирно завтракали ветчиной и какой-то зеленью.

— Где хозяин? — спросил Крысаков.

— Я.

— Почему ваша жена безо всякого повода позволила себе толкнуть в грудь мою жену?

— О, — возразил хозяин, пренебрежительно махнув рукой. — Вы русские?

— Да.

— Так ведь русских всегда бьют. Русские привыкли, чтобы их били.

Привычному человеку, конечно, не особенно больно, когда его бьют. Но непривычный француз, получив удар кулаком в живот, заревел, как бык, и обрушился на маленький столик с цветочным горшком.

Несколько французов вскочили и бросились на славного, веселого, кроткого Крысакова.

Крысаков повел могучими плечами, ударил ногой по громадному столу, и все слилось в одну ужасающую симфонию звона разбитой посуды, стона раненых и яростного крика взбешенного Крысакова.

Вот подите ж: глупые разные «Земщины» и «Колоколы» с истинно дурацким постоянством из номера в номер уверяют десятку своих читателей, что сатириконцы — это жида (?!) без всякого национального чувства и достоинства.

А Крысаков безрассудно, без всякого колебания, полез один на двадцать человек именно за одну нотку в голосе хозяина, которая показалась ему безмерно горькой и обидной.

И вот когда заживевший в свободах француз поднял, по примеру всероссийского городского, руку на русского — в голове должно помутиться и рассудок должен отойти в сторону...

— Мерзавцы, — гремел голос нашего товарища. — Русских бьют? Не так ли вот? Или, может быть, этак?

Двое пытались уползти от него в дверь, один выскочил в раскрытое окно; какой-то глупец схватил палку, взбежал по винтовой лестнице в углу комнаты и попытался поразить оттуда всепокрушающего Крысакова; но тот схватил палку, стащил ее вместе с обладателем с лестницы и, задав ему солидную трепку, бросил палку под ноги двум последним удиравшим противникам.

Поломанные стулья, разбитая посуда, хрустящим ковром покрывавшая пол, и посередине Крысаков с мужественно поднятыми руками и ногой на животе лежащего без чувств хозяина...

Момент — и он забился в шести дюжих руках... Три полисмена схватили его, приглашенные расторопной хозяйкой пансиона.

— Полиция? — сказал Крысаков. — Сдаюсь. Это уже закон!

Но когда его привели в участок и комиссар предложил в резкой форме снять шляпу, Крысаков с любопытством спросил:

— А почему вы в шляпе?

Полисмен сзади ударом ладони сбил с Крысакова шляпу, но Крысаков повернулся и в один момент пошвырял с полисменов кепи (по своей теории — «иногда и русские бьют»).

Нужно ли говорить еще что-нибудь?

Личное задержание, штраф, убытки за поломанную посуду и поврежденных французов — одним словом, мы уехали вдвоем с Сандерсом, оставив Крысакову для подкрепления Мифасова.

Потом они передавали нам, что русский консул, к которому Крысаков обратился за заступничеством, сказал:

— Знаете что? Не стоит поднимать истории... Заплатите им штраф и убытки. Правда, они первые оскорбили вашу жену... Но если бы недалеко были наши броненосцы, я бы говорил с ними. А так, что я могу сказать?! Что мы можем сказать?

Жалкое, забитое существо этот консул.

Нам говорили опытные люди, что если русский человек хочет найти серьезное заступничество — он должен обратиться к английскому консулу.

И вот мы едем в Россию.

В Вержболове поздоровались с жандармом, а Сандерс, изнемогая, остановил носильщика и сказал:

— Я хочу услышать от тебя хоть одно русское слово. Истосковался. Скажи мне его, это слово, вот тебе за это целковый.

— Мерси, — ответил расторопный носильщик.

Пахло щами.

*КОНЕЦ*

# Шутка Мецената

## Юмористический роман

### Часть I

### Куколка

### Глава I

### Его Величество скучает

— Должен вам сказать, что вы все — смертельно мне надоели.

— Меценат! Полечите печень.

— Совет не глупый. Только знаешь, Мотылек, какое лучшее лекарство от печени?

— Догадываюсь: всех нас разогнать.

— Вот видишь, почему я так глупо привязан к вам: вы понимаете меня с полуслова. Другим бы нужно было разжевывать, а вы хватаете все на лету.

— Ну, что ж... разгоните нас. А через два-три дня приползете к нам, как угрюмый крокодил с перебитыми лапами, начнете хныкать — и снова все пойдет по-старому.

— Ты, Мотылек, циничен, но не глуп.

— О, на вашем общем фоне не трудно выделиться.

— Цинизмом?

— Умом.

— Меня интересует один вопрос: любите вы меня или нет?

— Попробуйте разориться — увидите!

— Это опасный опыт: разориться не штука, а потом, если увижу, что вы все свиньи, любящие только из-за денег, — опять-то разбогатеть будет уже трудно!

— Я вас люблю, Меценат.

— Спасибо, Кузя. Ты так ленив, что эти четыре слова, выдвленные безо всякого принуждения, я ценю на вес золота.

В большой беспорядочной, странно обставленной комнате, со стенами, увешанными коврами, оружием и картинами, — беседовали трое.

Хозяин, по прозванию Меценат, — огромный, грузный человек с копной полуседых волос в голове, с черными, ярко блестящими из-под густых бровей глазами, с чувственными пухлыми красными губами — полулежал в позе отдыхающего льва на широкой оттоманке, обложенный массой подушек.



У его ног на ковре, опершись рукой о края оттоманки, сидел Мотылек — молодой человек с лицом, покрытым прихотливой сетью морщин и складок, так что лицо его во время разговора двигалось и колыхалось, как вода, подернутая рябью. Одет он был с вычурной элегантностью, резко отличаясь этим от неряшливого Мецената, щеголявшего ботинками с растянутыми резинками по бокам и бархатным черным пиджаком, обильно посыпанным сигарным пеплом.

Третий — тот, кого называли Кузей, — бесцветный молодец с жиденькими усишками и вылинявшими голубыми глазами — сидел боком в кресле, перекинув ноги через его ручку, и ел апельсин, не очищая его, а просто откусывая зубами кожуру и выплевывая на ковер.

— Хотите, сыграем в шахматы? — нерешительно предложил Кузя.

— С тобой? Да ведь ты, Кузя, в пять минут меня распластает, как раздавленную лягушку. Что за интерес?!

— Фу, какой вы сегодня тяжелый! Ну, Мотылек прочтет вам свои стихи. Он, кажется, захватил с собой свежий номер «Вершин».

— Неужели Мотылек способен читать мне свои стихи? Что я ему сделал плохого?

— Меценат! С вами сегодня разговаривать — будто жевать промокательную бумагу.

В комнату вошла толстая старуха с сухо поджатыми губами, остановилась среди комнаты, обвела ироническим взглядом компанию и, пряча руки под фартуком, усмехнулась:

— Вместо, чтоб дело какое делать — с утра языки чешете. И что это за компания такая — не понимаю!

— А-а, — радостно закричал Мотылек, — Кальвия Криспинилла! *Magistra libidinium Neronis!*

— А чтоб у тебя язык присох, бесстыдник! Эткими словами старуху обзываешь! Боря! Я тебя на руках нянчила, а ты им позволяешь такое! Нешто можно?

— Мотылек, не приставай к ней. И что у нее общего, скажи, пожалуйста, с Кальвией Криспиниллой?

— Ну, как же. Не краснейте, Меценат, но я пронюхал, что она ведет регистрацию всех ваших сердечных увлечений. *Magistra libidinium Neronis!*

— Гм... А каким способом ты будешь с лестницы спускаться, если я переведу ей по-русски эту латынь?..

— Тссс! Я сам переведу. Досточтимая Анна Матвеевна! «*Magistra libidinium Neronis*» — по-нашему, «женщина, украшенная добродетелями». А чем сегодня покормите нас, звезда незакатная?

— Неужто уже есть захотел?

— Дайте ему маринованного щенка по-китайски, — посоветовал Кузя. — Как ваше здоровье, Анна Матвеевна?

— А! И ты здесь. И уж с утра апельсин жрешь. Проворный. А зачем шкурки на пол бросаешь?

— Что вы, Анна Матвеевна! Я, собственно, бросал их не на пол, а наоборот, в потолок... но земное притяжение... сами понимаете! Деваться некуда.

— Эко, язык у человека без костей. Боря, чего заказать на завтрак?

— Анна Матвеевна! — простонал Меценат, зарывая кудлатую голову в подушки. — Неужели опять яйца всмятку, котлеты, цыплята? Надоело! Тоска. Мрак. Знаете что? Дайте нам свежей икорки, семги, коньяку да сварите нам уху, что ли... И также — знаете что? Тащите все это сюда. Мы расстелим на ковре скатерть и устроим этакий пикничок.

— В гостиной-то? На ковре? Безобразие какое!

— Анна Матвеевна! — сказал Мотылек, поднимаясь с ковра и приставляя палец к носу. — Мы призваны в мир разрушать традиции и создавать новые пути.

— Ты не смей старухе такие слова говорить. То-то ты весь в морщины пошел. Взять бы утюг хороший да разгладить.

— Боже вас сохрани, — лениво сказал Кузя, вытирая апельсиновый сок на пальцах подкладкой пиджака, — его морщины нельзя разглаживать.

— Почему? — с любопытством осведомился Меценат, предвидя новую игру вялого Кузиноного ума.

— А как же! Знаете, кто такой Мотылек? Это «Человек-мухоловка». В летний зной — незаменимо! Гений по ловле мух! Сидит он, расправив морщины, и ждет. Мухи и рассядутся у него на лице. Вдруг — трах! Сожмет сразу лицо — мух двадцать в складках и застрянут. Сидит потом и извлекает их, полураздавленных, из морщин, бросая в пепельницу.

— Тьфу! — негодуяще плюнула старуха, скрываясь за дверью.

Громкий смех заглушил стук сердито захлопнутой двери.

## Глава II

### Первое развлечение

Не успел смех угаснуть, как послышался топот быстрых ног и, крутясь, точно степной вихрь, влетел высокий, атлетического вида человек, широкая грудь которого и чудовищные мускулы плеч еле-еле покрывались поношенной узкой студенческой тужуркой.

Он проплясал перед компанией какой-то замысловатый танец и остановился в картинной позе, бурно дыша.

— Вот и Телохранителя черт принес, — скорбно заметил Кузя. — Прощай теперь две трети завтрака.

— Удивительно, — промямлил Мотылек, — у этого Новаковича физическая организация и моральные эмоции, как у черкасского быка, но насчет свежей икры и мартелевского коньяку — деликатнейшее чутье испанской ищейки.

— Так-то вы меня принимаете, лизоблюды?! — загремел Новакович, схватывая своими страшными руками тщедушного Кузю и усаживая его на высокий книжный шкаф. — А я все стараюсь, ночей для вас не сплю!..

— Телохранитель, — жалобно попросил Кузя. — Сними меня, я больше не буду.

— Сиди!

— Телохранитель! Я знаю, твоя доброта превосходит твою замечательную силу. Сними меня. У тебя тело греческого бога...

Новакович самодовольно усмехнулся и, как перышко, снял Кузю со шкафа.

— Тело греческого бога, — добавил Кузя, прячась за кресло, — а мозги, как греческая губка.

Раздался писк мыши в могучих кошачьих лапах — снова Кузя, как птичка, вспорхнул на шкаф.

— Меценат! — прогремел Новакович. — Вы скучаете?

— Очень. Ты ж видишь. У этих двух слизняков нет никакой фантазии.

— Меценат! Можете заплатить за хорошее развлечение 25 рублей?

— Потом.

— Нет, эти денежки — мои кровные. Предварительные расходы. Надо вам сказать, ребята, что нынче утром выхожу я из дому, сажусь в экипаж...

— В трамвай!.. — как эхо отозвался с высоты Кузя.

— Ну, в трамвай, это не важно. Подкатываю к ресторану...

— ...называемому харчевней, — поправил Кузя.

— Что? Ну, такое, знаете... Кафе одно тут. Вроде ресторана. Сажусь, заказываю бутылочку шипучего...

— ...квасу, — безжалостно закончил Кузя.

— Что-о? — грозно заревел Новакович.

— Сними меня — тогда ври, сколько хочешь. Слова не скажу.

— Сиди, бледнолицая собака. Ну, ребята, долго ли, коротко ли — не важно, но познакомился я в этом

кафе с одним молодым человеком... Ароматнейший фрукт! Бриллиантовая капля росы на весеннем листочке! Девственная почва. Представьте — стихи пишет!! А? Каков подлец?! Будто миру мало одного Мотылька, пятнающего своими стихирами наш и без того грязный земной шарик!

— Телохранитель! — прошипел, как разъяренный индюк, Мотылек. — Не смей ругать мою землю. В Писании о тебе сказано: из земли ты взят, в землю и вернешься. И чем скорее, тем лучше.

— Ага! Не любишь беспристрастной критики?! Кстати, вы знаете, какие стихи мастачит мой новый знакомый? Я запомнил только четыре строчки:

В степи — избушка.  
Кругом — трава,  
В избе — старушка  
Скрипит едва!..

— Каково? Запомните, чтоб цитировать. Я его с собой привел.

— Кого?!

— Этого самого. Внизу ждет. Я ему сказал, что это очень аристократический дом, где нужно долго докладывать.

В скучающих глазах Мецената загорелось, как спичка на ветре, ленивое любопытство.

— Веди его сюда, Новакович. Если он действительно забавный — пусть кормится. Нет — сплавим.

— Двадцать пять рублей, — хищно сказал Новакович, — я на него потратил. Ей-богу, имея вас в виду! Верните, Меценат.

— Возьми там. В ящике стола. Вы, дьяволы, для меня хоть бы раз что-нибудь бесплатно сделали.

— Ах, милый Меценат. Жить-то ведь надо. Хорошо вам, когда сделал в чековой книжке закорючку — и сто обедов с шампанским в брюхе. А мы народ трудящийся.

Когда он прятал вынутые из ящика деньги, Мотылек сказал, поглаживая жилетный карман:

— Телохранитель! Ты теперь обязан из этих денег внести четыре рубля за мои часы в ломбарде. Иначе я испорчу твоего протеже. Все ему выболтаю — как ты его Меценату продаешь.

Меценат удивился:

— Опять деньги на часы? Да ведь ты у меня вчера взял на выкуп часов?!

— Не донес! Одной бедной старушке дал.

— Не той ли, что скрипит в избушке, а кругом трава?

— Нет, моя старушка городская.

— Как теперь быстро стареют женщины, — печально сказал Кузя сверху. — В двадцать два года — уже старушка.

Мотылек покраснел:

— Молчи там, сорока на крыше!

Вышедший во время этого разговора Новакович вернулся, таща за руку так разрекламированную им «бриллиантовую каплю росы».

## Глава III

### Куколка

Это был застенчивый юноша, белокурый, голубоглазый, как херувим, с пухлыми розовыми губами и нежными шелковистыми усиками, чуть-чуть видневшимися над верхней губой. Одет он был скромно, но прилично, в синий, строгого покроя костюм, в лаковые ботинки с серыми гетрами и с серой перчаткой на левой руке.

— Вот он — тот, о котором я говорил. Замечательный поэт! Наша будущая гордость! Байрон в юности. А это вот тот аристократический дом, о котором я вам рассказывал. Немного чопорно, но ребята все аховые. Тот, что на диване, — хозяин дома — Меценат, а этот низший организм у его ног — Мотылек. Он — секретарь журнала «Вершины» и может быть полезен вам своими связями.

— Очень приятно, — робко пролепетал юноша, тряся пухлую Меценатову руку с длинными холеными ногами. — Я очень, очень рад. Новакович много о вас говорил хорошего. Моя фамилия — Шелковников. Имя мое — Валентин. Отчество — Николаевич...

— Бабушку мою звали Аглая, — в тон ему сказал Кузя, свешивая голову с вершины шкафа. — Мопсика ее звали — Филька. Меня зовут Кузя. Познакомьтесь и со мной тоже и, если можете, — снимите меня со шкафа.

Шелковников с изумлением поглядел вверх и только теперь заметил Кузю, беспомощно болтавшего ногами.

— Простите, — смущенно воскликнул он. — Я вас и не заметил. Очень приятно. Моя фамилия Шелковников. Мое имя...

— И так далее, — сказал Кузя. — Снимете меня или нет?

— Не трогайте его, — схватил Шелковникова за руку Новакониш. — Это я наказал его за грубость нрава. Пусть сидит.

Вошла Анна Матвеевна с приборами на подносе, с двумя бутылками коньяку и скатертью под мышкой.

— Этого еще откуда достали, — ворчливо сказала она, оглядывая новоприбывшего. — Ишь ты, какой чистенький да ладный. И как это вас мамаша сюда отпустила?

Заметив, что гость окончательно смутился, Меценат попытался ободрить его:

— Не обращайтесь на нее внимания — это моя старая Анна Матвеевна. Она вечно ворчит, но предобрая.

Юноша вежливо поклонился, чуть-чуть прищелкнув каблуком, и почел нужным представиться старухе:

— Очень рад. Моя фамилия Шелковников, мое имя...

— Уху сварили, Кальвия Криспинилловна? — осведомился Мотылек, оттирая плечом нового гостя. — Знаешь, Телохранитель, у нас сегодня пикник в этой комнате. На ковре будем уху есть. Ловко?

— Взять бы хорошую палку... — добродушно проворчала старуха, — да и... А вы чего же, сударь, стоите? Присели бы. А лучше всего, скажу я вам, не путайтесь вы с ними. Они — враги человеческие! А на

вас посмотреть — так одно удовольствие. Словно куколка какая.

— Ур-ра! — заревел Новакович. — Устами этой пышной матроны глаголет сама истина. Гениально сказано: «Куколка»! Мы сейчас окрестим вас этим именем. Да здравствует Куколка! Меня зовите Телохранителем, ибо я в наших похождениях охраняю патриция Мецената от физической опасности, а то птичье чучело на шкафу называется Кузя.

— Снимите меня, — попросил Кузя, обрадованный, что вспомнили и о нем.

— Сиди! Там наверху воздух чище. Дыши горным воздухом!

Новокрещеный Куколка, оглушенный всеми этими спорами и криками, не знал, в какую сторону поворачиваться, кого слушать...

Меценат ему показался самым уравновешенным, самым спокойным. Поэтому он деликатно протиснулся бочком сквозь заполнивших всю комнату Мотылька и Телохранителя, придвинул к Меценату стул и сел, осведомившись с наружно независимым видом:

— Как поживаете?

— Благодарю вас, — вежливо отвечал Меценат, пряча в седеющие усы улыбку полных и красных губ. — Скучаю немножко.

— А вы бы искусством занялись. Поэзией, что ли?

— Хорошо, займусь, — согласился покладистый Меценат. — Завтра же.

— Я еще молодой, но очень люблю поэзию. Это как музыка... Правда?

— Совершеннейшая правда.

— Скажите, это ваша фамилия такая — Меценат?

— Фамилия, фамилия, — подскокил Мотылек, протискиваясь между разговаривающими и фамильярно присаживаясь на оттоманку. — Наш хозяин сам родом из римлян. Происходит из знаменитого угасшего рода. В нем умер Нерон, и слава богу, что умер. А то бы, согласитесь сами, неприятно было попасть в его сад в виде смоляного факела. А теперь это — какое прекрасное угасание! А? И от всей былой роскоши осталась только Кальвия Криспинилла — *Magistra libidinium Neronis*.

— Это... латынь? — простодушно спросил Куколка.

— Испанский, но не важно. Скажите, вы не родственник одного очень талантливого поэта — Шелковникова?

— Нет... Не знаю... А что он писал?

— Ну, как же! У него чудные стихи. Одни мы даже заучили наизусть. Как это?..

В степи — избушка,  
Кругом — трава,  
В избе — старушка  
Скрипит едва.

Чудесно! Кованый стих.

— Позвольте, — расцвел как маковый цвет Куколка. — Да ведь это же мои стихи!.. Откуда вы их знаете? Ведь я их даже не печатал!

— Помилуйте! По всему Петербургу в рукописных списках ходят. Неужели это ваши?! Да что вы говорите? Позвольте мне пожать вашу руку!.. Это чудно! Какая простота и какая чисто пушкинская

сжатость!.. Кузя, тебе нравится?

— Я в форменном восторге, — сказал сверху Кузя, позевывая. — Кисть большого мастера. Ни одного лишнего слова: «В степи — избушка!» Всего три слова, а передо мной рисуется степь, поросшая ковылем и ароматными травами, далекая, бескрайняя... И маленькой точкой на этой беспредельной равнине маячит покосившаяся серая избушка с нахлобученной на самые двери крышей...

И Кузя замолчал, погрузившись в задумчивость. На самом деле он был так ленив, что ему не хотелось лишний раз повернуть языком. Впрочем, немного потрудился: поднял голову и подмигнул, предоставляя дальнейшее подвижному Мотыльку.

Мотылек сложил свое гуттаперчевое лицо в гармонику и пылко продолжал:

— А это: «Кругом — трава!» Трава, и больше ничего. Стоп. Точка. Но я чувствую аромат этой травы, жужжание тысячи насекомых. Посмотрим дальше... «В избе — старушка». И верно! А где же ей быть? Не скакать же по траве, как козленку. Не такие ее годы. И действительно поэт тут же веско подкрепляет это соображение: «Скрипит едва». Кругом пустыня, одинокая старость — какой это, в сущности, ужас! Что ей остается? Скрипеть!

Меценат опустил голову и закрыл рукой лицо с целью скрыть предательский смех, а Куколка ясным взором восторженно оглядывал всю компанию и поддакивал:

— Да, да!.. Я вижу, вы поняли мой замысел.

— Мотылек! — сказал расставшийся окончательно со своей тоской Меценат. — Ты должен устроить эти стихи в какой-нибудь журнал.

— Обязательно устрою. За такие стихи всякая редакция зубами схватится.

Новакович отвел Куколку в сторону и спросил шепотом:

— Ну, как вам нравится общество, в которое я вас ввел?

— Чудесное общество. Они все такие тонкие, понимающие...

— Еще не то будет. Вы коньяк пьете?

— Да... собственно, не пью...

— Ага! Ну, значит, выпьете. Анна Матвеевна! Надеюсь, икорка у вас на льду стояла?

— Для тебя еще буду на лед ставить!..

— Анна Матвеевна! Не забывайте, что я знал вашего папу.

— Врешь ты все, — проворчала скептическая старуха. — Он уж лет тридцать будет как помер.

— Ну, что ж. А мне уже под пятьдесят. Вы не смотрите, что я такой моложавый. Это я в спирту сохранялся. Боже, как быстро жизнь мчится! Как сейчас помню вашего отца... Веселый был старик! Мы с ним часто рыбу удили...

— Да, неужто ж, верно, знал отца?! — зацепилась на удочку старуха. — Нешто ты тоже зарайский?

— Я-то? Всю жизнь. Еще, помню, у вашего папы коровка была... серенькая такая...

— Бурая.

— Во-во. Серовато-бурая. Хорошее молоко давала. Старик часто меня угощал. «Сережа, говорит, ты мне первый друг. Жалко, говорит, что моя дочка Анюта уже замуж вышла. А то был бы ты мне зятем».

— Скажете тоже! — застыдилась Анна Матвеевна, расстилая на ковре скатерть.

У Новаковича была странная натура: он мог так нахально рассказывать о самых невероятных вещах, способен был так просто и самоуверенно лгать, что одним своим тоном мог поколебать недоверие самого скептического слушателя.

Почему-то из всей компании нянька Мецената отдавала предпочтение именно Новаковичу и даже изредка высыпала ему в карман целую сахарницу колотого сахара, который он ел, уверяя всех, что сахар придает крепость костям.

Прятелям он рассказывал:

— Отчего я такой сильный? Исключительно от сахару. Да еще сырую морковь ем, как заяц. Поэтому медный пятак мне согнуть в трубку ничего не стоит.

— Ну, вот тебе пятак — согни его.

— Зачем же его портить, — хладнокровно говорил Новакович, опуская пятак в карман, — он мне на трамвай пригодится.

— Экий ты, братец. Ну, вот тебе еще пятак — согни.

— Вот спасибо. На первый пятак я проеду только туда, а на второй смогу вернуться обратно.

И второй пятак находил упокоение вместе с первым в широком кармане студенческих брюк Новаковича.

Куколка сидел притихший, широко раскрытыми глазами глядя на приготовления к завтраку, которые никак не вязались с «чопорным аристократическим домом», как характеризовал квартиру Мецената Новакович.

— Почему эта старуха накрывает завтрак на полу? — робко шепнул он Новаковичу.

— О, это странная история, — с готовностью объяснил Новакович. — У нее была семья из восьмидесяти двух человек, и все они один за другим умирали, и всех их она видела мертвыми на столе! И поэтому с тех пор стол, по ее понятиям, — святое место, которое не должно оскверняться икрой и коньяком!..

— Как это удивительно! — воскликнул Куколка. — По-моему, вот сюжет для жуткой баллады в стиле Жуковского.

— И очень просто! Вы бы записали, чтоб не забыть.

— Ей-богу, запишу.

Когда все, кроме забытого Кузи, улеглись на ковер спинами вверх и принялись за коньяк с икрой, Кузя взвыл:

— Телохранитель! Сними или я прыгну вниз и сломаю ногу.

— Какие у меня мозги?

— Замечательные! Галилей, Коперник, Ньютон и Эдисон — причудливо соединились в твоей черепной коробке.

— Не люблю грубой лести, сиди.

Видя, что яства и пития исчезают с поражающей быстротой, Кузя решил помочь себе сам: лег на верхушку шкафа и, открыв его дверцы, принялся сбрасывать огромные томы «Словаря» с верхних полок — на пол.

Меценат равнодушно поглядывал на такое варварское обращение с его библиотекой, а Новакович и



Мотылек тихо хихикали, ерзая животами по ковру.

Когда груда сброшенных книг оказалась достаточной — Кузя повис на шкафу и сполз вниз, приветствуемый кощунственными словами Мотылька:

— Сошествие Святого Духа на апостолов.

Икру ели столовыми ложками из объемистой миски, коньяк пили из чашек, потому что наливание в рюмки отнимало, по словам Новаковича, массу времени. Меценат был щедр, как король, и радушно потчевал Куколку, чуть ли не вмазывая ему в рот полные ложки икры.

Подвыпивший Куколка болтал без умолку:

— Я раньше не верил в себя, а теперь, с сегодняшнего дня верю! Я напишу целую книгу и посвящу ее господину Меценату!

— Пиши, старик, пиши, — поддакивал Мотылек. — Мы тебя не покинем! Здорово это у тебя вышло о старушке:

В лесу старушка  
Сидит в кадучке,  
Скрипит избушка...

— Позвольте... Вы перепутали...

— Не важно! Главное — музыка стиха.

— А что, Куколка? — спросил Новакович. — Что, если переложить эти стихи на музыку? Я бы и переложил.

— Да разве вы композитор?

— Я-то? Вы оперу «Майская ночь» слышали?

— Но ведь это вещь Римского-Корсакова?!

— Вот я и говорю — знаете «Майскую ночь» Римского-Корсакова? Так я могу написать в десять раз лучше!

— А вы в шахматы играете? — осведомился Кузя.

— Очень плохо.

— То-то и оно. Я вам могу дать вперед коня и пешку.

— Неужели вы так хорошо играете?

— Замечательно! — скромно заявил Кузя.

— Он может играть с вами партию, не только не глядя на доску, но даже не спрашивая, какой ход вы сделали.

— Да как же это так? — изумился Куколка.

— Догадывается. О, это прехитрая бестия.

Мотылек нашел нужным сказать и свое слово:

— Читали мои стихи?

— А вы тоже... поэт?

— Гм... конечно, не такой, как вы, однако половина моих стихов попала во все гимназические

хрестоматии.

Один Меценат молчал, но видно было, что он искренно наслаждался беседой, изредка расширяя ноздри, будто вдыхая аромат невероятного простодушия, наивности и доверчивости Куколки.

После ухи Меценат поднял чашку за здоровье своего юного гостя и попросил Мотылька:

— Сыграй нам Шопена.

Желание Мецената всегда для всех было законом. Мотылек вскочил, сел за рояль и запел очень приятным голосом:

В степи стоит себе избушка,  
Кругом трава, трава, трава...  
Живет себе в избе старушка.  
И хоть скрипит себе едва,  
Но, в руки взяв вина стакан,  
Танцует все канкан, канкан...

— У меня немножко не так... — попытался нерешительно протестовать Куколка.

— Я знаю, но по музыке нельзя иначе.

Развеселившийся Меценат велел подать шампанского, и все с бокалами в руках спели застольную песню все о той же безропотной старушке.

Ушел Куколка, очарованный обществом, крепко потрясая всем руки и обещая, что он «никогда, никогда не забудет этого чудного дня и что он, если позволят, будет приходить часто-часто»...

Когда Амфитрион и его веселые клеветы остались одни, Новакович стал посреди комнаты, засунул руки в карманы и вызывающе сказал:

— Ну??!!

— Этот человек действительно стоит 25 рублей, — тоном специалиста определил Меценат. — Его нужно прикормить здесь.

— Хотите, я для смеху напечатаю его стихи в журнале? — предложил Мотылек.

— Надо сделать больше, — подхватил Кузя. — Мы должны сделать из него знаменитость. Я завтра дам в свою газету о нем заметку.

— Одну? Нужно дать ряд заметок. А потом мы устроим вечер его произведений!

Таким образом — однажды в сумерки была организована эта противоестественная издевательская кампания, направленная против святой простоты доверчивого, наивного, глуповатого юноши...

## Глава IV

### Вообще о Меценате

Странный господин этот Меценат. По существу, неплохой человек, он с ранней юности был заедаем скукой, и эта болезнь вела его жизнь по самым причудливым, прихотливым путям.

Богатство избавляло его от прозы добывания средств к существованию, и поэтому неистощимый запас дремавшей в нем энергии и пылкой фантазии он направлял в самые неожиданные стороны.

Много путешествовал, но без толку. Приехав в любую страну, он не знакомился с ней, как все другие путешественники, не осматривал музеев и достопримечательностей, а, осев где-нибудь в трущобном кабачке, заводил знакомства с рыбаками, с матросами, дружился с этим полуоборванным человеком и, угостив шумную компанию, потом с наслаждением созерцал их бурные споры, ссоры и потасовки.

Горячо любил всякую живую жизнь, но как-то так случилось, что искал он ее не там, где нужно.

Писал очень недурные рассказы, но не печатал их. Прекрасно импровизировал на рояле, но тут же забывал свои творения.

Временами целые дни валялся на диване с «Историей французской революции» или «Похождениями Рокамболя» в вялых руках, а потом вдруг на него нападала дикая энергия и он носился с компанией своих приспешников из подозрительных трактиров в первоклассные рестораны и обратно, шумя, втягивая в свою орбиту массу постороннего народа, инсценируя ссоры, столкновения и разрешая их гомерическим пьянством.

И потом после двух-трех таких бурных дней снова тихо опускался на дно, как безгласный труп утопленника...

Он был женат, и это, пожалуй, можно назвать самой большой нелепостью его жизни... Зачем он женился?

Ответ можно было найти один: Меценат пылко, истерически любил всякую красоту — в красках ли, в звуке, в шелесте спелой ржи или в текучей изменчивости подвижного лица прекрасной женщины.

Поэтому встреча с Верой Антоновной и решила его бестолковую судьбу.

Она была прекрасна — высокая пышная брюнетка с мраморным телом и глазами, как две звезды освещавшими матово-бледное лицо. Такой соблазнительной ножки и трепетных гибких рук Меценат не встречал за всю свою жизнь, и поэтому он решил вопрос просто:

— Или эта женщина будет моей, или я умру.

Из того, что он не умер, ясно для читателя решение этой дилеммы в его пользу.

Эта роскошная красавица была невероятно ленива, ум ее и тело были всегда в дремлющем состоянии; поэтому, когда Меценат впервые ее поцеловал, она, полуразбуженная, недоумевающе осведомилась:

— Чего это вы там возитесь около моего лица?

Такой вопрос еще больше привел его в восхищение:

— О, прекрасная мраморная статуя! Это я вас поцеловал.

— Здравствуйте! Была охота. Неужели это вам доставляет удовольствие?

— Слушайте, — пылко сказал Меценат. — Мне бы очень хотелось, чтобы вы вышли за меня замуж! Я вижу, вы любите спокойную малоподвижную жизнь — я дам вам ее! Я настолько богат, что могу окружить вас чисто восточной роскошью, полной неги, лени и наслаждений!

— А? — переспросила она музыкальным, но сонным голосом. — Простите, я не расслышала.

И добавила с очаровательной простотой:

— Я, кажется, задремала... Повторите, что вы сказали.

Меценат повторил, разукрасив свое предложение пышными цветами своей дикой исступленной фантазии.

— Жениться на мне хотите, что ли? — кратко сформулировала она поток его красноречия.

— Да, да, божественная статуя Киприды!..

— А вы не будете меня... тормозить?..

— О, нет. После медового месяца — полная свобода.

— Слушайте... только, по-моему, женитьба — это такая возня... Портнихи, какие-то документы, обручение. Вы человек очень приятный, но... нельзя ли без этого?

— Без... чего?

— Без того, чтобы меня тормозили.

— Вот что... У вас завтра найдется полчаса свободного времени?

— Увы, я уж чувствую, что это будут «несвободные полчаса времени». Чем вы хотите меня занять?

— Я все устрою раньше. Ваше дело только — заехать в церковь обвенчаться.

— Неужели это можно так просто? — поглядела она на него, приятно удивленная.

— Да, да — только полчаса. А потом мы с вами поедem путешествовать.

— Только поедem куда-нибудь подальше. Хорошо? В вагоне экспресса так удобно. А вылезешь — бррр... Носильщики, суета, толпа на вокзале... В отеле нужно устраиваться... Что вы так на меня смотрите? Послушайте! Неужели я вам нравлюсь *такая*?

— Больше, чем когда-либо! Да ведь это клад — спящая красавица! По крайней мере, лень помешает вам говорить и делать глупости...

— А? Что вы говорите?

Он пылко целовал ее, а она, сложив классически изящные руки на прекрасных коленях, погрузилась в сладкую дремоту...

После свадьбы Меценат сделал все по желанию Веры Антоновны: полтора месяца они носились в экспрессах по всей Европе — он пылкий влюбленный, она в состоянии сладкой неподвижности и полудремоты... Никогда еще в мире не было большего контраста между бешено мчавшимся экспрессом и этим роскошным неподвижным телом, безмятежно покоящимся в его железных недрах.

Через полтора месяца эта удивительная пара вернулась, и Меценат любовно устроил жену на отдельной квартире, потому что, как объяснила она, «так меньше беспокойства».

Жили они дружно, потому что Меценат, насытившись первым пылом страсти, не докучал ей своими посещениями, снова погрузившись в мир Мотыльков, Телохраниелей и пикников с ухой на дорогом персидском ковре в своей дикой гостиной... Перебесился, благосклонно объясняла нянька,

преклонявшаяся перед Меценатом.

## Глава V

### О клеветках Мецената

Эту странную коллекцию «развратных молодых людей, впоследствии разбойников» — как называл своих клеветов Меценат, пользуясь ремаркой Шиллера, — он составлял постепенно...

Первым к нему пристал Кузя.

Однажды Меценат сидел в задней комнате темного кафе, играя с незнакомым унылым старцем в шахматы.

Кузя, ленивый репортер одной плохо читаемой газетки, сидел тут же и, хлопая отяжелевшими веками, следил за игрой...

После одного из ходов унылого старика Кузя посоветовал:

— Возьмите у него коня.

— Что вы, милый мой! Да ведь тогда он делает королю и королеве «вилку» и забирает королеву.

— Ах, да!.. — сконфуженно сказал Кузя.

Через два-три хода Кузя снова дал преглупый совет:

— Двиньте этой пешкой, двиньте!

— Да ведь тогда король открывается.

— Ах да!..

— То-то вот «ах да»! — добродушно сказал Меценат, деля старичку мат. — Гнилой вы игрок, я вижу. Хотите, сыграем, я вам дам вперед королеву.

— Не знаю уж, как и быть... — нерешительно пробормотал Кузя. — Уж больно я плохо играю. По рублику разве одну партию.

Сыграли. Кузя выиграл с большим трудом и усилиями. Сыграли вторую партию. Эту Кузя выиграл легче.

— Нет, королеву вперед мне трудно, — признался Меценат. — Хотите коня?

— Давайте коня, — после некоторого колебания согласился Кузя и... выиграл и эту партию.

— Желаете ли на квит без форы? — предложил Меценат, совершенно обескураженный таким странным случаем.

— Желая, — коротко согласился Кузя и... выиграл. На седьмой партии уже Кузя давал Меценату вперед коня — и к концу игры толстый бумажник Мецената значительно похудел.

— А вы ловкий парень, — рассмеялся Меценат, кончая игру.

— Да, я ловкий, — согласился Кузя. — А вам наука: не играйте так азартно с незнакомыми.

— Ну, теперь, я надеюсь, мы не будем незнакомы, — любезно сказал восхищенный его цинизмом Меценат. — Пойдем, я угощу вас ужином.

— Нет, лучше я угощу. Я совершенно вас обыграл.

— О, у меня дома еще много денег.

И, увидев, как Кузя, не вынимая правой руки из кармана, пытался одной левой зажечь спичку о коробку, лежавшую на столе, воскликнул с неподдельным восторгом:

— Послушайте! Вы почти так же ленивы, как моя жена.

— Шахматный ум, — лаконически пояснил Кузя. — В обычной жизни дремлет.

— Вы шахматами только и живете?

— Нет, я репортер в «Голосе утра». Если вас кто-нибудь ночью ограбит — позвоните ко мне. Я опишу это так, что сам преступник будет плакать, как дитя.

После ужина Меценат затащил Кузю к себе, и до утра за рюмками шартреза оба с приятностью поспорили об Эдгаре По, о лучших способах обнаруживать преступления и о красоте донских казачек.

Оба были энциклопедисты.

Встреча с Новаковичем произошла при более трагических обстоятельствах.

В 3 часа ночи в трактире «Иордань» — месте, наименее всего подходившем по своему характеру к этому кроткому библейскому наименованию, — карманный вор Гриша с пылом объяснял заинтересованному Меценату сложные приемы своего ремесла, демонстрируя способ ощупывания «пассажира», расстегивания пуговиц и извлечения бумажника.

Меценат не брезговал и таким обществом, потому что, как сказано было выше, любил «живую жизнь во всех ее проявлениях», а карманный вор Гриша был яркой личностью и специалистом в своей опасной профессии.

Поэтому Меценат забавлялся новинкой, как дитя, и, когда Гриша, показывая некоторые позиции правой и левой руки, ловко вытащил Меценатовы золотые часы уже не с целью демонстрации, а с корыстолюбивыми намерениями, Меценат тут же, повторяя Гришины пассы, незаметно извлек из Гришина галстука бриллиантовую булавку, после чего оба, хохоча, как дети, вернули друг другу вещи по принадлежности.

— А вы тоже ловкий, — отпустил Гриша галантный комплимент. — Вам бы подучиться, могли бы с нами вместе работать.

Тут же он, окликнутый товарищем, отошел на минуту от польщенного Мецената, а к Меценату приблизился кроткий, елейного вида мужчина с ласковыми глазами и предложил:

— Не хотите ли перекинуться в картишки? Тут, в задней комнате. Пойдем, господин, много выиграть можете, ежели повезет.

«Шулер, — мелькнуло в голове Мецената, — любопытно с ним сразиться...»

— Ну, что ж, пойдем, — благодушно согласился он вслух.

И уже собрался идти, как к столу приблизился огромный плечистый студент в узкой порыжевшей тужурке — мирно уплетавший до этого объемистое блюдо сосисок с пивом за соседним столом, — приблизился и сказал спокойно, но увесисто:

— Нет, вы с ним не пойдете играть в карты.

— Почему? — с любопытством осведомился Меценат.

— Потому что...

— Послушайте, молодой человек... — кротко сказал елейный игрок. — Вы лучше бы не мешались не в свое дело, а?

— А ты, голубчик, лучше отойди, — не менее кротко посоветовал атлетический студент.

У «голубчика» лицо мгновенно изменилось, елейность слетела, как шелуха, и бешеный волк с горящими, как угли, глазами ощерился и защелкал зубами.

— Ну, ну, брось, — спокойно, но серьезно сказал студент. — Отойди. А! Чер-р-рт!

Последующее произошло так быстро, что Меценат не успел бы сосчитать до трех: елейный человек сделал неуловимое движение рукой, и в ней вдруг сверкнул, будто бы схваченный в воздухе, короткий финский нож. Он так и застыл на весу, потому что студент, сделав не менее неуловимое движение, уже держал руку «игрока» с ножом немного повыше локтя.

Студент стоял очень спокойно, а «игрок» вдруг побледнел, и рука его задрожала мелкой дрожью...

— Видишь, чудак... я ж предупреждал.

— Как вы думаете, — спросил студент, глядя на Мецената открытым ясным взглядом, — сломать ему руку или просто выкинуть его?

— Неужели можно сломать? — заинтересовался Меценат, более, впрочем, академически, как любитель спорта.

— О, пустяки. Один резкий поворот наружу и...

Нож со звоном выпал из посиневшей руки «игрока».

— Отпустите, — угрюмо сказал он, корчась от боли. — Я уйду.

— Иди, милый, иди с Богом. Нечего тебе тут делать. Пойди займись чем-нибудь другим.

Когда они остались одни, Меценат спросил:

— Кто это такой?

— О, страшная скотина. Тот первый, с которым вы сидели давеча, очень приличный малый. Обыкновенный вор. В крайнем случае, лишились бы бумажника — и все, а этот... и табаком глаза засыплет, и ножичком ткнет при удобном случае, не задумываясь. А мы еще не знакомы: студент Новакович.

Вернувшийся Гриша, узнав, в чем дело, в полной мере подтвердил слова Новаковича:

— У нас его тоже не любят... Мы на «мокрое дело» никак не пойдём, а ему это — все равно как «Отче наш» прочитать. Чуть что — сейчас за «перо» [\[82\]](#), нехороший человек, наши его избегают... Разрешите пощупать ваши мускулы? — вежливо отнесся он к Новаковичу.

— Сделайте одолжение. Вишь ты, они у меня какие. Это от сахару, да еще моркови ел я много.

Тут же он самым простым убежденным голосом рассказал новым знакомым такую невероятную, неправдоподобную историю, что и Меценат и Гриша до упаду смеялись.

С этого дня Новакович сделался неизменным спутником, а иногда и телохранителем Мецената во всех авантюрах благодушного скучающего богача.

Позднее всех прилетел на Меценатов огонек беззаботный поэт Паша Круглянский, прозванный Мотыльком, потому что первое время, являясь в компанию даже в десять часов утра, он неизменно говорил извиняющимся тоном:

— А я к вам на огонек зашел.

Впервые обнаружил его Меценат у витрины большого книжного магазина.

Мотылек стоял, собирая свое морщинистое лицо в чудовищные складки и снова распуская их, и



вполголоса ругался:

— Ослы! Подлецы! Скоты несуразные. Черти.

— Кто это «ослы»? — ввязался Меценат в его телеграфический монолог.

— Издатели, — доверчиво пояснил Мотылек. — Что они выпускают? Что печатают? Разве это стихи?

— А вы, собственно, какие стихи предпочитаете?

— Свои. Вот послушайте...

И, прислонившись спиной к витрине, Мотылек принялся с пафосом декламировать какую-то элегическую балладу.

— Правда, хорошо?

— Очень. Кстати, хотите привести в порядок мою библиотеку?

— А у вас большая?

— Тысячи три томов.

— Пойдем! — решительно сказал Мотылек, хватая Мецената за руку.

— Да не сейчас, чудак. Это успеется. Сейчас время завтрака.

— Пойдем завтракать! — не менее бурно ухватился за эту мысль, а равно и за руку Мецената Мотылек. — Только вот что...

Он выпустил Меценатову руку, вынул тощее портмоне и принялся задумчиво пересчитывать серебряную мелочь.

— Гм! Хватит ли на двух, а?

— С моими хватит, — успокоил его Меценат. — В общем, у нас с вами тысячи полторы наберется. — И повлек оглушенного Мотылька за собой.

С тех пор так и повелось, что за всех расплачивался Меценат. Нельзя сказать, чтобы клеветы были корыстолюбивы, но все они рассуждали вполне справедливо, что, если бы им вздумалось тянуться в расходах за Меценатом, каждый из них лопнул бы через два дня, а расстаться из-за этих пустяков с Меценатом никому и в голову не приходило — очень уж они привязались к Меценату, более того, полюбили Мецената.

Впрочем, Меценат, субсидируя их наличными, хорошо знал, что часть его денег попадала к их посторонним приятелям, еще более нищим, чем они, и поэтому ничто не нарушало его благодушного равновесия.

— Справедливое распределение между населением благ земных, — говорил он иногда, посмеиваясь.

Несмотря на всякие шуточки и подтрунивания, эта банда очень уважала Мецената, и все по молчаливому уговору обращались к нему на «вы», в то время как Меценат ласково, бесцеремонно всех называл на «ты».

Между собой «клеветы Мецената», как они сами себя величали, жили дружно, только Новакович изводил Кузю, играя с ним, как огромный дог со щенком, да Кузя иногда любил «топить Мотылька», что выражалось в следующем: декламирует Мотылек перед всем обществом свои новые стихи или рассказы. Кончит — и несколько секунд перед аплодисментами царит восхищенное молчание.

— Н-да-с, н-да-с, н-да-с, — скучающе говорит Кузя. — Хороший рассказец, очень славный. Только я его уже читал у другого писателя раньше.

— У кого ты читал?.. — полусмущенно, полусердито допрашивает Мотылек.

— У этого, как его... забыл фамилию. И фабула та же, и даже выражения одинаковые.

— Нет, так нельзя, — стонет возмущенный Мотылек. — Ты обязан указать, где ты читал!!

— Да это не важно. Чего ты волнуешься. Я где-то в немецком журнале читал...

— Да ведь ты не знаешь немецкого языка!

— А ты знаешь?

— Я-то знаю.

— Ну, вот, значит, ты и «воспользовался». А мне переводил один знакомый. Ну, прямо-таки у тебя слово в слово, что и там. Знакомого Семен Семенычем зовут, — заканчивал Кузя, заимствуя этот прием «достоверности» у Новаковича.

Мотылька такая неуловимая туманная клевета расстраивала почти до слез. В самом деле — пойдешь проверить: «Твердо знаю, что читал то же самое в немецком журнале, а в каком — не помню».

Однако в глубине души тот же Кузя признавал большой литературный талант Мотылька, и они часто с Меценатом в интимной беседе горевали, что их столь одаренный приятель не может добиться известности. Вот каковы были люди, организовавшие шутку в «титанических размерах», по словам одного из них, избрав целью этой шутки глуповатого, наивного, как дитя, но самоуверенного в своем простодушии юношу...

## Глава VI

### Меценат и его клеветы продолжают развлекаться

Несколько дней спустя после первого появления Куколки можно было наблюдать в знаменитой квартире Мецената мирную семейную картину: сам Меценат, облаченный в белый халат, прилежно возился около станка, на котором возвышалась груда сырой глины, и под его проворными гибкими пальцами эта груда принимала постепенно полное подобие сидящего тут же в гордой позе Мотылька.

В другом углу обнаженный до пояса могучий Новакович тренировался гантелями, широко разбрасывая свои страшные, опутанные, как веревками, мускулами руки, ритмично сгибаясь то в одну, то в другую сторону...

— Телохранитель! — воззвал Меценат, округляя большим пальцем лоб глиняного Мотылька. — У меня руки в глине, а, как назло, щека зачесалась. Почеши, голубчик.

— Которая? — деловито приблизился к нему Телохранитель. — Эта, что ли?

Он почесал Меценатову щеку и, склонив голову на сторону, уперев руки в бока, принялся разглядывать произведение Мецената.

— Морщин маловато, — критически заметил он. — Еще бы десяточек подсыпать.

— Довольно, довольно! — испуганно закричал Мотылек. — Ты рад из меня старика сделать!

— Ну, какой же ты старик! У тебя только кожа на лице плохо натянута. Ты бы сходил к обойщику перетянуть.

— Отстань, черт.

— Мотылек!

— А?

— Сколько парикмахер берет с тебя за бритье?

— Что значит — сколько? Обыкновенную плату: 15 копеек.

— Да ведь работы-то ему какая уйма! Сначала должен выкосить все бугорки и пригорки, потом, перекрестившись, спуститься в мрачные ущелья твоих морщин и там, внизу, во тьме, спотыкаясь, почти ощупью бедняга должен выкорчевать все пеньки и корни.

— Ну, поехал. Глупо.

— Был у меня, братцы, приятель, — начал, сев верхом на стул, Новакович одну из своих идиотских историй, которые он всегда рассказывал с видом полной достоверности. — И у этого приятеля, можете представить, совершенно не росли усы. А дело его молодое — очень ему хотелось каких-нибудь усишек. И придумал он вещь неглупую: выдрал с затылка сотни две волосков вместе с луковицами, потом сел у зеркала, вооружился увеличительным стеклом, иголкой и — пошла работа! Иголкой ткнет в верхнюю губу и сейчас же туда волос с луковицей ткнет и луковицу в дырочку посадит. Прямо будто виноградные черенки сажал.

— Врешь ты все, Телохранитель.

— Не такой я человек, чтобы врать — эта история потом наделала в сферах много шума. Посадил он, стал каждое утро водичкой поливать. И что ж вы думаете — ведь принялась растительность! Но только

ужас был в том, что растительность эта, новенькая-то, не лежала на губе, как у других, под углом в 45 градусов, а торчала перпендикулярно, потому что он луковицы торчмя вгонял. Очень терзался бедняга.

Меценат, выслушав эту историю, рассмеялся, а Мотылек возмущенно воскликнул:

— Телохранитель! Всякому вранью есть границы.

— Ты думаешь, я вру? А если я тебе назову фамилию этого человека — Седлаков Петр Егорыч, — тоже, значит, вру? Он жил на Кирочной, а теперь переехал не знаю куда. Можешь сходить к нему. Эта история подробно описана в одном немецком жур... А! Кузя! Откуда Бог несет?

Кузя влетел, бодро помахивая пачкой свежих газет.

— Вот, друзья, какова сила печати! Не только Куколку — берусь Анну Матвеевну всероссийской знаменитостью сделать.

— А что?

— Вот! Заметка первая — в «Столичном утре». «На днях в роскошном особняке известного Мецената и покровителя искусств (это я вам так польстил, Меценат) в присутствии избранной литературно-художественной публики (Мотылек, цени, это я о тебе так!) впервые выступил молодой, но уже известный в литературных кругах поэт В. Шелковников. Он прочитал ряд своих избранных произведений, произведших на собравшихся неизгладимое впечатление...»

Одобрительный смех встретил эту заметку.

— Это не все, господа! Вот литературная хроника «Новостей Дня»: «В литературных кругах много толков вызывает появление на нашем скудном небосклоне новой звезды — поэта Шелковникова. По мощности, силе и скульптурной лепке стиха произведения его, по мнению знатоков, оставляют далеко позади себя таких мастеров слова, как Мей и Майков. В скором времени выходит первая книга стихов талантливого поэта».

— Ай да старушка в избушке верхом на пушке! — воскликнул Мотылек, злорадно приплясывая. — Смеху теперь будет на весь Петербург.

— И, наконец, последняя заметка, — самодовольно улыбаясь, сказал Кузя. — «Нам сообщают, что Академией наук возбужден вопрос о награждении Пушкинской премией молодого поэта В. Шелковникова, произведения которого наделали столько шума». Все!!

— Кузя! Да как же редакторы газет могли напечатать такую галиматью?

— Э, что такое редакторы, — цинично рассмеялся Кузя. — Они по горло сидят в большой политике, и их сухому сердцу позиция Англии в китайском вопросе гораздо милее и ближе, чем интересы родного искусства... Признаться, в своей газетке я заметочку сам подсунул, в чужих — приятелей из репортеров подговорил... Сейчас у «Давыдки» стон стоит от хохоту. Там уже балладу сложили насчет скрипучей старушки, признаться, очень неприличную.

— Интересно бы сейчас увидеть Куколку... Вот, поди, именинником ходит!

— А ведь он, ребята, по своей глупости все это всерьез примет!

— Портрет свой у Дациаро выставит!

— Фабриканты выпустят папиросы «Куколка».

Громкий смех веселой компании заглушил робкий стук в дверь.

Только чуткий Меценат расслышал:

— Стучат, что ли? Кто там? Входите!

Вошел он... Куколка. Элегантный, дышащий свежестью молодости.

Оглядел всю компанию своими мягкими лучистыми глазами и кротко улыбнулся.

— Я вам помешал, господа? Вы почему-то очень громко смеялись?

— Это я о своем отце рассказывал, — нашелся Телохранитель, — понимаете, он был до того высок ростом, что, когда ему приходилось высморкаться в платок, он на колени становился.

— Как странно, — удивился Куколка. — Зачем же это он так?

— А вот спросите! Глеб Иванович его звали.

Куколка помедлил немного, потом глаза его засияли небесным светом, и он тихо сказал:

— Господа... я, может быть, глуп и неловок, я сам сознаю это... И ненаходчив тоже. Но я сейчас пришел сказать вам, что... *таких людей, как вы*, я встречаю первый раз в своей жизни!!!

Это горячее восклицание Куколки было так двусмысленно, что все опасливо переглянулись.

— Неужели сорвалось? — испуганно пробормотал Мотылек на ухо Меценату. — Неужели догадался?

— Куколка, — сухо сказал Кузя. — Мы не понимаем — что вы хотите сказать этими словами? Мы такие горячие почитатели вашего чудного таланта...

— Я знаю, знаю! — в экстазе воскликнул Куколка. — Вот поэтому-то я и говорю, что людей, подобных вам, я встречаю впервые в жизни! До встречи и знакомства с вами все другие, даже друзья мои, — только бессмысленно трещали мне в уши, говорили мне хорошие слова, а вы не только обласкали меня, но и сделали для совершенно неизвестного вам человека то, чего не сделал бы и отец родной! Вы мне дали крылья, и я, до сих пор скромно ползавший, как червяк, по пыльной земле, теперь чувствую себя таким сильным, таким... мощным, что кажется мне — несколько взмахов этими сильными новыми крыльями, и я взлечу к самим небесам!!

— Куколка, не улетайте от нас, — сентиментально попросил Новакович.

— О нет! Вы для меня теперь самые родные, и я вас никогда не покину!! Я должен быть около вас, вдыхать, впитывать тот благородный аромат чистой поэзии, который вас окружает и который я буду вдыхать одной грудью с вами. До встречи с вами я был мелок и вял — теперь я будто окреп и вырос! Друзья! Я, конечно, знаю, что в ваших газетных заметках обо мне много дружеского преувеличения, многого я еще не заслужил... Но, друзья! Я сделаю все, чтобы оправдать эти ваши даже преувеличенные надежды на меня! Теперь у меня появился смысл и цель работы, и я клянусь вам, что наступит время, когда вы сами будете гордиться мной, и скажете вы тогда: «Да, это мы поддержали первые робкие шаги Куколки и это благодаря нам он сделался тем человеком, который и свою долю внес в благородный улей русского искусства...» И когда румяный Феб взметнет свою золотую колесницу к солнцу...

— Коньяк-то... дома будете хлестать или куда пойдете? — деловито спросила Анна Матвеевна, незаметно вошедшая во время пылкого монолога Куколки. — Ежели дома, то я послала бы за коньяком... Что было старого запаса — как губки высосали!

— Кальвия Криспинилла! — завопил Мотылек. — Как вы можете говорить о пошлом земном коньяке, когда мы пили сейчас божественный напиток, изливающийся из уст Куколки!..

— Анна Матвеевна! — высокопарно сказал Новакович. — Вы вошли в ту самую минуту, когда, может быть, в мире в муках рождался истинный, Божьей милостью поэт!..

И прозаично dokonчил шепотом:

— Нет ли у вас сахарцу, многоуважаемая? Я бы пожевал сладенького.

— Бестолковый вы народ, как погляжу я на вас, — проворчала Анна Матвеевна, доставая из кармана горсть сахара и суя в руку Новаковича. — А ты чего, сударь, с ними разговариваешь? Погубят они тебя. Плюнул бы на них да пошел бы прочь, в хорошую чистую компанию.

— Имею честь кланяться, — ласково приветствовал ее Куколка. — Как ваше здоровье, дорогая Анна Матвеевна?

— Здравствуй, здравствуй, голубчик! — благосклонно кивнула ему головой нянька. — Какое там наше старушечье здоровье. С ногами что-то нехорошо. Не то ревматизм, не то что другое.

— Муравьиным спиртом советую натереть, — авторитетно посоветовал Куколка.

— Как приятно видеть, — тонко усмехаясь, сказал Меценат, — сочетание в одном лице Эскулапа с Аполлоном. Куколка, будем пить коньяк?

— Я... собственно, не пью...

— Но выпьете. Выпьем за появление на свет нового поэта, большой успех которого я провижу духовными очами!

— О, как вы все добры ко мне! — чуть не со слезами воскликнул Куколка, поворачиваясь во все стороны. — О, какая сладкая вещь — дружба!

— То-то и оно! Кальвия Криспинилловна — распорядитесь.

— Какая я тебе Кальвия, — огрызнулась старуха. — И что это за человек? В морщинах весь, а ругается.

— Да морщины-то, может, и породили во мне скепсис, мамаша. Будь я такой красавчик, как Куколка... О-о! Тогда бы я покорил весь мир.

## Глава VII

### Мотылек показывает зубы

Когда на столе появился коньяк и закуска, Мотылек первую рюмку выпил за успех Куколки.

— Куколка! — воскликнул Кузя. — Хотите, я научу вас играть в шахматы? Это разовьет точность мысли и способность к комбинациям, что никогда не помешает такому поэту, как вы.

— Да ведь я уже играю в шахматы, — с сияющей улыбкой признался Куколка. — Только плохо.

— Знаем мы, как вы плохо играете.

Новакович дружески посоветовал:

— Куколка, раз вы теперь входите в известность — вам бы сняться нужно. Будете дарить поклонникам свои портреты.

— Да я уже и снялся. Позавчера. У Буассона и Эглер. Они обещали, что портреты будут превосходные.

Все значительно переглянулись, а Меценат одобрил:

— Молодец. Не зеваешь. Действительно, надо ковать железо, пока горячо. Фрак бы вам тоже нужно. Для публичных выступлений.

— Вчера заказал у Анри. Хороший будет фрак.

— Ну и Куколка же! Вот голова! Обо всем подумал.

— Я и книжку своих стихов собрал, — застенчиво признался Куколка. — Вдруг найдется издатель, а книжка уже и готова.

— Что это за человек, — чуть не захлебнулся коньяком Мотылек. — Только что-нибудь подумаешь, а он уже все предвидел и все сделал. В одном теле и Аполлон и Наполеон.

— Господа, — воскликнул Меценат. — Я предлагаю устроить пышный праздник коронавания Куколки в поэты! Устроим это у меня, и тогда можно будет пригласить и Яблоньку. Я сначала думал снять отдельный кабинет в какой-нибудь таверне, но в таверну Яблонька не пойдет.

— Праздник с Яблонькой?! — пришел в восторг Кузя. — Да это же будет великолепно!

— Кто это — Яблонька? — с любопытством спросил Куколка.

Новакович заметно удивился:

— Яблонька-то? Если вы не знаете Яблоньки — вам не знакома подлинная красота мира, вы не поймете по-настоящему смысла в шелесте изумрудной травы, вы не поймете музыки журчания лесного ручья, пения птицы и стрекотания кузнечика — одним словом, в Яблоньке вся красота мира видимого и невидимого...

— Послушайте, Новакович, — радостно сказал Куколка, — да ведь вы тоже поэт!

Раздался общий смех, который окрасил мужественные ланиты Новаковича в ярко-багровый цвет. Он смущенно пробормотал:

— Не обращайтесь на них внимания, Куколка. Они бывают иногда утомительно глупы. Они ничего не знают.

— Нет, мы многое знаем. Я, например, знаю способ, с помощью которого физическое напряжение мускулов путем перегонки превращается в букет дорогих, привозимых из Ниццы белых роз и гвоздик!

— Кузя! На шкаф посажу!

— Ты меня можешь засунуть даже в карман... Но тогда у тебя в кармане, как говорил один древний мудрец, будет больше ума, чем в голове!

Меценат заинтересовался:

— Да как же это можно, Кузя: перегонять человеческую мускульную силу в цветы?

— Ах, вы не знаете, Меценат? А как вы назовете это, если человек вопреки своим спортивным принципам напяливает на голову черную маску, поступает инкогнито в цирковой чемпионат, кладет на лопатки несколько идиотов, получает за это деньги и вместо того, чтобы сшить себе новый костюм, посылает Яблоньке букет роскошных белых роз в день ее рождения?! Так сказать: цветок цветку.

Новакович сидел, опустив голову, угрюмый, совершенно раздавленный ядовитым рассказом Кузи.

Меценат внимательно глядел на Новаковича и вдруг покачал своей мудрой беспутной сидящей головой. В глазах его на один миг мелькнула чисто отеческая ласка.

— Телохранитель! Я и не знал о твоих подвигах на арене! На кой черт ты это сделал? Превосходно мог бы взять деньги у меня. Тем более — для Яблоньки.

— Вы знаете, Меценат, — тихо сказал Новакович, — я залезаю в ваш карман без всякой церемонии слишком часто и знаю, что вы выше этих пустяков, но я хотел сделать Яблоньке приятное на собственные заработанные деньги.

Кузя захихикал:

— *Как* заработанные? *Как*? На этих белоснежных лепестках сверкала не роса, а капли борцовского пота, выдавленного из несчастных «чемпионов Африки и Европы» твоими медвежьими нельсонами...

— Кузя! Ты можешь об этом больше не говорить? — нахмурился, сказал Новакович.

— И верно! — увесисто подкрепил Меценат. — Где замешана Яблонька — клеветы должны безмолвствовать.

Кузя вдруг завопил:

— Шапки долой перед святой красотой!! Телохранитель, я люблю тебя.

— Я был бы счастлив познакомиться с этой достойной девицей, — жеманно заявил Куколка.

— Я думаю! Губа-то у вас не дура. Я того мнения, Меценат, что Яблонька должна короновать нашего поэта собственными руками... А?

— Конечно, впрочем, я разработаю подробный ритуал всего праздника. Куколка! Куда же вы?

— А мне нужно спешить... Я должен обработать одно мое стихотворение...

— Неужели такое же, как о старушке в избушке?! — восторженно ахнул Кузя.

— Нет, в другом роде. Однако неужели, господа, вам так понравилась «Печаль старушки»?

— О, это вещь высокого напряжения. То, что немцы называют: «Шлягер»! Я ее недавно декламировал в одном доме — так все чуть с ума не сошли!

— Ей-богу? — расцвел Куколка. — И за что вы все так меня любите, не понимаю!

— За талант, батенька, исключительно за талант! За редким растением и уход особенный.



— Спасибо. Хотите, я свои новые стихи посвящу вам?

— О, достоин ли я такой чести, — сказал Кузя таким жалобно-уничижительным тоном, что Новакович отвернулся и прыснул в кулак.

А Куколка, ничего не подозревая, обводил всех ясным доверчивым взглядом, и сияла в этом взгляде ласка и собачья любовь к каждому из них.

— Жалко мне с вами расставаться, но ничего не поделаешь: искусство выше всего. Зайду только проститься с уважаемой Анной Матвеевной и помчусь домой. До свидания, мои хорошие.

Он вышел. Все помолчали. Потом Новакович почесал затылок и сказал:

— Меценат! Каков экземпляр, а? Это я его нашел. И за такого человека я получил всего 25 рублей. То есть так продешевить могу только я. Нет, не гожусь я в торговцы живым товаром.

— Послушайте-ка, господа, — и Меценат озабоченно обвел взглядом клеветров. — Шутка наша хороша, конечно... Она забавна, тонка и остроумна. Но как мы из нее в конце концов выпутаемся?! Представьте себе, что этот бездарный идиот вдруг действительно каким-нибудь чудом выпустит книжку своих стихов. Что тогда? Ведь скандал будет на весь мир?!

Мотылек, сидевший до этого в глубокой задумчивости, вдруг вскочил и, собрав свое лицо в такие складки, что они оказались трепетавшим клубком судорожно извивавшихся змей, вдруг прошипел с самой настоящей злобой в голосе:

— И пусть! И пусть! Я давно уже жажду такого звонкого мирового скандала! Ведь подобного болвана, как эта Куколка, в сто лет не отыщешь! И какой самоуверенный болван! Пусть будет скандал! Так и надо! Так и надо!

— Чего ты, — даже отшатнулся от него Кузя. — Смотрите, взбесился человек! Лицо-то у тебя — будто черт лапой смял. Эй, морщины! Вольно! Марш по местам!

— Я давно, давно поджидал такого случая!! Обратите внимание на меня! Я пишу, творю вещи кровью моего мозга, изливаю лучшие свои чувства, щедро бросаю в тупую толпу целые пригоршни подлинных бриллиантов — и что же?! Я, как слизняк, пребываю во тьме, в неизвестности! Критика даже не замечает меня, публика глотает мои произведения, как гиппопотам — апельсины или как та гоголевская свинья, которая съела мимоходом цыпленка и сама этого не заметила!! Так я ж тоже плюю на них на всех! Более того! Я хватаю эту Куколку и швыряю ее им всем в гиппопотамью морду!! Натте, натте вам! Вот достойный вас поэт. Смакуйте его, жуйте вашими беззубыми челюстями! Эввива, поэт Шелковников! Кузя!! Друг ты мне или нет? Так пиши еще о Шелковникове, звони, ори на весь мир — я буду тебе помогать! Я буду читать лекции о новом поэте Шелковникове, устрою целый ряд докладов, лекций, рефератов — и когда толпа, как стадо, ринется к его ногам, я плюну им в лицо и крикну: «Вот ваш бард! Я, как Диоген с фонарем, отыскал самое бездарное и самоуверенное, что есть в мире, и, хохоча, склонил ваши воловьши шеи перед этим апофеозом пошлости! Кланяйтесь ему, кланяйтесь, скоты!»

Он упал в кресло и, закрыв лицо руками, погрузился в молчание.

Остальные трое, ошеломленные этой неожиданной бешеной вспышкой, стояли вокруг него, не зная, что сказать. Они хорошо знали Мотылька, но сейчас на них глянуло совсем другое, новое лицо этого беззаботного человека.

Когда же молчание сделалось невыносимым, Кузя решил смягчить общее настроение.

— Здорово! — усмехнулся он. — Мы-то в простоте душевной думали, что «игра с Куколкой» — просто новенькая забава скучающей части русского мыслящего общества, а Мотылек — вишь ты, дай Бог ему

здоровья — взял да и подвел под эту дурацкую историю прочный идеологический фундамент... Умная голова — наш Мотылек!

Меценат засвистел, подошел к неоконченному бюсту Мотылька и, оглядывая свое произведение, сказал:

— Попробую сделать тебе такое лицо, которое я видел сейчас, и назову это произведение: «Ярость».

— Трудно это, Меценат! — подхватил Новакович. — Для морщин на лице места не хватит.

Все шутили, но... в глубине души были очень удивлены. Чрезвычайно.

Впервые веселый Мотылек повернулся ко всем столь неожиданной стороной своей разнообразной натуры.

## Глава VIII

### О Яблоньке и ее физических и душевных свойствах

У Мецената и его клеветов была непонятная страсть: награждать всех, кто с ними соприкасался, прозвищами. Этим как будто вносился какой-то корректив в ту слепую случайность, благодаря которой человек всю жизнь таскает на своих плечах имя, выбранное не по собственному вкусу или вкусу других, а взятое черт знает откуда: почему этот элегантный, одетый с иголки парень именуется Иван Петрович Кубарев, а не Виктор Аполлоныч Гвоздецкий, почему та пышная черноволосая красавица называется Людмила Акимовна, когда по всяким соображениям гораздо более подходило бы ей пышное черноволосое имя: Вера Владимировна?

Бессознательно, но, вероятно, именно поэтому «клеветы» крестили всех окружающих по-своему.

Самой удачной, меткой кличкой у компании считалось Полторажида — кличка, которую прицепили к невероятно длинному рыжему унылому еврею-портному, часто освежавшему несложный гардероб клеветов.

И совсем уж несправедливо звучала «Кальвия Криспинилла» — *Magistra libidinium Neronis*, как окрестили добрую русскую няньку Анну Матвеевну... В ее характере ничего не было общего с «профессоршей Неронова разврата», хотя Мотылек и божился, что она не только снисходительно относится к объектам Меценатовых сердечных увлечений, но даже сортирует их на «стоящих» и «не стоящих» и ведет с ними по телефону длинные беседы принципиального свойства.

Одной из удачных кличек считалась также сокращенное «Яблонька», или официальное — «Яблонька в цвету», потому что это поэтическое название вполне соответствовало внешности Нины Иконниковой.

Высокая гибкая блондинка с огромными синими глазами, любовно озиравшими весь Божий мир, с пышной короной белокурых, нежных, как шелковая паутина, волос, вся белая, ароматная, будто пахнущая яблочным цветом, с высокой грудью и круглыми плечами, упругая, здоровая и свежая, как только что вылупившееся яичко. Походка у нее была изумительная: идет и вся вздрагивает, будто невидимые волны пробегает по телу, будто спелый колос волнуется от налетевшего теплого летнего ветерка...

Однажды некий экспансивный прохожий не выдержал: остановился посреди улицы, сложил молитвенно руки и пылко воскликнул:

— Боже мой! И пошлет же Господь в мир такую красоту!

Она несколько не была шокирована этим восклицанием; приостановилась и, мило улыбнувшись, поблагодарила:

— Спасибо вам за ласковое слово. Мне приятнее всего, что в вашем комплименте дважды встречается слово «Бог». Значит, что вы хороший человек.

И пошла дальше как ни в чем не бывало, прямая и гибкая, как молодой тополь, по-прежнему приветливо улыбаясь синему небу.

Первым познакомился с Яблонькой Мотылек. Этот расторопный поэт однажды долго шел за ней по боковой аллее Летнего сада и потом, восхищенный, потеряв над собой власть, как он вообще всегда терял власть над своим бурным темпераментом, вдруг подошел к ней и вступил в разговор.

— Куда вы идете? — порывисто спросил он.

— В библиотеку. Книгу менять.

— И я пойду с вами.

— Вы тоже идете книгу менять? — спросила она просто, без всякой иронии.

— Нет... я этого... Давно собирался абонироваться... Да представьте себе, не знаю, как это сделать. Это сложно?

— Совершенно не сложно, — мило рассмеялась она. — Пойдемте, я вам это устрою.

Мотылек бурно зашагал за ней, но, когда оба предстали перед прилавком, на котором лежали толстые каталоги, Мотылек вдруг ощутил, что он оступился и летит вниз головой в глубокую пропасть: он сейчас только вспомнил, что у него в кармане всего тридцать копеек, а плата за абонемент в месяц с залогом превышала эту сумму ровно в семь раз.

— Вот вам бланк, — сказала будущая Яблонька, — обязательно напишите ответы на вопросы и здесь подпишитесь.

Чтобы отсрочить окончательно гибель и позор, Мотылек долго возился над маленьким листком, собирал и распускал свои знаменитые морщины, раза два даже смахнул тайком пот со лба, каллиграфически выписал свою фамилию, сделал росчерк — роковой час расплаты придвинулся вплотную.

— Ну, что ж вы? — поощряла его Яблонька. — Теперь остается только заплатить и выбрать книгу по каталогу.

Мотылек тоскливо поглядел на ее свежие губы, поскреб яростно холодными пальцами затылок и вдруг брякнул:

— Послушайте... Можно вас отозвать в сторону на два слова?

— Что случилось? Пожалуйста.

Они отошли в сторону.

— Милая девушка! Видели вы еще когда-нибудь такого мерзавца, как я?

Ее губы дрогнули, и глаза немного затуманились...

— Что вы такое говорите... Разве можно так?

— Мерзавец! — в экстазе воскликнул Мотылек. — Форменный подлец! Слушайте же, как кается Мотылек! Слушай весь православный народ! Книга мне была нужна? По морде мне нужно было хлопнуть несколько раз этой книгой! Ведь это я к вам просто пристал давеча в Летнем саду — пристал, как самый последний уличный нахал!! А вы, святая душа, — даже не догадались! Вы, как Красная Шапочка, доверчиво разговорились с Серым Волком...

— Да вы не похожи на Серого Волка, — рассмеялась одними лучистыми синими глазами Яблонька. — У вас доброе лицо. А я боюсь только пьяных. И то я одного пьяного однажды вечером устыдила. С ними только нужно побольше простой примитивной логики. Подходит он ко мне вечером на Владимирской улице и говорит: «Пойдем со мной, барышня». Конечно, можно было бы позвать городского — в двух шагах стоял, — но мне жалко сделалось этого пьяненького. «Куда же, — я говорю, — мне с вами идти?» — «Пойдем поужинать». — «Смотрите-ка, — говорю, — какая жалость... А я уже поужинала!» — «Да что вы, — опечалился он. — Экая жалость! Ну, вина выпьем, что ли?» — «Вина мне нельзя! Доктор строго запретил». Призадумался: «Как же быть?» — «Уж я и не знаю». — «Что ж мне с вами делать все-таки? А может быть, бокальчик бы одолели? Попытались бы, а?» — «Да нет уж, и пытаться не стоит». Совсем он сбился с толку. «Что ж мне с вами делать?» — «Да уж придется, верно, махнуть на меня рукой. А вы бы спать лучше

пошли... а? Вон у вас вид какой усталый. Небось заработались». Всклипнул он, утер мокрые усы и говорит: «А что вы думаете — и пойду! Никто меня не понимает, а вы поняли! Главное теперь — спать». Снял котелок, поклонился — и разошлись мы в наилучшем расположении духа.

— Вот вы какая! — восхитился Мотылек. — Вам бы с Меценатом познакомиться — он бы вас очень оценил.

— Кто этот Меценат?

— Кто?! А вот кто: у вас два рубля есть?

— Есть.

— Дайте мне на несколько минут. Вот спасибо. Теперь я беру вашу книгу — что там у вас? Новая книга Локка. Меценат, наверное, не читал. А вы возьмите свеженькую — и пойдём.

— Куда? — засмеялась Яблонька.

— Я вам долг отдам. Я, миленькая моя, человек честный. Ну, живо, живо!

— Да куда вы меня тащите, сумасшедший человек!

Но Мотылек уже запылал, задергался, как он пылал и дергался всегда... Взял Яблоньку под руку, озабоченно собрал в дорогу все свои морщины и повлек сбитую с толку Яблоньку на улицу.

— Вы очень странный человек, — робко успела пролепетать Яблонька.

— Да уж и не говорите. Кончу я жизнь или знаменитым поэтом, или в сумасшедшем доме... Девушка! Любите ли вы красоту мира? Она во всем: в плакучей иве, склонившейся над тихо плывущей рекой, в угрюмой прямизне петербургской улицы, в новом интересном человеке, а человек этот... Девушка!! Что может быть интереснее Мецената? Нашего доброго мудрого благородного Мецената — этого ленивого льва с львиной гривой на львиной шкуре, льва, наполовину бросившего свою прекрасную львицу — ради красоты, свободы и созерцательности!

— Я вас не совсем понимаю, — мягко возражала Яблонька, пытаюсь освободить свою руку.

— И не надо! Сейчас не понимаете — потом поймете! Скоро поймете. Даже сейчас! Вот мы уже у Меценатова подъезда. Эй, швейцар! Немедленно же вызовите из второго номера хозяина — скажите, по очень важному, спешному делу. Живо!

— Вы очень странный, — покачала головой Яблонька. — Очень; но вы не страшный. Только зачем Меценат? Может быть, он занят сейчас чем-нибудь, а вы его отрываете. Не лучше ли в другой раз?

— Ни-ни! Да вот уже его шаги. Видите, как он мягко спускается — как старый добрый лев. А за ним слышен тяжкий бег буйвола — это, конечно, Телохранитель.

Меценат, а за ним Новакович, оба без шапок, выскочили на улицу и, увидев около Мотылька белокурую красавицу, замерли, молчаливые, удивленные.

— Меценат! Я вас сейчас же, сейчас, прямо-таки вот немедленно познакомлю, но... дайте мне сначала два рубля. Вот вам за это книга. Вы абонированы! Локка книга. Читайте ее, она интересная. Ведь книга интересная? — стремительно обратился он к Яблоньке.

— Интересная, — спокойно улыбнулась она, разглядывая странную группу: Мецената в засыпанном пеплом бархатном пиджаке и выглядывающего из-за его плеча мощного студента Новаковича.

— Скорей два рубля, Меценат! Спасибо! Вот вам, благодетельная фея, мой долг, а теперь можно и познакомиться вас. Это Меценат. Правда, чудный? А тот пещерный медведь сзади — Телохранитель. Новакович! Дай тете ручку и шаркни ножкой. Господа! Эта девушка — лучшая в столице. Я с ней заговорил

на улице, как мерзавец, а она ответила мне, как святая. А красота какая! Хотите, мы будем на вас молиться? Лампадку зажжем! Песнопение для вас сочиним. Телохранитель! Подбери глаза — а то на мостовую рассыплешь. Меценат! Видите, как я вас люблю! Увидел воплощение красоты, и первая моя мысль — о Меценате!.. «Меценат! — подумал я. — Ты будешь бедный, если не увидишь ее хоть издали!» А Новакович, светлая девушка, тоже хороший — двумя руками девять пудов выжимает.

— Мотылек с ума сошел, — усмехнулся первый пришедший в себя Меценат. — Позвольте узнать ваше имя?

— Нина Иконникова.

— А вы знаете, как я вас назвал, когда вы так вот стояли, белая, ласковая, около этого корявого пня? Подумал я: Яблонька в цвету!

— Гип, гип, ура, Яблонька! — заорал Мотылек на всю улицу.

— Вы не обидитесь, — улыбаясь, спросил Меценат, — если я предложу вам зайти к нам отдохнуть от трескотни Мотылька. Они оба люди, которые могут с непривычки ошеломить, но публика, в общем, не страшная.

— Я должна спешить домой, — ответила, подумав, Яблонька, — но, если вы не будете меня задерживать, я минут десять посижу.

— Яблонька, — сказал Новакович, выдвигаясь вперед. — За то, что вы нас сразу поняли и доверились и идете к нам — я отныне даю присягу быть вашим рыцарем, защищать вас от всяких невзгод, а если кто-нибудь посмеет что-нибудь лишнее — оторву голову и суну ему под мышку. Господа! Дорогу Яблоньке!

И, когда Яблонька шагнула на площадку Меценатовой квартиры, Новакович одним движением снял с себя тужурку и почтительно подбросил ее под ножки Яблоньки.

— «И жители восторженно встречали ее, — неизвестно откуда процитировал Новакович, — и расстилали плащи перед ней, чтобы ее нежной стопы не коснулась грубая земля».

— У вас сзади рукав рубашки разорвался, — заботливо заметила Яблонька, осматривая рукав Новаковича. — Если у вас найдется нитка и иголка — я зашью.

— Вот девушка!.. Если бы я был достоин — я поцеловал бы край ее платья, — вздохнул Новакович, толкнув Мотылька плечом.

Яблонька вступила в знаменитую гостиную Мецената и с любопытством огляделась.

— Уютно у вас, а только странно. И солнца мало. Отчего портьеры задернуты? А для пепла полагается пепельница, а не ковер и не плечи бархатного пиджака. Где у вас щетка? Я вас почищу немного...

Яблонька посидела самую чуточку, скушала одну грушу, поправила висящую криво картину и уже надевала перед зеркалом воздушную шляпку, собираясь уходить, как в дверях показалась Анна Матвеевна.

— Экое чудо у нас, — охнула она, разглядывая Яблоньку. — Вы бы, барышня, подальше от них были! Это ведь сущие разбойники — обидят они вас.

— Меня, бабушка, невозможно обидеть, — рассмеялась Яблонька. — Я в Бога верю и всех людей люблю. Какие же они разбойники? Странные немного, но милые.

— Эткими милыми в пекле все дорожки вымощены. Как звать-то вас?

— Яблонька, — выскочил сбоку Мотылек.

— Яблонька и есть. До чего ж ладная девушка. Хоть бы вы их, барышня, усовестили, чтоб коньячища

этого не лакали спозаранку...

— Анна Матвеевна! Да ведь мы по рюмочке!

— Знаю, что по рюмочке. В эту рюмочку тебя и поп при святом крещении окунал. Скушать чего не хотите ли, сударыня?

— Нет, спасибо, мне идти надо... Буду в этих местах — зайду еще посмотреть, как вы тут живете. А коньяк лучше не пейте. Хорошо?

— Сократимся, — усмехнулся Меценат. — А если вам нужны какие-нибудь книги — так моя библиотека к вашим услугам. Ройтесь, разбрасывайте — у нас это принято.

Яблонька ушла, звонко поцеловав Анну Матвеевну на прощание.

После ее ухода нянька подошла к креслу, грузно уселась в него и, посмотрев на победоносно переглядывавшихся клеветов, строго сказала:

— Ну, ребята... Не пара она вам. Не по плечу себе дерево рубите.

— Кальвия, — возразил Мотылек, обнимая ее седую голову. — Где же это видано, чтобы Мотыльки да рубили Яблоньки? Наоборот, я буду порхать около нее, вдыхая аромат, буду порхать — вот так!

Он вспрыгнул на оттоманку, перемахнул на стол, оттуда обрушился на плечи Новаковича и наконец, тяжело дыша, сполз с Новаковича на пол.

— Мотылек, — сказал размягченный Меценат. — За то, что ты сегодня вспомнил, подумал обо мне — я дарю тебе изумрудную булавку для галстука. Она тебе нравилась.

— А я, — торжественно подхватил Новакович, — никогда больше не позволю Кузе говорить, что все твои произведения читал у чужих авторов в немецких журналах!! Ты совершенно оригинальный писатель, Мотылек!

— А я, — проворчала нянька, — оборву тебе уши, если ты будешь бросать мне на ковер апельсиновую шелуху.

— Кальвия! Я вас так люблю, что отныне буду есть апельсины вместе с кожурой.

И все впоследствии не исполнили своих обещаний, кроме Мецената, булавка которого навсегда украсила тощую грудь Мотылька как память о Яблоньке, изредка, как скупой петербургский луч, заглядывавшей в темную Меценатову гостиную.

## Часть II Чертова кукла

### Глава IX

#### В кавказском кабачке

В уютном, увешанном восточными коврами и уставленном по стенам тахтами отдельном кабинете кавказского погребка на Караванной улице заседала небольшая, но очень дружная компания под главным председательством и руководством Мецената.

Кроме него были: Кузя, Новакович и великолепная Вера Антоновна, которая, как это ни странно, но выехала в свет *из-за своей лени*.

Сегодня как раз был день ее рождения, и Меценат, созвав с утра своих клеветов, предложил отпраздновать этот замечательный, с его точки зрения, день в квартире Веры Антоновны. Но, когда ей сообщили об этом по телефону, она вдруг высказала чрезвычайную, столь не свойственную ей энергию, заявив, что лично прибудет к Меценату для обсуждения этого сложного вопроса.

Приехала и, устало щуря звездоподобные глаза, заявила:

— Послушайте, в уме ли вы?! Ведь это сколько хлопот, возни?.. Да ведь я после праздника буду три дня лежать совершенно разбитая! Неужели вы не знаете, что быть гостеприимной хозяйкой — это нечеловеческий труд! Пожалейте же меня — не приезжайте. Ну, не стыдно ли вам так мучить меня; я ведь красивая и добрая...

Мотылек застонал:

— Кто же, кто вас мучит, Принцесса?! Кто это осмелится, Великолепная (две клички Веры Антоновны, которыми наделили ее неугомонные клеветы при молчаливом одобрении Мецената)?! Укажите мне такого мучителя — и я объем мясо с его костей! Разве мы вас не понимаем?! Действительно — адская работа: встретить каждого гостя отдельно, да скажи ему, подлецу, несколько ласковых слов, да еще, пожалуй, придется ему подкладывать кушанья на тарелку?! А предлагать вино? А приказать переменить приборы?! Да ведь еще же меню сочинять придется! Нам ли с вами такая тяжесть под силу?..

— Да, да, Мотылек! Вот видите, вы меня поняли!

И, когда вся компания покатила со смеху, Вера Антоновна обвела всех недоумевающими глазами и, дернув Мотылька за ухо, сказала:

— Что это? Вы, кажется, издевались сейчас надо мной, Мотылек? Кузя! Пойдите поближе ко мне... Вы единственный, который меня понимает.

— Этот поймет! — засмеялся Новакович. — Вам бы, Принцесса, за него нужно было выйти замуж, а не за Мецената. Был вчера такой случай: захожу я к Кузе, а он лежит в кровати и стонет... «Что с тобой, Кузя?» — «Ах, Телохранитель, испытывал ли ты когда-нибудь мучительную жажду? Я вот уже целый час терзаюсь!» — «Так ты бы воды выпил, чудак!» — «А где же возьмешь, воду-то?» — «Да вот же графин, на умывальнике стоит, в десяти шагах от тебя!» — «Это, — говорит, — не вода». — «А что же это такое?» — «Перекись водорода». Потом стал стонать, как издыхающая лошадь. «Что с тобой?» — «Совсем, — говорит, — я расхворался. А тут из окна дует. Телохранитель, — говорит, — передвинь мою кровать к умывальнику». Ну, и я передвинул кровать к умывальнику вместе с ним... И что же вы думаете? Едва он



очутился на таком расстоянии от графина, что мог достать рукой, как схватывает его — и ну глотать жидкость, как ожившая лошадь!..

— Неужели перекись водорода пил? — удивился Меценат.

— Какое! Простая вода в графине была.

— При чем же тут перекись?

— А видите, в чем дело: скажи он мне, чтоб я дал ему воды, я бы из принципа не дал. Не люблю поощрять его гомерическую лень. Вот он и выдумал историю с окном, из которого дует, и с перекисью. Да это еще не все! Прохаживаюсь я по комнате, ругаю его последними словами, вдруг — хлоп! Сапог мой цепляется за гвоздь, высунувшийся из деревянного пола, и распарывается мой старый добрый сапог!! «Кузя! — кричу я. — У тебя тут гвоздь из пола вылез!!» А он мне: «Знаю!» — говорит. «Так чего ж ты его не вытащишь или не вобьешь обратно?» — «А зачем? Я уже привык к этому гвоздю и всегда инстинктивно обхожу его. А посторонние пусть не шляются зря!» Взял я угольные щипцы, вбил гвоздь по шляпку и этими же щипцами отколотил Кузю.

— Грубый у тебя нрав, Новакович, — вяло возразил Кузя. — Как ты не понимаешь, что гвоздь торчал вне моего фарватера, который ведет от кровати к умывальнику и от умывальника к зеркалу. Глупый ты! Ведь гвоздь-то торчал не на моей проезжей дороге!

— Как это вам понравится, Принцесса?!

— Что такое? — медленно подняла на него свои огромные сонные глаза Принцесса.

— Да вот история с Кузей!

— А я, простите, не слышала, замечталась. Кузя! О вас тут рассказывали какую-то историю? Вы здесь самый симпатичный, Кузя. Принесите мне платок из ридикюля. Он в передней.

— Сейчас, — с готовностью откликнулся Кузя, не двигаясь с места. — Вы твердо помните, что ридикюль в передней?..

— Ну да.

— А где именно положили вы ридикюль в передней? На подзеркальнике или на диване?

— Не помню, да вы посмотрите и там, и там.

— У вас какого цвета ридикюль? — допрашивал Кузя, потонув по-прежнему в мягком кресле.

— Ах ты, Господи! Да ведь не сто же там ридикюлей?!

— Я к тому спрашиваю, чтоб вас долго не задерживать поисками. А то, может, он завалился за диван, так в полутьме сразу и не найду... Кроме того... Ах, вот он!

Он взял ридикюль из рук уже вернувшегося из экспедиции в переднюю Новаковича и любезно протянул его Принцессе.

— Спасибо, Кузя. Вы милый.

— Вот дура горничная, — заметил будто вскользь Новакович. — Забыла в передней ведро с мыльной водой, а чье-то пальто упало с вешалки да одним рукавом в ведро и попало. Мо-окрое!

— А какого цвета пальто? — ухмыляясь, спросил Мотылек.

— Серенькое, кажется.

— Так это ж мое! — испуганно закричал Кузя и, как заяц, помчался в переднюю.

— Действительно ты видел пальто в ведре?

— Ничего подобного. Просто хотел, чтобы Кузя размял себе ноги. Это ему наказание за ридикюль!

Вошла Анна Матвеевна, расцеловалась с Принцессой, села напротив, поглядела на нее, укоризненно покачала головой и вступила с Принцессой в обычную для них обеих беседу:

— Где дети?

— Какие дети? — удивилась Принцесса.

— Как какие? Твои!

— Да у меня, нянечка, нет детей.

— А почему нет?

— Не знаю, нянечка. Бог не посылает.

— «Бог не посылает». Лень все твоя проклятая. И в кого ты такая уродилась?!

— В кого? В Венеру Милосскую, — подсказал Мотылек.

— В Кузю, — поправил Новакович. — Впрочем, это одно и то же: если Кузе оборвать руки — получится форменная Венера Милосская для бедных.

— Ах, милые мои, — сказала старая нянька, пригорюнившись. — То есть до чего мне хочется ребеночка нянчить — сказать даже невозможно.

— Да, — грустно улыбнулся Меценат. — Этого товара не держим. Так как же, господа, насчет сегодняшнего торжества?

Мотылек выручил:

— Да очень просто! На Караванной есть превосходный кавказский кабачок с восточными кабинетами. Пойдем туда — чудное винцо!

— А тебе бы только винцо, бесстыдник, — упрекнула нянька.

— Я не виноват, пышная Кальвия. У меня мамка была пьяница. У нее даже два сорта молока было: левая грудь — бургундское, правая — бордоское.

— Тьфу! — негодуя сплунула Анна Матвеевна. — С вами поговоришь — только нагресишь. В постный день оскоромишься.

Решили идти на Караванную. Мотылек заявил, что он еще должен заехать в редакцию своего журнала, устроить редактору скандал, после чего не замедлит явиться; а все прочие с гамом и шумом, резко выделяясь на сонном фоне невозмутимой статуарной Принцессы, зашагали по улице, и, когда ввалились в кабачок, изо всех занятых кабинетов высунулись обеспокоенные шумом головы.

Вера Антоновна выбрала самый уютный уголок, окружила себя подушками и замерла, как изумрудная ящерица на горячем солнце, откинув на спинку дивана свою великолепную голову.

— Что вы будете кушать, Ваше Высочество? — спросил Меценат, нежно целуя ее руку. — Есть шашлык карский, есть обыкновенный.

— А какая разница? — осведомилось дремлющее Ее Высочество.

— Обыкновенный шашлык маленькими кусочками, на вертеле, карский — большим куском.

— Так его еще резать надо? Лучше тогда обыкновенный!

— И мне! — присоединился Кузя.

Через двадцать минут приехал Мотылек. Губы его дрожали, и глаза метали гневные молнии. Число морщин на лбу возросло в угрожающей лицу прогрессии.

— Подлецы! — закричал он еще с порога. — Подлые рабы!

— Что случилось, Мотылек? — беспокойно глянул ему в глаза Меценат. — Ты чем-то расстроен?

— Ах, Меценат! Вы представить себе не можете, что за олух наш редактор! Я уже три года секретарь журнала и считаю, что приобрел себе известный вес и положение... Сдаю в набор свое стихотворение «Тайна жемчужной устрицы», помните, еще оно вам очень понравилось, вдруг он мне заявляет: «По техническим условиям не может быть напечатано!» — «Это что еще за технические условия?!» — «Размер велик! 160 строк». — «Да ведь стихотворение хорошее?!» — «Замечательное». — «Так чего ж его не напечатать?!» Он опять: «Потому что длинное!» — «Но ведь хорошее?» — «Хорошее». — «Так почему не напечатаете?» — «Размер велик». Взвыл я. «У Пушкина, — говорю, — поэмы были на две тысячи строк! Вы бы и Пушкина не напечатали?!» — «Нет, — говорит, — не напечатал бы». Ну, знаете, Меценат... Насчет себя бы я еще мог простить, но — Пушкин! Озверел я. «Да вы знаете, кто такой Пушкин?!» — «А вы знаете, что такое технические условия?» Я ему Пушкиным по голове, а он мне техническими условиями по ногам. Встал я и говорю: «Сегодня мой приятель Новакович о Кузин гвоздь сапог разорвал!» — «А мне, — говорит, — какое дело?» — «А такое, что — не почините ли?» — «Что я вам, сапожник, что ли?» Я и говорю: «Конечно, сапожник!» Крик у нас был на всю редакцию. «Вы, — говорит, — невоспитанный молодой человек!» — «А вы воспитанный в цирке старый осел, умеющий скакать только по ограниченной арене!» Забрал свои рукописи, хлопнул дверью и ушел.

— Промочи горло, Мотылек, — посоветовал Новакович. — Хочешь, я пойду отдую твоего редактора?

— Нет, я ему лучшую свинью подложил! Иду к вам, встречаю нашу знаменитую Куколку. «Что с вами, Мотылек?» — «Куколка! Вы, как человек тонких эмоций, как Божьей милостью поэт, меня поймете!» Рассказал ему всю историю, а он мне: «А знаете, Мотылек, Пушкин действительно очень пространно писал. Теперь так уже не пишут! Нужна концентрация мыслей». Посмотрел я на него и говорю: «Пойдите к редактору, попроситесь в секретари — он вас с удовольствием возьмет!» А он замялся да и спрашивает меня таково деликатно: «Я не знаю, как и быть. Боюсь, что это будет не по-товарищески по отношению к вам...» — «Ничего, идите. Я буду очень рад. Все равно в этом доме мне больше не бывать!» Он и потащился. Воображаю разговор этих двух ослов! Кстати, я его потом сюда пригласил. Вы не против этого, Меценат?

— Я очень рад! Послушайте, Принцесса! Вы ничего не будете иметь против, если сюда придет один очень милый, воспитанный молодой человек?

— А он меня не заговорит? — опасно спросила Принцесса.

— То есть как?

— Да вдруг начнет меня расспрашивать — бываю ли я в театрах... или еще что-нибудь? Тоска!

— Не бойтесь, Великолепная, — хитро ухмыльнулся Кузя. — Мы представим ему вас как настоящую кровную принцессу... Язык у него и прилипнет к гортани...

— Ну вот, глупости... Я не хочу быть самозванкой.

— Ну, Принцессочка, позвольте. Мы ведь в шутку... Он так глуп, что всему верит! Сделайте этот пустяк для нас.

— Это будет сложно?

— Ни капельки! Сидите, как великолепная статуя, а мы около вас будем порхать и щебетать, как

ПТИЧКИ.

## Глава X

### Тосты. Первая удача Куколки

Когда подали вино и шашлыки, произошло общее движение, полное восторга, почти экстаза.

Новакович глянул хищным оком на шашлыки и протонал:

— О, как я люблю этого зайца!

— Да это не заяц, а шашлыки.

— Ну, все равно, я люблю эти шашлыки.

И блестяще доказал это. Шашлыки понесли от его зубов полное поражение. Увлеченный его аппетитом, Меценат заказал еще несколько порций, потом встал с бокалом в руках и провозгласил:

— Этот бокал я выпью за вечную немеркнущую красоту мира! И воплощение этой красоты в сегодняшней нашей имениннице — Принцессе, которая одной своей улыбкой способна осветить все кругом! О, конечно, вы можете возразить мне, что женская красота — предприятие непрочное, но я смотрю на это шире: когда красота поблекнет, когда наступит мудрая красивая старость, за ней смерть, а потом разложение жизненной материи на первоначальные элементы, то из элементов моей дорогой жены снова получится что-либо не менее прекрасное: вырастет стройная белая кудрявая березка, под ней свежая шелковая травка, а над ней проплывет душистое жемчужное облачко, прольется несколькими жемчужными каплями и протечет светлым ручейком... И во всем этом — в березке, в облачке, в мураве и в каплях весеннего дождя — будет часть красоты моей прекрасной жены, именины которой мы сейчас так чинно и благородно празднуем. Принцесса! За ваше великолепное здоровье!!

— Вот тебе, — прошептал пригорюнившийся Новакович, — начал Меценат за здоровье, а кончил за упокой. А интересно, братцы, куда, в какие элементы перейду я после смерти?

— В силу справедливости, — ухмыльнулся Кузя, — ты бы должен был целиком перейти в барана...

— Почему? — грозно спросил Новакович.

— Потому что сейчас целый баран со всеми своими элементами, и даже с почками, которые ты стащил с моей тарелки, потому что целый баран перешел в тебя.

Нет, господа, вот я скажу речь, так это будет речь, а не разложение живого человека на первичные элементы. Друзья! Никто из вас так не понимает Принцессу, как я. Нам говорят: «Вы ленивы! Вам не хочется даже пальцем пошевелить, лишний шаг сделать...» Слепцы! Да разве ж это не самое прекрасное, не самое благодетельное в мире?! Вот мы ленивы — да разве ж мы способны поэтому сделать кому-нибудь зло? Ох, бойтесь, господа, активных людей! Мы-то, может быть, наполовину и приятные такие, что мы ленивы. Да дайте Принцессе подвижной, деятельный характер, дайте ей инициативу — сколько она нашего мужского человека погубила бы на своем пути?! Этакая красавица, да если бы она не дремала в прямом и переносном смысле этого слова — ряд мужских трупов окружил бы ее, как цветочная гирлянда на голове неумолимой богини Кали! Есть чудачки, которым мил ураган, разметывающий тучи, как щепки, ломающий вековые деревья и срывающий с домов крыши, есть любители бешеной бури на море, когда скалы стонут под напором озверевших волн! Я не из их числа! Мне мила тихая зеркальная заводь, где дремотные ивы, склонясь, купают свои элегические зеленые ветви в застывшей воде и где я вижу свое отражение, тоже мирное, кроткое, не возмущенное рябью никакого беспокойного ветра!

— Однако ты довольно ловко приплел себя к этому тосту, — ядовито перебил его Мотылек, — все «я» да «я»! «Мне мило то-то», «я смотрю туда-то», «я люблюсь собою там-то и там-то». Нарцисс паршивый.

— Молчи, изгнанник из редакционных недр! Придержи язык, заступник Пушкина! Я перехожу сейчас непосредственно к Принцессе. Сегодня вместе с ней на нас сошла сама прекрасная Тишина, наши души окутал сладкий покой nirваны, мы будто стоим на берегу южного знойного моря, заснувшего в такой прекрасной неге, что взять бы крикнуть: «Остановись, мгновение, на всю жизнь! Ты прекрасно!» Но не хочется нарушать криком этого знойного душистого молчания, и стоишь так молча — зачарованный колдовской волшебной царицей лени и сладкой неподвижности. За ваше здоровье, Принцесса! Вы согласны со мной?

— А? Что вы такое сказали? Я, признаться, немного замечталась... Простите!

Общин смех не смутил Кузю. Он сделал рукой знак помолчать.

— Не гогочите. Клянусь вам, что в жизни своей я не произносил такой длинной речи, и еще клянусь, что вопрос великолепной Принцессы есть лучшее подтверждение моих слов и лучший для меня комплимент. Я сейчас молился, понимаете вы это? Моя душа звенела, как Эолова арфа... Мотылек, дай мне спичку.

— Какую тебе спичку?! Моя коробка у меня в пальто, а твоя лежит около тебя.

— О толстокожий! Как ты не понимаешь, что твоя коробка в пальто ближе к тебе, чем моя здесь же на столе! Тебе легче...

— Я не помешаю? — раздался мягкий голос из-за портьеры. — Можно к вам?

Вошел Куколка, свежий, застенчиво улыбающийся красными пухлыми губами, как всегда, безукоризненно одетый — в свежий черный костюм, в элегантном галстуке, с перчаткой на левой руке...

— А, Куколка! Вас только и недоставало до ансамбля. Входите! Позвольте вам представить. Это Ее Высочество принцесса Остготская. Ваше Высочество! Разрешите вам представить нашего юного друга, чудного поэта, для которого наши духовные очи провидят большое будущее.

— Очень счастлив, — сказал, склоняя кудрявую голову, Куколка. — Мое имя Шелковников Валентин... мое отчество...

— Подробности письмом, — бесцеремонно перебил его Мотылек, целуя вместо него на лету белую душистую руку, протянутую Принцессой, — садитесь, сын Аполлона. Ну, что... вас можно поздравить? — осведомился он, подмигивая всей компании.

— С чем?

— С секретарским местом! Ведь я же вас давеча туда направил.

— Ах, — вспыхнул Куколка, — а я и забыл поблагодарить вас! Экая неучтивость. Вы знаете, Мотылек... (вы позволите мне вас так называть?) родной брат не сделал бы мне того, что сделали вы!

— Да что такое? — нервно перебил его Мотылек.

— Дело в том... (Ох, как я вам благодарен. О, какая, господа, это великая вещь — дружба!) Дело в том, что я пошел почти безо всякой надежды... единственно потому, что решил во всем вас слушаться. Ведь я знаю, что вы желаете мне добра...

— Да не мямлите. Ближе к делу! — проскрежетал нетерпеливо Мотылек.

— Ну, что ж... Ваш редактор оказался очень симпатичным. Когда он узнал, что я тот самый поэт Шелковников, о котором последнее время так много писали в газетах, то сделался вдвое любезнее.

«Буду, — говорит, — счастлив сделать для вас все, что ни попросите». — «Я, — говорю, — слышал, что у вас освободилось место секретаря редакции, так вот нельзя ли?..» — «Видите ли, — говорит, — мой принцип — избирать себе помощников только среди людей, хорошо мне известных, но я вижу, что характер у вас хороший, покладистый, да и имя вы себе уже кое-какое приобрели... А кроме того, явились вы под горячую руку!! Так что приступайте с Богом к своим обязанностям...» — «Простите, — говорю я, — я буду согласен на все ваши условия, но разрешите мне поставить только одно свое: я могу занять место лишь тогда, если вы пообещаете напечатать стихи моего предшественника — «Тайна жемчужной устр...»

— Ни за что! — дико закричал Мотылек, вскакивая с места. — Кто вас просил ставить такие условия?! Не хочу! Завтра же отбираю свою «Тайну устрицы»!!

— Пойдите... Да ведь он согласился. Я его убедил.

— Вы его убедили?! — угрюмо сказал Мотылек, обведя всю компанию непередаваемым взглядом. — *Вы его убедили!!* Я его не мог убедить, а *вы* его убедили...

— Я же хотел вам приятное сделать, — моляще прошептал Куколка, прижимая к груди руки. — Если бы я знал, что этого не следовало...

— Он его убедил, — простонал Мотылек, роняя голову на руки.

Потом встряхнулся и угрюмо поглядел на Куколку:

— Короче говоря — место за вами?

— Да, за мной. Но если хотите, я завтра же...

— Нет, нет! — с дикой энергией вскричал Мотылек. — Вы должны, обязаны занять это место! Я так хочу. И вы пишете в этом журнале! Пишите больше!!

— Он и просил у меня стихотворение для следующего номера. У меня и сюжет в голове есть.

Воцарилось долгое молчание, которое каждый переживал по-своему... Один Меценат был царственно невозмутим, тихо посмеиваясь в свои пышные седеющие усы...

Да еще Куколка: он с детским любопытством поглядывал на Принцессу и потом, не выдержав, склонился к уху своего соседа, Новаковича:

— Скажите, эта дама — действительно принцесса? Настоящая принцесса?

— О да, — с готовностью отвечал шепотом Новакович. — Только она не любит, когда ей говорят о ее царственном происхождении. Это вообще тяжелая история... Она недавно пережила большую душевную драму. Дипломаты ее родины задумали выдать ее замуж за абиссинского негуса, а она, понимаете, не может переносить черного цвета... Это, кажется, называется дальтонизм. Или еще проще — идиосинкразия! Она сначала хотела лишиться себя жизни посредством фиалкового корня, но ее спасли, тогда она подкупила слуг и бежала, севши в корзинку воздушного шара, который для забавы был привязан в роскошном саду ее владетельного отца... Северо-восточный ветер и принес ее в Петербург.

— Как же вы с ней познакомились?

— Целая история! Пошел я однажды ночью прогулки ради на Горячее Поле, вдруг вижу — воздушный шар низко-низко над полем летит... А внизу конец гайдропа болтается... так сажени на полторы от земли. Ну, вы же знаете мою силу и ловкость; подскочил я, ухватился за конец и притянул корзинку. В корзинке Принцесса в обмороке и мертвый, уже разложившийся, как говорит Меценат, на свои составные элементы, слуга. Извлек я Принцессу, привел в чувство, и с тех пор, вы видите: нас водой не разольешь, такие друзья. Только вы, Куколка, не напоминайте ей этой истории... Вы понимаете, как тяжело!.. Слугу Рудольфом звали, — добавил Новакович ни к селу ни к городу.

— О, я понимаю, совершенно понимаю, — пылко воскликнул Куколка. — Однако, Новакович, какой это замечательный сюжет для стихотворения, правда?

— Чудный сюжет, — согласился Новакович, запихивая в рот кусок шашлыка. — Вы бы поговорили с Ее Высочеством. А то наши ребята перед ней робеют. А вы такой находчивый.

— Чего ж тут робеть, — улыбнулся Куколка. — Я могу вести какой угодно разговор.

И изысканным тоном обратился к дремлющей Принцессе:

— Как поживаете, Ваше Высочество?

Принцесса открыла глаза и впервые взглянула на Куколку:

— Что вы говорите?

— Я спрашиваю: как вы себя чувствуете?

— Спасибо, очень хорошо. Только они все такие шумные. Давеча даже речи какие-то в мою честь говорили. А вы тоже из их компании?

— Да, я имел счастье недавно познакомиться с Меценатом и его друзьями, и вы знаете, Ваше Высочество, они ко мне отнеслись как к родному. В их обществе я себя чувствую чудесно.

— Отчего они называют вас Куколкой?

Куколка зарумянился и опустил свои длинные шелковые ресницы.

— Право, не знаю... Это меня впервые Анна Матвеевна — достойнейшая женщина! — так окрестила, а им и понравилось.

— Я вас тоже буду называть Куколкой. Можно?

— Пожалуйста, Ваше Высочество.

— А вы не шумите?

— То есть как? Нет, я вообще тихий.

— Ну, тогда хорошо. Заезжайте когда-нибудь ко мне, я вас чаем попою.

— Буду счастлив. Не замедлю.

— А они все такие шумные, — капризно пожаловалась Принцесса. — Новакович однажды Кузю в ковер закатал... Мне же пришлось его потом и раскатывать.

— Какой ужас! — искренно огорчился Куколка. — Но, если не ошибаюсь, господин Кузя, кажется, очень тихий?

— Да он ничего, только однажды в мою раскрытую шкатулку с бриллиантами окурков насовал.

— Пепельница далеко стояла, — вразумительно пояснил Кузя. — Но я люблю бывать у Принцессы. Тихо так, никто не беспокоит. Я один раз у нее часа три в кресле проспал.

— А вы любите поэзию? — осведомился Куколка.

— Люблю, — согласилась, немного подумав, Принцесса, — только чтоб стихи были короткие.

— Мои не длинные, — успокоил Куколка.

— Господа! — нетерпеливо стукнул по столу хмуро молчавший до сего Мотылек. — Когда же мы устроим коронавание Куколки в поэты?!

— Не нравится мне что-то Мотылек, — шепнул Кузя Меценату. — Мы все шутим, смеемся, а у него в



истории с Куколкой какой-то надрыв.

— Мотылька надо понять, — качнул седеющей головой Меценат. — Он талантливее нас всех, а не складывается у него, у бедняги, литературная судьба. Вот он и дергается... Денег дать ему, что ли? Да нет, это его не устроит.

— Когда коронавание? — капризно повторил Мотылек, ударяя ладонью по столу. — Хочу короновать Куколку.

— Да можно в субботу. У меня. Только Яблоньку нужно бы предупредить.

— Хорошо, — поспешно подхватил Новакович с деланно-равнодушным видом. — Я зайду ей сказать.

Кузя толкнул Мецената локтем в бок.

— Да зачем же тебе затрудняться? Я почти мимо ее дома прохожу. Зайду утречком.

— Где тебе! Ты так ленив, что на площадке лестницы заснешь. Не трудись лучше — я сам зайду.

— Нет я!

— Кузя! Опять в ковер закатаю!

— А я высуну голову из ковра да и крикну на весь крещеный мир: «Православные! Телохранитель влюбился в Яблоньку!»

— Дурак! — прошептал Новакович, отворачивая лицо к стене. — Ах, какой ты дурак! И с чего взял, спрашивается.

— Что я взял?

— Что я... этого... люблю Яблоньку.

— Ах, значит, ты ее не любишь? Завтра же доложу ей: «Телохранитель сказал, что он вас не любит!»

— Да чего ты пристал к нему, как комар, — вступился Меценат. — Не смей обижать моего Телохранителя!

— Как это они хотят вас короновать? — спросила Принцесса, мерцая из полутьмы своими черными звездами-глазами.

— Не знаю, — добродушно усмехнулся Куколка. — Но это, вероятно, очень забавно и весело.

Разошлись поздно. Решили всем обществом проводить Веру Антоновну. Ночь была ясная, звездная, и дышалось после душного кабинета легко. Шли так: впереди Куколка вел Принцессу под руку, за ними Меценат об руку с Мотыльком — что-то тихо, но горячо доказывал своему погасшему другу-неудачнику, а сзади Новакович с Кузей энергично доругивались по поводу все той же Яблоньки...

А она, даже не подозревая, что служит предметом спора, уже давно спала в своей белоснежной девственной постельке... Белокурые волосы, как струи теплого золота, разметались по подушке, а полуобнаженная свежая девичья грудь дышала спокойно, спокойно...

# Глава XI

## Приготовления к коронаванию Куколки

— Какой у вас тут беспорядок, — критически заметил Новакович, оглядывая Меценатову гостиную, — отчего вы не прикажете вашим слугам прибраться?

— Ну, слуги! Они тут такой беспорядок сделают, что потом ничего не найдешь. А у меня все на месте.

— Именно что. Например, эта пачка старых газет на ковре около оттоманки, кусок глины на подзеркальнике, грязный полотняный халат на дверце книжного шкафа — все это придает комнате очень уютный, чисто будуарный вид! На крышке рояля такой слой пыли, что все письменные работы можно исполнять на этой крышке. Вот я вам тут напишу сейчас один вопль!

И он четко вывел по слою пыли на крышке рояля:

«Ребята, позвольте рекомендоваться: я — пыль. Братцы, да кто же меня сотрет наконец?!»

Кузя привстал с кресла, прочитал «воплъ» и деловито объяснил:

— Эту пыль нельзя трогать. Она уже осела и лежит себе спокойно, не попадая ни в чьи легкие... А начни ее стирать — наши легкие погибнут.

— А эти бутылки на полу в углу? А грязные пивные стаканы? Удивляюсь, Меценат, как вам не противно!

— Да что тебя вдруг обуял такой бес аккуратности?! — удивился Меценат. — Никогда я этого за тобой не замечал.

— Мне-то, в сущности, все равно, но сегодня у нас будет дама... Ну, как ее посадить в такое кресло, на котором пепла столько же, сколько на голове древнего горющего еврея?! Яблонька не любит грязи!

Все значительно переглянулись и в один голос монотонно затагнули:

— А-а-а!!

Когда один уставал и замолкал, другой подхватывал эту заунывную ноту и тянул дальше, пока его не сменял первый.

— А-а-а!.. А-а-а!..

— Честное слово, я расскажу Яблоньке, как вы надо мной издеваетесь, приплетая ее имя!!

К Яблоньке «клеветы» относились молитвенно, поэтому после угрозы Новаковича рты моментально захлопнулись, как пустые чемоданы.

Впрочем, Кузя не утерпел:

— Телохранитель, когда свадьба?

— Чья? — не понял сразу Новакович.

— Ваша же, ваша! Ты ведь сохнешь так, что даже сахар Анны Матвеевны не помогает. Сдашь государственные экзамены — надевай фрак, белый галстук и делай предложение.

Новакович, уныло свесив голову, помолчал, потом вдруг встряхнулся и сказал с неожиданной откровенностью:

— До чего бы это было хорошо! Конечно — фрак ерунда, но вообще, помимо фрака... Эх, братцы, грех вам смеяться над таким чувством.

— Да мы не смеемся, чудак. Мы сочувствуем. Я это понимаю. Я сам один раз был влюблен в некую вдову — так влюблен, что и сказать невозможно. До того дошло однажды, что я на пол повалился и стал ножку стола грызть.

— Что общего? — возмущился Мотылек. — Тут чистая, благородная, благоуханная девушка, а этот шахматный Кузя со своей затрапезной вдовой вылез да еще ножкой стола подпер?! Новаковича я понимаю, тем более что Яблоньку чудесным образом отыскал именно я. И горжусь!

И закончил прозаически:

— Тем более это стоило Меценату всего два рубля! Куколка обошелся нам в двенадцать раз с половиной дороже...

— Мотылек, не будь циником, — мягко упрекнул шокированный такой странной математической выкладкой Меценат.

— Моя вдова не затрапезная, — обиженно сказал Кузя, думая о своем, — у нее был муж полковник и такая грудь, что вы таких грудей не выдывали! А волосы! А губки!

Новакович счел нужным перебить его:

— Анатомия полковничьих вдов в твоём живописном изложении не является тем предметом, который увлек бы нас! Меценат! Разрешите все-таки, мы тут приведем все немного в порядок. А?

— Как хотите! Разве я могу в чем-нибудь вам отказать? А прислугу не допущу! Она порядок путает.

— Ну-ка, Мотылек, Кузя! Долой пиджаки. Приступим.

Кузя снял пиджак, уселся в кресло и сказал:

— Начинайте! Я буду руководить вами. Мотылек, собери газеты, накрой глину тряпкой и сунь ее под стол подальше! Новакович, сними халат с дверцы шкафа, оботри им пыль и стряхни пепел на пол. Потом подметешь.

Работа закипела, а Кузя, потонув в кресле, изредка командовал Новаковичем и Мотыльком, ворча себе под нос в паузах:

— Хм! «Затрапезная вдова»! Да она бы вас к себе и на кухню не пустила. А ноги у нее какие были — красота! Беленькие, пухленькие... Вот тебе и «затрапезная»! Аристократы нашлись! Отнеси теперь халат к Анне Матвеевне — пусть в грязное белье бросит! А шейка у нее была — мрамор! Бывало, оскалит белые зубки... Окурки, окурки не забудьте смести с подоконника!

Меценат в это время тоже не сидел без дела: он усердно мастерил из золоченой бумаги и разноцветных осколков стекла великолепную корону.

— Порфиру бы ему еще соорудить, черту полосатому, — сказал Мотылек, отрываясь от работы, — да не из чего!

— Послушайте, — задумчиво почесал за ухом Меценат, — а что, если он раскусит нас и обидится... Неловко будет.

Мотылек собрал складки своего лица в очень причудливый рисунок и хихикнул:

— Он-то? Да представьте вы себе — он сейчас плавает в океане блаженства! Я его раздул, как детский воздушный шар! Не встречал я дурака самонадеяннее! Все принимает за чистую монету, строит самые наглые планы насчет своей литературной карьеры и... Да ведь вы знаете, что он каким-то чудом все-таки

удержался на моем бывшем месте в редакции... Я, признаться, думал, что дело окончится скандалом, а он... приспособился! Вот именно такие ничтожества таким болванам, как редактор, и нужны! Впрочем, я спокоен: он удержится до выхода первого очередного номера. А как тиснет в журнале свою «старушку в избушке, кругом трава» — так ведь, как пустое ведро по лестнице, загремит! И опять, хамы этикие, придут ко мне на поклон... Тут-то я и произдеваюсь. А-а, скажу, аршинники, самоварники... О, мне Куколка еще нужен! Я все редакции взорву этим Куколкой... Пусть они его подхваляют да заметочки о нем печатают, вроде как вчера: «Входящий в известность поэт В. Шелковников, о котором в последнее время так много писали, выпускает свою первую книгу, ожидаемую литературными гурманами с большим интересом...» Нет, Куколку обязательно нужно короновать в короли поэтов! А потом я им преподнесу: «Глядите, остолопы! Вот тот властитель мыслей, которого вы заслуживаете!»

— Одна вещь только меня заботит... — обеспокоенно сказал Новакович, крутя свой рыжий ус. — Ведь по проекту церемониала участие в этом идиотском короновании должна принять и Яблонька?

— Конечно! Она увенчает его короной!!

— Ну, вот. Как же мы поступим: объясним Яблоньке, что Куколка — жалкий болван, или оставим ее в неизвестности, придав всей церемонии вид настоящего преклонения перед этим «Божьей милостью» поэтом?

— По-моему, признаться во всем Яблоньке, да и дело с концом! Она же с нами и повеселится.

Новакович твердо посмотрел всем в глаза:

— Нет, ребята, значит, плохо вы знаете Яблоньку! Могу сказать заранее, что будет: узнав, что мы мистифицируем этого жалкого парнишку, она возмутится, назовет нас жестокими, бессердечными, пристыдит нас, укажет на то, что мы зря издеваемся над Божиим творением, что у этого «творения» тоже есть живая страдающая душа — и прочее, и прочее. Одним словом, сорвет всю нашу игру. Вы об этом не подумали?

— Тогда можно Яблоньке вообще ничего не говорить... Представим его как нового Шиллера, Пушкина и Байрона, вместе взятых, и что мы, дескать, хотим почтить это гигантское дарование!!

Новакович покачал головой:

— Значит, вы предлагаете попросту обмануть нашу Яблоньку?

— Да чего ты заныл преждевременно? — вскипел Мотылек. — Сегодня Яблоньке ничего не скажем, а завтра явимся все к ней, падем на колени, поцелуем край ее платья да и покаемся. Кто открыл Яблоньку? Ты, что ли? Я ее открыл! Значит, я за все отвечаю!

Комната была уже прибрана и приняла чрезвычайно свежий вид: посередине на ковре, покрытом шкурой белого медведя, стояло кресло, в свою очередь покрытое великолепной персидской шалью; по бокам кресла — две развесистые пальмы в кадках, задрапированных одеялами. В стороне — маленький столик, на столике красная шелковая подушка, а на ней — сверкающая разноцветными камушками чудесная корона, которая под искусными пальцами волшебника Мецената превратилась в подлинное художественное произведение. В стороне стол — с цветами и фруктами.

Мотылек ходил вокруг, любовно осматривая все эти вещи, и только крякал от удовольствия. Все поработали сегодня достаточно — даже Кузя внес свою лепту в общие труды: разбил фарфоровую вазу для цветов.

Когда Анна Матвеевна выплыла с заказанным шампанским и бокалами — она остановилась посреди комнаты совершенно остолбенелая...

— Это чего такого вы тут настроили?

— Красиво, бабуса? — с гордостью спросил Кузя. — Видите, как я тут все прибрал?!

— Да что это вы... женить кого собрались, что ли? Что за праздничек придумали?

— О, благодетельная Кальвия, — выскочил вперед Мотылек. — Все это для вас! Мы пронюхали, что ровно сорок лет назад вы погасили огонь Весты; уронили пылающий факел девственности и, упав в объятия супруга, перешли на брачное положение. Этот угрюмый факт мы и решили отметить!

— И кто тебе, лешему, такой язык привесил?! — сердито сказала Анна Матвеевна. — Ты бы лучше в церковь ходил да Богу молился!

— Нет, уж вы его не заставляйте Богу молиться, — вступился Кузя. — А то он лоб разобьет — кто будет чинить церковные плиты? Вы, что ли?

За дверью свежий звучный голос произнес:

— Разбойнички!.. А здесь Яблонька! Впустите!..

## Глава XII

### Коронование

Рев восторга приветствовал гостью. Гибкая, золотистая, в платье персикового цвета, с обнаженными руками и открытой шеей — будто кусочки белого мрамора мелькнули перед глазами восхищенных клеветов, — она была обворожительна в своей не искушенной кокетством юности.

От пышных волос, окружавших прекрасное лицо золотым сиянием, до маленьких ножек, обутых в серебристые туфельки, — она вся теплилась, как радостная пасхальная свечка.

— Яблонька, — восхищенно воскликнул Меценат. — Если я ослепну от вашей красоты, как старый Велизарий, будете ли вы водить меня за руку, как тот мальчик, который питал Велизария?

Новакович вздохнул и мрачно ответил за Яблоньку:

— Не такой она человек, чтобы водить за руку. Она за нос водит...

Яблонька в это время здоровалась с Анной Матвеевной, и поэтому горькая тирада Новаковича не достигла ее ушей.

— Голубка ты моя белая, — обратилась к ней нянька. — Хучь ты объясни мне — чего это тут затевается?! От них нешто добьешься толку?! Такое мне объяснили, что тебе, девушке, и слушать неподобно!

— А вы думаете, нянечка, я знаю? Прилетает ко мне Новакович, сует в руку две груши и наказывает, чтоб обязательно я сегодня пришла в самом парадном виде! Спрашиваю, зачем. Мычит что-то.

— Мудреные они, — сокрушенно сказала нянька. — Ты бы их остерегалась, девушка, а то втянут они тебя в историю. Ведь я их знаю — сущие мытари!

— Настало время объяснений, — напыщенно сказал Мотылек. — Сегодня мы коронуем одного чудного поэта, а имя этому поэту: Куколка.

— Что за коронация? — забеспокоилась нянька. — Чего надумали?! Нешто он царь какой?

— Король, бабуся! Король поэтов.

— Ну, дай ему Бог, — смягчилась нянька. — Очень он ладный парнишка: великатный такой, почтительный — не вам, бесстыжим, чета. Да вот он — легок на помине.

Куколка появился, одетый, как и подобает королю поэтов, в черную бархатную тужурку, ловко обрисовывавшую его стройную талию... Черный глубокий тон бархата резко оттенял бледно-розовую свежесть его красивого лица и мягкий блеск белокурых волос.

— Вот они, — любовно сказала нянька, поглядывая то на него, то на Яблоньку. — Две золотые головушки! Будто ангелята в ад слетели.

— Тссс! — зашипел Мотылек, приложив палец к носу. — Частные разговоры не допускаются! Без прозы! Все по местам!

Он низко поклонился Куколке, взял его деликатно за пальцы, усадил в торжественное кресло на белой медвежьей шкуре, подскочил к роялю и, обрушив на клавиши свои проворные пальцы, стройно заиграл полонез из «Сказок Гофмана»...

Кончил. Схватил со стола заранее приготовленный том Пушкина, развернул его, как Евангелие, на

заранее приготовленном месте и звучно прочел:

Пока не требует поэта  
К священной жертве Аполлон —  
В забавы суетного света  
Он малодушно погружен.  
Когда ж в избе старушки скрип  
До слуха четкого коснется...  
Тотчас к бумаге он прилип  
И от нее не оторвется!..

Так он и откатал все стихотворение, причудливо мешая звучащий медью пушкинский стих с пресловутыми Кукольными стихами о старушке. Окончив, захлопнул книгу, благоговейно поцеловал ее и начал речь:

— Ваше величество, дорогой Куколка! В жизни почти всякого большого поэта есть одна неизбежная трагедия... Современники его или недостаточно ценят, или совсем не ценят, и только после смерти поэта приходят признание, слава, почести. Это ужасно!! И вот мы, люди хрупкой утонченной духовной организации, почуяв, что в отношении вас может совершиться та же вековая несправедливость, решили по мере своих слабых сил дать вам при жизни то, на что при других условиях вы бы имели право после смерти! Мы создадим вам славу, потому что вы достойны ее, и сегодняшний день — это первый робкий шаг в страну Очаровательных Возможностей, которые ожидают вас на вашем пути, на том пути, с которого мы заботливо сметем все камни преткновения, все шипы — чтобы шествие ваше встречало по сторонам только цветущие розы, только благоухание цветов и приветственные улыбки благодарного народа, который вы вознесете и облагородите вашим волшебным талантом! Настоящих поэтов коронуют так же, как подлинных королей, поэтому, о прекраснейшая из русских женщин — Яблонька, — благоволите покрыть сверкающее будущим гением чело этой королевской короной. Ур-ра!!

Яблонька, ласково улыбаясь, взяла с подушки корону, надела ее на кудрявую голову «короля поэтов», а «король поэтов» с серьезным видом преклонил одно колено и благодарно поцеловал гибкую душистую ручку...

И все клеветы во главе с Меценатом грянули могучее «ура!», а в углу сидела нянька, растроганная речью Мотылька, и тихо плакала, утирая глаза белым фартуком.

«Ура» продолжало греметь, клеветы выхватили из ваз благоухающие цветы и принялись забрасывать ими сияющего, глубоко растроганного Куколку.

Когда овации утихли, Яблонька подняла с белой медвежьей шкуры темно-красную розу и, приколов ее к корсажу, обратилась к Куколке:

— К сожалению, я еще не читала ваших произведений, но я доверяю литературному вкусу всех, кто находится здесь, и поэтому присоединяю свои поздравления и пожелания... Вот что скажу вам: работайте, рвитесь вперед, не удовлетворяйтесь внешним успехом, а главное — не застывайте на одном месте! В искусстве — все в стремлении.

— Спасибо! А мы с вами еще не знакомы. Позвольте представиться: моя фамилия Шелковников, мое имя...

— Имя ваше можете не произносить, — перебил его Мотылек. — Оно будет прочтено миллионами на обложке ваших сочинений. Господа! Теперь по бокалу шампанского! Яблонька! Предложите королю из ваших ручек.

Когда Мотылек подскочил к разливавшей шампанское Анне Матвеевне, старуха взяла его за ухо и

доброжелательно сказала:

— Ведь вот и шут ты, и сущий разбойник, а сказал давеча так, что меня, старуху, слеза прошибла. Тебе бы остепениться — из тебя бы человек вышел.

— Э, бабуся! Куда мне в люди выходить... Я на себя рукой махнул. Дай Бог других в люди вывести! А я — ни в чем мне нет удачи...

И среди этого напускного веселья густое облако грусти напоззло на морщинистое лицо Мотылька, и такое это было густое облако, что часть влаги осела в одной из морщин под глазом, задержалась на минуту и потом окончательно скатилась на борт пиджака.

— Фу ты, — развязно сказал Мотылек, — сколько газу в этой шампане. Инда до слез!..

А на другой стороне комнаты огорченный Кузя с бокалом шампанского, спрятавшись а глубокое кресло, как черепаха в свой панцирь, бормотал, глядя выцветшими глазами в пространство:

— «Затрапезная вдова»! Да вы, может, таких вдов еще и не нюхали! Грудь как слоновая кость, упругая, как на пружинах, и на рояле хорошо играла... А мужа, может быть, и генералом бы сделали, да он сам не хотел. Зачем, говорит, мне! Я не чинов, говорит, добиваюсь, а дело люблю делать. Дело, дело и только дело! Вот тебе и «затрапезная»!



## Глава XIII

### Болтовня на ковре

Пить вино на полу — была затея Кузи. Он объяснял ее уютностью такого положения, оправдывал примером древних римлян, которые, дескать, тоже всегда во время пиров возлежали, но на самом деле эта мысль имела своим источником отчаянную лень этого вялого шахматиста. Ему очень хотелось полежать, но в обществе растянуться вдруг ни с того ни с сего на оттоманке было невежливо, а если сделать из этого общую забаву, то ему, Кузе, будет удобно, а всем вообще весело...

В центре большого персидского ковра поставили объемистую вазу с крешоном, а вокруг нее радиусами разлеглась вся компания, не исключая и Яблоньки, которой пылкий влюбленный Новакович смастерил царственное ложе: шкура белого медведя, на шкуре плюшевый плед, а на пледе Яблонька, положившая круглый алебастровый подбородок на огромную пушистую голову страшного зверя.

— Дорогие друзья, — предложил Меценат, — мы могли бы заняться светским разговором, но нет ничего более нудного и тягучего, чем эта болтовня, в которой не больше содержания, чем в пустом орехе! Вместо этого пусть каждый из нас расскажет самую диковинную, самую замечательную историю из своей жизни и практики. Это всегда весело и поучительно, а тем более в такой торжественный день. Ну-ка, Телохранитель, начинай! Какой самый удивительный случай был в твоей многоцветной жизни?

Умный Меценат неспроста начал с Новаковича, потому что труднее всего в таких случаях начинать первому, а известно, что Новакович в карман за словом не лазил и в любой момент способен был с самым хладнокровным видом состряпать самую чудовищную историю.

— Извольте, — с готовностью сказал Новакович. — Только в моей истории будет одна девушка и один поцелуй, так что я заранее прошу у Яблоньки прощения за некоторую фривольность сюжета.

— Рассказывайте, Телохранитель, — рассмеялась мягким всепрощающим смехом Яблонька. — Я не такая наивная, чтобы не знать, что некоторые девушки целуются.

— И даже очень! — подхватил Кузя с таким фатовским видом, который ясно указывал, что в этих отклонениях от девичьей добродетели он, Кузя, играл не последнюю роль.

— Кузя! Девушки не твоя среда, помолчи. Вот когда девушка выйдет замуж, да муж ее сделается полковником, да потом умрет, да она останется вдовой с белыми ножками и прочим...

— А вы сегодня мою вдову напрасно обидели, — опять омрачился Кузя. — Как она играла на рояле! И когда играла, так ямочки на плечах, как живые, прыгали...

— Это ты нам расскажешь без Яблоньки, — сурово прервал его пуританин Новакович. — Ну, так вот вам, почтенные, моя история... Называется она —

### *Поцелуй в каюте*

Должен я начать с самой интимной подробности моей прошлой жизни: в дни своей юности я влюбился... Чувства свои я подарил одной очень достойной девушке, а отвечала она мне взаимностью или нет — я не знал, и это чрезвычайно терзало меня!

(При этих словах рассказчик бросил косой взгляд на Яблоньку, ожидая, что веки ее или углы губок предательски дрогнут, но Яблонька самым безмятежным образом была погружена в вылавливание

розовым язычком ананаса из бокала с крюшоном. Рассказчик тоскливо вздохнул и стал продолжать.)

Я и теперь, господа, застенчив и робок с женщинами, а в те времена взглянуть даже на женщину дерзновенным взглядом было для меня подвигом совершенно невозможным. И случилось так, что любимая мною девушка и я должны были ехать на пароходе из Одессы в Севастополь. Я только издали поглядывал на нее да вздыхал, а она была весела, как никогда: каждую минуту подходила ко мне, шутила, подтрунивала надо мной, а когда ее интересовывало что-нибудь из жизни моря — мимо идущий корабль или плывущий обломок лодки, разбившейся где-нибудь о скалы, или резвящаяся за корабельной кормой стая дельфинов, или поле водорослей, колышущееся на поверхности воды, — она обо всем этом меня расспрашивала, и я толково объяснял ей, потому что в морских делах очень хорошо понимаю и во мне, может быть, заглох какой-нибудь морской корсар, и слава Богу, что заглох, потому что за эти штуки по головке не гладят.

Вот так-то беседуем мы с ней, а она вдруг и спроси меня:

— У вас, кажется, есть коллекция открыток с картин Третьяковской галереи?

— Есть, — говорю. — Хорошая коллекция.

— Покажите. Только вы не тащите всего этого сюда, а я, — говорит, — лучше пойду в вашу каюту. Можно?

А у меня была отдельная каюта — капитан был приятелем, так дал.

Услышав предложение любимой девушки, я засиял, как бриллиант Кох-и-Нор, и, конечно, помчался вперед самым гостеприимным образом. Входим мы, и как остановилась она посреди каюты, красивая, будто наша Яблонька, сверкающая черными глазами, белыми перламутровыми зубками, освещенная ярким полуденным солнцем из открытого иллюминатора, как наклонилась она над альбомом жарко дышащей грудью — вспыхнул я, как солома на огне.

И уж буду с вами откровенен до конца — до того захотелось мне поцеловать эту прекрасную девушку, что чуть не до крику.

Собственно, другой на моем месте, может быть, и сделал бы это, потому что девушка относилась ко мне чрезвычайно ласково, но, как я вам говорил уже, характер у меня был дико застенчив. Как так? Среди бела дня вдруг ни с того ни с сего — чмок! Еще если была бы темная ночь — тогда не так стыдно... А то как назло: солнце нагло лезло всеми своими лучами, как осьминог лапами, прямо в открытый иллюминатор, так что я мог пересчитать все вьющиеся мягкие волосики на ее склоненном затылке...

И воззвал я ко Господу:

— Всемогущий! Если для тебя действительно нет ничего невозможного — пошли сейчас ночную тьму, чтобы я мог наглядно объяснить этому твоему прекрасному созданию волнующие меня чувства!

Не успел я вознести к Богу эту краткую молитву, вдруг — трах! В каюте наступает мгновенно такая темнота, что хоть глаз выколи... Не помня себя, я хватаю любимую девушку в объятия, целую, и — о счастье! — она отвечает мне таким же горячим поцелуем!! Оказалось, что я ей давно уже не только не противен, а совсем даже наоборот...

Божье чудо!

Новакович умолк, благоговейно склонив голову на ковер и бросая косые взгляды на Яблоньку, заливавшуюся самым беззаботным, безоблачным смехом.

— Послушай, Новакович, — значительно начал Кузя. — Я в течение нашего знакомства выслушал много твоих историй, но эта сегодняшняя история... гм!! Не находишь ли ты, что всему на свете все-таки

должны быть какие-нибудь границы?!

— Почему? А что тут невероятного? — хладнокровно пожал плечами Новакович.

— Не будешь же ты утверждать, проклятая Эйфелева башня, — заревел выведенный из своего дремотного состояния Кузя, — что ради твоего поцелуя на небе погасло солнце?! Осмелюсь сказать это — и ваза с крошоном будет у тебя на голове!!

— Нет, солнце не погасло.

— Значит, вы оба на несколько минут ослепли?!

— Зрение наше было в совершеннейшем порядке.

— Телохранитель, — вступился Меценат, увидев, что Кузя потерял все свое безмятежное спокойствие и вот-вот готов броситься на Новаковича. — Телохранитель! Если ты нас не дурачишь, то объясни же: откуда среди бела дня вдруг спустилась ночь?

— Ах, простите, я и забыл сказать вам! Дело в том, что у борта парохода резвилась стая дельфинов... И вот один, наиболее прыткий, подпрыгнул выше других и, попав в иллюминатор моей каюты, плотно заткнул своим туловищем отверстие иллюминатора, каковым поступком произвел совершеннейшую темноту, столь благоприятствовавшую вора и влюбленным. То, что я рассказал, факт! Можете проверить у капитана! Он теперь плавает на «Императрице Екатерине», Чайкин фамилия его.

Все прыснули со смеху, а Куколка поднял на Новаковича свои прозрачные, как лесное озеро, голубые глаза и воскликнул с увлечением:

— А вы знаете, Телохранитель, вот прекрасная тема для рассказа в эксцентричном английском стиле!

— Я думаю! Запишите, чтоб не забыть.

— Кузя, — скомандовал Меценат, выпив залпом бокал холодного крошома и утирая усы. — Твоя очередь.

— Моя история коротка, — проворчал ленивый Кузя. — В ней нет ни девушек, ни дельфинов, а есть только —

## ***Двуногая собака***

О двуногой собаке я говорю не в ироническом смысле — это была настоящая собака, и жила она во дворе той гимназии, где я получил свое блестящее воспитание.

Когда я учился в третьем классе — это была обыкновенная четвероногая собака, но когда я перешел, засыпанный наградами, в четвертый класс (хотя моя карьера и не имела прямого отношения к трагическому случаю с псом), то однажды этот ординарный пес потерпел самое оригинальнейшее крушение! Именно: перебегая дорогу, попал под автомобиль, да так попал, что колесом ему начисто отрезало переднюю левую и заднюю правую лапу.

— Какой ужас, — покачала головой сердобольная Яблонька. — Неужели издох?!

— В том-то и дело, сударыня, что выжил! Мы, гимназисты, его и лечили. Но тут вот и начинается самое диковинное: остался он, псенок этот, с одной правой передней и левой задней ногой, причем ходить, конечно, не мог. Это, знаете, как стол, у которого отломаны две ножки по диагонали. Никак его, черта, не поставишь. Но прошло некоторое время — и собака наша стала показывать чудеса... Лежит, бывало, у стенки, греется на солнышке, вдруг — свистнешь ее! Подползет она на брюхе к стенке, обопрется об нее боком да вдруг как побежит!!

— Послушай, Кузя, да ведь это невозможно!

— Почему невозможно?! Она бегала по принципу двухколесного велосипеда: сразу приобретала инерцию и мчалась как сумасшедшая! Но стоило ей только остановиться, как она сваливалась набок, тоже вроде двухколесного велосипеда! И так как ноги ее были расположены не на одной линии с направлением туловища по оси, а вкось, по диагонали, то она бегала не прямо, а всегда загибалась самые крутые виражи.

Кузя поглядел на Новаковича с убийственной иронией и закончил:

— Я вижу, что вы мне не совсем верите, но утверждаю, что собака *такая* была, и, как любит говорить Новакович, это легко проверить: ее звали Лорд! А владельца звали — Гусаков! Он теперь тоже плавает где-то, на чем-то.

После некоторого молчания — дани общего удивления странной Кузиной собаке — перст Мецената направился на Мотылька:

— Твоя очередь, Мотылек. Твой стиль обладает большими литературными достоинствами, и поэтому ты не будешь калечить собак или затыкать дельфинами иллюминаторы! Алло! Мы слушаем.

— Моя история не будет веселой, потому что я нынче настроен не особенно хорошо, хотя коронование Куколки для меня большой праздник! Кстати, Куколка! Благополучно ли вы несете ваши секретарские обязанности?

— О спасибо! Я вам бесконечно благодарен. С редактором мы ладим, хотя знаете что? Он мне говорил, что собирается оставить «Вершины»... Его приглашают редактировать большую ежедневную газету. Хотите, я вас помирю, и он устроит вам в газете заведывание литературным отделом?

— Нет, где там! Я его так тогда отделал, что придется мне жить отдельно от этого отдела — простите за плохой каламбур. А за вас я рад, очень рад, Куколка! Вы оправдываете мои надежды!

Мотылек собрал лицо в клубок морщин, странно поглядел на Куколку и сказал:

— Однако к делу. Моя история под статью моему настроению — будет во вкусе болезненного, причудливого, как орхидея, художника Гойи. Тем более что и в истории этой главное действующее лицо — художник! Итак —

## ***О художнике, который не мог попасть домой***

Я, подобно Меценату, люблю побродить по разным трущобам, поэтому да не покажется вам удивительным, что однажды судьба, прихоть и ноги занесли меня в мрачный трактиришко на Обводном канале, нечто подобное той «Иордани», где Телохранитель при первом знакомстве удержал Мецената от карточной игры с елейным убийцей...

Трактир, в который я попал, был переполнен публикой, плохо одетой и еще хуже воспитанной, что неопровержимо доказывалось двумя висящими на стене суровыми плакатами:

Я полчаса просидел среди шумливой рвани, попивая скверное теплое пиво, как вдруг мое внимание приковал к себе один человек, сидевший налево от меня в полутемном углу этого прокопченного дымом и пропитанного зловонием устаревших кушаний трактира.

Лицо этого человека было бело как мел, углы рта опустились в какой-то невыносимой смертельной тоске, а глаза угрюмо и будто испуганно сверкали из-под надвинутой на лоб широкополой шляпы. Он тоже поглядел на меня длинным тяжелым взглядом из своего угла и вдруг задал странный вопрос:

— А вы чего сюда пришли?

Вот это маленькое словечко «а» впереди фразы и особое ударение на местоимении «вы» главным образом и поразило меня. Благодаря этому фраза приобретала определенную окраску: «Я, мол, пришел сюда потому, что иначе не могу, а какие дьяволы тебя принесли в такое место?»

— Я зашел случайно — люблю понаблюдать низы, — вежливо отвечал я на его странный вопрос. — И потом, не находите ли вы, что в этой грязи и отчаянности падения есть своего рода живописность?

— Не правда ли? — ответил он, забирая свою бутылку вина и перекочевывая к моему столику. — Но на такую картину ни кармина, ни берлинской лазури не потребуется ни капельки — сплошная сепия и терр-де-сиена, с щедрой примесью жженой кости!

— Вы художник?

— Художник. Слушайте, будем пить и разговаривать — у меня есть деньги, я вас угощу. Только, пожалуйста, разговаривайте, разговаривайте больше!..

— Что это, у вас как будто странное настроение? — с любопытством спросил я.

— Ничего не странное! Ничуть не странное — самое обыкновенное! Но... будем разговаривать! Говорите что-нибудь — не могу выносить молчания.

Я принялся рассказывать ему какой-то вздор, и он слушал меня с интересом, даже иногда оживлялся, но сейчас же потухал, и уголки его губ опускались самым демонски угрюмым образом.

«Черт его знает, — подумал я, — не убил ли нынче этот Веласкес какого-нибудь человека?»

— Слушайте, — вдруг спросил я, оглядываясь на шумевшую сзади толпу оборванцев, среди которой я чувствовал некоторую опору в безумной смелости моего вопроса. — Вы сегодня никого не убили?

Нисколько не удивившись моему дикому вопросу, он болезненно поморщился и заторопился:

— Нет, тут не то. Это совсем другое! Впрочем, о смерти не стоит. Вы же сейчас говорили об Анатоле Франсе! Вернемся к Анатолю Франсу.

Вернулись мы к Анатолю Франсу, потом перешли к Малларме, переехали на Барбе д'Оревилю — всех трех странный художник знал превосходно.

Особенно взволновала и растрогала его история, которую я незадолго до этого прочитал во французских газетах: однажды на рассвете на скамейке одного из бульваров Парижа нашли мертвого старика, как потом оказалось, поэта. И в карманах его ничего не обнаружили — ни денег, ни документов, — кроме трех вещей: свертка рукописных стихов, штопора для откупоривания бутылок и пряди тонких женских белокурых волос, завернутых в полуистлевшую бумажку. Вот что было в кармане трупа на бульварной скамейке. Смерть настоящего поэта!

— Вот это я понимаю, — воскликнул художник, выслушав историю парижского поэта. — Да, это так! Он был настоящий поэт, как и я, может быть, настоящий художник!

Я огляделся: трактир уже опустел, так как незаметно нахлобучилась на беспокойную голову столицы сырая петербургская ночь.

Слуга, изжеванной судьбой наружности, усыпанный веснушками, как паркет маскарадного зала — конфетти, подошел к нам и твердо предложил:

— Идите домой. Заведение закрывается.

— Голубчик, мы еще немножко... Еще полчаса посидим. Я заплачу!

— И что это вы за господин такой! — угрюмо и подозрительно проворчал слуга. — И вчера не хотели уходить, и позавчера... У нас с полицией строго — такой час, что закрываем!

— Может, кабинетик какой есть или вообще комнатка?.. Вы бы нам — полдюжины вина, телятинки холодной и свечей пару! Ничего больше не потребуется, и можете спать...

— Собственно, и мне пора домой, — нерешительно пробормотал я.

— Дорогой, милый, — ни за что! Оставайтесь. Вы еще расскажете что-нибудь, выпьем вина — хорошо? Не оставляйте меня одного!

Я не совсем благосклонно пожал плечами и по темной скрипучей лестнице поднялся следом за ним вверх.

Уселись. Выпили еще вина.

Только наш неожиданный, причудливый, призрачный Петербург может щегольнуть такой зловещей комбинацией: мрачная сырая комната без всякой мебели, кроме тяжелого стола, покрытого сырой дырявой скатертью, комната, где будто застоялся запах старого убийства; за окном густая, как кисель, сырая ночь, дышащая в лицо тифом, а против меня — тускло освещенный единственной свечкой человек, из опущенных углов рта которого вопияла смертная тоска, а глаза испуганно, умоляюще вонзались в меня с молчаливым криком: не умолкайте! Говорите о чем угодно, но не молчите!

Однако наступил момент, когда я совершенно иссяк и умолк, устало прикрыв глаза веками.

— Ваши родители живы? — вдруг спросил меня художник вне всякой связи с предыдущим разговором.

— Отец жив; мать умерла.

— Умерла?!! Неужели? А что ж вы с ней сделали, когда она умерла?

— Да что ж с покойницей делать? Как полагается — похоронили честь честью.

— А как?!! Как это делается? Расскажите!

Я невольно отодвинулся от него к окну. Мелькнула мысль: сумасшедший.

— Вы думаете, я сумасшедший? Даю вам слово — нет. Тут не то. Тут другое. Не знаю, поймет ли кто-нибудь меня...

Я решительно встал с места:

— Вот что, дорогой маэстро! Если вам мое общество приятно — вы сейчас же немедленно расскажете мне, что с вами такое делается! Если нет — сейчас же уйду! Ну вас к черту с вашими истерическими вопросами и с тоскующими глазами птицы Гамаюн! В чем дело?

Он подошел к окну и, вперив в него лицо, долго вглядывался в серую слепую сырую слизь, которая в Петербурге пышно именуется «ночь».

Потом отвечал. Не мне, а этой унылой ночи:

— У меня умерла жена.

— Это огромное несчастье, — деликатно ответил я. — Но нельзя же быть таким... странным!

— Я знаю. Но у меня нет мужества вернуться домой... И потом — не смейтесь! — я не знаю, как это делается!!

— Что делается?!

— С покойниками. Первый раз в жизни. Пятые сутки брожу по трущобам. Дома не был.

— А жену когда похоронили?

— Не хоронил еще. Дома лежит. Слабое сердце. Получила телеграмму о смерти отца — не выдержала. Упала. Разрыв сердца.

— Безумец вы! Пять дней — и она лежит непогребенная?! Почему не похоронили?!

— Поймите — мы здесь одни жили: без друзей, без знакомых... Ну, вот — смерть. А как с ней обращаться, со смертью-то — не знаю. Первый раз в жизни. Ушел я из дому и... не могу туда вернуться. И страшно, и не знаю: что же делать с ней. Жену я очень любил — поймите. А там... ведь это обмывать как-то нужно, свечи разные. Псалтырь читать — откуда я все это знаю? Вот и отдаляю момент возвращения. Пью. Страшно там, поди. На полу так и лежит. Пять дней. И чем дальше, тем все страшнее пойти.

— Знаете что? Стол этот достаточно большой. Ложитесь-ка на нем до утра. А мне дайте ваш адрес, ключ, я все устрою — потом вернусь за вами, когда уже будет готово...

Он поглядел на меня, как на Бога, благоговейно сложив руки, и покорился во всем, как дитя. Лег на стол, положив под голову пиджак, вздохнул и сказал извиняющимся тоном:

— Я над ней больше суток просидел. Пожалуй, даже не плакал — все смотрел на мертвое лицо. А когда обоняние мое почувствовало странный и неприятный запах, совсем жене не присущий, — испугался и убежал из дому.

Было уже светло. Я заехал к себе домой, захватил там квартирную хозяйку, старуху, очень понимающую во всех этих погребальных штуках, потом в участок, взял околоточного и доктора, вошли мы в мастерскую художника. Действительно, на полу лежит женщина, и первый, кто устроил ей погребальный обед, были крысы, порядком объевшие покойницу. Да... Нелегко дышалось в этой комнате!

К вечеру вся процедура была закончена, мастерская проветрена, покойница запрятана в мокрую зловонную трясику, именуемую в столице кладбищенской могилкой, и я торжественно ввел во владение мастерской художника, терпеливо дожидавшегося меня в труппе на Обводном канале. И что ж вы думаете? Когда он вошел в мастерскую, первым долгом поглядел на то место на полу, где лежала жена, благодарно поцеловал меня, пробормотал: «Сейчас буду писать ее в раю, куда она, я полагаю, попала», — и, как ни в чем не бывало, принялся загрунтовывать свежий холст. Писал до вечера. Это он хорошо делал. Потом я видел картину... Прекрасная! Этакая мистическая вещь. На выставке была.

Мотылек обвел удовлетворенным взглядом притихших слушателей и добавил:

— А что вы думаете, Меценат! Этот непрактичный художник, это Божье дитя любил «живую жизнь» еще больше, чем мы с вами!

— Ты меня обокрал, Мотылек! — печально улыбнулся Меценат. — Я хотел рассказать историю в том же грустном зловещем стиле, а ты меня опередил!

— О, милый Меценат, — поощрительно возразила Яблонька. — Вовсе не обязательно, чтобы история была веселая. Мотылек, например, очень угодил мне своим рассказом во вкусе Гойи. Начинайте и вы!

— Яблонька может вертеть мной, как ребенок погремушкой. Тряхнула — и я начинаю греметь. Позвольте мне назвать свою историю —

## ***О сумасшедшем, которого обманули***

Два года тому назад проживал я летом в одном из своих имений... Река, сенокос, парк, огромный плодовый сад — хорошо! Приехал ко мне в гости приятель, кандидат прав — Зубчинский. Уселись мы с ним на веранде, увитой диким виноградом, играть в шахматы — оба были страстные шахматисты. Сбоку столик, на столике белое вино со льдом, ягоды, бисквиты — хорошо! Передвигаем фигуры, болтаем о том о сем,

вдруг он, сделав удачный ход, на минутку призадумался, посмотрел на меня странными глазами и говорит:

— Что, если шахматного коня сеном накормить? Можно тогда партию выиграть?

Шутка была глупая. Я пожал плечами, снисходительно усмехнулся и говорю:

— Что за дикая мысль пришла тебе в голову?

— Нет, не дикая! (И смотрит на меня нехорошими глазами.) Нет-с! Не! Дикая! Сено — великая вещь. Если теноров кормить сеном, они как соловьи будут петь! А вам все жалко?! Лошади у вас живут без сена — безобразия!

— Николай Платоныч, — испуганно говорю я. — Что это ты, от жары, что ли? Опомнись!

Завизжал он дико, пронзительно:

— Не потерплю! У самого сенокосы по пятьсот десятин, а он лошадей с голоду морит!! Во мне, может быть, душа лошади — и я страдаю! Подлецы!!

Волосы у него сделались влажными, стали дыбом.

Я его взял за руку, а он как обожженный отскочил, закричал, перекинулся через перила веранды и давай по клумбам сигать, точно жеребенок...

— Ход коня! — кричит снизу. — Видишь? Парируй, подлец!

Прыгал он, прыгал, наконец, очевидно, острый пароксизм прошел, утомился, притих, улегся на ступеньках веранды и принялся тихо, жалобно плакать.

Я долго стоял над ним в раздумье. Положение было жестокое и глупое. Что Зубчинский мой сошел с ума — я, конечно, не сомневался. Но что с ним делать дальше? Помешательство, очевидно, буйное. Связать его и запереть в сарай — жаль. Все-таки приятель. До ближайшего доктора двадцать верст, до губернского города, в котором была и лечебница для умалишенных, — около тридцати. Но как довезти его туда, такое сокровище? Сумасшедшие необычайно подозрительны, хитры, и, конечно, мой Николай Платоныч сразу догадается, куда я его везу... А догадается — страшных вещей может наделать. Силища у них в этом состоянии непомерная — и Телохранителю, пожалуй, не справиться.

Пока я стоял так над ним в раздумье, приблизился мой управляющий — человек со светлой головой, бывший провинциальный актер, потянувшийся за мной на лоно природы. Он из окна своего флигеля видел, какие курбеты выделывал на клумбах мой кандидат прав, и поспешил на помощь.

Я отвел его в сторонку, посвятил в двух словах во всю эту глупую историю, спрашиваю:

— Что делать?

— Не иначе как в город везти нужно, в сумасшедший дом.

— Да ведь как его отвезешь-то? Ведь он тут все переломает и нас перекалечит.

— Хитростью надо взять.

Призадумался я — и вдруг, как птица крылом по воде, зацепилась у меня в мозгу мимолетная, но очень светлая мысль.

— Вот что... — сказал я. — Вы можете часа на четыре притвориться сумасшедшим?

Смотрит на меня управляющий умными глазами, ухмыляется:

— Конечно, могу. Актером я был неплохим.

— Ну и ладно. Попробую подловить на это беднягу. Сядьте-ка там за столом и скроите физиономию



по возможности наиболее идиотскую. А я с ним поговорю.

А Николай Платоныч плакал, плакал и затих. Задремал, что ли... Сел я около него на ступеньки веранды, потряс его за плечо и говорю:

— Николай Платоныч, а Николай Платоныч!

Поднял он измученное осунувшееся лицо и спрашивает:

— Что тебе?

— Послушай... У меня, брат, большое несчастье!

— А что такое?

— Мой управляющий с ума сошел.

В его тусклых глазах блеснул интерес.

— Да что ты? Гаврилов? С ума сошел? С чего же это он?

— А черт его знает. Понимаешь, стал уверять, что он нынче утром крысу проглотил.

— Вот дурак-то! Как же это человек может проглотить крысу?

— То же самое и я ему говорю! Никаких резонов не принимает — сидит внутри крыса, да и только!

— А знаешь что? Дай я с ним поговорю. Может, урезоню.

Подошел к управляющему. Стал разглядывать его с огромным интересом и сочувствием.

— Послушайте, что с вами случилось?

— Крыса внутри сидит. Нынче нечаянно проглотил.

— Ну, Гаврилов, голубчик! Подумайте сами: ведь это вздор. Как это человек может проглотить крысу? Ведь вы человек интеллигентный, знаете строение гортани, пищевода...

У моего Гаврилова лицо до того тупо-идиотское, что смотреть противно.

— Раз я вам говорю, что у меня внутри крыса, значит, она там. Вот приложите руку к животу — слышите, как скребет когтями внутри?

— Поймите, что никакое живое существо не выдержит температуры желудка...

— Не морочьте голову... Вы подкуплены хозяином.

Плюнул Николай Платоныч, отошел ко мне:

— Форменный сумасшедший! Я ему логически доказываю, что не может быть живая крыса в человеческом животе, а он черт его знает что несет. Послушай... Давай его полечим, а?

— Чем же его лечить?!

— Покормим сеном. Живые соки, которые находятся в стебельках свежего сена, могут оказать очень благотворное действие на серое вещество мозга. Понимаешь — сочное сено! Накормим его, а?

Я сделал вид, что размышляю.

— Сено, конечно, очень полезная вещь. Но как его дозировать? Очень сильная доза может оказаться убийственной. Здесь без доктора не обойдешься.

— Так отвези его в сумасшедший дом, там его поставят на ноги.

— Я бы и отвез, но одному трудно. Друг Николай Платоныч, выручи! Давай его вместе отвезем.

— Послушай... А вдруг он догадается, куда мы его препровождаем?

— А ты с ним поговори. Соври что-нибудь.

Николай Платоныч сомнительно покачал головой, приблизился к Гаврилову и сказал, хитро на меня поглядывая:

— Вот что, друг Гаврилов! Мы тут обсудили этот вопрос с крысой и решили вас везти в город на операцию. Раз крыса в желудке, нужно его вскрыть и извлечь оттуда инородное тело. А потом уж я буду долечивать вас сеном — согласны?

— Я боюсь докторов! Вообще же есть у меня один приятель — доктор, да он в доме умалишенных служит.

Глаза сумасшедшего радостно блеснули.

— Ну, вот мы вас к нему и отвезем. Конечно, знакомый доктор лучше!

Он подошел ко мне на цыпочках и подмигнул на Гаврилова с дьявольски лукавым видом:

— Все устраивается как нельзя лучше. Этот болван со своей глупой крысой внутри сам лезет в лапы психиатров. Вели закладывать лошадей — мы его живо домчим.

И вот, когда мы уселись в экипаж, нужно было видеть, с какой трогательной заботливостью относился настоящий сумасшедший к поддельному. Он закрывал ему ноги пледом, хлопотливо засовывал за жилет клоч сена («Жизненная эссенция сена очень хорошо размягчает инородные тела внутри организма...»), изредка во время пути обращался к Гаврилову, сочувственно кивая головой:

— Ну что, Гаврилов?.. Успокоилась крыса?

— Нет, ворочается, проклятая.

— Ах ты ж, история какая. Ну, потерпи, голубчик... вот привезем тебя, сделаем операцию — и все как рукой снимет.

Приехали. У ворот дома умалишенных Зубчинский заботливо помог Гаврилову выйти из экипажа и, деликатно поддерживая под локоть, стал всходить с ним по ступенькам лестницы.

Я шел сзади, а сердце отчего-то тоскливо ныло.

На наше счастье, в приемной находился в тот момент доктор с ассистентом и два здоровенных служителя в белых халатах.

— Чем могу служить? — деловито спросил доктор.

Оставаясь благоразумно около входных дверей, я сделал незаметный знак доктору и сказал:

— Да вот приятель у меня захворал. Не можете ли вы его освидетельствовать?

— Понимаете, доктор, — развязно вступил в разговор Зубчинский. — Вообразил он, что в его животе сидит крыса, и...

— Дело, собственно, не во мне, — вежливо шагнул вперед, кланяясь и делая знак доктору, Гаврилов. — А мы привезли к вам господина Зубчинского...

Доктор опытным взглядом окинул лица обоих и сразу понял, в чем дело.

— То есть он шутит, — насильственно улыбаясь и странно дрожа, сказал заискивающе Зубчинский. — Если крыса действительно сидит внутри, то препарат свежего сена...

— Хорошо, хорошо. Но вы, господин Зубчинский, пока отдохните, вы устали с дороги. Уведите этого

господина в восьмой номер!

Глаза Зубчинского странно округлились, он дернулся вперед, но четыре могучие руки уже клещами держали его сзади. Он увидел ясно сразу, все в один момент: Гаврилова, деловито что-то шепчущего на ухо доктору, и меня, отворачивающего от него смущенное лицо, меня, который уговорил его помочь, меня, который уже взялся за ручку двери, чтобы уйти, покинуть его.

И страшный, как лязг железа, стон прорезал застоявшийся больничный воздух:

— Обманули!!! Доктор, они меня обманули!! Погиб!!

Не помня себя я выскочил из приемной, кубарем скатился с лестницы и опомнился только тогда, когда Гаврилов догнал меня на улице, усадил в экипаж и мы выехали снова на степной простор среди желтеющих полей. Гаврилов молчал, но, если бы даже он заговорил, я бы не слышал его голоса. Все заглушалось этим до сих пор звенящим в ушах пронзительным криком, в котором слилось все человеческое отчаяние, ужас, страшный упрек и огромное страдание при столкновении с подлостью людской:

— Обманули!!!

Рассказ произвел большое впечатление. После общего молчания лежащий около Яблоньки Новакович вздохнул своей могучей грудью так, что даже приподнялся корпусом, и сказал задумчиво:

— Эти две истории — ваша, Меценат, и Мотылька — навалились на меня, как две надгробные плиты. Я возлагаю большие надежды на Яблоньку в смысле освежения этой склепообразной скелетоподобной атмосферы. Рассказывайте что хотите, Яблонька, и если даже вы заткнете какой-нибудь иллюминатор дельфином, все равно окружающие будут в восторге.

Яблонька погладила нежной, как лепестки розы, рукой огромную голову белого медведя и, сжав значительно губки, погрузилась в задумчивость... Потом решительно тряхнула жидким золотом своих растрепавшихся волос.

— История моя так же коротка, — улыбаясь, сказала она, — как и случай с двуногой собакой, хотя я и не так ленива и односложна, как ее автор Кузя. Так как у нас уже установилось правило, чтобы давать рассказываемым историям заглавия, то моя история должна называться несколько легкомысленно —

## ***Связался черт с младенцем***

Два года тому назад жила я с родными на даче. При даче был небольшой парк, который непосредственно переходил в лес, отделяясь от него деревянным высоким забором. По сю сторону забора стояла скамья, на которой я любила сживать с томиком Тургенева или Гончарова, пригретая солнышком, обвеянная смолистым ароматом деревьев...

Сию однажды, читаю, вдруг — слышу за забором шорох. Сначала я подумала, что это пробирается кто-нибудь из гуляющих дачников, переждала немного, опять углубилась в чтение, вдруг ухо мое ясно уловило за забором чье-то дыхание. Человек всегда инстинктивно чувствует, что за ним наблюдают, и я это сразу почувствовала: за забором в щель меня кто-то разглядывал...

— Кто там? — строго спросила я. И вслед за этим услышала шорох чьих-то быстро удаляющихся шагов.

Тут же этот пустяк сразу и вылетел из моей головы, но вечером, когда я вернулась с прогулки по озеру в свою комнату, мне в глаза бросилась странная вещь: на туалетном столике, прислоненный к зеркалу, стоял образ святителя Николая Чудотворца в золоченой ризе. Вне себя от удивления, я позвала прислугу,

опросила всех домашних — все выразили полное недоумение: такого образа ни у кого в доме не было и в мою комнату никто не заходил, тем более что дверь была мною заперта.

Мы все в душе немного Шерлоки Холмсы, поэтому я, оставшись одна, стала на колени и внимательно освидетельствовала ковер. Следов, конечно, никаких не было, но по линии от раскрытого окна до туалетного столика я обнаружила несколько песчинок, лежавших небольшими островками на определенном друг от друга расстоянии. Конечно, это мне ничего не объяснило, так как и сама могла занести на подошвах эти песчинки — пришлось предать чудотворный случай с Николаем Чудотворцем забвению.

Но дня через два повторилось то же самое: утром чье-то дыхание за забором и шорохи, вечером на туалетном столике я обнаружила флакон французских духов, уже откупоренный и начатый.

Я опять взяла всех на допрос, и снова все отозвались полным незнанием, а горничная посоветовала запирать мое окно, выходящее в сад.

Я так и сделала, но на четвертый день окно оказалось открытым, а на столике лежало несколько книг в великолепных переплетах, но по содержанию их подбор был самый странный: два тома Энциклопедического словаря, том стихов Бодлера, роскошное издание «Бабочки Европы» Мензбира и «Семь смертных грехов» Эженя Сю в русском переводе...

Мне сделалось не по себе. Очевидно, кто-то через окно являлся в мою комнату, как к себе домой, и хотя ничего не уносил, а, наоборот, одаривал меня же, но, согласитесь, неприятно чувствовать, что «мой дом — моя крепость», это фундаментальное правило англичан, уже кем-то неоднократно нарушено.

На другое утро я, не переставая размышлять об этой дурацкой истории, захватила томик Бодлера и «Бабочки Европы» — с целью рассмотреть все это и направилась к своей любимой скамейке. Снова за забором шорох и чье-то дыхание... Я подождала немного, сделала вид, что всецело погружена в разглядывание раскрашенных политипажей, — и вдруг, как молния, внезапно обернулась назад. Взгляд мой успел схватить чью-то рыжую голову в жокейской фуражке, при моем движении вдруг провалившуюся вниз с легким восклицанием.

— Послушайте, молодой человек, — строго сказала я. — Подглядывать неблагородно. Лучше уж покажитесь, чем прятаться за забором, как заяц.

— Я не прячусь, — сконфуженно пробормотал рыжий «молодой человек», снова выглянув из-за забора. — Я тут... вообще на сад люблюсь.

Вдруг взгляд моего нового знакомца упал на книгу Мензбира, которую я держала в руках, и лицо его засияло от удовольствия:

— Понравилось вам, барышня? — спросил он, указывая грязной рукой на книгу. — Книжонка, кажется, стоящая. А? Чудеса, можно сказать, природы!

И тут я сразу догадалась, кто был автором всех этих нелепых подношений.

— Значит, это вы лазите через окно в мою комнату? — сурово спросила я, еле удерживая улыбку при виде его смущенного лица.

— Простите, барышня. Я ж ничего и не взял у вас. Наоборот, презентовал кой-чего на память.

— Зачем же вы это делаете?

— Очень вы мне приятны, лопни мои глаза! На вас и поглядеть-то — одно удовольствие. Сломайте мне два ребра, ежели вру!!

Объяснение в любви от такой нелепой рожки не могло польстить моему женскому тщеславию, и я

сказала еще суровее:

— Чтоб этого больше никогда не было, слышите? И потом, я не хочу, чтоб вы тратили деньги на подобные глупости!

— Тю! Кто это? Я трачу? Об этом не извольте беспокоиться — ни копейки-с! Все задаром. А образок я вам, как говорится, на счастье. А ежели что не нравится, так мигните — все настоящее предоставлю: из материи что али из брошков, с браслетов...

— Да вы что, купец, что ли?

— Так точно, — хитро ухмыльнулся он. — Почти что купец. Некупленным товаром торгую.

Я хотя и девушка, почти не знающая жизни, но сразу сообразила, что это за купцы такие, которые «некупленным товаром торгуют».

— А что, если я на вас полиции донесу?!

— Ни в жисть не донесете, — спокойно сказал он, пяля на меня свои глупо-влюбленные глаза. — Не такой вы человек, чтоб другого под монастырь подвести. Нешто такие беленькие доносят?

Этот вор был большим психологом. Я помолчала.

— Что же вам от меня нужно?

— Разик на вас глазом глянуть да презент какой исделать — больше мне ничего и не требуется. Уж такая вы барышня, что прямо на вас молиться хочется. Два ребра сломайте, ежели вру!

— Молиться, говорите, а сами для меня вещи воруете.

— Зачем специально для вас? Я кой-что и для себя делаю.

Посмотрела я на его рыжую расплывшуюся физиономию, и почему-то жалко мне его стало.

— Слушайте, голубчик... Если я вас о чем-то попрошу, вы сделаете?

— В один секунд! Голову себе или кому другому сверну, а добуду! Два ребра!..

— Вы меня не поняли!.. Я прошу вас о другом: бросьте это ваше... занятие!

Он призадумался, изящно почесывая оттопыренным большим пальцем рыжую голову.

— «Работу» бросить? Гнилой это плант ваш, прекрасная барышня. Делу я никакому не приучен — только «работать» могу. Да кто меня и возьмет на дело? Извольте полюбоваться на личность — прямо на роже волчий паспорт нарисован, за версту от меня вором пахнет.

Ах, бедняга! В этом он был категорически прав, даже не клянясь двумя сломанными ребрами.

Представьте себе, долго я с ним беседовала, и хотя, несмотря на все доводы, не могла направить его на правильный путь, но расстались мы друзьями. Он даже дал слово не таскать мне в окно «презентов», вымолил только разрешение «чувствовать меня лесными цветочками».

Я видела, что встречи со мной доставляют ему огромную радость, и думаю я, что помимо этого невинного удовольствия — никаких утех в его горемычной жизни, исключая пьянство и чужие сломанные ребра, — никаких других утех не было!

Приходил он к забору в течение лета несколько раз. Я ему связала в «презент» гарусный шарф, а он перекидывал мне через забор «лесные цветочки», но и тут раза два по своей воровской натуре жульничал, потому что однажды презентовал мне цветущий розовый куст, выдернутый с корнем, а другой раз преподнес букет великолепных оранжерейных цветов, бешено клянясь при этом всеми сломанными ребрами мира, что сорвал в лесу. Дикий человек был (закончила Яблонька с ясной светлой улыбкой) — что

с него взять!

— Где же он теперь, этот ваш рыцарь без страха, но с массой упреков?.. — ревниво спросил Новакович.

— Ах, я боялась этого вопроса, — уныло, со вздохом прошептала Яблонька. — Конец этой истории такой грустный, что я хотела не наводить на вас тоски... но раз вы спрашиваете — закончу: когда я уже жила в Петербурге, мне однажды какой-то оборванец принес безграмотную записку на грязном клочке бумаги. Недоумеваю, как он узнал мой адрес... В записке значилось: «Если вы точно что ангел, то не обезсудьте, придите проститься. Очень меня попортили на последней работе — легкия кусками из горла идут. Повидаться бы!! Лежу в Обуховской больнице, третья палата, спросить Образцова... Ежли ж когда придете — оже помру, — извините за беспокойство».

— Что ж... пошли? — тихо спросил Меценат.

— Конечно! Как же не пойти. Труд не большой, а ему приятно. Засиял весь, как увидел. Этакий рыжий неудачник, прости его Господи. При мне же и умер... Сдержал-таки свою любимую клятву «сломанными ребрами»: доктор говорил — три ребра сокрушили ему.

Вдруг Яблонька вздрогнула и, отдернув руку, лежавшую около Куколки, поднесла ее к лицу.

— Кто? Что это? Неужели Куколка? То, что вы поцеловали мою руку — так и быть, прощаю вам, но что на ней ваши слезы — нехорошо. Мужчина должен быть крепче.

— Господи! — в экстазе вскричал Куколка, приподнявшись с ковра на колени и молитвенно складывая руки. — Неужели такие женщины существуют? Как же, значит, прекрасен Божий мир!!

Мгновенную легкую неловкость развеял Мотылек:

— А ваша история, чувствительная Куклиная душа?! Вы должны ее рассказать — чтоб мне два ребра сломали!!

— О друзья! Позвольте мне ничего не рассказывать... После истории Яблоньки все другие истории покажутся шакальим воем. Да если вы хотите — самая чудесная история в моей жизни — это та, которую вы знаете: знакомство с такими замечательными людьми, как вы, и та сила, та мощь, которую вы в меня вдохнули и которая, я чувствую, сыграет огромную роль в моей жизни!! Последний бокал пью за ваше здоровье и счастье, мои родные друзья!! Уже поздно. Не пора ли спать? Этого вечера я никогда не забуду!..

Домой шел Куколка, пышно освещенный полной луной. Глаза его, полные слез, были обращены к небу, и там в неизмеримой роскошной глубине он видел прекрасного Бога, окруженного сонмом сверкающих серафимов и не чувствовал в этот момент Куколка под собой земли, потому что, когда наткнулся на уличную проститутку, то даже вопреки своему обыкновению не извинился.

## Глава XIV

### Куколка входит в моду

Случаются в Петербурге такие воскресные дни, когда воздух делается как-то чище и светлее, небо ярче и солнце светит, точно праздничная русская девушка в алом сарафане, идущая в церковь под бурный и радостный колокольный звон, — солнце светит тоже по-праздничному... Тогда будни уползают, как серые старые змеи, куда-то далеко и на душе весело, радостно. Тогда музыка городской суеты звучит ленивее и гармоничнее, а золотые пылинки в дружески теплом луче солнца, протянутом от неплотно задернутой портьеры до узорчатого ковра над кроватью, пылинки пляшут особенно беззаботно и лихо...

Хоровод этих крошек особенно затанцевал и закружился, когда Куколка потянулся в своей постели и раскрыл сонные глаза.

Утренний церковный благовест разлился круглыми, тугими, упругими, как литые мячи, звуками, и несколько таких медных мячиков-звуков запрыгало в Куколкиной комнате, схватившись за руки с пляшущими золотыми пылинками.

Этот веселый утренний бал окончательно вернул Куколку от сна к жизни.

Он бодро вскочил, накинул халатик, заказал хозяйке кофе с филипповскими пирожками, принял ванну и, освеженный, особенно благодухный в предвкушении праздничного дня, важно развернул свежую газету. В отделе литературной хроники было написано и о нем:

«Входящий в известность писатель В. Шелковников едет в скором времени в Италию на Капри, где будет работать над задуманным им романом».

Куколка улыбнулся и с дружеским упреком покачал головой:

— Ах, Мотылек, Мотылек! Вечно он что-нибудь выдумает... Впрочем, это он для меня же. Какой такой роман? И в голове даже не было. А роман хорошо бы написать. Толстый такой. В трех частях.

Снова гулко и тяжело грянули воскресные колокола; Куколка при этих звуках вдруг бросил газету и всплеснул руками:

— Боже ты мой! А помолиться-то я и забыл!..

Очевидно, для Куколки это было важное упущение («Пойди-ка потом исправь! Как исправишь?»), потому что он немедленно же опустился перед образом на колени и вознес к Богу ряд мелких и крупных молитв, где причудливо смешались воедино прошения и благодарения за посланное свыше: молился он за мать, за Россию, за Мецената и Мотылька, за Кузю и Новаковича — его новых, таких преданных друзей; за то, чтобы тираж «Вершин», где он секретарствовал, вырос вдвое, благодарил Бога за ниспосланный ему талант, вознес самую пышную гирлянду лучших отборных молитв за прекрасную, чудную Яблоньку, а вспомнив, кстати, и о ее знакомом рыжем воре, испросил и для него у Господа Бога мирного упокоения в селениях праведных.

Чистая душа был этот Куколка, и сердце его возносилось с просьбами ко Вседержителю с такой же сыновней простотой, с какой мальчишка выпрашивает у матери лишнюю горсть орехов.

Покончив с религиозными хлопотами и заботами, Куколка бодро нырнул в светские дела, а именно: выпил большую чашку кофе с двумя популярными филипповскими пирожками, еще тепленькими, и принялся писать матери в провинцию восторженное письмо о своих блестящих шагах на поприще

литературной славы, о верных друзьях меценатовской плеяды, о Яблоньке, которая, по его меткому утверждению, была лучшим Божьим созданием на земле, о романе в 3–4 частях, который он предполагает писать (так здоровое зерно, брошенное в черноземную почву, немедленно дает роскошные ростки), о взаимоотношениях редактора и издателя «Вершин», о своей квартирной хозяйке — о многом писал Куколка, много зернистых мыслей и сведений опрокинул со дна чернильницы на бумагу, много дряни и трухи втиснул туда же, инстинктивно памятуя, что родительский желудок все, все, решительно каждую крупницу с жадностью поглотит и все с благодарностью переварит...

Только что окончил Куколка письмо, как в дверь постучали.

— Пожалуйста, войдите, — разрешил Куколка.

Господин с жесткой щетиной на лице и искательными глазами, в узкой, отлакированной временем, венскими стульями и пивными столиками без скатерти визитке, в брюках, чудовищно вздутых на коленях, будто он сунул туда два футбольных мяча, — такого вида господин вошел в комнату и поклонился с принужденной грацией щедро получившего на чай трактирного слуги.

— Простите, что врываюсь. Праздник. Отдых. Знаю. Но пресса безжалостна. Чудовище. Сжевывают зубами в конце концов всего человека.

К новоприбывшему чудовище-пресса, однако, отнеслась довольно милостиво: кроме наполовину сжеванного галстука и объединенного низа брюк, он почти не пострадал от зубов прессы.

— Да, насчет прессы вы верно отметили, — благосклонно согласился Куколка. — Чем вообще могу служить?

— Я от редакции «Вечерняя Звезда». Прислан. Интервьюировать. Вас. Разрешите!

Сердце Куколки бешено забилося и сладко, как на качелях, опустилось вниз, чтоб сейчас же еще слаще взлететь в поднебесье.

— Да что вы... Мне, право, так неловко. Зачем же вам беспокоиться... Я бы сам пришел, если нужно.

На лице щетинистого изобразился благоговейный ужас.

— О, что вы! Как же мы осмелились бы беспокоить такого масти... (он чуть не сказал «маститого», но, взглянув на юное простодушное лицо Куколки, спохватился) такого... популярного человека! Итак, разрешите?

— Извольте! — засуетился Куколка. — Да вы не хотите ли кофе выпить?.. Вот и булочки, масло, пирожок есть.

— Я, собственно, уже завтракал, — пробормотал интервьюер «Вечерней Звезды», в то же время обрушиваясь на предложенные продукты с такой яростью, что его слова о съеденном завтраке должны были бы относиться к эпохе семидесятых годов. — Эх, под такой бы пирожок бы да рюмочку бы водки... двуспальную!

На лице Куколки отразилось совершеннейшее отчаяние.

— Ах ты несчастье какое, боже мой! Водки как раз и нет! И как это я упустил?! Впрочем, есть красное вино. Вы выпьете красного?!

Интервьюер закивал головой и промышчал набитым ртом так энергично, что было очевидно — окраска предложенного напитка являлась для него мельчайшей деталью.

Наконец, отвалившись от стола, он допил последнюю каплю вина и сказал в виде оправдания своему хищному поведению:



— Прогулка, знаете, дьявольски развивает аппетит! Где родились?

— В Симбирске.

— Хороший город. Непременно побываю. Так и запишем: «Место рождения — Симбирск». Учились?

— Учился.

— И правильно. Ученье, как говорится, свет. Почему начали писать?

— Тянуло меня к литературе.

— Благороднейшая тяга! Другого, паршивца, к бильярду тянет, ботифончик этакий заложить, а избранные натуры непременно к литературе взор свой обращают или там к музыке какой ни на есть. На какие языки переведены?

— Собственно, еще ни на какие...

— Так и запишем: «Две поэмы вышли в английском переводе в «Меркюр-де-Франс»».

Репортер откинул назад голову и с такой восторженной любовью и гордостью артиста поглядел на четко выписанное им в памятной книжке название иностранного журнала, что у Куколки не хватило духу протестовать.

— Кого из классиков лично знали: Тургенева, Достоевского, Гончарова?

— Помилуйте, меня и на свете тогда не было.

— Прискорбно. Строк тридцать похитила у меня эта ваша молодость. Впрочем, черкнем штришок: «В бытность свою в Симбирске великий Тургенев взял однажды на руки Шелковникова — тогда еще малютку — и пророчески воскликнул: «Вот мой продолжатель!»

— Но... ведь этого... не было!

— А почему вы знаете? Вдруг было, да вы по младенчеству не обратили внимания. Ваш любимый писатель?

— Пушкин.

— Так и занесем: «Пушкин и Достоевский». Говорят, роман пишете?

— Видите ли... я еще не знаю...

— Так-с. Тайна. Понимаю. Тайна — святое дело. Из какого быта? Я полагаю, насчет оскудения интеллигенции. Э!

— Как вам сказать... — в отчаянии пробормотал Куколка.

— Так и запишем: «В будущем произведении жестоко бичуются уродливости русских Рудиных, оторвавшихся от земли...» Курите?

— Ну, это такая деталь, что стоит ли указывать...

— Нет, мне бы, мне папироску. Ужасно курить хочется! Я в том смысле. Скажите еще что-нибудь копеек на тридцать! Для округления.

Куколка беспомощно взглянул на него. Что ему сказать? У бедняги даже мелькнула мысль предложить интервьюеру эти недостающие тридцать копеек наличными, но тот уже вдохновенно перебил его:

— Спортом занимаетесь? Вы, по-моему, хороший боксер легкого веса. Нет? Ну, все равно займетесь на свободе. «Наш собеседник очень увлекается, кроме литературы, и той отраслью спорта, о которой еще

знаменитый Расплюев отзывался: «Просвещенные мореплаватели — и вдруг бокс». Тот Расплюев, который в изображении артиста Давыдова вырастает в...» Ну, во что он вырастает, я после допишу. Дома.

Он перечитал написанное и вытянул губы трубочкой.

— Гм... суховато немного вышло. Ну, я дома еще иллюминую; красочкой кое-где трону. Ну, я побежал. Еще один фрукт на очереди. Посланник. Балканский вопрос. Рубля на четыре. Счастливо оставаться. Еще папиросочку. Можно? Три? Ну, три! Или пять? Для округления. Так, в Саратове родились? Чудный город. Обязательно побываю. Так сказать, на месте преступления. Чудно! Пляж. Фактории. «Эх ты, Волга» — как говаривал покойный Степан Разин. Эпос, а? До скорейшего.

Этот бедный поденщик пользовался в литературных кругах популярностью за одну свою странную особенность: получив в конце месяца из редакции деньги — рублей пятьдесят, — он, вместо того чтобы освежить свой туалет или расплатиться с пребывавшей в хронической панике квартирной хозяйкой, вместо этого он брал лихача на дутых шинах, мчался в «Аквариум», заказывал великолепный ужин в ложе, выходящей к сцене, пил шампанское, закуривал «гавану» и, купив у продавщицы пук красных роз на деньги, оставшиеся после уплаты по счету, барским жестом швырял цветы какой-нибудь пляшущей на сцене испанке, после чего пешком возвращался домой, опустошенный, но бодрый, бормоча себе под нос:

— По-великокняжески провел вечер! Ай да мы, Пегоносовы! Вот это жизнь! Красота! Ракета!

Манера разговаривать у него была тоже особенная, никому другому не свойственная. Мотылек почему-то называл эту манеру «фонетическим методом».

При встрече с Мотыльком он еще издали кричал:

— Здравствуйте, красавец! Зарабатываете? Красота! А галстучек-то! Мода! Король Эдуард пуговицу на жилетке для моды расстегивал! Англичане! Гибралтарский вопрос! Думаю в Испанию поехать — кастаньеты, танцовщицы, в «Аквариуме» давно были? Осетрина беарнез чудная! Рыбный вопрос! Думаю рыбной ловлей заняться! Море — Черное — Каспийское — Нефтяные вышки — Нобель — керосиновый король — красавец — зарабатывает!!

Эта бесконечная лента могла тянуться полчаса.

Теперь, когда он вышел от Куколки, Куколка минут пять сидел оглушенный, будто его посадили под жерлом пушки и выстрелили.

Но не успел он прийти в себя, как в двери снова постучали.

— Можно?

— Можно.

Вошел седобородый старец, казалось, весь сделанный из мягкого серебристого плюша, благостный, импозантный, в сером сюртуке и с плюшевой шляпой в руке.

— Жаждал познакомиться... — мягким серебристым баском проворковал он, окружая руку Куколки двумя пухлыми ладонями, будто пуховой периной. — Вот вы какой!.. Совсем молодой. А мы уже старики-с! Да-с... На исходе. Вы в гору — мы под гору. Вот и зашел посмотреть, чем молодежь дышит.

— С кем имею честь?.. — пробормотал Куколка.

Посетитель назвал свою фамилию, и Куколка так и отпрянул в благоговейном ужасе: носитель фамилии был крупный, по петербургскому масштабу, писатель, гремевший своими романами в прошедшем десятилетии.

Что его привело к бедному, в шутку раздутому, «как детский воздушный шар», по выражению

Мотылька, Куколке? Захотелось ли ему при взгляде на Куколку вспомнить себя самого — молодым, входящим в моду, «взбирающимся на высокую гору»? Или уж очень он боялся отстать от века? Или захотел старый литературный слон, грешным делом, заручиться признательностью и дружбой будущей знаменитости? Бог его знает. Темны и извилисты пути артистической души на закате!..

— Боже ты мой! — засуетился радостно смущенный, растерянный Куколка. — Я даже не знаю, какое кресло вам предложить! Ведь вы наш учитель! На какое почетное место посадить вас?!

— Э! Все равно в конце концов в калошу посадите, хе-хе. Впрочем, шучу. Вы имеете, кажется, отношение к редакции «Вершины»?

— Да... я там... секретарем.

— Хороший журнал. В моду входит. Я вам, кстати, чтоб не с пустыми руками заходить, вещицу принес. Кажется, удалась. Хотите, берите для журнала!

Куколка бросил косой взгляд на извлеченную из сюртучного кармана трубкообразную «вещицу», и хотя был он восторжен и неопытен, как дитя, но не мог не заметить, что «вещица» уже бывалая. Следы ее путешествий ясно обозначались в виде истертых, потрепанных краев и карандашных ядовито-синих, не поддающихся резинке пометок на обложке: «*К возвр.*».

Тем не менее Куколка вещицу благоговейно взял и тут же заверил, что со своей стороны приложит все усилия, чтобы в ближайшее время... и так далее.

Был он еще мягок и сердечен, резко отличаясь от старых очерстневших редакционных тигров, жестоких палачей, живодеров, убийц и крушителей как робких, радостно начинающих, так и угрюмо кончающихся дарований.

— Ну, теперь я пойду... А то вы тут, может, творили что-нибудь... хе-хе... вечное, а я, старый брюзга, мешаю.

Еще раз Куколкина рука нырнула, как в душную пуховую перину, — в две чисто вымытые пухлые ладони, и плюшевый мягкий старик вышел, покачивая серебристой бородой, опираясь на трость с серебряным набалдашником.

После его ухода Куколка посидел еще немного в задумчивости, перечитал письмо к маме, дописал несколько строк и сказал сам себе, потирая лоб:

— Что-то мне еще нужно сделать?.. Неприятное, но необходимое... Гм! Со вчерашнего дня собираюсь. Ах да! Разыскать Мецената и поговорить с ним.

Куколка с гримаской почесал затылок, вынул из ящика письменного стола какую-то светло-фиолетовую записочку, перечитал ее, вздохнул и, энергично одевшись, решительно вышел из дому.

## Глава XV

### Мат Меценату

Изменял ли жене Меценат? Никто из клеветов не мог сказать об этом ничего положительного или отрицательного. Вообще эта сторона жизни Мецената была окутана абсолютным мраком. В орбите его разнообразной жизни вращались кроме клеветов и несколько очень недурненьких девушек сорта, совершенно противоположного Яблоньке, но у Мецената к ним отношение было более отеческое, чем галантное. На ухаживание за ними вездесущего Мотылька Меценат смотрел сквозь пальцы, сам же ограничивался благодушным подшучиванием над всеми этими Мусями и Лелями, подкармливая Мусю и Лелю ужинами при упадке их личных дел и снабжая малой толикой деньжат под деликатным предлогом, что «мне твоя красная шляпа, Муся, действует на нервы. Возьми себе эту бумажку и купи что-нибудь менее кровавое!»

И Муси жалась к нему при всяких невзгодах, как попавшие под ливень пичуги к могучему гостеприимному дубу.

И сегодня — в этот воскресный день — Меценат тоже кейфовал не один, а обсаженный с двух сторон Мусей и Лелей. Сидели они в том самом кабинете кавказского погребка, где не так давно праздновался день рождения Принцессы, столь прекрасно воспетой Кузей в его импровизации о красоте лени.

Муся сидела справа от Мецената, Леля слева.

Леля была брюнетка в серой шляпе, Муся — блондинка в черной, с эспри. Кроме этого, ничем они друг от друга не отличались. Муся как Леля, Леля как Муся. Одним словом, девушки как девушки.

— Понимаете, Меценат, — рассказывала, волнуясь, Леля. — Когда мы познакомились, он уверял меня, что учится студентом в Лесном институте, а оказался простым приказчиком на дровяном складе вовсе. Как это вам покажется?

— Отчаяние и ужас, — серьезно сказал Меценат, прихлебывая белое винцо. — Я бы не пережил этого удара.

— Знаете, я поэтому с ним и разошлась.

— Надеюсь, он не перенес разлуки и покончил с собой?

— Какое! Я сама так думала, а он за Дусей от «О бон гу» стал бегать, да еще и смеется вовсе!

— Смеется?! Возмутительный цинизм. Я бы его на вашем месте забыл.

— Я уже и забыла.

— Ну и умница. Почирикайте мне еще что-нибудь.

— Ха-ха! Что ж вы нас за птиц считаете, что ли? — кокетливо рассмеялась Муся. — Ужасно обидно, что вы нас даже, кажется, не считаете за интеллигентных вовсе. А я даже слушала курсы повивальных бабок!

— Святое призвание. Даю вам слово, если у меня родится ребенок, вы будете первая бабка, которая повеет его.

— Да я не кончила курсы. Все из-за того Гришки, который был инструктором на скетинге. Из-за него и курсы бросила, а потом долго плакала вовсе.

— Значит, ты, Муся, пожертвовала карьерой ради сердца... Такая жертва угодна Богу.

— Какой вы странный, Меценат. Говорите серьезно, а будто смеетесь вовсе.

— Смех сквозь невидимые миру слезы. Ну, чирикните еще что-нибудь.

Муся надула губки.

— Да что мы вам, люди или птицы?!

— Конечно, люди! За убийство каждой из вас убийца будет осужден на такой же срок, как и за убийство Льва Толстого. Значит, с точки зрения юриспруденции вы имеете такой же удельный вес, как и Лев Толстой.

— А у меня есть открытка Льва Толстого.

— Быть не может! Повезло старику.

— Меценат, а кто вам больше нравится — Муся или я?

Но этот рискованный вопрос остался без ответа, потому что в ту же минуту из-за портьеры, заменявшей дверь, выглянуло смущенное лицо Куколки.

— Простите, Меценат... Я, право бы, не решился, но я думал, что вы одни. Почтенная Анна Матвеевна сказала, что вы сюда поехали... Я думал, с вами наши...

— Да чего вы там на пороге бормочете извинения?! Входите. Вот познакомьтесь с этими барышнями: левая — Муся, правая — Леля. Пожалуйста, не перепутайте только, это очень важно.

— Какой хорошенький, — проворковала Муся, косо, как птичка, поглядывая на Куколку. — Прямо куколка.

— Да его Куколкой и зовут, — рассмеялся Меценат.

— Неужели?.. Какая странная фамилия.

— Видите, собственно, моя фамилия Шелковников. Имя мое — Валентин, отчество...

И Куколка добросовестно выложил всю подноготную, благо тут не было Мотылька, который никогда не давал ему закончить полного своего титула.

— Но я вас буду лучше называть Куколка. Можно? Вы актер?

— Нет, я поэт.

— Как чудно! Напишите мне стишки.

— С удовольствием, — с невозмутимой вежливостью, характеризующей его в отношении ко всем окружающим, согласился Куколка. — Выберу свободный час и напишу.

Потом обратил свое лицо, на которое налетело неуловимое облачко заботы, к Меценату:

— Простите, милый Меценат, но я, собственно, к вам по делу. Поговорить бы нужно. Очень серьезно.

Брови Мецената дрогнули от легкого удивления и какого-то тайного смущения, но он сейчас же деловито кивнул головой Куколке и встал.

— Это легко устроить даже сейчас. Тут рядом свободный кабинет. Перейдем туда. А вы, миледи, попросите еще вина и фруктов — позабавьтесь минутку без меня. Наболевший вопрос о предателе — приказчике дровяного склада еще не обсужден вами с исчерпывающей ясностью.

По искусственной веселости Мецената было заметно, что он немного внутренне сжался перед «серьезным разговором», потому что в его грешной голове сразу же мелькнула мысль: уж не открылась ли вся «Кукольная комедия» и не предстоит ли щекотливое объяснение по поводу жестокой шутки «в

космических размерах».

Но о том, что случилось на самом деле, бедный Меценат и не догадывался и не мог бы догадаться, если бы ему дали на догадки три года срока.

В пустом кабинете электричество не горело и весь источник света заключался в небольшом запыленном окне, помещавшемся высоко, а на улицу выходявшем низко — в уровень с тротуаром. Солнце золотило пылинки на окне, но они не танцевали, как давеча в комнатке Куколки, а притихли, прижавшись к стеклу и чего-то выжидая. Скатерть со стола была снята, и на голой столовой доске ясно обозначилась цифра «8», полученная из двух следов от стоявших рядом мокрых стаканов с вином. На стене висела преглупая картина «Отдыхающая одалиска» — полногрудая женщина, играющая с ручным леопардом на пестром ковре.

Все вышеописанные подробности Меценат заметил не сразу, а втиснулись они в его мозг лишь тогда, когда случилось «это», и осели в мозгу на всю будущую жизнь. Даже запах — причудливая смесь из зеленого лука, лимона, тертого сухого барбариса и острого овечьего сыра, — даже этот специфический аромат, въевшийся в стены комнаты, долго потом преследовал Мецената.

Когда они вошли в кабинет, Куколка повернулся лицом к свету и, положив свою изящную тонкую руку на могучее плечо Мецената, сказал с некоторым волнением:

— Верите ли вы мне, Меценат, что я люблю вас больше, чем всех остальных?

— Верю, — немного колеблясь, ответил Меценат.

— Очень хорошо. Тогда мне легче говорить. Верите ли вы, что я сейчас обращаюсь именно к вам, потому что вы самый умный, самый добрый и вообще... Вы мне напоминаете доброго Бога-Отца, к которому всякий человек имеет право обратиться со всякой просьбой, за всяким — самым даже диким — советом. Верите?

Такое лестное сравнение немного испугало Мецената, и он с трудом преодолел себя, чтобы скрыть смущение:

— Куколка! Да что же случилось?

— У меня нет никого, кроме вас, старше меня и умнее, к кому бы я мог обратиться за советом по самому неприятному для меня поводу. Дело чрезвычайно деликатное. Со мной это впервые случилось.

— Вам нужен совет? — облегченно вздохнул Меценат. — Говорите смело. Что будет в моих силах...

— Меценат! Вы... не считаете меня фатом?..

— Боже сохрани!

— За это спасибо. Иначе бы я не мог и рта раскрыть. Слушайте же! Одна женщина призналась мне в любви и... как бы это сказать?.. немного даже преследует меня. А я, видите ли, ее не люблю. Признаюсь уже во всем: мне нравится другая. А эта первая... она хоть и красавица, да не по душе мне.

И доверчиво закончил:

— Это бывает, Меценат?

— Бывает, — усмехнулся мудрый конфидендент. — Скажите, Куколка, а вы давали первой женщине... какой-нибудь повод?

— Ни малейшего. Я только был вежлив, как со всеми прочими... А случилось другое. Согласитесь сами, разыгрывать Прекрасного Иосифа — роль чрезвычайно глупая, но что ж делать, когда у меня совсем другие мысли и... стремления. Вы умный и опытный, посоветуйте, как это ликвидировать?

— Гм!.. Если вы мне так доверились, так доверяйтесь до конца! Чтобы дать вам толковый совет, я должен знать: кто эта первая? Эта жена Пентефрия? А?

— Я думал, вы сами догадаетесь! Впрочем, уж буду говорить все прямо, как на исповеди: Ее Высочество.

Меценат в недоумении поглядел на него:

— Какое... Высочество?

— Ах, Боже мой, да та красавица, которая была с нами в прошлом месяце в этом ресторане. Еще Новакович рассказывал, что она на воздушном шаре от отца бежала... Ну... Принцесса, одним словом!

Потолок был и без того низкий, а в этот момент он спустился еще ниже, с треском ударил Мецената по темени, пригнул его и расплющил... Меценат молча покачнулся, уцепился за спинку стула и осел, будто из него кто-то волшебной силой сразу вынул костяк.

— Что с вами, Меценат? Вы как будто чем-то поражены? Может, мне не следовало этого говорить?

— Нет, ничего, ничего, — замахал трепещущей рукой Меценат. — Это я просто, кажется, выпил вина больше, чем полагается... Подождите!

Он отошел к окну, поднял локти, оперся о подоконник и долго и внимательно разглядывал пылинки, осевшие на стекле.

Мысли у него были разорванные, растрепанные, как облака после бури...

«Вот эта дождевая засохшая клякса чрезвычайно напоминает очертание Африки, — подумал Меценат. — Да... Африка! Туда мы не доехали... Поленилась Принцесса. А будь мы в Египте — ничего бы этого и не случилось... Восемь лет!.. И как легко их составить, эти восемь: след от двух пустых осушенных винных стаканов рядышком — вот тебе и восьмерка. Гм... Ленивая одалиска... Пожалуй, что и не ленивая. И одалиска не ленивая, и леопард — не леопард».

— Я с ним и в цирк, и в кинематограф, как порядочная, а потом его товарищ, знаешь, брюнетик такой, Вася, говорит: «Да какой он студент Лесного института?! На дровяном складе служит. Доски записывает все». — «Что вы ко мне со своими досками лезете», — говорю я, а сама плачу, плачу, как дура, верное слово, плачу, — доносилась из-за стены монотонная, печальная повесть Лели.

Меценат вдруг оторвался от окна и обратил совершенно спокойное лицо к Куколке:

— Ф-фу! Прошло. Ну, теперь рассказывайте, севильский обольститель, как же это все случилось?

— Да вот — в самых кратких словах, потому что вас там дамы ждут, неловко оставлять их скучать! На другой день после знакомства заехал я к ней просто из вежливости, думал, не застану дома, оставлю карточку. Вдруг говорят: «Вас просят». Ну, выпили мы чаю, посидели... то есть сидел я, она лежала... Поговорили. Ухожу я, она говорит: приезжайте еще на днях, привозите стихи, почитайте. Я думал, она стихами заинтересовалась! Приехал вторично, стал ей читать, а она, представьте, заснула, кажется! Очень странная дама. Потом, когда я кончил, очнулась и говорит: «Что вы там сидите, сядьте около меня!» Присел я на кушетку, а эта самая... Принцесса стала мне волосы гладить. Я думал все-таки, что кое-что из моих стихов ей понравилось и она... одобряет, а она обняла меня за шею и говорит вдруг: «Поцелуйте меня!» Я немножко испугался и ушел. Потом она два раза вызывала меня к телефону...

Сама заезжала в экипаже... Кататься на Острова приглашала... Я один раз по слабости характера поехал, потом стал отказываться... Неприятно, знаете, когда человек все время говорит: «Вы меня разбудили, вы меня разбудили».

— Да... неужели... она заезжала за вами?!

— Ей-богу.

— Но ведь эта... Принцесса... ленива, как сотня сытых кошек!

— Не знаю, что с ней случилось — совсем не такая, как первый вечер... Глаза сверкают, румянец во всю щеку и губы облизывает, как вампир, ищущий крови. Я ее даже, знаете ли, немного боюсь. Вчера вечером четвертую записку от нее получил. Звонит, пишет, заезжает...

— Что ж вы *от меня* хотите? — странным голосом спросил Меценат.

— Вы с ней... ближе знакомы, чем я. Посоветуйте, как всю эту историю ликвидировать? Чтобы было не обидно для нее и чтоб мне не терять мужского достоинства. Такая неприятность, знаете! В первый раз у меня это. Впрочем, простите, Меценат... но, может быть, мне было бы лучше посоветоваться по этому поводу не с вами, а... с Новаковичем, например? А то вы... какой-то странный!

— Нет, нет. Вы как раз обратились по настоящему адресу. Умнее ничего нельзя было придумать! А сделайте вы, чтобы выйти с честью, вот что... Возьмите портрет той особы, которую вы любите, напишите на обороте: «Моя невеста» — да и пошлите ей без всякого письма. Она поймет, и все кончится красиво.

— Вы думаете? А это... удобно?

— Чрезвычайно. Я вам советую, как лицо... не заинтересованное.

За портьерой вдруг послышался мужской смех, возня и крики:

— Да куда это они уединились?! Телохраниитель! У Куколки с Меценатом секреты — не подкапывается ли Куколка под нас? Не хочет ли понизить наш курс в глазах Мецената?!

Кузя и Мотылек под предводительством Новаковича бесцеремонно ворвались в кабинет с одалиской и леопардом на стене и остановились, удивленные; на них в упор смотрели черные неподвижные глаза Мецената, и... никогда еще клеветы не видели такого странного взгляда.

— Простите, Меценат... Если вы еще не кончили, мы подождем.

— О нет! Мы уже свободны. Куколка читал мне по секрету свою новую поэму, и... это... оказалось... дьявольски сильная вещь!!

— Закончили поэму? — осведомился профессиональным тоном Мотылек.

— Да! Закончу, — твердо отвечал Куколка. — Сегодня же.



## Глава XVI

### Самая короткая глава этой книги

В нарядном будуаре Веры Антоновны сидел Новакович, почти расплющив своим мощным телом хрупкий воздушный пуф, и говорил:

— Недоумеваю, за каким чертом Меценат не сам к вам явился, а послал меня. Такая простая вещь... Говоря кратко — он просит у вас отпуск.

— Какой отпуск? Боже, как это все... утомительно.

— Для нас? Нисколько не утомительно. Он собирается ехать на Волгу — от Рыбинска до Астрахани и обратно — и берет с собой Мотылька, Кузю и меня.

Вера Антоновна полузакрывает засверкавшие глаза и сонно спросила:

— Конечно, и Куколку берет?

— О нет! На что нам этот юридический... Он забавен только в столице как объект Мотыльковых затей. Так как же... даете Меценату отпуск?

— О, боже мой... когда же я его удерживала! Пусть едет. Желаю вам веселиться. Ох, как я устала!

Исполнив поручение, Новакович сидел и томительно молчал. Хотя был он человек разговорчивый, но знал — с мраморной статуей не разговоришься.

— Да... такие-то дела, — пробормотал он, собираясь встать. — Так-то, значит. Вот оно какво.

И вдруг странный вопрос Принцессы пригвоздил его к месту:

— Скажите, Телохраниитель... Эта ваша знаменитая Яблонька — очень красивая?

— О, описать ее красоту так же трудно, как...

Вдруг его взгляд упал на одно место огромного ковра, покрывавшего пол, и фраза осталась незаконченной.

— Ну, чего ж вы замолчали? Говорите!

— Так же трудно описать Яблоньку, как...

— Ну?!

— Так же трудно... как...

— Боже, какой вы нудный!!

Но Новакович не слушал: он наклонил корпус и впился ястребиным взглядом в часть пушистого ковра около кушетки...

— Так же труд... Боже мой, да вот ее кусок!.. Что это?

Быстрее молнии он упал на колени и поднял запутавшийся между бахромой края ковра кусок фотографической карточки.

— С ума я схожу?! Ведь это часть лица моей... нашей любимой, неповторяемой Яблоньки! Глаз ее! Кусочек ее капризной нижней губки... Принцесса! Что случилось?

Принцесса вдруг уткнулась лицом в подушку, так быстро, что ее бурные, как черный вихрь, волосы

разметались во все стороны. Поглядывая одним сверкающим глазом из этого водопада темных струй, она вдруг спросила сурово, почти грозно:

— Вы ее любите, Новакович?

— Правду вам сказать? Больше света Божьего!

— Так и ступайте вон! Дурак вы! И вообще все вы дураки!

Плечи ее затряслись, она конвульсивно изогнулась, как раненая королевская тигрица; она извивалась, заглушая подушкой еле слышные стоны.

— Истерика или нет? — спросил сам себя Новакович, вертя в руках обрывок карточки. — Пожалуй, что нет. С жиру бесится наша Принцесса! Нет, на истерику не похоже. Обыкновенный дождик без грома и молний. Что бы это значило?

— Уходите! Скорей!! Сейчас же... отсюда!

Он пожал плечами и на цыпочках вышел из комнаты.

## Глава XVII

### Крылья Куколки

Меценат в одиночестве шагал по своей огромной гостиной, как дикий зверь в клетке, отталкивая ногой стулья и делая такие резкие повороты, будто он оборачивался на чей-то невидимый удар сзади.

Но когда в дверь постучали, он отпрыгнул в сторону, повалился на диван и сказал равнодушным сонным голосом:

— Ну, кто там? Войдите. А! Ты, Кузя!

— Вы, кажется, спали? Я вас разбудил?

— Наоборот.

Кузя с треском опустил в свое обычное кресло и, не обращая внимания на загадочный ответ Мецената, погрузился в мрачное молчание.

— Что с тобой, Кузя?

Кузя промолчал.

— Что-нибудь случилось?

Кузя помолчал и вдруг прорвался, точно вода из проткнутой гвоздем пожарной кишки:

— Меценат! Да ведь он форменный мошенник! Правда, я с вами проделал почти такую же штуку при первом знакомстве, но... я ведь профессионал! Мне простительно! А тут... это такое грязное животное!

— В чем же дело, Кузя? Ты сегодня разговариваешь так много, что из твоих слов я могу извлечь чрезвычайно мало.

— Проиграл!!

— В шахматы?

— А то во что же? Все свои личные деньги, да еще ваших малую толику прихватил, что вы давеча дали на покупку чемоданов! Уехали мы, чтоб его нечистый взял!!

— Проиграл?! Кому?

— Кому же, как не этому дьявольскому Куколке! Видали вы такого мерзавца?! Ясные детские глазки, серебристый, как у девчонки, голосок, а сам форменный бандит с большой дороги.

«Я, видите ли, дилетант (совсем непохоже передразнил Кузя), мне с вами, с маэстро, куда ж тягаться!.. Я давно не играл...» Не играл ты давно? Чтоб на том свете черти твоим черепом так давно не играли!! Показал он мне старушку в кадучке! Я ему свои гамбитики да дебюты пешки, а он... черт его знает, как парирует... Гляжу — ан королеве моей деваться и некуда! А на четвертой партии такой гамбит показал, что уж не знаю, как его и назвать... Гамбит Чертовой Куклы, что ли?! Меценат! Дадите свеженьких денег на чемоданы? Если нет, так выгоняйте уж сразу! Чтоб не мучиться.

По странному совпадению клеветы стали слетаться «на огонек» — один за другим.

Вторым влетел Мотылек:

— А я к вам на огонек... Куколки не было?

— Нет, этой Чертовой Куклы не было, — мрачно пробурчал Кузя.

— Почему Чертовой? — живо обернулся Мотылек. — Ты тоже, значит, все узнал?!

— Кое-что узнал...

Мотылек завизжал:

— Ну, как вам это понравится!! Когда я нынче прочел, что издательство «Альбатрос» купило его книгу — лучшее издательство! — я чуть не упал на улице под копыта лошадей!! Болваны! Они моим заметкам поверили! Старушки в кадучках на подушках заскачут теперь по всей России!

Подумайте! Я собрал том стихов — ожерелье чистейшего жемчуга, — и это «ожерелье» валяется у меня в столе, мертвое, неподвижное, будто оно из свинцовых пуль, а этот болотный пузырь со своими «Зовами утра» выскочил и — пожалуйста!! Ну, пусть же книжонка его выйдет — хохот, треск и скандалище пойдет на всю Россию!! О, дурачье! О, трижды идиоты!!

— Кто трижды идиоты? — спросил Новакович, входя без стука и поймав на лету последнюю энергичную фразу.

— Пожалуй, что и мы. А ты из нас первый. Черт тебя надал притащить тогда эту чертову Куколку! Сколько я из-за него крови испортил!! Сидит он теперь на моем секретарском месте и небось смеется, подлец, в кулак. Ведь не будь его, меня бы снова, может быть, позвали в «Вершины» секретарствовать!

— Не будь его — я бы сегодня не проиграл кроме своих денег еще и Меценатовых чемоданов, — меланхолически добавил Кузя.

Новакович поглядел на Кузю с любопытством:

— Неужели Куколке проиграл? В шахматы? Однако! Да, вот что, Меценат... Я сейчас от Великолепной! Отпуск вам милостиво разрешен. Да-с, да-с, да-с... вы не можете, Меценат, объяснить мне одной дьявольщины: каким образом в будуар Принцессы попала Яблонька?! Вот кусочек ее спас. В клочья разорвана.

— Так это... Яблонька?! — ахнул Меценат, и тут же в душе вздохнул Меценат, и, забыв о собственных переживаниях, уныло пробормотал Меценат: — Бедный Телохранитель!

— Что вы там бормочете?

— Это я стараюсь догадаться, в чем дело! Действительно, за каким чертом попала карточка Яблоньки к моей жене? Да еще разорванная. Уж не приревновала ли меня Принцесса к Яблоньке?..

— Иначе я и не могу объяснить, — угрюмо пожал плечами Новакович. — Хотя вы ведь никакого повода не давали. А? Меценат?

— Ни малейшего.

— На обороте ничего не написано? — спросил Мотылек.

— Ах, я даже не посмотрел! Вот тут... Гм!.. Странно: «Моя не...» Дальше оторвано. Удивительная загадка!

— Почему ж ты не спросил у Принцессы?!

— Поди-ка спроси! Истерика у нее, у вашей Принцессы! Дураком меня назвала и выгнала, — с досадой сказал Новакович.

Мотылек сморщил лицо:

— Мы с Принцессой почти сошлись во взглядах: она назвала тебя дураком, когда ты выходил от нее, я

— когда ты входил к нам.

— Да почему же именно я дурак? Я от Куколки не потерпел урона, как ты с Кузей! Мы с Меценатом остались неуязвимы! Правда, Меценат?

Меценат, не отвечая, отошел в угол, уткнулся в него и, кажется, засмеялся... По крайней мере, плечи у него дрожали, как у смеющегося.

— Да, — искоса поглядывая на странно смеющегося Мецената, покровительственно говорил Новакович. — Ты сам, Мотылек, виноват в отношении Куколки. Заварил эту кашу с газетной рекламой, да и не знаешь, как ее теперь расхлебать. Как неопытный спирит, вызвать призрак — вызвал, а как теперь его спровадить обратно — и не знаешь. Теперь уж машина завертелась без тебя! Не читали интервью с Куколкой в «Вечерней Звезде»? Это уж помимо вас кто-то постарался. И где родился, и как родился, и почему родился, и все такое...

— Да ведь лопнет же все это! — завопил Мотылек. — Не может не лопнуть! Ведь если выйдет книжка — старушку в избушке никуда не спрятать. Черным по белому! А стоит только этой дурацкой старушке выглянуть из избушки, как все полетит к черту!

— Стучала я, стучала, — сказала, входя, Яблонька, — а вы так тут кричите, хоть из пушек пали. «Здравствуйте, разбойнички», — как говорит няня. А Куколки еще нет?..

— И вы насчет Куколки? — горько усмехнулся Новакович.

— Да... он мне сказал, что сейчас придет. Чего это вы все носики повесили?

Яблонька была по-прежнему ласкова и тепла, как солнечный луч, но наблюдательный Меценат заметил, что в ее ясных глазах мелькало какое-то легкое и милое смущение.

— Куколка, Куколку, Куколкой, о Куколке, — продекламировал Кузя.

В дверь постучали.

— А! Вот и Куколка. Комплект полный!

— Друзья! — с порога закричал Куколка. — Я так счастлив, так счастлив и за себя, и за вас, Мотылек!! Вы снова можете занять ваше секретарское место!!

— Что такое? — с тайной радостью спросил Мотылек. — И вас так же «ушли» из редакции, как меня?

— Наоборот! Все складывается наилучшим образом. Помните, я вам говорил, что редактор переходит в ежедневную газету? И знаете, кого издатель пригласил на освободившееся место редактора? Меня! Премилейший человек. И подумать только, что всем этим я обязан вам!

— А правда ли, — спросил Кузя вместо Мотылька, который при последних словах Куколки странно хрюкнул, завалился за спинку дивана и затих, — правда ли, что «Альбатрос» издает вашу книгу?..

— Да, — сияя прекрасными светлыми глазами, радостно подтвердил Куколка. — Можете поздравить. Да у меня с собой, впрочем, и корректурные листы.

— Где?! — взвился из-за дивана, как пружина, Мотылек. — Покажите!!

— Да вот они. Я уже и корректуру продержал.

Мотылек лихорадочно, дрожащими руками рылся в длинных полосах бумаги и, странно дрожа, допрашивал:

— А старушка где? Старушка есть? А? Есть? Старушка в избушке? Где она? Куда вы ее тут засунули?..

— Я совершенно не понимаю, — искренно удивился Куколка, — почему вам так исключительно

нравятся эти стихи? Я их сюда и не включал.

Мотылек подскочил к Куколке и принялся трясти его за плечи:

— Как не включили? Почему нет?! Ведь вы же написали эти стихи или не вы?!

— Я-то я... Но, спросите, когда? Это старый грех. Мне тогда было лет шестнадцать. Когда Новакович попросил меня прочесть в кафе тогда при первом знакомстве все мои стихи, я и стал читать их в хронологическом порядке. А он вдруг на этой самой несовершенной «старушке» неожиданно пришел в восторг, схватил меня за руку и потащил к Меценату. Да... дом Мецената принес мне счастье, друзья! Но, впрочем, дело и не в литературных успехах. Гм! Теперь вы будете, господа, приятно поражены...

Куколка обвел всех восторженным взглядом...

— В доме Мецената я нашел самое большое счастье на земле. Позвольте, друзья, представить вам мою невесту!! Чего вы так краснеете, Яблонька? Через месяц наша свадьба, и мы едем во Флоренцию — буду там с вашего благословения новую вещь для «Альбатроса» писать. Роман в трех частях. Уже заказан.

Все окаменели. А Кузя подобрался бочком к комку странных морщин, под которыми с большим трудом можно было разглядеть черты Мотылька, и дружески шепнул ему:

— Подойди же, поздравь, дружище. А то неловко. У тебя лицо, как старый кисет, из которого вытрясли весь табак!

Потом подобрался к закрывшему лицо рукой, будто ослепленному Новаковичу и доброжелательно толкнул его в бок:

— Не горюй, чего там. Мало ли хороших женщин? Я, брат, недавно познакомился с одной — ну точь-в-точь как моя незабвенная вдова, которую вы так неделикатно называли «затрапезной», — хочешь, познакомлю?.. Так и быть, забирай ее себе. А я другую для себя пошарю.

Яблонька скорбно и виновато поглядела на Новаковича и вдруг заторопилась:

— Ох, ведь нам уже ехать нужно! Мы на минутку забежали. Вале еще нужно корректуру в типографию отвезти. Валя, поедem! До свидания, разбойнички.

Меценат и клеветы снова остались одни в большой мрачной комнате, окутанной тишиной.

Неслышными шагами вошла Анна Матвеевна и остановилась у притолоки, пригорюнившись:

— Ага! Вся гоп-компания в сборе... Чего это у вас темно так? Сидите, сычи какие словно, нахохлились. Небось коньячище опять хлестать будете, разбойнички?! Сюда подать на ковре али по-христиански — в столовую?

Кузя подмигнул Меценату на Мотылька и Новаковича, совсем затушеванных сумерками, и, неслышно подойдя к нему, шепнул:

— Это, пожалуй, лучший выход из положения. А? Меценат? Коньяк!

Меценат вдруг подпрыгнул на диване и выпрямился — старый, дряхлеющий, но все еще мощный лев.

— Ну, ребята, нечего нюнить!! Гляди весело!! Ходи козырем! Выпьем нынче, чтоб звон пошел, а завтра айда к берегам старой матушки Волги — целой разбойничьей ватагой... Айда! На широкие речные просторы, на светлые струи, куда Стенька Разин швырял женщин, как котят! Туда им, впрочем, и дорога!

— Аминь! — восторженно закричал Кузя. — Долой Петербург, да здравствуют Жигули! Кальвия! Почествуйте волжскую вольницу!! «Что ж вы, черти, приуныли... Эй ты, Филька, шут! пляши!! Грянем, братцы, удалую — за помин ее души!»

## Заключение

О, могущественное Время! Будь ты трижды благословенно. Ты лучший врач и лучшее лекарство, потому что никакие препараты медицинской кухни не затягивают, не закрывают так благотворно глубоких открытых ран, как ты, вечно текущее, седое, мудрое!

Читатель! Если ты через год заглянул бы в — уже так хорошо тебе знакомую — темную гостиную Мецената, ты тихо улыбнулся бы, увидев, что все на своем месте: Меценат в одном углу, одетый в белый полотняный балахон, лепит новый бюст Мотылька, важно восседающего на высоком стуле, в другом углу возится со штангой, выбрасывая кверху свои могучие, будто веревками — мускулами опутанные руки Новакович; в глубоком кресле мирно покоится, поедая апельсин, Кузя...

А у дверей стоит Кальвия Криспинилла и в тысячу первый раз кротко бормочет:

— Опять ты, разбойник, шкурки на ковер бросаешь?! Управы на тебя нет, на мытаря!..

## Примечания

### 1

В «Автобиографии», предпосланной сборнику «Веселые устрицы» (1910), первое выступление Аверченко в печати ошибочно датируется 1905 годом. В 24-м издании сборника, по которому воспроизводится текст, сам автор исправляет дату на 1904 год. В действительности же, как это явствует из дальнейшего текста и подтверждается разысканиями О. Михайлова, наиболее вероятен 1903 год.

### 2

Недомогание (*фр.*).

### 3

«Новое время» — ежедневная петербургская политическая и литературная газета (1868–1917). С 1876 г. издателем был А. С. Суворин, определивший патриотическую направленность газеты. «Русское слово» — литературная и политическая газета либерального направления. Выходила в Москве с 1894 по 1917 г. С 1897 г. издатель И. Д. Сытин. «Речь» — политическая и литературная газета (1906–1917). Печатный орган кадетов. «Биржевка» — «Биржевые ведомости» (1886–1917) — петербургская газета по вопросам политики, литературы и искусства. Основана С. М. Проппером, биржевым маклером.

### 4

Меньшиков Михаил Осипович (1859–1918) — русский публицист, постоянный сотрудник либеральной газеты «Неделя», консервативного «Нового времени». Выступал против деятельности Государственной думы, инородцев.

### 5

«Алая Чума» — фантастическая повесть Джека Лондона, в которой отразились мрачные футурологические взгляды писателя на бездушную цивилизацию, что породила смертоносных бактерий, уничтоживших основную часть живого на Земле; людям, по мысли автора, грозило одичание.

## 6

«...мой замок...» — Л. Н. Андреев приглашает А. Т. Аверченко к себе на дачу в Финляндию. В 1910-х гг. «Дом на Черной речке» Л. Андреева стал излюбленным местом встреч его друзей.

## 7

Радаков Алексей Александрович — русский советский художник и писатель. Сотрудник журналов «Сатирикон», «Новый Сатирикон», «Красный перец», «Крокодил».

## 8

«Песня голода» — очевидно, речь идет об иллюстрации к трагедии Л. Н. Андреева «Царь Голод».

## 9

П. Маныч — Петр Дмитриевич Маныч (ум. в 1918) — русский писатель, как называли его современники — «коновод литературной богемы».

Соломин (настоящая фамилия Стечкин) Сергей Яковлевич (1864–1913) — русский писатель, автор историко-публицистических произведений «Исторический момент», «Разрушение терема» и др.

## 10

Вы говорите по-английски? Как поживаете? Поцелуйте меня побыстрее (*искаж. англ.*).

## 11

Факт этот рассказан автору одним вполне заслуживающим доверия харьковцем. (*Прим. авт.*)

## 12

Ma parole (*фр.*) — честное слово.

## 13

Аристид Кувалда — герой рассказа М. Горького «Бывшие люди» (1897). Автор так писал о своем герое: «Кувалда — прозвище отставного офицера... удивил меня независимостью поведения перед судьей...» (Письмо И. Груздеву, 1926).

## 14

«Тарас тут же...» — А. Т. Аверченко неточно цитирует фрагмент II главы повести Н. В. Гоголя «Тарас



Бульба».

## 15

...промчится к выходу на площадь, украшенную слоновым монументом Александра III... — памятник Александру III стоял на Знаменской площади в Петербурге.

## 16

Михайла Арцыбашев — Михаил Петрович Арцыбашев (1878–1927) — автор нашумевших романов «Санин», «У последней черты». С 1923 г. в эмиграции.

## 17

Милюков Павел Николаевич (1859–1943) — русский политический деятель, историк. Один из организаторов партии конституционных демократов. В 1917 г. — министр иностранных дел Временного правительства.

## 18

Гучков Александр Иванович (1862–1936) — русский промышленник, лидер октябристов. В 1917 г. был министром военных и морских сил Временного правительства.

## 19

Скобелев Матвей Иванович (1885–1939) — министр труда Временного правительства.

## 20

Церетели Ираклий Георгиевич (1881–1959) — министр Временного правительства, один из лидеров меньшевизма.

## 21

Чхеидзе Николай Семенович (1864–1926) — меньшевик. В 1917 г. председатель Петросовета.

## 22

Гоцлибердан — имеются в виду Гоц Абрам Рафаилович (1882–1940) — эсер. После 1917 г. — лидер фракции эсеров в Петросовете. Либер (настоящая фамилия Гольдман) Михаил Исаакович (1880–1937) — один из лидеров Бунда, меньшевик. В 1917 г. — член исполкома Петросовета. Дан (настоящая фамилия Гурвич) Федор Ильич (1871–1947) — один из лидеров меньшевизма. В 1917 г. был членом Петросовета.

## 23

Нахамкис (Стеклов Юрий Михайлович) (1873–1941) — большевик, писатель. С 1917 г. редактор газеты

«Известия ВЦИК».

## 24

Братство (*фр.*).

## 25

Лапицкий Иосиф Михайлович (1876–1944) — оперный и драматический артист, режиссер. Основал в Петербурге «Театр музыкальной драмы» в 1912 г.

## 26

Мариинка — Мариинский театр в Петербурге, построен архитектором А. К. Кавосом в 1860 г.

## 27

Направник Эдуард Францевич (1839–1916) — русский дирижер, композитор. По происхождению чех, в 1861 г. переехал в Россию, по его признанию, «из-за симпатий к России, как у всех чехов». Автор опер «Нижегородцы» (1868), «Дубровский» (1894).

## 28

Гофман Иосиф (1876–1957) — польский пианист, неоднократно гастролировал в России с 1895 по 1913 г.

## 29

Никиш Артур (1855–1922) — венгерский дирижер и композитор.

## 30

Зуппе Франц фон (настоящие имя и фамилия Франческо Эценьеле Зуппе-Демелли) (1819–1895) — австрийский композитор и дирижер, один из создателей венской оперетты.

## 31

Джонсовская «Гейша» — популярная оперетта английского композитора Сидни Джонса (1861–1946).

## 32

Дункан Айседора (1877–1927) — американская танцовщица, в 1921–1924 гг. жила в СССР.

## 33

«Петербургская газета» — политическая и литературная газета (1867–1918). С 20 августа 1914 г.

выходила под названием «Петроградская газета».

## 34

...роман Брешки... — Николай Николаевич Брешко-Брешковский (1874–1943) — прозаик, журналист. Автор многочисленных «бульварных» романов («Гадины тыла», 1915; «Ремесло Сатаны», 1916, и др.). С 1920 г. — в эмиграции.

## 35

«Сатирикон» — русский еженедельный сатирический журнал. Выходил в Петербурге с 1908 по 1914 г. С 1908 г. (№ 9) редактором был А. Т. Аверченко.

## 36

«Канавка у Дворца» — сцена из оперы «Пиковая дама» П. И. Чайковского (действие III, картина II).

## 37

Parbleu (*фр.*) — черт возьми.

## 38

Никогда (*англ.*).

## 39

Добужинский Мстислав Валерианович (1875–1957) — русский живописец, график, декоратор. Член творческого содружества «Мир искусства». Работал в «Сатириконе» с Аверченко. С 1925 г. жил за границей.

Билибин Иван Яковлевич (1876–1942) — русский художник, автор стилизованных иллюстраций к произведениям русского фольклора. Член «Мира искусства», в начале 10-х гг. работал в «Сатириконе» вместе с Аверченко.

Бенуа Александр Николаевич (1870–1960) — русский художник, историк искусства. Один из основателей группы «Мир искусства». С 1926 г. жил во Франции.

Ре-Ми — псевдоним русского художника Николая Владимировича Ремизова (1887–1961), постоянного сотрудника «Сатирикона» и «Нового Сатирикона».

## 40

Сомов Константин Андреевич (1869–1939) — русский художник. Член «Мира искусства». С 1923 г. в эмиграции. Бердслей Обри (1872–1898) — английский художник-модернист. Ропс Фелисьен (1833–1898) — бельгийский художник-модернист.

## 41

Искусство вечно, жизнь коротка! (*лат.*).

## 42

Как сволочь (как жулье) (*фр.*).

## 43

...Кодекс Дурасова — речь идет о «Дуэльном кодексе», составленном русским историком В. Дурасовым на основе европейских дуэльных правил. Издан в 1908 г.

## 44

...Гросс (*фр. gross*) — двенадцать дюжин.

## 45

Франко (*итал. franco, букв. — свободный*) — в сделках купли-продажи (поставки) товара термин, обозначающий распределение транспортных расходов между продавцом и покупателем. — *Прим. сост.*

## 46

«Сим победиши!» — В 312 г. римский император Гай Флавий Валерий Константин (285–337) перед сражением с Максенцием приказал сделать знамя с изображением креста и надписью «Сим победиши». Это знамя стало символом доблести и на Руси.

## 47

...пришла пора другого Ноева сына... — см. кн. Бытие, 9:18 — «Сыновья Ноя... были: Сим, Хам и Иафет».

## 48

Дрюри-Ленский театр — (Drury Lane) — один из старейших английских драматических театров. Построен в Лондоне в 1663 г.

## 49

От *фр. soirée* — вечеринка.

## 50

«Записки палача» Шарля Сансона. — Анри Сансон (1767–1840) был исполнителем верховных приговоров Парижского уголовного суда. В России вышло 6 томов его воспоминаний «Записки палача, или Политические и исторические тайны Франции» (Санкт-Петербург, 1863–1866).

## 51

Клемансо Жорж (1841–1929) — премьер-министр Франции с 1917 по 1920 г. Во время Первой мировой войны ратовал за полный разгром Германии, не считаясь ни с какими жертвами.

## 52

Боши — презрительное прозвание немецких солдат.

## 53

Кажущаяся огромной цена программы не должна, однако, удивлять читателя: мой Володька жил в Крыму — в героические времена белогвардейской Вандеи. — А. А.

## 54

Ариадна Руманова — племянница русского журналиста Аркадия Вениаминовича Руманова, семью которого хорошо знал А. Аверченко.

## 55

От *фр.*: Combien cette gâteau? (Сколько стоит это пирожное?), турецк.: bes (пять), англ.: All right (хорошо), итал.: arrivederci (до свидания).

## 56

Как я могу пройти к русскому посольству? (*фр.* Comme je pouvais aller dans l'ambassade russe?) — Сейчас. Идите все время налево, налево, потом еще налево и здесь... (*фр.* Tout de suite. Vous allez tout a gauche, a gauche. Apres encore gauche, et ici...).

## 57

Я понимаю (*фр.* Je comprend).

## 58

Хорошо (*фр.* bien).

## 59

От *англ.* stupid и *фр.* sot — дурак, болван, глупец.

## 60

Это ужасно! (*фр.* C'est affreux).

## 61

Официант, бутылку «Кордон Вэр'а» и потом что-нибудь жареный миндаль. Побыстрее поворачивайся! (Смесь русского и ломаного фр.)

## 62

за и против (*лат.*)

## 63

Уймись, прошу вас (*фр.*).

## 64

Да, конечно (*фр.*).

## 65

Очень свежая рыба (*фр.*).

## 66

Этого знаменитого русского (*фр.* Cette célèbre russe).

## 67

Наша бедная Россия (*фр.* Notre pauvre Russie).

## 68

Подлинно петербургская (*фр.* Véritable pétérburgien).

## 69

Чашку (*фр.*).

## 70

С (*фр.*).

## 71

Благодаря новой турецкой политике — все греки теперь покидают Константинополь... — пребывание греков в Турции было объявлено правительством Мустафы Ататюрка оккупацией. Изгнание греческих

предпринимателей из Константинополя (1921) и всего греческого населения из Турции (1922) было результатом националистической политики новых властей.

## 72

«Ла ви Паризьен» — «La vie Parisien» — французская газета «Жизнь Парижа»; «Сурир» — «Le Sourire», французская газета, выходила с 1898 г. в Париже.

## 73

Сафо (7–6 вв. до н. э.) — древнегреческая поэтесса.

Фрина (4 в. до н. э.) — знаменитая греческая гетера, служила моделью скульптору Праксителю для Афродиты Книдской.

Аспазия (около 470 г. до н. э. — ?) — афинская гетера. Отличалась умом, образованностью, красотой. В ее доме собирался цвет древнегреческой науки и искусства.

Билитис (начало 6 в. до н. э.) — древнегреч. поэтесса.

## 74

М. Г. — сокращенное письменное обращение «Милостивый государь».

## 75

«Прагер Прессе» — «Prager Presse» — чешская газета, в которой печатались рассказы А. Аверченко.

## 76

Здесь игра слов, основанная на старом написании слова «лес» — через букву «ять». Эта буква, совпадавшая по звуку с «е», была упразднена послереволюционной орфографической реформой.

## 77

Цензуровано Мифасовым.

## 78

Настоящая книга написана до войны с немцами.

## 79

До войны мы, русские, все думали это.

## 80

Написано в 1912 году. (Авт.)

## 81

in corpore — все вместе, в целом (*лат.*).

## 82

«Перо» — на воровском жаргоне — нож.